А. Новиков-Прибой

А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ 2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1963

Повести

МОРЕ ЗОВЕТ

I

Большой пассажирский пароход, на котором я в качестве матроса совершаю первый рейс, оставил далеко за собою берега Нового Света и стремительно несется в Англию. Он упрямо разворачивает острой грудью воды Атлантического океана, заштилевшего перед чарами утреннего солнца, вздувает пенистые волны и с шумом, подобным водопаду, выбрасывает из-под кормы бурлящий поток.

Вступив на вахту, я стою у руля, держась за ручки послушного штурвала, вглядываясь в круглую картушку компаса, разделенную на румбы и градусы, очень чувствительную к малейшим поворотам судна, и стараюсь не сбиться с курса, данного мне помощником капитана. Где-то внизу, на большой глубине, напряженно вздыхают машины, двигая вперед громаду, представляющую собой целый уездный город. Пароход делает узлов по двадцать, но мне хочется еще большего хода, чтобы скорее достигнуть берегов Англии: меня ждет прекрасная Амелия Браун. И, вдыхая полной грудью свежий воздух, густо насыщенный морским ароматом, щурясь от бьющего в глаза света, я с волнением всматриваюсь вперед, в синий горизонт, откуда по равнине океана, залитого солнцем, сверкая расплавленным серебром, тянется прямо к носу корабля широкая лучезарная дорога, настолько заманчивая, что хочется по ней пробежаться. В душе моей тоже светло и радостно, сердце зажжено огнем счастья, избыток сил, как молодое вино, бродит во мне.

С Амелией, уйдя в дальнее плавание, я не виделся с прошлого лета и лишь изредка, насколько позволяют моряку обстоятельства, переписывался. За это время, сменив несколько судов, я избороздил много морей, побывал в новых местах, не виданных мною раньше, но всюду, куда бы ни забрасывала меня судьба, во всякую погоду, анафемски ли бурную, или очаровательно ясную, в моем сердце, не переставая, звенел милый голос этой девушки, облегчая тяжесть жизни. Только за последние три месяца, не имея от нее известий, я стал беспокоиться. И когда уже начало меня охватывать отчаяние, я неожиданно получил от нее длинное письмо. Она писала, что очень тоскует обо мне, что хочет меня видеть как можно скорее, тем более, что в ее жизни назревает какое-то важное событие.

Я догадываюсь, на что она намекает, и мне хочется крикнуть:

— Еду, ненаглядная, еду, чтобы связать свою судьбу с твоею навеки! Разве ты не чувствуешь, как наш чудо-корабль летит, точно альбатрос, к твоим свободным и славным берегам?..

Просыпаясь, начинают выходить на верхнюю палубу пассажиры в одеждах разных наций, разноплеменные и разноязычные, освеженные ночным отдыхом, довольные хорошей погодой. Кого только здесь нет! Бедняки, жестоко обманутые жизнью, но не мирящиеся с этим и настойчиво ищущие на земле своей лучшей доли; дельцы, проникающие с целью наживы в самые отдаленные уголки земного шара; финансовые, чугунные, угольные короли, ворочающие рычагами чудовищной машины капитализма, которая пожирает несметное количество человеческих жизней; любители приключений и, наконец, просто беснующиеся с жиру, те, которые не знают, куда девать даром доставшиеся им богатства. Некоторые из пассажиров первого и второго классов, усевшись за маленькие наружные столики, пьют кофе или вино; другие, покончив с завтраком, прогуливаются по верхней палубе, лезут на мостики, заглядывают в ходовую рубку. До моего слуха доносится говор на разных языках и вместе с запахом моря — аромат дорогих духов. Но я мало обращаю на это внимания, думая лишь о мисс Амелии. В конце последнего письма, как бы между про-

чим, она спрашивает, кончил ли я на штурмана. Нет, я все еще готовлюсь, все еще провожу свободное время за чтением специальных морских книг, но через несколько месяцев я буду держать экзамен. В успехе не может быть сомнения — скоро она будет видеть меня помощником капитана.

Вдруг я слышу родную речь и, приятно пораженный, оглядываюсь: это две русские барыни, забравшись на мостик, восторгаются погодой.

— Прелесть, прелесть утро! Я почти не замечаю качки. И солнце светлое, светлое! Я в восторге от нашего путешествия. А ты как, Аня?

— Я тоже. Будет о чем рассказывать в Петербурге...

Обе шикарно наряжены в серо-зеленые костюмы, на головах кисейные шарфы цвета сирени; обе как раз в том возрасте, когда, чтобы поддержать свежесть лица, приходится прибегать к косметическим средствам.

Вскидывая лорнеты к глазам, они делятся впечатлениями о мужчинах, находя одних красивыми, других дурными. Попадались им и такие, которые лишь частично нравились — или лицом, или корпусом, или страстными глазами. Но больше всех их занимает помощник капитана, высокий статный американец, прогуливающийся около рубки и по временам оглядывающий через круглые глаза бинокля горизонт океана.

Барыни разбирают помощника по косточкам; они приходят к выводу, что он является желанным мужчиной. Не остаюсь без замечания и я.

— Смотри, Люся, какой потешный матрос стоит у руля,— с улыбкой говорит Аня, блеснув золотыми зубами.

— Чем же потешный? — спрашивает Люся, привалившись к окну рубки.

— Да как же: американец — и вдруг такие моржовые усы.

— Не нравится он мне. Какая-то звероподобная морда. Я и смотреть на него не хочу.

«Да и вы, мадам, мне нужны, как собаке боковой карман»,— мысленно бросаю я реплику.

— Ну, я положительно с тобой не согласна. Напротив, он мне кажется симпатичным. Настоящий моряк: загорелый и крепкий. А главное — когда он смотрит

вперед, то глаза его горят каким-то безумием. Я ужасно люблю такие глаза...

«Благодарю вас, Аня, за комплимент»,— продолжаю я мысленно отвечать.

— Вот что значит иностранец,—не унимается Аня,— простой матрос — и такое осмысленное лицо. Не то что наш русский...

Я едва сдерживаюсь от смеха.

«Обе вы дуры»,— заключаю я и, чуть улыбнувшись, бросаю на Аню такой взгляд, что она вся вспыхивает.

— Он как будто понимает по-русски...

— Ну, что ты выдумываешь...— успокаивает ее Люся.

Поболтав, точно сороки, мои соотечественницы уходят.

Солнце все поднимается. Оно заходит на правую сторону корабля, тепло смотрит через открытые окна в рубку, играет на никеле морских приборов, на отшлифованном стекле компаса, и глазам становится больно.

Приходит капитан, низкий, но невероятно толстый и большеглазый, красный, словно он только что вышел из жаркой бани, с золотом на мундире и фуражке, в широких брюках. При нем невольно подтягиваешься и смотришь на картушку компаса более сосредоточенно. Справившись, какое расстояние прошли, какова скорость судна, он некоторое время осматривает в бинокль горизонт и незаметно исчезает.

И вновь я держу корабль на определенном курсе лишь частицею своего сознания, снова мои мысли заняты мечтою об Амелии. Я стараюсь представить себе ее рост, ее фигуру в платье, но это мне не удается. Предо мною лишь ярко всплывает картина первой нашей встречи.

Я познакомился с нею в прошлое лето, случайно, при необычайной обстановке. Помню: жаркий день и спокойное, дремлющее море, словно утомленное зноем полуденного солнца. Я купаюсь, отплыв далеко от берега, ощущая прилив бодрости и свежих сил в мускулах. Ко мне, плывя навстречу, приближается пунцовая повязка на голове женщины. Видны узкие круглые плечи, точеная шея, слегка побледневшее от усталости лицо с изумрудными глазами. На фоне прозрачно-зеленой воды, в озарении буйного света, позолотившего ее свежее

тело, в сверкающих брызгах, падающих, как бриллианты, от взмахов ее рук, женщина мне кажется прекрасной морской феей, какой-то солнечной сказкой. Я чувствую, что мой покой нарушен надолго. Мне приходит в голову шальная мысль чем-нибудь удивить ее, обратить на себя ее внимание. Показывая вид, что мои силы истощены, нелепо размахивая руками и крутя головой, я медленно погружаюсь в воду и ныряю в том направлении, в каком она плывет. Через минуту я снова показываюсь на поверхности моря почти рядом с нею.

— Ах, сэр, вы меня так напугали!.. Я думала, что вы действительно утонули...

В ее широко раскрытых глазах, обращенных ко мне, еще видна тревога, тонкие побледневшие губы вздрагивают, растягиваясь в искусственную улыбку.

— Простите, мисс, что причинил вам неприятность, но мне немного дурно было. Я в таких случаях всегда погружаюсь в воду.

— Что вы говорите! И что же, проходит?

— Да.

Она непринужденно весело смеется, а на лице ее уже играет румянец.

— А теперь как чувствуете себя?

— Отлично. Готов хоть в кругосветное путешествие.

Обогнав ее, я повертываюсь к ней лицом и легко плыву спиною вперед, подняв вверх обе руки, работая только ногами и сохраняя при этом стоячее положение.

Она смотрит на меня изумленными глазами.

— Вы не из моряков?

— Вы удивительно догадливы.

— Долго плавали?

— Около десяти лет.

— Кем же вы считаетесь на корабле?

— Простым матросом.

На ее лице я улавливаю разочарование.

— Но я, мисс, готовлюсь на штурмана,— начинаю сочинять ей.— Сдам экзамен — буду помощником капитана, а потом капитаном.

— Ах, вот как! — восклицает она, сразу повеселев.— Это очень хорошо. Как жаль, что я не мужчина! Я непременно поступила бы на корабль. Мне так нравится море...

— Я вижу это, мисс, по вашим глазам.

Она вопросительно смотрит на меня, приподняв одну бровь.

— Они напоминают мне цвет тропического моря, когда на него смотришь вблизи.

Посмеявшись, она спрашивает:

— Вы иностранец?

— Да. А что?

— Вы по-английски говорите не совсем хорошо.

— Надеюсь, не хуже, чем вы по-русски.

Начинается игра, от которой без вина хмелеет мозг, и все становится еще светлее, еще красочнее.

— Догоните меня, мисс! — говорю я и начинаю плыть, сколько хватает сил, не касаясь воды руками.

Она пробует, но, убедившись, что не может поспеть за мною, хмурит свои дугообразные брови.

— Хотите, я вас на буксир возьму? — остановившись, смеюсь я.

— Я в вашей помощи не нуждаюсь! — Вдруг девушка обрывает меня и, повернувшись, уплывает в другую сторону.

Я смотрю ей вслед, недоумевая, с досадой на самого себя, а потом чужим, но властным голосом, словно кто-то посторонний за меня это делает, кричу:

— Завтра, мисс, в это же время я опять буду здесь!

Она не ответила, но и на второй и на третий день приплывала на то же место и, встречаясь со мной, как давняя приятельница, весело смеялась, точно между нами ничего не произошло. Мы окончательно познакомились, сообщив друг другу свои адреса. Не хотелось расставаться с мисс Амелией, не повидав ее ни разу на берегу, но корабль наш должен был отправляться в дальнее плавание, и я ушел, чувствуя, что эта женщина должна сыграть в моей жизни большую роль.

И теперь, когда я, неся свою вахту, стою в рубке американского парохода, режущего острым носом, словно плугом, поверхность Атлантического океана, это чувство не покидает меня. Но мне все равно: я радуюсь, и больше ничего, радуюсь каждым атомом своего существа, что скоро увижусь с Амелией. Это замечает помощник капитана и, подойдя ко мне, говорит:

— Что вы все улыбаетесь?

— Ничего,— отвечаю я сконфуженно и напускаю на себя серьезность.

Среди сияющей пустыни океана и неба, среди голубой беспредельности иногда показываются дымки других кораблей, идущих нам навстречу. Когда эти суда, сближаясь, обмениваются с нами контркурсами, я вместе с пассажирами, весело размахивающими им носовыми платками, мысленно приветствую их: ведь они идут оттуда, где живет моя морская фея. И жгучий трепет охватывает сердце от сознания, что с каждым вздохом стальных машин, беспрестанно работающих в глубоком чреве парохода, с каждым взмахом больших лопастей на винтах, сверлящих под кормою воду, расстояние между нами все сокращается.

— Вы так держите штурвал, точно подпираете пароход,— строго замечает мне помощник капитана.— Станьте прямо!

— Есть!

Солнце светит с правого траверза. Склянки бьют двенадцать часов, и новая смена вступает на вахту. Передав штурвал другому рулевому, я спускаюсь вниз обедать. На палубе, осторожно пробираясь среди пассажиров первого класса, я встречаю тех двух русских барынь, что на мостике разговаривали обо мне.

— Смотри, Аня, твой симпатичный матрос идет,— смеясь, говорит иронически Люся, когда я поравнялся с ними.

— Славный, славный матросик! — вскинув лорнет к глазам, говорит другая, приятно улыбаясь.

— Виноват, мадам, вы ко мне обращаетесь? — повернувшись к ней, спрашиваю я по-русски с самым серьезным видом.

— Ах! — вскрикивают женщины, краснея до ушей и роняя лорнеты. Обе смотрят на меня так, точно чем-то подавились.

Я иду дальше. Перед люком, ведущим в матросский кубрик, задерживаюсь с минутку на палубе. Вся необъятная ширь океана и бездонная глубина неба наполнены удивительною игрою солнечных и лазоревых красок, от которой и во мне расцветает радуга надежд.

II

Накануне лил дождь, дул яростно ветер, а сегодня тихо, ярко светит мартовское солнце, разливая тепло и радость. По-весеннему синеет небо, и медленно тают в нем, сверкая белизной свежего снега, остатки вчерашних грязных туч. Веселее становится раскинувшийся вдоль берега приморский город с его однообразными, похожими на казармы домами под рыжей черепицей крыш, с дымящимися фабриками и заводами на окраинах, с громадной и шумной гаванью, у каменных стен которой торчат трубы и мачты бесчисленных судов. Успокаивается и море, ласкаемое лучами, только мертвая зыбь медленно перекатывается по его поверхности, отливая вдали блеском полированной стали, равномерно покачивая, словно баюкая, наш легкий ялик. Видны кое-где еще лодки, плывущие в разных направлениях, но они от нас далеко. Работая веслами, я не обращаю внимания, куда мы плывем, и жадно смотрю на корму. Моя спутница — игривая и капризная, как само море, с изумрудными глазами на зардевшемся лице — умело управляет рулем. Запрокинув назад головку с пушистыми белокурыми локонами, выбившимися из-под соломенной шляпы, она, улыбаясь, следит за чайками, с криком вьющимися над нами.

— Как они красивы в синем воздухе!

— Чайки — любимые птицы моряков. Они постоянные наши спутницы в морских скитаниях. И никто из нас никогда не позволит себе стрелять в них.

— Почему?

Я рассказываю ей легенду о том, как души моряков, погибших в море, переселяются в чаек и как потом, летая за кораблями, они своим тревожным криком предупреждают их о приближающейся буре.

Она слушает, не перебивая, и продолжает смотреть в прозрачную синеву неба.

— Ах, если бы я могла переродиться в чайку...— помолчав, говорит мисс Амелия мечтательно.

— И что тогда?

— Я бы летала за тем кораблем, на котором плавает самый милый для меня моряк. Каждое утро, с восходом солнца, я каким-нибудь особенным криком посылала бы ему приветствие...

Я настораживаюсь, радостно взволнованный.

— А есть у вас такой моряк?

— Конечно.

— Кто же это такой счастливец?

— Тот, от которого я в восторге.

Она ласково смотрит на меня, поблескивая лучистыми глазами, а мне кажется, что не от солнца, а от нее, этой худенькой, но свежей и яркой блондинки, такой простой, милой, в темно-синем костюме и желтых туфлях, на меня веет весною. Я перестаю грести, сдвинув весла вдоль бортов.

— Нет, серьезно, мисс Амелия, скажите хоть раз откровенно: кто он такой?

— Догадайтесь.

— Не могу, хоть убейте.

— Подумайте хорошенько.

— Все равно ничего не выйдет.

— Ах, какой вы иногда бываете несообразительный, мистер Антон!..

И, заливаясь, звонко смеется, рассыпая по зыби моря веселую трель.

Мне нетрудно догадаться, что, говоря о своей любви, она намекает на меня, но я знаю еще и то, что у меня есть соперник, поджарый англичанин, приказчик из хорошего магазина, всегда щеголевато одетый и недурной собою. Родители ее видят в нем очень подходящую пару для своей дочери и в любой момент готовы дать свое согласие на свадьбу. Об этом я узнал только теперь, вернувшись из плавания, узнал со слов ее подруги, очень болтливой девицы, познакомившейся со мной два дня тому назад. И хотя мисс Амелия, как уверяет ее подруга, любит этого англичанина только наполовину, но я уже начинаю бояться, что, сравнивая его со мною, угловатым, с мозолистыми руками, огрубевшими в тяжелой работе, она может отдать ему предпочтение. Кроме того, она несколько разочарована тем, что я еще не штурман, и, по-видимому, плохо верит в мой успех. Вот почему порою я начинаю подозревать, что, может быть, она только играет со мною, то обнадеживая, то повергая меня в отчаяние. В такие моменты становится мучительно больно, меркнет мир и рождается несносное чувство одиночества. Но это продолжается недолго, по-

ка не засияет на ее милом лице жаркая улыбка, и снова невидимые нити, протянувшиеся от этой маленькой женщины к моему сердцу, держат его, лаская и чаруя, в нежном плену.

Сейчас, когда мисс Амелия сама заговаривает о любви, очень удобный момент объясниться с нею, но она, точно предчувствуя это, перегибается за борт ялика и смотрит в прозрачную воду, чертя рукой ее поверхность,— серьезная, о чем-то задумавшаяся.

— Давно уж нет известий от брата...— говорит Амелия, вздохнув.— Жив ли он?

Мне еще из писем ее было известно, что у нее есть родной брат, Билль Браун, плавающий где-то на судах матросом.

— Что же ему сделается? Наверное, чувствует себя в море недурно.

— Боюсь, не случилось ли с ним что...

— Почему он в матросы поступил?

— С папой и мамой поссорился. Когда он кончил среднее учебное заведение, они хотели сделать из него коммерсанта. А он воспротивился и заявил, что хочет быть инженером. Произошел скандал. Билль скрылся. И вот уже пять лет не пишет ни отцу, ни матери ни слова. Он иногда бывает здесь, но никогда не заходит домой. Только переписывается изредка со мною. Я его очень люблю. Он такой умный, такой оригинальный человек!..

Морская зыбь, похожая на усталые вздохи, медленно покачивает нас, поднимая и опуская наш ялик.

Амелия смотрит на гавань, откуда, давая гудки, выходит громадный, в несколько этажей пассажирский пароход, и, точно вспомнив о чем-то, говорит:

— Мой отец англичанин, а мать француженка. Он увез ее из Алжира. Обманом взял. Хочется, чтобы и меня кто-нибудь увез далеко, далеко — на край света. Меня всегда куда-то тянет. В особенности, когда я вижу уходящие корабли.

Для меня это новость, так как раньше о ее родителях я знал только то, что они содержат фруктовую лавку, едва сводя концы с концами.

— Предоставьте, мисс Амелия, это мне сделать.

— С удовольствием. Только возьмите меня обманом.

— Ну, кто вас обманет, тот и трех дней не проживет.

Она призывно смеется, увлекая меня всей силой молодой жизни.

— А все-таки я попробую. Только дайте мне сначала сделаться помощником капитана. Тогда легче будет вас увезти.

— Да, но когда вы еще сделаетесь!

Сомнение для меня обидно.

— Скоро, скоро! — почти кричу я.— Поверьте мне, что я буду помощником капитана! Я этого хочу. При сильном желании человек может достигнуть чего угодно. Я вам расскажу о себе из своего прошлого. В том селе, где я родился и вырос, раньше совсем не было школы. Первую мудрость грамоты мне пришлось познать от псаломщика. Это был человек настолько старый, что седина его начала зеленеть, как мох. И при обучении он держался старых методов, вколачивая в меня грамоту палкой. От него я научился лишь названиям букв. Но у меня был замечательный отец. Невежественный сам, он тем не менее в мой детский мозг гвоздем вколотил мысль, постоянно говоря: «Непросвещенная голова, что фонарь без огня...» Родители мои умерли, передав мне в наследство только свою физическую силу, здоровую кровь и упорство своего характера. Больше ничего. Но да будет благословенна память о них. Дальше я уже шел к жизни самостоятельно: когда попал в город, сначала научился по вывескам читать, а потом в моем распоряжении были общественные библиотеки. И я уже мечтал об университете и кончил бы, если бы только не увлекся морской жизнью... Неужели вы думаете, что теперь я не справлюсь с морскими науками?..

Дальше, доказывая ей, с какими трудностями приходится мне заниматься на штурмана, я начинаю горячиться.

— Ну, хорошо, хорошо, мистер Антон,— перебивая, соглашается наконец она.— Верю и буду ждать... Я нарочно высказала свое сомнение, чтобы рассердить вас. Вы тогда становитесь интереснее.

— Гм... вот как.

Такая странность у нее проявилась и вчера, когда мы во время довольно сильного ветра и дождя, промокшие и прозябшие, катались на парусной лодке. Почему-

то сделавшись вдруг скучной, она начала баловаться с кливером. Я предупредил ее раз-другой об опасном риске опрокинуться в бурные волны, наконец, не вытерпел, гневно крикнул, чтобы она прекратила свою глупую шалость, и выхватил у нее шкот. В ответ раздался задорный девичий смех, от которого даже в холод становится жарко. После этого во все время нашего катанья веселое настроение не покидало Амелию. Мы меняемся местами: я сажусь на руль, а Амелия на весла. Тонкая, но упругая, она выгребает, как настоящий моряк, делая широкие взмахи.

Я рассказываю ей о разных странах, в каких мне приходилось бывать, о встречах с людьми, о России. Но больше всего ее занимает морская жизнь,— тут она, осведомленная братом, расспрашивает о всяких мелочах.

— Завидую я вам, что вы так свободно гуляете по морям.

— Да, мисс Амелия, для меня это одно из величайших наслаждений, хотя порою бывает очень трудно. Будь я королем-самодержцем, я бы издал суровый закон: все, без различия пола, должны проплавать моряками года по два. И не было бы людей чахлых, слабых, с синенькими поджилками, надоедливых нытиков. Я не выношу дряблости человеческой души. Схватки с бурей в открытом море могут исправить кого угодно лучше всяких санаторий...

Качаясь на ялике, мы продолжаем болтать обо всем, что приходит в голову, и берет досада, что солнце так быстро скатывается по небосклону.

Близко обгоняем одну лодку, в корме которой, бросив весла на банки, обнявшись, сидит молодая пара влюбленных. Я им не завидую нисколько. Нет! Пусть у всех людей расцветает любовь, излучая свет и радость, пока они молоды, пока их горячая кровь не свернулась в простоквашу, пока сердца не сморщились, как сухое яблоко. Правда, я еще не настолько близок к Амелии, чтобы держаться с нею вольно — моя любовь к ней целомудренно чиста, как то единственное белоснежное облачко, что, кудрявясь, смотрит на нас с лазури весеннего неба. И одно ее присутствие, одна ее игриво-ласковая улыбка, влекущий взгляд ее изумрудных глаз заставляют меня так же радоваться, как радуется иногда, загораясь блеском

утра, тропическое море брызнувшим лучам восходящего солнца.

Вернулись мы на берег уже вечером. Амелия была несколько расстроена, когда узнала от меня, что я убежал в Англию из русской тюрьмы. Напрасно я старался объяснить ей разницу между политическими и уголовными преступниками — для нее это было непонятно. Она простилась со мною довольно холодно.

III

Вечер. Я одиноко хожу по морскому берегу и жду не дождусь, когда из той улицы, что выходит на прибрежную площадь, покажется Амелия. Но ее все нет, хотя час назначенного свидания давно прошел.

Сильно дует норд-вест, нагоняя кучевые облака, залепляя лазурь неба грязной ватой. По мутно-серому морю перекатываются волны, оперенные пеною, похожие на бесчисленные стада белых кроликов. Шумит прибой, далеко выбрасываясь на песчаный берег, взмыливая воду, точно сплетая фантастические кружева. Издали, выплывая, направляются к гавани рыбачьи лайбы, спеша засветло укрыться от поднимающейся непогоды.

Я хожу у самого моря и часто поглядываю на часы. Ветер, забираясь под легкое распахнутое пальто, вздувает полы, холодом ощупывает тело, играет, вырвав из-под жилета, моим голубым галстуком и бросает его концы мне в лицо. А я безразличен. Меня не волнует, как бывало, запах моря и водорослей, выброшенных волнами на берег.

— Несомненно, что она тоже любит...— говорю я вслух.— Это видно по всему. Почему же не пришла? Испугалась моего тюремного прошлого или делает выбор между мною и англичанином?..

Медленно умирает день, а на смену, окутывая все в сумрак, сливая небо с морем, надвигается ночь, холодная и неприветливая. На рейде, возвышаясь белым призраком, вспыхивает через известные промежутки времени маяк, бросая в слепую даль красные полосы огня. Накрапывает мелкий дождь. Крепчает ветер, а прибой, выбрасываясь на берег еще дальше, бьется и грохочет

около равнодушной земли, с гневом рассказывая ей о тайнах моря.

— Нет, не придет она...

Отчаявшись, я иду в город, загорающийся огнями, иду не торопясь, чувствуя холод в груди. Домой мне не хочется заходить: там, в квадратной комнате, мне будет еще тоскливее. Я машинально направляюсь к квартире Амелии и медленно прохаживаюсь, держась другой стороны улицы. Меня почему-то не покидает уверенность, что я непременно встречу изумрудные глаза.

Мелкий дождь, скосившись от ветра, колюче бьет в лицо, журчат ручьи, стекая по водосточным трубам, блестят тротуары и мостовые, отсвечивая огни электрических фонарей, протянувшихся вдоль улицы двумя золотыми гирляндами. То и дело, гудя, проносятся трамваи, выбрасывая из-под колес грязные брызги. Над некоторыми домами, вспыхивая и потухая, горят разноцветными лампочками рекламы. Среди людей, торопливо шагающих по улице, ни одного знакомого человека.

Унылая скука, как липкая паутина, обволакивает сердце, гася радость жизни, и все мне становится постылым. Я стараюсь себя уверить, что Амелию остановила плохая погода, а может быть, она больна, но в то же время в моем мозгу змеей извивается мысль, ехидно подсмеиваясь, что я обманут и одурачен, что сладкозвучная песня моей любви, внезапно оборвавшись, остается недопетой...

Уже поздно. Меньше шума, реже движение — город, истощив на дневные заботы энергию, начинает погружаться в ночной сон.

Вдруг на другой стороне улицы, на тротуаре, держась за руку высокого молодого человека, плотно к нему прижимаясь, показывается знакомая фигура женщины.

«Она!»

Пересиливая себя, чтобы удержаться на ногах, я приваливаюсь к каменной стене дома, холодной и мокрой от дождя. У самого подъезда, прощаясь, он крепко целует ее, мою Амелию, запрокинувшую перед ним голову, и уходит, стуча каблуками по асфальту тротуара, самоуверенный и довольный.

— Не меня, а штурмана она хотела...— прохрипел я, отрываясь от стены.

И странно,— как оскорбленные дети бегут к матери, так и я, взрослый человек с крепкими нервами, с сильными мускулами, закаленный в битве с житейскими невзгодами, устремляюсь к морю, словно ожидая, что лишь в нем одном, ласковом и грозном, найду себе отраду. По пути, недалеко от гавани, в той части города, где уже ютится нищета, проституция и вся портовая голытьба, заворачиваю в кабак, чтобы хоть на короткое время одурманить голову. Клубится сизый чад табачного дыма, густо насыщенный особым кабацким запахом; от буфета к столикам, втиснутым между небольшими перегородками, и обратно, пошатываясь и толкаясь, бродят фигуры матросов, доковых рабочих и женщин. Буфетчик, крупный англичанин с пухлым подбородком, в одном расстегнутом жилете, с засученными рукавами, обнажившими толстые руки, солидно восседая за стойкой, едва успевает с двумя своими помощниками-подростками откупоривать бутылки, наполнять из-под крана большие хрустальные кружки пивом. Среди этих закопченных стен, в зловонном чаду, настолько густом, что даже огни электрических лампочек кажутся мутно-желтыми пятнами, точно в тумане, не унимаясь, стоит пьяный гомон, пронизываемый резкими выкриками, хохотом и женским визгом. Я не любитель отравлять себя алкоголем, но теперь, когда у меня стучат челюсти, когда давно не испытываемая отчужденность тяжелым камнем наваливается на грудь, охотно глотаю виски, обжигая кровь. Кто-то, хлопнув меня по плечу, говорит знакомым голосом:

— О друг! Добрый вечер! Откуда, какими ветрами пригнало вас к этой пристани?

Передо мною, раздвинув ноги, стоит мой приятель Блекман, толсторожий негр, крепкий и неуклюжий, точно изваяние из черного мрамора.

— Садитесь,— отвечаю я и требую еще стакан.

— Что с вами?

— Пейте.

С Блекманом, всегда отличавшимся лихостью моряка и товарищеской преданностью, я подружился, плавая вместе на одном английском корабле. У него до сих пор, точно над кем-то подсмеиваясь, подмигивает левый глаз, окруженный глубокими шрамами. Это у него награда с острова Мадейры. Помню, как он из-за уличной

девицы поспорил с матросом другого корабля, с белобрысым норвежцем, как тот, размахнувшись, со всей силой ударил его бутылкой по лицу и как я потом тащил его, точно куль с мукой, на свое судно.

Сейчас, обрадовавшись встрече со мною и угощению, он важно сыплет в стакан перец и соль, кладет большую дозу горчицы, наливает виски и пиво и все это мешает указательным пальцем. Получается бурая жижица, похожая на дрожжи, называемая английскими моряками «смерчем», а русскими — «стенолазом». Выпивая, он сладко причмокивает и, размахивая руками с толстыми пальцами, сообщает мне:

— Только что кончил рейс, как сейчас же попал в сухопутный тайфун. Три дня и три ночи крутился. А теперь сижу на мели при полном штиле...

— Хорошо, Блекман, я дам денег.

— О, вы всегда были мне добрым другом, но мне и не надо денег. Я хочу только закусить и хватить смерча, чтобы мозги завертелись.

Около нас, заражая своей буйной удалью, кипит и клокочет распутная жизнь, и, точно в грязном водовороте, кружатся непутевые люди, горланя, ругаясь, распевая песни, икая, насвистывая, торгуясь с женщинами.

Не успели мы как следует разгуляться, как начинают закрывать кабак. Люди выходят неохотно, ворчат и ругаются; некоторых выталкивают силой. Толпа пьяных несколько минут стоит перед дверями, словно в ожидании, что, может быть, они еще откроются. Рваные и затасканные женщины, приподняв юбки, танцуют перед своими кавалерами, похабно извиваясь, взвизгивая осипшими и ржавыми голосами. Потом вся эта пьяная ватага медленно расползается, как липкая грязь, по темным закоулкам портовых трущоб.

Захватив с собою пива, виски и разных закусок, мы с негром остаток ночи проводим на берегу моря.

Дождя уже нет, через разорванную завесу облаков кое-где мерцают звезды, иногда на минуту покажется половинка луны, осветит поседевшую равнину вод и снова скроется, словно проваливаясь в черную яму. Но ветер дует еще с большей силой, певуче носится над простором, взъерошивая море, напряженнее громыхает прибой, точно силясь кого-то преодолеть, опрокинуть. В гава-

ни, залитой огнями, даже ночью не прекращается жизнь: уходят одни корабли, а вместо них приходят другие, оглашая тьму то воющей сиреной, то дружными гудками.

Мы оба под хмелем, но продолжаем пить, посасывая водку или пиво из горлышек.

— Амелия, ты потом раскаешься, но будет поздно!— с болью кричу я в сторону города и, согнувшись, хватаюсь руками за мутную голову.

— О, это? Плюнь! — говорит Блекман, догадываясь, в чем дело.— Пойдем в рейс — все пройдет. Со мной то же было. Наша одна африканка протаранила сердце... Красавица была: губы толстые, мягкие, на голове кудри — маленькие кольца, груди — два больших шара, живот — не обхватить руками. О, она вся блестела, как черная звезда!

Подняв голову, я смотрю на него,— он, качаясь, сидит передо мною темной уродливой тенью.

— Как черная звезда?

— Да, да... Ушел в море, и все прошло. Теперь я с белыми привык. А тогда тошно было...

Для большей убедительности негр, крутя кудрявой головой, разражается руганью на всех европейских языках.

Одинокий маяк, вспыхивая, продолжает бросать в темноту лучи красного света.

— Хорошо, Блекман, вместе пойдем в плавание.

— О, конечно, вместе!..

Я рассказываю ему, что готовлюсь на штурмана и что скоро буду держать экзамен.

Блекман, обрадовавшись, скалит белые зубы, жмет мне руку и орет:

— Полный ход вперед! Я к вам служить пойду...

— Мы ей докажем, этой вертлявой девчонке! —говорю я, показывая на город.

— О, докажем!

Пуская отъявленную ругань, негр грозится кулаком и плюется в сторону города.

Дальнейшее представляется смутно, как путаный сон. Помню только, что мы проболтались до самого утра, а потом, обнявшись, поддерживая друг друга, отправились в матросский дом, где и нанялись на первый попавшийся корабль.

IV

Паровой буксирный катер, резко посвистывая, обходя другие суда, вытягивает из гавани наш трехмачтовый парусник, носящий громкое имя — «Нептун».

Одетый в морскую форму, я стою на верхней палубе среди кучки матросов, совершенно мне незнакомых, обтрепанных и грязных, но лихо держащихся, никогда и ни при каких обстоятельствах не унывающих. В голове моей все еще шум, несмотря на то, что время уже за полдень, хочется спать после пережитой бессонной ночи. Погода улучшается, ветер, нагулявшись за сутки, дует с меньшей силой. Изредка на короткое время, выглянув из-за малахитовых облаков, засияет солнце, зажигая зеркальные окна роскошных пароходов, разливаясь по рыжим черепицам городских крыш, раздвигая дали, дробясь по волнистой поверхности моря. Потом снова становится угрюмо вокруг. Хмурятся небо и море, точно недовольные друг другом. Но всюду идет работа, кипит жизнь. Громыхают паровозы, передвигая составы к пакгаузам и обратно, резко лязгают лебедки, нагружая или опустошая корабли, стучат молоты, вызывая звон железа, свистят катера, гудят большие пароходы, точно перекликаясь между собою. Все звуки, сливаясь, носятся над гаванью одной энергичной песнью труда. Пахнет нефтью, дымом каменного угля, перегаром машинного масла, южными фруктами.

Точно по узким переулкам, пробираемся мы среди тысячи кораблей, больших и малых, паровых и парусных, всевозможных конструкций, пестреющих разноцветными флагами всех наций, пока не выходим на большую дорогу. У меня пока одно желание: это выбраться скорее в море, чтобы не видеть больше этого города, отравившего мое сердце.

— Хорош наш «Нептун», нечего сказать,— говорит один из матросов.

— Внук Ноева ковчега,— отвечает другой.

Все смеются.

На минуту мое внимание задерживает матрос, подметающий палубу. Я с ним уже знаком. Джим Гаррисон нанялся на судно вместе с нами. Он старый, изломанный, с морщинистым лицом, заросшим колючим, как

жниво, волосом. Только из-под густых бровей, поблескивая, молодо смотрят ястребиные глаза. Ему не хватает лишь нескольких месяцев до пятидесяти лет, проведенных им на морской службе. Дорогой, идя вместе с нами на «Нептун», он сокрушался:

— Боюсь, что признают неспособным... Чертовски надоело в матросском доме сидеть, чтоб ему провалиться на месте, чтоб всю его администрацию голодные черти с похлебкой съели! Тянет в море, нет больше сил терпеть. А работать я еще могу... Сколько угодно могу...

Блекман, хлопая его по плечу, говорил:

— Положим, Джим, работник вы неважный, но в команде сойдете. Только держитесь на судне бодрее, не сгибайте спину. А друг мой вам паров подбавит...

По пути на судно мы два раза заходили в кабак, где Джим и Блекман выпивали «смерч».

Сейчас, подметая палубу, старик старается, показывает вид, что он работящий матрос, но ему даже и эта работа дается с трудом.

Почти одновременно на всех судах бьют склянки, оглашая гавань разноголосым гулом меди.

Ко мне, переваливаясь с боку на бок, направляется Блекман и, растягивая, как резину, свои толстые вывороченные губы в улыбку, еще издали кричит пропившимся голосом:

— Вы здесь, друг? А я в кубрике место для ночлега приготовил. Будем спать вместе. А то одеяло у нас только одно.

— Спасибо.

Мы приближаемся к молу, сложенному из тяжелых квадратных кусков гранита, безмолвному стражу, охраняющему вход в гавань от разъяренных волн, подставляя под их удары свою каменную несокрушимую грудь.

Боцман, средних лет, коренастый, с большой угловатой головой, плотно сидящей на широких плечах,— кажется, что он совсем не имеет шеи,— согнулся над люком и громко кричит:

— Все наверх!

Несколько матросов, застрявших в кубрике, выбегают на палубу.

Откинув назад голову, боцман не спускает глаз с капитана, очень высокого и мрачного человека, прохаживающегося по мостику, и, по его знаку, повернув к нам свое лицо, тысячи раз битое, с перешибленной переносицей, командует:

— По мачтам! Паруса ставить!

Мы с Блекманом и другими матросами, поднявшись по зыбким вантам на мачту, работаем на реях, а часть команды остается на палубе, приготовляя шкоты для растягивания парусов.

Не успев привыкнуть к новому судну, к новым порядкам, мы возимся с постановкой парусов невероятно долго, вызывая этим раздраженную ругань боцмана, беспокойно бегающего по палубе.

Паровой катер, отпустив буксир, попыхивая дымом, возвращается в гавань, а «Нептун», туго набитый разными товарами, по мере того как окрыляются его мачты белыми большими полотнищами, вздрагивает и гудит снастями, точно просыпается после долгого летаргического сна. Наконец он трогается и скоро, пользуясь хорошим попутным ветром, несется вперед полным ходом, лишь слегка покачиваясь. Он держит курс на Александрию.

— Идем, друг, отдохнем,— говорит мне Блекман, когда мы освободились от работы.— С двенадцати нам на вахту...

— Я побуду немного на палубе.

— Как хотите, а мне скучно здесь.

Потом, увидев Джима, обращается к нему:

— Ну, старина, дела наши идут, кажется, недурно!

— Об этом скажем, когда вернемся из плавания.

— Верно, сто чертей вам в горло!

Они оба спускаются вниз.

Земля все удаляется, а впереди все шире развертывается море, маня неизвестным будущим. Город и огромнейшая гавань, теряя ясность очертаний, постепенно уменьшаются, точно тают в чадном воздухе. Только теперь у меня пламенем вспыхивает в груди желание вернуться обратно, вернуться туда, где я оставил свою мечту. Хочется крикнуть на мостик:

— Капитан! Я не хочу больше служить на вашем дурацком судне!

Потом броситься в холодную воду и вплавь добраться до стенки гавани.

Но нет, этого не будет! Пусть, как черная смола, которой заливают на корабле щели, кипит в моем сердце жгучая тоска,— я не вернусь в этот город до тех пор, пока не кончу рейса, да и то, может быть, только затем, чтобы взять свои вещи и книги, оставленные на квартире. Ко мне на время возвращается твердость духа.

Я направляюсь к корме, где, о чем-то разговаривая между собою, стоят: рыжий англичанин, высокий и спокойный, с большими и немного припухшими, точно отмороженными, ушами, и маленький, но очень упругий, смуглый, как бронза, японец.

— Как вас зовут? — улыбаясь, спрашиваю их.

Они почти в один голос отвечают:

— Алекс Шелло.

— Киманодзи.

— Вот и отлично! Будем друзьями. А меня величают Антоном. Не правда ли, что нам предстоит отличное плавание? Я рад, что попал на такое судно...

Две пары глаз, вороненых, беспокойно бегающих в перекошенных щелях, и серых, влажно блестящих, точно покрытых жиром, смотрят на меня, ощупывая с ног до головы.

— Да-а,— тянет рыжий Шелло,— когда человеку в жизни больше ничего не остается, как только в петлю лезть, то и на этом свином корыте плавание покажется хорошим.

Я громко смеюсь и отхожу, оставив их в недоумении.

На мгновение Шелло показался мне знакомым, где-то я будто видел его,— всматриваюсь в красное, сыто лоснящееся лицо, слегка обрызганное веснушками, и не могу припомнить. Меня окончательно сбивает с толку глубокий шрам на левой щеке, точно проткнутый ножом.

Боцман все еще не может успокоиться и, покрикивая, озабоченно бегает вокруг вахтенных матросов, делая им указания, заставляя одни снасти подтягивать, другие ослаблять. Здесь, на просторе, ветер дует сильнее, свистя в снастях, напруживая паруса, ярусами уходящие вверх. Город кажется маленьким серым пятном, но затем и оно исчезает за горизонтом,—остается только море

да небо. Кружась в воздухе, обгоняя «Нептун» и отставая, нас с криком провожают белогрудые чайки.

— До свидания, Амелия! Мне спать пора...

С тяжкими думами я спускаюсь в кубрик.

V

Наша жизнь на «Нептуне», как и на всех других подобных судах, проходит в тяжелых условиях: мы надрываемся от работы и питаемся сухими и жесткими, как камень, галетами, кофе, разбавленным сгущенным молоком, и таким соленым мясом, точно оно сотни лет квасилось на дне моря; в очень бурную погоду, когда камбуз не топится, удовлетворяемся холодными мясными консервами. Вот почему на такую службу могут попадать лишь люди, обнищавшие и пропившиеся, или же, как я, дошедшие до такого отчаяния, когда все становится безразличным. Конечно, многие из команды разбегутся в первом же порту, не получив даже денег за свой труд, так как расчет производится только по окончании рейса,— разбегутся в надежде попасть на паровые суда, где и риска меньше, и не так обременительна работа, и кормят лучше. Но они тут же без затруднения будут заменены другими матросами, такими же пропойцами, изголодавшимися и с нетерпением ожидающими на берегу хоть какого-нибудь судна.

С каждым днем, втягиваясь в работу, привыкая к новым порядкам, команда начинает выполнять работу лучше и быстрее, но двадцати двух человек недостаточно для легкого управления «Нептуном». При капризной погоде, при ветрах, постоянно меняющих свое направление, то затихающих, то доходящих до степени шторма, мы ни днем, ни ночью не знаем покоя. Часто, сменясь с вахты, не успеешь отдохнуть, как снова гонят наверх — крепить паруса, брать рифы, обрасоплять реи, менять галсы. Хуже всего достается в ненастные ночи, когда кругом царит такая тьма, что того и гляди свернешь себе голову, когда, надрывно завывая, свирепствует холодный, пронизывающий ветер, а с черного, как сажа, неба беспощадно хлещет дождь, промачивая все платье до последней нитки. В такие моменты кажется, что уже никогда больше не взойдет солнце, не рассеет этой сырой,

хлябающей тьмы, тяжело навалившейся на ревущую поверхность Атлантического океана. Продрогшие, измученные матросы, ругаясь, ворчат:

— Дьявольская наша жизнь!..

— Подлое судно!

— Да, если на таком судне проплавать год, то живым останешься, но к Маргаритам не захочешь...

Но стоит только погоде улучшиться, как настроение команды меняется. В особенности, пережив бурную ночь, матросы радостно встречают хорошее утро и невольно, быть может, в тысячный раз, засматриваются в ту сторону, где так красиво алеет заря, разливаясь по волнистой, еще пенящейся шири океана рдеющими красками, где, сбрасывая с себя блестящие наряды, постепенно переходящие из ярко-малиновых в золотисто-шафранные цвета, торжественно поднимается огневое солнце. Даже рыжий Шелло, как казалось раньше, ко всему равнодушный, кроме еды и выпивки, глядя прищуренными глазами в сияющее око неба, не может удержаться от улыбки и говорит:

— Мы моряки, а потому для нас доброе солнце должно быть дороже всего...

— А коньяк все-таки лучше! — посмеиваясь, вставит кто-нибудь из матросов.

— Нам и коньяк нравится только потому, что он представляет собою то же солнце, но только в растворенном виде,— возражает на это Шелло.

Труднее всего служить Джиму Гаррисону. Он не только не может лазить по мачтам, но и внизу работает вяло, ходит медленно, сутулясь под тяжестью сурово прожитых лет. На второй же день, после того как мы оставили берега Англии, у него произошло столкновение с боцманом.

— Эй, старина!

Перетаскивавший в это время снасти с одного места палубы на другое, Джим, услышав окрик боцмана, останавливается и, кладя снасти перед собою, спрашивает:

— Что вам угодно?

— Вы не ходите, а ползаете, как беременная мокрица по мокрому мату!

Джим, ощетиниваясь, отвечает на это:

— Зато вы бегаете, точно ошпаренный пес!

Боцман, не ожидавший такого ответа, откидывает назад голову, точно получив удар по лбу.

Одно мгновение они стоят молча, оглядывая друг друга, точно впервые встретились; один — в кожаной куртке, в широких штанах из темно-синей фланели, в крепких квадратных башмаках, гладко выбритый, полный здоровья и силы, а другой — в рваном, насквозь просмоленном платье, босой, отживающий свой век, но все еще с безнадежной удалью цепляющийся за жизнь.

— Хорошо, мы с вами поговорим, когда придем в какой-нибудь порт, а пока — продолжайте работать.

Джим прекрасно понимает, что боцман хочет уволить его с судна, и, принимаясь за перетаскивание снастей, предостерегающе роняет:

— Я имею редкостный нож! Он отлично режет не только хлеб, но и мясо.

— А у меня есть еще лучшая вещь — это браунинг. Я из него на двадцать шагов могу попасть в такую маленькую цель, как человеческий череп...

— При охоте на диких зверей успех часто зависит от быстроты действия...

Джим Гаррисон не уступает боцману, но нам, своим товарищам, посмеиваясь над собою, точно речь идет о постороннем человеке, откровенно признается:

— Да, износился. Стал похож на старую рваную калошу. Но все равно — в матросский дом ни за что не вернусь...

— А как же иначе? — спрашиваем мы.

— Посмотрим, как...

Капитан у нас — бесстрашный моряк, но человек с большими причудами. Через каждый час, днем и ночью судовой кок, жуликоватый шотландец, наживающий деньги на матросской пище, носит ему в никелированном кофейнике горячий черный кофе. Капитан молча пьет его, разбавляя пополам с ромом. Разговаривает он мало, разве только боцману или своему помощнику, еще молодому человеку, с испуганно приподнятыми бровями на невзрачном лице, отдавая какое-нибудь распоряжение, буркнет несколько слов, да и то отвернется, словно презирает их. Проходя на мостик или возвращаясь обратно в свою каюту, расположенную в кормовой части суд-

на, он ни на кого не смотрит и шагает так, как будто измеряет палубу, тяжелодумно глядя себе под ноги. У него внешность интригующая: высокий и грузный, весь угловатый; лицо сизо-багровое, с водяными мешками под большими оловянно-мутными глазами, с массивным хищным носом; он часто бреется, но вся шея, крепкая, как у быка, и длинные уши в шерсти; почему-то, глядя на него, думается, что если его раздеть догола, то он окажется весь лохматым.

— Единоутробник Вельзевула! — с первого же дня окрестил его рыжий Шелло, и с тех пор среди матросов эта кличка так и осталась за ним.

Он бывает настолько рассеянным, что однажды после завтрака явился в рубку с салфеткой на груди и, не замечая этого, простоял так всю вахту.

Наш кубрик находится в носовой части корабля. Продольный коридор разделяет его на две перегороженные досками половины — для одной вахты и для другой. Помещение такой половины — небольшое, грязное, душное от табачного дыма и человеческих испарений, с двумя иллюминаторами из толстого зеленоватого стекла, с общими нарами для спанья и сидения, с длинным столом, наглухо прикрепленным к палубе. Пока стоит еще плохая, холодная погода, мы, сменившись с вахты, все свободное время проводим здесь, греясь около чугунной печки, отапливающейся каменным углем.

Несмотря на то, что мы здесь собраны со всех концов земного шара и являемся представителями различных рас, между нами нет розни. Да и какая может быть рознь среди нас? Наша жизнь проходит в одинаковых для всех условиях. Религия? Ее ни у кого нет, над нею смеются и издеваются все — англичане, негры, испанцы, индусы, японцы. Национальные особенности? Все это давно вытравлено морем, рассеяно по разным странам. Здесь все космополиты, граждане всей нашей планеты, или, как выражается Шелло, мировые бродяги, для которых под каким бы флагом ни пришлось плавать, все равно, лишь бы были подходящие условия.

Что только не услышишь, когда все матросы соберутся в кубрик! Пользуясь такой свободой слова, какой нет нигде, ругают правительства, высмеивают религиозные обряды всех стран, но чаще всего обмениваются

впечатлениями о разных кораблях, расхваливая одни из них и проклиная другие, рассказывают о своих приключениях в портовых вертепах и о том, как можно обмануть таможенных чиновников, провозя на судне контрабанду.

Но я больше люблю слушать старого Джима, пережившего на своем веку несколько крушений. Он не признает ни бога, ни черта, но в то же время, как и многие другие, очень суеверен. Лежа на нарах вместе со мною и Блекманом, он убежденно рассказывает:

— Однажды, во время крушения корабля, я заранее догадался, что останусь жив. Так и случилось...

— Как же догадались? — спрашиваю я.

— Очень просто... Плавал я на паровом купце. Судно было настолько старое, что от бури у него сдвинулись котлы. Само собою разумеется, что пришлось застопорить машину и прекратить пары. Нас понесло ветром к норвежским берегам. Все матросы так и ахнули, когда перед нами открылись каменные скалы. Предстояла неминуемая гибель. А буря была мерзкая и так рвала, выла, точно облопалась спиртом. Казалось, не мы подвигались к скалам, а они неслись на нас. Никогда мне этого не забыть...

Джим старчески кашляет, а потом, покуривая свою носогрейку, неторопливо продолжает:

— Вдруг до меня донесся детский плач. Прислушался к реву бури. Меня ужас взял. Я разобрал ясно голос своей дочери, четырехлетней девочки, от индуски с острова Цейлона. Перед этим я ей только что послал письмо и десять шиллингов. Заметался я по кораблю, как сумасшедший, а голос ее все был слышнее — плачет, зовет меня. Наконец сообразил: если слышу голос не мертвеца, а живого человека, то, значит, буду жив. Вооружился спасательным кругом. А скалы все надвигались. Прошло еще несколько минут... раздался треск. Корабль разлетелся вдребезги. Я не помню, как вылетел за борт. К счастью, попал в узкий пролет между двумя скалами, а там меня выбросило волнами на берег. Из тридцати человек нас спаслось только четверо...

— А сколько вы, Джим, перед крушением опорожнили бутылок? — иронически улыбаясь, спрашивает Шелло.

— Сколько бы я ни опорожнил бутылок, но таким безмозглым, как вы, никогда не был,— ворчит старик.

— Да, мозгу немного нужно там, где человек звонит языком, точно рынду отбивает,— невозмутимо отвечает Шелло.

Они часто спорят, доходя иногда до ругани, но это не мешает им дружить.

В другом углу, размахивая руками, горячится черноусый испанец:

— Нужно шквалом пронестись по всей земле, чтобы все старые порядки перевернуть вверх килем. А потом снова начнем строить жизнь — не такую скверную, как теперь.

Многие поддакивают ему; привстав, кричит и Блекман:

— Поддай пару! Гони на тридцать узлов! Только прошу не трогать кабаков, кораблей и женщин!

Испанец, не слушая, продолжает:

— И это время придет, скоро придет!

— Когда акулы соловьями запоют, а пока что они только жрут нашего брата,— вставляет Шелло.

Понемногу я начинаю оправляться от удара, полученного в Англии, реже вспоминаю об Амелии. Развлекают меня и разговоры матросов, заражая своей бесшабашной удалью. И только изредка, когда они начинают рассказывать о своих возлюбленных, мечтая о приятной встрече с ними, меня снова охватывает тоска, снова не могу примириться с тем, что разлучился с изумрудными глазами. Тогда разные мысли долго не дают мне заснуть. Покачиваясь на цепочке, слабо горит наполовину привернутая лампа, рождая уродливые тени, бегающие по стенам сумрачного кубрика. Все матросы, разместившись по своим гнездам, отгороженным друг от друга небольшими деревянными барьерами, давно уже крепко спят, сильно всхрапывая, а я все ворочаюсь на своем жестком матраце, лежа рядом под одним одеялом с негром.

Судно, раскачавшись, падает то на один бок, то на другой, соответственно с этим мои ноги летят вверх, а голова находится где-то внизу. За бортом исступленно бьются волны, тяжело ворочается, угрюмо рыча, встревоженный океан, отделенный от нас лишь досками об-

шивки. Страшно близко, до жути, ощущается гневное клокотание моря. А сверху доносятся враждебно-суровые напевы ветра. Чувство заброшенности овладевает мною. И тогда является одно желание — чтобы скорее вызвали наверх. При первом же призывном окрике я срываюсь с места, лечу на палубу, быстро поднимаюсь на мачту, и там, на высоте, среди яростного ветра, в черной, как чернила, темени, где угадываешь предметы скорее инстинктом, чем глазами, с безумной развязностью набрасываюсь на работу. Как акробат в цирке перед зрителями, так и я перед самим собою затеваю опасную игру, испытывая при этом жуткое очарование своею дерзостью. А затем уже, усталый и погасший, возвращаюсь в свой кубрик и засыпаю мертвым сном.

VI

Наш корабль — в Средиземном море.

За все время моей службы на новом корабле это первая ночь, когда, неся вахту вместе с другими матросами, я почти ничего не делаю, прохаживаюсь по верхней палубе, следя лишь за тем, чтобы не полоскались паруса.

Легкий ветер дует в бакштаг, тихо подпевая в паутине снастей и в изгибах выпукло надувшихся парусов. «Нептун», ритмично поскрипывая оснащенными мачтами и немного покачиваясь, идет вперед ровным ходом. Теплая южная ночь, раскинув прозрачно-черные крылья, ревниво обняла море, почерневшее, как смоль. Море, переливаясь небольшими волнами, мелодично всплескивая, ворчит сердито-ласково, словно добрый старик на игривые шалости любимых детей. Над головою и по сторонам, вплоть до горизонта, дрожа, лучисто горят звезды, струясь золотыми нитями в темные глубины вод.

В плохую погоду, до изнеможения отдаваясь тяжелой работе, я легче переносил разлуку с Амелией — мне некогда было думать об этом; но теперь, когда ликует небо, искрясь самоцветами, когда, кажется, само море, вздыхая, грезит о счастье, меня опять охватывает смятение. Я прогуливаюсь по темной палубе, не находя себе места. Когда я перебираю в своей памяти встречу с этой девушкой и дальнейшее знакомство с нею, мне кажется,

будто я иду светлой дорогой, усыпанной яркими цветами,— дорогой, ведущей к радости жизни. И вдруг — запрокинутая головка для поцелуя с другим... Злоба закипает в моей груди. Хочется вырвать из своего сердца образ жестоко осмеявшей меня, забыть ее имя. Но, убедившись, что этого не могу сделать, я разоблачаю ее перед самим собою:

«Да почему, на самом деле, я терзаю себя? Она шальная девчонка, искательница приключений и только! Сегодня путается с одним, а завтра с другим. Не изумрудные, а кошачьи глаза у нее! Ха-ха-ха... Я собственной фантазией создал из нее красавицу. Она сияла только в лучах моего воображения, подобно тому, как в гавани, расплываясь от судов, сияют радужными цветами жирные пятна нефти, зажженные солнцем».

Только присутствие других матросов сдерживает меня от громкого хохота.

Я отрезвляюсь.

Вдоль противоположного борта, заложив руки за спину, прохаживается всегда солидный Шелло, всхрапывает, перегнувшись животом через бухту троса, японец Киманодзи, около грот-мачты, привалившись к ней спиною, сидит Блекман, тихо напевая на восточный мотив песню, а рядом с ним Джим. В рубке, слабо освещенной фонарем, стоят двое рулевых; когда они, изгибаясь, поворачивают огромнейший штурвал, вдоль бортов ржаво гремят железные штуртросы, приводящие в движение руль. По мостику медленно передвигается небольшая фигура помощника капитана.

С минуту я любуюсь тем, как волны, диагоналями расходясь от судна, острым форштевнем режущего вороненную поверхность моря, сверкают фосфорическим светом, словно рассыпая сине-зеленые искры.

Я уже с раскаянием думаю иначе:

— Про Амелию я нагло вру, со злобы вру... Она славная, красива и умна, а главное — непосредственно жизнерадостна, как жаворонок весною. И что плохого в том, что она вызывала письмом меня, а не другого? Просто хотела сравнить меня с англичанином. Я оказался хуже его...»

Силою воли я обрываю эту мысль и начинаю быстро ходить по палубе.

Шелло отбивает склянки. На носу, у самого бугшприта, вонзающегося в темноту, окаменело сидит впередсмотрящий матрос. Он встает и, повернувшись к мостику, протяжно кричит:

— Впереди по носу судно!

— Хорошо! — отвечает с мостика помощник капитана.

Через некоторое время впереди, горя отличительными огнями, зелеными и красными, похожими на два разноцветных глаза, отчетливо вырисовывается силуэт судна. Это французский военный крейсер. Он с шумом проносится мимо нас, привлекая внимание некоторых вахтенных, и, как мимолетное видение, исчезает вдали.

Я подхожу к Джиму и Блекману и опускаюсь около них на палубу.

— Не спите, Джим? — спрашиваю я.

— Нет,— отвечает он, глядя в звездное небо.

— Ночь хороша!

— Да, люблю такие ночи. Лежишь и думаешь. Всю свою жизнь переберешь. Многое припомнишь...

Меня все время интересует этот старый моряк.

— Вы семейный?

— Очень даже.

— Что значит — очень?

— А то, что не одну, а много семей имею.

— Где же они?

— Везде, только не при мне,— есть на Цейлоне, в Сан-Франциско, в Южной Африке, в Европе. Был и я когда-то молод и силен. И везло же мне, черт возьми, насчет женщин! Липли они ко мне, как ракушки к судну. Ну и рассеивал свое племя по земному шару. Если собрать вместе всех жен и детей — ого! Изрядная цифра получится...

Помолчав, он добавляет:

— А приходится кончать свой век одиноким...

Он произносит последнюю фразу с некоторой грустью, но тут же, словно устыдившись этого, разражается отъявленной руганью.

Я ложусь навзничь прямо на палубу и смотрю мимо выпуклых парусов на звезды. Скрипя, покачиваются высокие мачты, точно зарисовывают клотиками по сверкающему небу незримые иероглифы.

В известной точке земного шара, среди дремучих лесов России, есть небольшое село, откуда, вызванный своими родителями к жизни, я начал делать петли по суше и морям.

Много разных женщин встретил я на своем пути, но ни одна из них не тронула моего сердца, не взволновала моей души, пока не столкнулся с той, что спустя восемь лет после меня появилась на свет в другом месте, в чужой стране, на берегу моря за тысячи верст. Почему именно Амелия, а не другая женщина увлекла меня? По каким законам вообще происходит любовь?..

Мне не решить этих вопросов.

Из трубы камбуза вьется дымок: это кок готовит для капитана кофе. Слышны всплески волн, рокот воды, напевы ветра, путающегося в многочисленных снастях, как в струнах. Ароматная свежесть моря ласково обвевает тело. Я прикрываю ресницы, и мне кажется, что не судно качается, а звезды в темно-синей глубине неба перелетают с одного места на другое, красиво сверкая между окрыленными мачтами.

Я сплетаю сказку любви, но через некоторое время вскакиваю и нервно хожу по палубе, ругаясь не хуже Джима.

VII

Чередуются дни с ночами, восходы с закатами.

Завтра мы должны зайти в Алжир. Об этом узнал рулевой из разговора капитана с помощником и сейчас же эту новость сообщил команде.

Матросы радуются, строят различные планы, что предпринять, когда попадут на берег. Только Джим Гаррисон, несмотря на солнечное утро с небольшим теплым ветром, заигрывающим с морем, чувствует себя скверно.

— Что с вами? — спрашиваю я его.

— Спина совсем отнялась,— жалуется он, сквернословя при этом.— И все кости ноют...

За работой Джима, едва передвигающего ноги, следит с мостика сам капитан, скосив на него оловянно-мутные глаза. Видно, что он недоволен стариком, только бесполезно изводящим на корабле пищу. Проходя обедать, зовет его к себе в каюту.

Через несколько минут, выйдя от капитана, Джим направляется к нам и на вопрос, в чем дело, выбрасывает такую брань, точно читает молитву, приговаривая:

— Чтоб ему не выйти из этого моря, чтоб акулы по косточкам и жилочкам его растащили и чтоб сами акулы от его подлого мяса желудками захворали.

Дальше, продолжая ругаться, он проклинает все капитанское потомство до двадцатого поколения, всех его святых, богов, кроя их «через гробовую крышку в блудные глаза». Он стоит перед нами, размахивая правым кулаком, раздраженный, с горящими глазами, с растрепанными волосами на обнаженной голове, точно к нему вернулись молодость, прежняя удаль. Кажется, что ему ничего не стоит пойти к своему обидчику и искромсать его на кусочки. Но это продолжается недолго: выпалив все, что накипело в душе, он сразу теряет пыл, тускнеет, снова становится дряхлым и говорит уже примиренным тоном:

— А впрочем, капитан прав.

— В чем? — спрашиваем мы.

— Говорит, что выдохся я. Дал расчет. За месяц уплатил. Советует на берегу посушиться...

— Да, был орел, да крылья измотал,— вставляет Шелло.— Видимо, придется вам последовать совету Единоутробника Вельзевула.

— Ну, нет, этого не будет! — решительно заявляет Джим.— Опять в матросский дом, опять чистить картошку, выносить помои, мыть полы и всякой другой чепухой заниматься и не видеть моря — довольно! Для меня матросского дома больше не существует. Я не согласен в этом дьявольском учреждении сдыхать после того, как пятьдесят лет в разных морях проплавал, нет, не согласен!..

Отделившись от нас, старик долго гуляет по палубе, что-то обдумывая. Иногда, останавливаясь, он оглядывается кругом, кажется, любуется голубым простором, но больше смотрит на пламенеющий горизонт, в солнечную сторону, туда, где между складками небольших волн, змеясь, красиво играют отблески. Потом, придя к какому-то решению, спускается в кубрик. Через час опять появляется на палубе, держа в руках конверты и почтовую бумагу, но его уже нельзя узнать: он выбрит, умыт,

гладко причесан на прямой пробор, одет в чистое платье. Во всей его фигуре чувствуется какая-то торжественность. Усевшись на палубе, приспособив на коленях дощечку, он карандашом пишет письма, не обращая ни на кого внимания и лишь хмуря густые брови, сосредоточенный и углубленный. Его больше никто не беспокоит, и даже боцман, проходя мимо, старается держаться от него подальше.

Вечером, когда мы уже были свободны от вахты, Джим приглашает Блекмана, Шелло и меня к столу, ставит бутылку виски, купленную им у судового повара, и начинает нас угощать.

— Я отплавал,— говорит он твердым голосом, разливая по кружкам виски.— Немного не хватает до пятидесятилетнего юбилея моей морской службы, ну, ничего...

— Вы счастливый человек, Джим! — говорит Шелло, на этот раз необычайно серьезный.— Вам удалось более шестидесяти раз обернуться вокруг солнца, а это не шутка при нашем положении. Удастся ли это нам?

— Да, я не считаю себя несчастным. Я хорошо пожил, черт возьми! Если бы мне снова родиться и меня спросили бы, кем я хочу быть, я выбрал бы только долю моряка, не задумываясь нисколько. Словом, я не прочь повторить свою жизнь...

Опорожнив кружки, мы вместо закуски запиваем виски водою.

— Вот вам все мое богатство,— говорит Джим, выкладывая на стол жалованье и вырученные им деньги от продажи матросам своего сундучка с тряпьем.— Здесь около четырех фунтов. Вот эти письма,— продолжает он, показывая рукою на два запечатанных конверта,— опустите в почтовый ящик, а деньги пошлите переводом. Разделите их поровну на две половины: одна половина пойдет на остров Цейлон, а другая — в Сан-Франциско. Это мой последний подарок детишкам. Больше у меня ничего нет. Адреса на письмах...

Джим спокоен, на морщинистом лице не дрогнет ни один мускул, глаза сухи. Все догадываются о его намерении, но никто не говорит об этом ни слова. В кубрике, кроме нас, находятся еще несколько человек матросов: одни спят, развалившись на нарах; японец, сидя на кор-

точках, починяет свою рубашку; индус, примостившись на краю нар, играет на губной гармошке; на другом конце стола, увлекаясь, двое сражаются в карты. А Джим уже закладывает в старый мешок большой камень, находившийся на судне для балласта, деловито прикрепляет к мешку лямки и, взвалив тяжелый груз на спину, увязывает его наглухо морскими узлами, точно он, забрав большой запас продуктов, собирается в далекое путешествие.

— Не подождать ли вам, Джим? —не утерпев, говорю я взволнованно.

Шелло, злобно сверкнув глазами, дергает меня за блузу, а старик, глядя в сторону, упрямо бросает:

— Кажется, я достаточно взрослый человек, чтобы поступить так, как мне хочется.

Джим обходит всех, крепко пожимая руки, и поднимается по трапу на палубу. Мы провожаем его и, остановившись у люка, смотрим, как он твердым шагом подходит к борту, по-прежнему спокойный и серьезный. Ни одной жалобы, ни одного вздоха. В последний раз оглянувшись, говорит нам:

— Попутного ветра вам, друзья... Прощайте...

— Прощай, Джим!—отвечаем мы разом.—Прилетай к нам чайкой.

— Хорошо!

Тихо закатывается солнце, вся равнина моря в оранжевых тонах.

Старый Джим, повернувшись к рубке, громко кричит:

— Капитан!

Услышав зов, капитан важно выходит из рубки на мостик, но, увидев Джима, отворачивается.

— До скорого свидания на дне моря!..

С последними словами старик, вскочив на борт, бросается в воду вниз головою.

— О, решительно! — замотав кудрявой головою, говорит Блекман и убегает вниз, а за ним удаляются и все остальные.

— Так умирает английский моряк! — бросает на ходу Шелло.

Оставшись на палубе, я некоторое время с грустью смотрю на корму, на то место, где только что скрылся человек, провалившись в темную бездну вод. Ничего не

видно, кроме игриво бегущих волн, позолоченных закатом, как будто никогда и не существовало Джима, этого славного и храброго моряка.

VIII

Второй день пошел, как мы оставили Алжир, где почти треть команды разбежалась и была заменена новыми матросами, второй день все ухудшается погода, выматывая из нас силы.

Сменившись с вахты, мы сидим в своем кубрике за общим столом, пьем абсент, которым запаслись на берегу, и едим мясные консервы, ругая повара, что он не приготовил нам горячей пищи. Все мы чувствуем усталость, провозившись долго с уборкой брамселей и бомбрамселей, и только винные пары, распаляя кровь, начинают придавать нам бодрость.

— Братья! Черти смоленые! — ухмыляясь, восклицает один из матросов.— Сказано — не собирайте себе сокровищ на земле...

— И вы будете пролетариями, такими же бездомными, как морской ветер,— добавляет Шелло.

Все смеются.

— Почтим память нашего товарища Джима,— взяв в руки кружку с абсентом, предлагаю я присутствующим.

— Правильно! — откликаются голоса.

— Да, за него стоит,— говорит Шелло, возбуждаясь, что с ним редко бывает.— Это был моряк с дьявольским присутствием духа. Он порвал все швартовы с жизнью и отчалил на тот свет так же отважно, как мы идем в кабак или в публичный дом. Будь я владыкой неба, я за один этот поступок простил бы ему все грехи и приказал открыть для него все двери рая. Но сам владыка, конечно, этого не сделает, ибо он ослеплен своей славой и не замечает красоты человеческого духа. Зато сатана, наверное, отнесется к Джиму с бо́льшим уважением...

— О, это верно, как смерть! — подмигивая левым глазом, вставляет Блекман.

Все опоражнивают свои кружки стоя.

«Нептун», содрогаясь в бурных объятиях стихии, скрипит всем корпусом, точно страдает закоренелым рев-

матизмом. Гулко бьют волны в борта, мотая судно во все стороны, в табачном дыму странно дергаются человеческие фигуры, стараясь сохранить равновесие и моментами ловя банки с консервами, вилки и галеты, ерзающие по столу с одного края до другого. Через грязно-зеленые стекла иллюминаторов смутно рисуется взмыленное море,— оно, начиная с горизонта, то стремительно летит вверх, точно намереваясь стать ребром, то так же стремительно падает, точно куда-то проваливаясь. В кубрике сумрачно.

Один жалуется на тяжелую жизнь моряка, а сосед его, очень скромный швед, поступивший на «Нептун» в Алжире, успокаивая, отвечает на это:

— Всякий человек свой крест несет, несем его и мы.

— Так ли это? — сурово спрашивает Шелло, обращаясь к шведу.— А вдруг окажется, что не крест тащит человек на своих изнуренных плечах, а гнилое, никому не нужное бревно, и не к Голгофе приближается, а к помойной яме — что тогда делать?

Швед, смутившись, растерянно моргает.

— Эти бредни трусливых людей свободным морякам не к лицу,—продолжает Шелло, скользя взглядом по лицам присутствующих.— Плюем мы на всякое идолопоклонство! Лучше выпьем в честь моряков всех стран, за мировых бродяг, за их прошлое, настоящее и за три года вперед...

— О, я давно говорю, что у нашего рыжего дьявола не голова на плечах, а целый парламент! —восторгается Блекман, готовый пить за что угодно, лишь бы было вино.

Шелло, потрепав негра по плечу, впервые громко рассмеялся, и в его смехе ясно послышалось нечто общее между ним и Амелией. Я вспомнил, что у нее есть брат, плавающий где-то матросом, и что при первой встрече с Шелло на судне мне показалось в нем что-то знакомое. Это меня взбудоражило.

— Мистер Шелло, не течет ли в вас французская кровь? — спрашиваю я, стараясь быть спокойным.

Он удивленно смотрит на меня.

— А вы откуда знаете?

— По вашему смеху догадываюсь. Наполовину вы англичанин, иначе вы бы не были таким рыжим.

— Чертовски верно! Дальше?

Но в это время прибежавший с вахты матрос, заглянув в наш кубрик, орет во все горло:

— Все наверх!

Недовольные, с ворчанием и руганью, мы выбегаем на верхнюю палубу и останавливаемся кучкой на шкафуте, ожидая дальнейшего распоряжения.

Громадным пожарищем пылает закат, взметывая исполинское пламя, как будто окутывая распухшее солнце в огненную парчу. Словно придя в неистовый гнев, багровеет море, вспененное, клокочущее, все в холмах, поднятых яростным ветром. А с севера, точно поднимаясь из кромешного ада, дымятся черные тучи, неуклюжими пластами загибаются по своду неба, ширясь и разрастаясь, рушась, как горы, обвалами. Кажется, что все злые духи, собравшись в несметную рать, приближаются к нам, рокоча громами и с треском бросая раскаленные стрелы. Все становится странно загадочным в огненно-красном полусумраке.

Вдруг ветер исчез. Бессильно полощутся паруса. Тихо. Только не унимается потревоженное море, сурово хмурится, бурно вздымая широкую грудь. Чувствуется, как все вокруг напряжено до крайних пределов. И, заставляя настораживаться, закрадывается смятение. Как всегда перед наступающей опасностью, я испытываю обостренность зрения, подмечаю всякую мелочь.

В рубке четверо рулевых, выбиваясь из сил, работают на штурвале. Сам капитан, на мрачном лице которого я еще ни разу не видел улыбки, находится на мостике. Грузный, похожий в своем непромокаемом плаще и зюйдвестке на пирата, он, повернувшись вполоборота к своему помощнику и боцману, отдает им какие-то распоряжения. У помощника нет той отваги моряка, какой владеет капитан,— он, что-то отвечая, беспокойно оглядывается на север, откуда, вырастая от моря до черных туч, ползет на нас непроницаемая муть. Боцман смотрит на них обоих с таким видом, точно напоказ выставляет свое нескладное лицо. На мостик поднимается кок, держа в руке никелированный чайник с горячим кофе.

— Сейчас начнется трепка,— говорит Шелло, обращаясь ко мне, и видно, что он очень заинтересован мною.

— Будет дело,— отвечаю я.

Некоторые матросы, ругаясь, раскаиваются, почему они не остались в Алжире. Блекман, запуская в свои кудри руку, что-то ворчит на своем негритянском языке, хмурый, в грязной фланелевой рубахе; его черная кожа блестит, словно только что начищена ваксой.

Боцман, сорвавшись с мостика, шаром скатывается по трапу и, выделывая по качающейся палубе зигзаги, подлетает к нам.

— Паруса убрать! — кричит он, захлебываясь.— Шквал приближается! По местам!..

Все бросаются к исполнению своих обязанностей. Мы с Блекманом поднимаемся на грот-мачту убирать марселя.

Над головою ползут отяжелевшие глыбы черных туч, затмевая лазурь неба, а закат, чаруя глаз, все горит, все полыхает грандиозным пламенем, заливая всю пустыню моря алым потоком света.

Забравшись на рею, мы ложимся на нее животами и, упираясь ногами в висящие под ней просмоленные перты, начинаем работать, напрягая мускулы. Наша задача — подобрать и прикрепить к рее парус, иначе он будет разорван в клочья приближающимся штормом. Работа очень трудная, требует большой ловкости и смелости, а, к нашему несчастью, в блоках «заело» промокшие от брызг гитовы, с помощью которых парус подтягивается к рее. Нам приходится подбирать его руками.

— Торопись, Блекман! — громко кричу я.— Еще немного нам...

— О, да, еще немного! — отвечает негр, съежившись в черный ком и ловко перехватывая привычными руками треплющийся парус.

— Если застанет нас здесь шторм,— будь он, анафема, трижды проклят! — достанется нам...

— О, достанется! — повторяет Блекман и, по обыкновению, добавляет на всех языках отборную ругань.

Весь сосредоточенный на своей работе, я лишь мельком успеваю взглянуть куда-либо в сторону, но и в эти мимолетные мгновения мой мозг успевает запечатлевать все с поразительной ясностью.

Налетевший ветер дует порывами, крепчая и постоянно меняя свое направление; вздрагивает судно, качаясь на волнах; с гулом и ревом приближается, кружась,

пламенно-бурая мгла. Теперь закат, притиснутый к горизонту черными тучами, похож на широко раскрытый огненный зев какого-то сказочного чудовища.

Нам остается только закрепить уже подобранный парус, но работа становится все труднее. Из-под ногтей у меня сочится кровь.

Кончено, нам не справиться. Кругом — настоящее светопреставление. Примчавшись с угрюмого севера, из холодной ночи, в бешенстве мечутся вихри, буйно гуляют по водному простору. Ревет, шипя и ухая, возмущенное море; растут горы, движутся и с шумом опрокидываются на корабль, издающий треск под их тяжестью. С темного неба, из лохматых туч, в смятении давящих друг друга, не переставая, гневно падают раскаты грома, ослепляя зигзагами молний. Содрогаясь, беспомощно качается наш «Нептун», ложится на тот или другой борт, ныряет носом в образовавшиеся крутизны, вздымается, как испуганный конь, на дыбы перед вскипающими буграми вод. Он плывет, управляясь только одним рулем, отдавшись на волю урагана, жалкий, с разорванными парусами, трепыхающимися на нижней рее фок-мачты. По палубе прогуливаются волны, смывая плохо принайтовленные предметы. За бортом, недалеко от судна, на гребне поднявшейся волны на мгновение показывается искаженное лицо матроса, но тут же исчезает в кипящей пене. На мачтах размах качки еще больше, еще стремительнее. Прильнув к рее, мы едва удерживаемся, оглушенные бурей, окутанные кровавой мглой, подавленные и смущенные грозным величием взбунтовавшейся стихии.

Я чувствую себя маленьким, ничтожным, как букашка, прилипшая к тростинке. Глаза мои, часто моргая, слезятся от бьющего в них ветра; ветер качает мачту, и — в беспрестанном полете — спирает дыхание.

— Блекман! — опомнившись, кричу я во всю силу своих легких.— Давай кончать!..

Глядя на него, я догадываюсь, что он тоже кричит что-то мне, но мы друг друга не слышим в реве бури.

— Нет, Блекман, ничего лучшего мы не дождемся... — сам не зная для чего, ворчу я про себя и начинаю работать.

Я крепко держу нижний конец подобранного пару-

са, обдумывая, как лучше перехватить его веревкой; сожалею, что у меня только две руки, которыми нужно работать и самому держаться.

Вдруг корабль рванулся с такой силой, что я, сорвавшись с реи, полетел вниз головою. Замерло сердце, и весь я сжался, пронизанный леденящим ужасом. Молнией пронеслась мысль, что мой череп, ударившись о палубу, разлетится вдребезги. Я инстинктивно делаю какое-то движение, чтобы перевернуться, как кошка, на ноги. Но мои цепкие крючковатые пальцы, судорожно стиснув толстый конец паруса, не выпустили его, закоченели,— я повис в воздухе, беспомощно болтая ногами, напрасно ища опоры.

— Спасите! Помогите! — надрываясь, кричу я, почему-то на русском языке. Пьяным ревом отвечает мне буря.

В первый момент, потрясенный своим падением и вместе с тем обрадованный, что можно еще некоторое время держаться, я почти не ощущаю тяжести своего тела. Точно обозлившись на мою дерзость, рвет и кружит меня ветер. Он бросает меня во все стороны, силясь сорвать, но крепкие мускулы моих жилистых рук напружинились, как сталь.

Я смотрю вниз,— на палубе, окатываемой волнами, никого нет. И оттого, что там пусто, безлюдно, и от этой головокружительной высоты, на какой я болтаюсь, душу мою еще больше охватывает ужас.

— Помогите! — снова кричу я, уже по-английски.

С меркнущего неба, колыхаясь, опускаются грязные завесы: вспыхивая, дрожащими извивами сверкает молния; летят вверх, как раскинутые плащи, сорванные гребни волн; вся поверхность моря, насколько проникает глаз сквозь кровавую мглу, вздувается горами, точно с таинственного дна поднимаются вулканы и извергают лаву. По-прежнему беспомощно качается наше судно. Иногда, проваливаясь в глубины, вырытые бурей, оно на секунду останавливается, словно страшится вырастающих из воды темно-зеленых стен, готовых обрушиться на палубу, и снова плывет, поднимаемое невидимой силой на крутые высоты гребней.

Кружась на парусе, я мельком успеваю заметить на мостике одинокую фигуру,— капитан стоит, втянув голо-

ву в плечи, держась за поручни, не двигаясь с места, словно остолбенев перед грозою, а до меня ему как будто нет никакого дела.

Мой страх сменяется бешеным гневом.

— Помогите же, дьяволы!.. О, проклятые!..

Зубы скрежещут, точно перетирают железо, во рту противная горечь.

Мускулы начинают уставать, а я все болтаюсь на этих дьявольских качелях. Ветер кружится, толкает, рыдает и орет на все голоса, играя с моим телом, снося вместе с парусом в сторону от мачты и потрясая над разверстыми безднами рычащего моря. Хочется кричать, заглушая бурю, кричать на весь мир, чтобы подавить жуть перед близостью смерти. Но, онемев от ужаса, задыхаясь от воздуха, распирающего легкие, я только крепче сжимаю мозолистые, крючковатые пальцы, и скорее можно оторвать мое туловище, чем руки от паруса.

Я сознаю ясно и точно, что мне не спастись, но что лучше: разбиться в кровавую лепешку о палубу или задохнуться в кипящей пучине?

Закрываю глаза. Во мраке гул громче, оглушительнее, а когда корабль кренится, то кажется, что он сейчас же перевернется вверх килем. Смотрю вверх.

Кто это такой? Ах! Это Блекман. Это он, охватив руками рею и плотно прильнув к ней, маячит кудрявой головой. На черном лице его толстые губы выворочены больше, чем обычно. Он как будто дразнится, показывая красные десны и белый оскал стиснутых зубов. Его правый глаз, пучась, смотрит нагло, а левый — все подмигивает, точно издеваясь надо мною.

— Болван! Идиот! — кричу я, приходя снова в ярость.— Спусти мне конец! Понимаешь, нечистая сила? Зарежу!..

Огненный шар молнии пролетает мимо нас так близко, что чувствуется запах серной гари.

Негр, продолжая подмигивать левым глазом, еще больше скалит зубы, его толстые щеки дрожат, точно он хохочет надо мною. В этот страшный момент мне вдруг ярко вспоминается, как на острове Мадейра норвежец ударил Блекмана бутылкой по лицу.

— Слышишь, Блекман? Я жалею, что твой дурацкий глаз не выбили тогда совсем, жалею, что треснула бутылка, а не твоя глупая башка!..

Словно плевки, летят в меня лохмотья пены, залепляя глаза, до боли хлещут, как крупным градом, брызги.

Мне кажется, что я начинаю терять рассудок.

Темнеет. Продолжая маячить, голова негра разбухает до невероятных размеров, поражает своею несуразностью. Это уже не Блекман, какое-то мрачное видение, которое парит над бездною пространства, уносит на огромнейшем трепыхающемся крыле и меня с собою. Мысли путаются, я теряю представление о времени. Среди пустыни бурлящих вод, этих проклятых зыбей, поднимающих и низвергающих нас, в грохоте громовых раскатов, в реве осатаневшей бури трудно себе представить, что есть где-то твердая земля, освещенная ярким солнцем, с пышною зеленью и благоухающими цветами, со всеми сущими в живых,— она исчезла, как прекрасный сон, поглощенная водной хлябью. Действительно ли наступает сумрак ночи, сгущаясь и плотнея, или мои глаза, наливаясь кровью, перестают видеть,— я не знаю, но только передо мною уже нет ни моря, ни туч. Всюду непроглядный мрак, раскалываемый ломаными полосами огня, а мне кажется, что это с грохотом рушатся миры, сверкая последними вспышками жизни и превращаясь в изначальный хаос. Все погибло, все пожрала смерть. Только я да еще тот, за чье крыло я держусь, продолжаем жить...

В потухшем моем сознании внезапно всплыл дорогой образ.

— Амелия! — крикнул я во весь голос, отделяясь от крыла...

Очнувшись на второй день, я сам себе не поверил, что нахожусь в матросском кубрике. Медленно и плавно покачивается корабль, поднимаемый мертвой зыбью.

В иллюминаторы, бегая по стенкам нашего помещения, заглядывают лучи солнца. Я лежу на нарах, прикрытый старым знакомым одеялом, а около меня, о чем-то беседуя, сидят Блекман и Шелло. По привычке я пытаюсь вскочить на ноги, но тут же бессильно падаю обратно, застонав от острой режущей боли в правом боку.

— О, проснулся, друг? — повернувшись ко мне, говорит Блекман, весь какой-то измятый, с воспаленными глазами, точно он не спал целую неделю.— Это хорошо! С добрым утром!..

С трудом, больными руками, я ощупываю голову, тяжелую, точно налитую ртутью,— она вся в тряпках с засохшею на них кровью.

Негр, булькая, из толстой бутылки наливает в кружку какую-то жидкость и озабоченно подносит мне.

— Промочи горло марсалой. Сам Единоутробник Вельзевула прислал.

Пока я с жадностью глотаю приятное вино, негр, ругаясь, сообщает:

— О, подлый ураган был! Думал, конец вам...

— Да, среди стихий произошло довольно крупное недоразумение,— добавил Шелло.

— Как же я спасся?

— Вы вперед на ванты упали, а потом скатились на палубу,— сообщает Блекман.— В этот момент как раз молния сверкнула. Как увидел я, что с вами случилось, в момент спустился вниз. Боялся, что вас волнами смоет. Но, как видите, все вышло благополучно.

Мне нельзя повернуться: боль во всем теле, а в особенности — в правом боку.

— У меня, кажется, ребра сломаны.

— Ничего, в больнице починят,— невозмутимо говорит Шелло.

— Много наших погибло?

— Нет, только двое на завтрак акулам пошли.

Блекман накачивает меня марсалой, сокрушаясь при этом, что напиток этот женский и одна лишь забава, что совсем другие результаты получились бы, если бы я хватил кружку-другую чудодейственного «смерча». Скоро я забываюсь и начинаю бредить. В моем мозгу все время вертится Амелия, путаясь с какими-то другими видениями. Я что-то кричу, что-то хочу понять, осмыслить — напрасно. А когда прихожу в себя, передо мною — все те же двое матросов.

— Скажите откровенно: вы не родственник мне? — нагнувшись ко мне, спрашивает Шелло в один из моментов моего прояснения.

— Нет, Билль Браун, я вам не родственник. Я натолкнулся, Билль Браун, на подводные рифы...

Его глаза недоуменно остановились на мне.

Потом смутно помню, как перетаскивали меня на какую-то лодку; как Блекман, прощаясь, крепко сжимал мою руку; смотрел влажными глазами и, сквернословя, все уговаривал не поддаваться смерти; как с чужими людьми, перекатываясь по зыбким валам, я направился к чужому пароходу, густо дымившему в ясное небо.

IX

...Я куда-то медленно погружаюсь. Меня мягко обволакивает желто-зеленый туман, скрывая все предметы. До слуха доносится неясный шум. Дышать становится все тяжелее, сердце как будто останавливается. Чем глубже я опускаюсь, тем беспросветнее становится кругом. Мне приходит мысль, что я попал в воду и, сохраняя лежачее положение, медленно утопаю. Это вызывает во мне удивление. Дальше я уже не сомневаюсь, что лежу на дне глубокой реки, занесенной скользкой тиной, и никак не могу понять, почему во мне продолжает еще теплиться жизнь. В правом боку я чувствую тупую боль, как будто мои ребра схвачены медленно сжимающимися клещами. Я едва перевожу дыхание, не могу пошевелить ни одним мускулом, придавленный массою воды. Чувствуется отвратительный запах, вызывающий тошноту, в голове такая муть, что мысли, путаясь, еле шевелятся. Почему надо мною шум? Я понимаю — это ходят по реке пароходы. Не хватает воздуха для дыхания. Умер я или нет?.. В моем сознании наступает какой-то перерыв, тьма...

...Обволакивающий меня туман, рассеиваясь, начинает проясняться, точно наступает утро, хотя ничего еще не видно. Из какой-то неизмеримо глубокой бездны меня, словно на лифте, тихо и бережно, без единого толчка поднимают вверх. Это продолжается невероятно долго — может быть — час, а может быть — целый век. Я определенно чувствую, что ко мне возвращается жизнь, проникая через все поры в мой организм. Дыхание облегчается. Но куда же девались река и мерзкие жабы?..

Перед глазами высоко-высоко мерещится белая точка, настолько маленькая, что напоминает булавочную головку. Она медленно опускается, вырастая, становясь все отчетливее, расширяясь в плоскости, принимая наконец квадратную форму потолка. Вместе с тем я смутно слышу какой-то отдаленный гул. Постепенно приближаясь, он переходит в людской говор. Я поворачиваю голову и оглядываюсь кругом: большой, ослепительной белизны зал, на стенах стеклянные шкафы с какими-то блестящими металлическими приборами, фарфоровые умывальники с никелированными кранами; около стола, на котором я лежу, глядя на меня и разговаривая на непонятном мне языке, стоят несколько человек, мужчин и женщин, одетых в белые как снег халаты.

Через большие окна, падая на пол, льются необыкновенно яркие лучи, горячей бирюзой пламенеет небо. Я долго не могу понять, зачем попал в это помещение и куда исчез лифт, поднимавший меня из бездны. Задыхаясь от нахлынувшей радости, я боюсь лишь одного: чтобы опять не пришлось погружаться в какую-то пропасть. Наконец догадываюсь, что мне в боку делали операцию.

— Хорошо починили? — улыбаясь, спрашиваю я.

Пожилой господин, вероятно, главный хирург, с острой бородкой на смуглом лице, весело объясняет мне на плохом английском языке, что операция прошла благополучно и что два сломанных ребра и поврежденная голова скоро заживут.

— Через месяц можно опять отправляться в море.

— Нет, доктор, довольно плавать.

— Почему?

— Не хочу... Надоело мне море.

Доктор смеется, рассказывая что-то по-итальянски другим, улыбаются и все остальные. Мне нравится этот веселый человек, вызывающий во мне, как мажорные звуки, бодрое настроение.

По его распоряжению меня перекладывают осторожно на носилки и переносят в одну из многих палат.

С нескольких коек на меня смотрят больные.

Меня все еще не покидает противный запах хлороформа. Голова шумит, а в боку — тупая боль. Сестра

милосердия, черноглазая итальянка, когда меня переложили на койку, что-то наказывает мне и уходит.

Я не могу нарадоваться от сознания, что продолжаю жить и что нахожусь на твердой земле. Смотрю в открытые окна, откуда, грея сердце, веет лаской радостной весны. Синеет небо, зеленеют деревья, развернувшие нежную листву, горят цветы, упиваясь лучами богатого солнца.

Справа, по склону горы, раскинулся город — старинные, почерневшие от времени замки, сквозные арки древних колоколен, белые квадраты новых домов, виллы с мраморными колоннами, с красивыми башнями над ними, площади с памятниками. Чем выше, тем здания реже; они прячутся за тенистые платаны и фиговые деревья, кутаются в кудрявую зелень плюща. Слева, уходя в ясную беспредельность, высятся полувоздушные гребни гор. Осторожно приподнявшись на руках, я вижу часть тихого моря, улыбающегося искрометною лазурью; но мне не хочется смотреть на него, я отворачиваюсь, как от коварного предателя, намеревавшегося задушить меня, и с дрожью вспоминаю об ужасе, пережитом над бездной...

— Нет, довольно плавать! Сколько раз моя жизнь висела на волоске! Ни за что больше не пойду в море!..

Перед окнами, среди других растений, томясь от зноя, стоят несколько толстых, коротких пальм; они похожи на ожиревших купчих, вызывающих во мне своим сытым самодовольством безобидный смех. Рядом с ними возвышается нескладный кактус. Он ощетинился острыми иглами, издает пряный запах своих красных цветов, смело подставляет жгучему солнцу зеленые мясисто-толстые ладони, и в нем столько твердости и уверенности, что хочется самому быть в жизни похожим на него. А в общем, я не могу оторвать глаз от земли, словно впервые увидел всю прелесть ее весенней жизни, впервые передо мною развернулась чудесная поэма ее творческой мощи.

Крепнет во мне сила, проясняется сознание, растет великая радость. Мое сердце до краев переполнено счастьем жизни, как хрустальный бокал искрящимся вином.

X

Я опять в том городе, где живет Амелия. Мне нужно только взять свои вещи и сейчас же уехать, чтобы никогда больше не возвращаться в эти места.

— Что с вами, мистер Антон? — поздоровавшись, спрашивает квартирная хозяйка, удивленно глядя на меня.

— Ничего.

— Вы постарели лет на десять!

— Возможно,— я был болен.

А когда узнала, что я собираюсь уехать куда-нибудь на работу, то дружелюбно заговорила:

— Ни за что не отпущу! Нет, нет! Куда такому ехать? Вам нужно поправиться, отдохнуть. Кстати, ваша комната свободная. А я вас подкормлю...

Всегда твердый в своих намерениях, я на этот раз легко соглашаюсь с ее доводами, что со мной редко бывает, и решаюсь остаться здесь на два дня, но живу вот уже вторую неделю, успокаивая себя тем, что еще имею денежный запас. Гуляя по шумным улицам, я каждый раз стараюсь далеко обойти дом Амелии, чтобы не встречаться с нею. Меня больше тянет за город; там я брожу в одиночестве и любуюсь пышным праздником земли. Иногда, уйдя из дому алым утром, я прихожу к любимой роще с восходом солнца. На деревьях, одетых в брачный наряд молодой листвы, на изумрудном бархате травы, на цветах, как слезы восторга, сверкают капли росы. Трелью жаворонков и других птиц звенит небо. Залитый лучами, я стою на опушке, привалившись к дереву, и с замиранием сердца слушаю удивительную песню поздней весны. Вытянув шею, шмыгнет в траву куропатка; выскочит из кустов, станет на задние лапы, прядая острыми ушами и бестолково кося на меня выпуклые глаза, серый кролик и поскачет дальше,— все это жалкая дичь, обреченная на охотничью потеху лендлордов. А рядом, зеленея молодыми всходами посевов, тянется поле, изрезанное на участки и огороженное кустарником. Вокруг разбросаны фермы. Проголодавшись, я захожу к крестьянам, чтобы купить что-нибудь съедобное. В Англии эти арендаторы чужих земель считаются бедными, но эта бедность для меня, выросшего в рус-

ской деревне, кажется странной: в больших каменных домах — чистота, на окнах — гардины, на стенах — зеркала в человеческий рост, на полу — ковры, у некоторых хозяев имеется даже мягкая мебель и пианино. Глядя на обстановку и на сытых и хорошо одетых людей, невольно с горькой обидой вспоминаю русских крестьян, моих родственников, живущих среди лесов в полуразвалившихся хижинах, оборванных и голодных, вечно пригнутых к земле, точно отверженное племя. У меня такое чувство, как будто я что-то потерял и должен потерянное непременно найти. Радостный, восторженно воспринимающий жизнь, я испытываю тоску. Беспричинная и непонятная, она, точно вода в худой трюм, просачивается мне в грудь, нарушая равновесие духа. Твердая земля начинает надоедать, все больше, все сильнее тянет меня к морю.

Стоит жаркое время, полное безветрие. Лениво плещутся волны, выкатываясь на отмели, гоняясь за детворой, бегающей с веселым гамом по берегу, а дальше, расплавив в себе солнце, не шелохнется необъятная гладь воды. Только корабли, направляясь в разные страны, режут и ломают, кроша на куски, голубую, золотисто-вспыхивающую эмаль,— вцепишься глазами в один из них и жадно провожаешь до тех пор, пока он не скроется за горизонтом. Утомленный зноем, я начинаю купаться и, держась в одиночестве, плаваю на том месте, где год тому назад встретился с Амелией. Густая соленая вода держит тело легко,— я долго лежу на ней, точно на мягкой постели, опрокинувшись на спину, раскинув руки и не шевелясь. Приятно смотреть, прищурив глаза, в бездну неба, откуда, ласково обжигая, льются горячие потоки света. Хорошо! В один из таких моментов около меня неожиданно появляется знакомая пунцовая повязка и вслед за тем раздается радостный голос:

— Мистер Антон, дорогой друг, вы ли это?

— Да, мисс Амелия, вы не ошиблись,— отвечаю я, приняв моментально стоячее положение.

— Как я рада, что встретила вас...

Я целую протянутую мне руку. Амелия смущенно краснеет, словно залитая заревым отсветом, и снова кажется мне дорогой и близкой, как заветная мечта.

— Вы так изменились!

— Полагаю...

— Мне все известно про вас... Знаю, как вы висели на парусе, как разбились и как потом на другом пароходе отправили вас в Италию...

— От брата узнали?

— Да. О, сколько я слез пролила, когда узнала о вашем несчастье!..

Мы держались на воде, не двигаясь с места, находясь друг от друга на расстоянии одного шага. И теперь для меня уже нет никакого сомнения, что до сих пор я самого себя обманывал, избегая встречи с Амелией. Нет, я ее именно искал и, найдя, готов крикнуть на всю морскую ширь, что я вновь обрел свою радость.

— Ну, как вы теперь чувствуете себя?

— Хорошо, спасибо. Поправляюсь.

Разговаривая, я смотрю на нее: вся та же бесконечно милая Амелия, тот же звонко-переливчатый смех, те же игриво волнующие глаза, но вместе с тем в выражении лица и взгляда чувствуется какая-то неуловимая перемена, точно она познала в жизни то, чего не знала раньше.

От такого наблюдения мне становится немного не по себе.

— А вы как поживаете, мисс Амелия?

— Называйте меня просто — Амелия. Я теперь...

Она неловко запнулась, заметив мой испуганный взгляд, и стыдливо потупилась.

— Давно?

— Около месяца.

Остро заныло сердце, словно впились в него скорпионы, застучало в висках.

— Поздравляю вас, мистрис Амелия, с законным браком! Желаю вам, мистрис Амелия, полного счастья... Желаю... Прощайте...

Заговорил я громко, насмешливо, но не выдержал, и мой голос, задрожав, оборвался. Быстро повернувшись, я поплыл от нее прочь, а вслед мне неслось:

— Куда вы? Мистер Антон! Подождите! Я вас прошу, умоляю!.. Я вам должна что-то сказать...

Делая руками большие взмахи, задыхаясь от волнения, точно мне не хватает воздуха, я быстро направляюсь к берегу. Перед глазами, колыхаясь, ходуном ходит вся земля и все здания, а море будто опрокидывается.

XI

Я выздоровел окончательно, как будто никогда и не были сломаны у меня ребра, но тем более начинает надоедать суша. Целыми днями я брожу по ней, не зная куда приткнуть себя,— одинокий, никому не нужный. Когда шагаешь по твердой земле, даже в ногах, привыкших балансировать по качающейся палубе, чувствуется неловкость. Мускулы тоскуют по физической работе. И весь этот мир, застроенный многоэтажными домами и фабриками, церквами и кабаками, кажется мне узким и тесным. Поэтому большую часть времени я провожу у моря, всматриваясь в его солнечный простор, а оно, меняя цвета с каждой переменой дня, так красиво переливается огнистыми бликами, что забываешь пережитые на нем ужасы, и опять тянет в дальнее плавание. Бывая в гавани, я с завистью смотрю, как грузятся корабли, готовясь в путь, как с вновь прибывающих судов матросы, сойдя на берег, гурьбой отправляются в город,— обожженные солнцем, обвеянные всеми морскими ветрами, веселые, с буйной удалью. Иногда знакомые, встречаясь, рассказывают, где побывали, каковы были рейсы, сообщают о свободных вакансиях на хороших судах, и от этого еще тяжелее становится на душе.

Однажды я пришел в гавань рано утром. В воздухе тихо. Всюду непроницаемый туман. Словно окунувшись в мутную воду, я осторожно шагаю по каменному берегу, угадывая путь лишь потому, что мне все здесь знакомо. В помощь невидимому солнцу горят фонари, выделяясь в воздухе желтыми пятнами. Густой, похожий на бурый дым туман волнуется, плотнея в одном месте и редея в другом, скрывая море, небо, город. Глядя на эти клубы, бесшумно ползущие, как привидения, над землей и гаванью, все время ждешь какого-то необыкновенного события. Кругом ничего не видно, но это не останавливает работ. Гавань живет своей напряженной жизнью, полной неясных, смутных движений и разнообразных звуков. Раздвигая мутные воздушные волны, на мгновение показываются ломовые подводы, паровозы, люди, суда, едва намечаясь слабыми очертаниями, и сейчас же исчезают совсем, скрываясь в толпе колыхающихся привидений. Беспрестанно звонят судовые колокола, отби-

вая рынду, тревожным гулом меди оглашая всю гавань. Со всех сторон, приближаясь и удаляясь, несется истерический вой сирен, но думается, что это зловеще кричат крылатые чудовища, рея в непроглядном воздухе. Я иду дальше, мягко окутанный клубящимися волнами тумана, и все мне кажется призрачным и загадочным.

Часам к десяти от тумана не осталось никаких признаков. В этот день, гуляя по берегу, я понял, что мне трудно жить на земле. Море зовет меня, зовет властно своим простором, своей свободной стихией, своими ароматами, криками чаек, торжественными гудками отходящих пароходов. И хотя я знаю, что там, за хрустальным горизонтом, за раскинувшейся ширью, за гранью голубого купола, опрокинувшегося над такою же голубою равниной вод, встречусь с такими же берегами, застроенными всевозможными зданиями, заселенными заботливыми людьми, но все равно меня неодолимо тянет туда.

Пока что я твердо храню свое решение не пускаться больше в плавание, но вместе с тем мне почему-то нравится зубрить морские книги. Для этого я ухожу далеко за город и располагаюсь в избранном мною местечке на песке, между двух камней, у самого моря.

Как-то вечером я засмотрелся на закат, подернувший розовой дымкой всю водную пустыню, и не заметил появления Амелии.

— Я знала, что встречу вас здесь,— протягивая мне руку, сказала она с веселым смехом.

— Почему? — спрашиваю я, вскакивая на ноги.

— После полудня я издали видела, что вы направились вдоль берега в эту сторону.

Как две зеленых звезды, ласково мерцают ее глаза, невольно заставляя меня улыбаться.

— Я вас давно разыскиваю. Мне нужно расспросить о своем брате. Ну, как он поживает, куда направляется, когда думает вернуться в Англию?..

Амелия осторожно садится на камень, предварительно сдув с него пыль, чтобы не запачкать своей темно-синей юбки, а я опускаюсь возле нее прямо на песок. Прозрачная белая кофточка и такая же белая панамка красиво оттеняют ее лицо, покрывшееся здоровым загаром.

На груди у нее краснеют розы. Отвечая на все ее вопросы, я подробно рассказываю при этом о нашей тяжелой жизни на «Нептуне», не упуская ни одной мелочи.

— Это ужасно, что вам приходится выносить,— слушая меня, восклицает по временам Амелия, лицо ее становится печальным, будя во мне доброе чувство к ней.— Бедный мой брат!..

Гаснет закат, меркнет море, словно линяя, на небе робко загораются звезды.

Амелия снимает с своей груди розы, выбирает лучшую, подает ее мне, говоря:

— От всего сердца.

— Такого же яркого, как этот цветок,— добавляю я, принимая подарок.

Амелия светло улыбается.

— По описанию Билля, я думала, что вы совсем погибли.

— Нет, я еще поживу.

— Очень рада за вас.

Помолчав, она говорит, играя оставшимися у нее розами:

— О, если бы только письмо от Билля пришло на три дня раньше...

— То? — спрашиваю я.

— Ничего... Жизнь моя могла бы сложиться по-другому...

Последние ее слова, скрытый смысл которых для меня ясен, окрыляют меня, и ко мне снова возвращаются бодрость и вера в себя.

Кругом безлюдье и тишина. В море загораются огни рыбачьих лодок, вспыхивает маяк, посылая радость возвращающимся морякам, приветно извещая их о близости земли. Весь город залит мерцающими огнями, над ним, раздвинув тьму, висит матовый отсвет.

Амелия становится веселее, сочный голос ее вздрагивает. Рассказывая мне что-то о театре и своей подруге, она смеется, и серебряная трель ее смеха удивительно гармонирует с тихими всплесками волн.

— Брат мой уверен, что я уже вышла замуж за вас. Он вас очень хвалит. Жаль, что я не захватила с собой письма: в нем вы прочитали бы о себе целую повесть. Между прочим, он сообщает, что когда вы лежали в об-

мороке, то будто бы произносили мое имя и назвали меня любимой... Правда это?

Мне хочется крикнуть, что все это правда, что она и теперь для меня, как солнечная сказка, но признаться в этом стыдно и, кроме того, досадно, что она задает мне такой вопрос. Я отвечаю с напускной холодностью:

— Может быть... Не помню...

— Какой вы серьезный! Я хотела бы, чтобы мы остались друзьями. Понимаете? На всю жизнь друзьями...

— Почему же нам быть врагами? Делить нам нечего. Все разделено, все поставлено на свое место.

— Вы ужасно злой человек!

Неясная черта горизонта загорается ярким заревом, а через минуту-другую, гася мелкие звезды, медленно поднимается полная луна, протягивая к нам широкую, словно усыпанную серебряной чешуей, полосу отражения. Воздух становится синим, далекие здания города и извилистый берег принимают более четкие контуры.

Мы долго молчим, глядя на просветленную ширь моря.

— Ну, что же, вы довольны своей судьбой? — спрашиваю наконец я, тяготясь нашим молчанием.

Метнув на меня недовольный взгляд, Амелия быстро отвечает:

— О, конечно!.. Муж меня боготворит. Так едва ли кто может любить. Он для меня не задумается сделать что угодно, хотя бы преступление, хотя бы это грозило его собственной жизни...

— А вы его?

— Само собой разумеется, что он не остается без ответа. Его нельзя не любить. Это удивительный человек! Смелый, прямой и красавец! Для меня мучительны те часы, когда он находится на службе. Ах, как хорошо быть постоянно вместе с любимым человеком!

Закинув вверх руки, Амелия поправляет пушистые волосы, необыкновенно привлекательная в сиянии луны.

— Нам пора идти,— подавленно говорю я, чувствуя зависть к своему сопернику.

— Да, пора,— отвечает она с обидой в голосе.

Но мы продолжаем сидеть, словно пригвожденные к берегу.

— Я была знакома со многими мужчинами. Некоторые из них мне очень нравились. Но теперь все они кажутся мне ничтожными в сравнении с моим мужем...

Мне показалось, что она издевается надо мною, издевается над моими лучшими чувствами и над тем, что пришлось пережить из-за нее. Поднявшись, я приближаюсь к ней и сурово спрашиваю:

— Неужели в сравнении с вашим мужем все мужчины — ничтожество?

Она тоже встает, выпрямляется и, нахмурив брови, похожие теперь на раскинутые крылья чайки, смотрит на меня в упор, упрямо повторяя:

— Все, все!.. И я презираю их теперь!

Я крепко схватил Амелию за руки, настолько взбешенный, что готов был швырнуть ее в море.

— И меня в том числе?

— Пустите! Больно! — вскрикнула она, тщетно вырываясь.

— Отвечайте!

— Антон! Милый, какой вы сильный!..

Амелия запрокинула голову, прикрыв ресницами глаза, словно стыдясь лунного света.

Я обхватил ее за талию, привлек к себе, близко заглянул в лицо, ощущая ее дыхание и трепет вздрагивающего тела...

Пустынное, в блеске высоко поднявшейся луны, море сладко дремлет, безмятежно раскинувшись, счастливо излучаясь, словно от красивых сновидений. Занимается заря, разливаясь по краю неба узкой розоватой полосой. В предрассветном воздухе — бодрящая свежесть. Всюду разлита торжественная тишина. Только у самого берега, вдоль которого, возвращаясь в город, мы идем с Амелией, пенистые волны, похожие на взбитые сливки, выкатываясь на отмель, безумолчно мурлычут, как обласканный кот, свою мелодичную песню.

Во всем теле у меня усталость, но на душе легко и отрадно: музыкой переливаются неясные чувства, реют неуловимые мысли, точно светлячки в жаркие тропические ночи.

— Дальше не нужно провожать,— останавливается Амелия, когда мы приблизились к городу.

— Хорошо,— соглашаюсь я, глядя на нее, утомленную, но счастливо улыбающуюся.

Прощаясь, она бросается мне на шею и шепчет:

— Если бы вы только знали, как мне не хочется возвращаться к мужу!.. Я терпеть его не могу! Милый! Почему вы тогда ни разу не схватили меня так сильно, как теперь? Почему вы тогда заговорили о тюрьме? Ведь могло бы выйти все по-иному. Мы родились с вами друг для друга... Но об этом после... Завтра я приду к вам на то же место... Ждите...

Залитая блеском загорающейся зари, Амелия уходит какой-то особой, крадущейся походкой, осторожно стуча каблучками по асфальту тротуара и немного согнувшись, словно чувствуя на себе греховную тяжесть, а я, стоя на одном месте, провожаю ее глазами, пока она не сворачивает за угол.

Мне не хочется спать. Вернувшись к берегу, я брожу по извилистой кайме ракушек, брожу без мыслей и дум, внимая лишь тихой музыке волн. Гаснут последние звезды, бледнеет, словно умирая, луна, а восток разгорается все сильнее, отбрасывая лучи из пурпура и золота. Море, освобождаясь от покрова ночи, пламенеет; по зеркальной глади, сплетаясь в причудливые тона, разливаются цветистые краски; небо, голубея, поднимается выше; раздвигается, огнисто сверкая, горизонт. Ширится и моя душа, просветленная и бодрая, словно орошенная золотым дождем, становится всеобъемлющей, сливаясь с вольным простором, пронизанным ярким светом показавшегося солнца.

Море... зовет.

Быстро, словно боясь опоздать, я иду в матросский дом наниматься на корабль.

ПОДВОДНИКИ

Когда человек идет на смерть, то самое меньшее, чего он может требовать, это знать: зачем?

Вагнер

От женщины, как и от смерти, никуда не уйдешь.

Горький

Наша подводная лодка — маленькая, чуть заметная струнка в грохочущем концерте войны. Сейчас она стоит в гавани, отдыхает. Пожалуй, я по-своему люблю ее. Разве во время походов мы не спасались на ней при самых рискованных положениях? Но при первой же возможности я стараюсь уйти от нее: для измученного сердца нужна ласка. А это я могу найти только здесь, на пустынном берегу моря.

Теплый ветерок забирается за просторный ворот моего матросского костюма и щекочет тело. Я лежу на отшлифованной гальке и улыбаюсь редким облакам, солнцу, морю. У ног толкуют волны. О чем? Разве я знаю? Может быть, о том, как спорили с буйными ветрами, как жарко под экватором, как вольно им живется на просторе. Над городом, что разбрелся по широкому плоскогорью с редкой зеленью, мутно от чада и пыли. А здесь светло и радостно. И в моей душе — ясное утро тропических морей.

Осиротел я очень рано. Восьмилетним мальчиком попал в большой портовый город. Никого из своих. Только один дядя, содержатель маленькой лавчонки. Я помогаю ему торговать дрянной колбасой и «собачьей радостью»: рубцом, печенкой, легкими.

Наша квартира — на окраине города. Здесь ютится нищета, оборванная, чахлая, изглоданная нуждою. А на главных улицах — богатство и роскошь. Магазины — чего только в них нет! Разбегаются детские глаза, кружится голова.

Но больше всего меня занимало море. Эх, и размахнулось же оно! Куда ни глянь — все вода. Иногда она затягивается синим атласом. Солнце огневыми ладонями разглаживает морщины, вышивает золотые узоры. Нельзя оторвать глаз. Потом откуда-то прилетит ветер. В его поступках есть что-то мальчишеское. Он любит поиграть, выкинуть ту или другую каверзу. Нагонит столько туч, что залепит ими все небо, и начинает биться невидимыми крыльями о поверхность моря. Золотые узоры исчезают. Все смято, встрепано. Поднимается гул и рев. Я тогда смотрю на море с боязливым любопытством. Бездны его выворачиваются наизнанку. Горбатые волны кажутся демонами. Это они, лохматые и седые, катаются по взъерошенной воде и громко ржут...

Чего только не придет в детскую голову?

Дядя мой скоро пропился вдребезги. Устроил меня поводырем у слепого музыканта, что жил с нами на одной квартире. Строго наказал:

— Слушайся его. Старик он хороший.

А сам переехал в другой город.

Помню — на старике потертый клетчатый костюм, широкополая соломенная шляпа. Лицо у него — как у апостола Павла, что нарисован в нашей церкви. Имя — Влас Власович.

Я вожу его ночью по домам, у которых горят красные фонари. Он играет на скрипке. В его умелых руках скрипка поет на разные голоса, рыдает, смеется, выводит такие трели, что заслушались бы сами жаворонки. В такие моменты я искренне люблю старика. Любят его и накрашенные девицы.

— Влас Власович. Еще что-нибудь! Чувствительный романс...

Слепой музыкант продолжает свою игру, а я с фуражкой в руках обхожу публику.

Каких только мужчин здесь нет! Пожилые, почтенные отцы семейств и безусые юноши, почти мальчики.

Одни из них уходят, другие приходят. Торгуются с женщинами, говорят о похабщине со смаком, как о сладких пирогах. Вообще здесь все происходит проще, чем на собачьей свадьбе.

Накрашенные девицы относились ко мне по-разному.

В одном доме с красным фонарем меня очень раздражала Леля. Голос у нее твердый, как у мужчины. При каждой встрече она всегда мне предлагает:

— Давай, сопляк, полтинник — научу...

Мне обидно до слез. Я с благодарностью смотрю на Грушу, пожилую и потрепанную женщину. Она всегда заступается за меня:

— Бесстыдница! Лахудра!.. Зачем тебе нужно дите совращать?..

Груша некрасива — слишком большие у нее скулы. Мужчины берут ее редко — только тогда, когда все остальные девицы в расходе. Хозяйка относится к ней враждебно — бездоходная. Но мне она нравится больше всех. У нее хорошая улыбка. Расспрашивает, кто я, откуда, как живу. Часто дарит гостинцы. Я начинаю привыкать к ней. У нас завязывается дружба. Однажды приглашает меня в свой номер. Отказаться не хватило смелости. Иду и со страхом думаю: что теперь будет? Груша запирает за собой дверь свой комнаты. Потом целует меня и плачет:

— Сиротик ты мой несчастный! Ты один и я одна. Мне тяжело здесь. Надоела эта проклятая жизнь. Я скоро уйду отсюда. Хочешь быть моим сыном? Заживем вместе. Нам будет хорошо.

От ее слов повеяло лаской. Я согласился.

Через несколько дней мы поселяемся в комнате подвального помещения. Жизнь наша налаживается. Правда, Груша продолжает ходить по трактирам и баням, но делает это тайно, чтобы я не мог догадаться. С любовью заботится обо мне, учит грамоте. Называет меня сыном, а я ее — матерью.

Так мы прожили больше года.

Однажды осенью она не явилась домой. Прошли целые сутки. А на вторые — меня позвали в больницу. Я шел и дрожал от волнения. А когда увидел ее, бледную и стонущую, едва не зарыдал. Она умирала. На короткое время пришла в сознание, узнала меня.

— Сеня, сынок мой... Меня зарезали... Пропадешь теперь без меня...

Последние слова каленым железом вонзились в сердце.

Через два дня после смерти Груши пришел ко мне в комнату угрюмый дворник. Поглядел кругом и коряво заявил, точно груз сбросил с плеч:

— Ну-ка, ты, щенок, вытряхивайся со своими манатками...

— Куда?

— Куда хочешь. Мне до этого дела нет...

Жизнь показалась такой страшной, точно меня окружали не люди, а крокодилы, каких я видел на картинках.

Что было со мной дальше? Про это знает только море. Только оно одно, соленое и сладко-пахучее, не дало сгнить моей душе в когтях портовых трущоб. Качало на своих пенистых волнах, пело песни о радостях солнца.

Другое приходит на память — рыбные промыслы, на которых когда-то работал. Это дьявольски тяжелый труд. Но что может чувствовать юноша в восемнадцать лет? Свидания с молодой рыбачкой, светлоокой Марийкой, вливали в мою грудь бодрость. С этой девушкой я познал первую любовь, чистую и пахучую, как липовый мед...

Протяжный гудок оборвал мои мысли. Это дает знать о себе подводная лодка «Тригла». Она вернулась из боевого похода и теперь направляется в гавань. Я радуюсь, что она пришла. Да и как не радоваться? На ней я получил первое свое подводное крещение.

На «Триглу» я был назначен после окончания курса в классах минных машинистов. Никогда не забыть первого впечатления. Снаружи лодка похожа на длинную сигару. Никаких надстроек, кроме рубки, двух перископов, двух пушек и одной радиотелеграфной мачты. Внутри — я ошарашен обилием разных механизмов, приборов и аппаратов. Они всюду — внизу, над головой, по бортам. Машины, трубы, провода, вентиляторы, помпы, клапаны, рычаги, краны — всего не перечислить. Рябит в глазах. И каждая вещь имеет свое важное назначение, свой скрытый смысл. Это какое-то чудовище с очень

сложным организмом, порождение буйной человеческой фантазии.

Потом первое плавание под водой. Большой рейд. Серый, но тихий день. Сделаны необходимые приготовления. Задраен последний люк. Из рубки падают внутрь лодки тяжелые, как гири, командные слова:

— Заполнить концевые цистерны!

В корме и носу шум, точно там работают водяные мельницы. Вздрагивает железный корпус. Гудит воздух, сверлит уши. «Тригла» храпит, точно задыхается от давления воды, и медленно погружается на дно. Нет, это живой мир уходит от нас. Он кажется безнадежно далеким, навсегда недоступным. Мы в таинственной стихии моря. У меня такое чувство, как будто я стою на грани жизни и смерти. Ощущение холода просачивается во все поры моего тела...

Конечно, ничего не случилось — мы благополучно всплыли. Но с тех пор в моей памяти, как от плуга в поле, осталась глубокая борозда.

Теперь я плаваю на другой подводной лодке — на «Мурене». Она такой же конструкции, как и «Тригла».

Сколько еще мне предстоит сделать походов? Сколько пережить невероятных приключений? Быть может, в недрах этих вод оборвется жизнь моя...

Все равно. Сейчас усталое сердце мое отдыхает.

Сижу на берегу один. Да, один. Маленькая точка на краю позолоченной громады моря. И никого мне не надо, кроме этой лучезарной шири. Даль теряется в искрометном блеске. Тихо плещутся волны и пенными губами целуют мои обнаженные ноги. В уши льется серебристый звон. Это море продолжает свою сказку и никогда ее не кончит.

После каждого похода мы оставляем на своей «Мурене» лишь одного часового, а сами все перебираемся на большой транспорт «Амур». Он считается нашей базой. При нем стоят пять субмарин, пришвартованных к каменной стенке.

В эти междупоходные промежутки времени мы восстанавливаем свои силы. Работы мало. Команда спит, ест, гуляет по городу, усердно ухаживает за женщина-



«МОРЕ ЗОВЕТ»



«МОРЕ ЗОВЕТ»

ми. На базе, словно в трактире, то и дело раздается музыка: в офицерской кают-компании — рояль, а у нас в жилой палубе — гармошка, гитара, мандолина. Играют в домино и отчаянно ругаются. Многие увлекаются чтением книг с занимательной фабулой. Реже интересуются наукой. Над такими некоторые смеются:

— Брось, слышь, все равно скоро в дьявольское пекло попадешь... А там всем одна цена — и ученым и неграмотным...

Я только что проснулся и продолжал валяться на рундуках. На «Амуре» бьют четыре склянки. В открытые иллюминаторы протянулись полосы предвечернего солнца. Жарко.

Мой сосед справа, радиотелеграфный унтер-офицер Зобов, лежит на животе и занимается физикой. По временам он заносит на бумажку какие-то сложные математические вычисления. На его лысеющей голове — солнечный луч.

— Неужели тебе не надоело это? — спрашиваю я.

Зобов поднимает лобастое лицо, устало смотрит на меня. Широкие ноздри его шевелятся, точно обнюхивают меня.

— Хорошая книга — вентиляция для мозга.

А другой мой сосед, слева, моторист Залейкин, игривый и озорной, как дельфин, отвечает на это:

— Хорошая музыка — отрада для души.

И растягивает свою двухрядку с малиновыми мехами, насмешливо припевая:

У моево у милого
Морда огурешная,
Полюбила я его,
Прости, боже, грешная...

Играет гармошка, играет и веснушчатое лицо Залейкина, а в плутовато прищуренных глазах — молодая удаль.

— Облысеешь ты, Зобов, совсем, если не бросишь так заниматься,— говорю я.

— Это неважно, что на черепе будет пусто, лишь бы под черепом было густо.

Подальше от нас, вокруг электрика Сидорова,— несколько человек. Он рассказывает им:

— Столкнулся я с ней на улице, с монашкой-то этой. Просит на храм божий. Смотрю — брюнетистая бабенка, статная. Вся черная, точно из дымовой трубы выдернутая. Я ей в кружку — полтинник. Она жмет мою руку, а глазами стреляет в меня то залпом, то дуплетом. Приглашаю в трактир. Ломается — неудобно, вишь, ей. Кое-как затащил в номер. На столе бутылка ханжи и яичница с ветчиной. Я к монашке с поцелуями, а она, разомлевши, молитвы творит: «Ох, господи, прости мою душеньку окаянную». Потом обвила мою шею руками, точно петлю накинула, и шепчет: «Уж больно ты, матросик, горяч, да хранит тебя царица небесная...»

Около Сидорова возбужденный хохот.

Со стороны противоположного борта доносится шум голосов. Это две команды двух подводных лодок ведут между собою шутливую перебранку:

— Вы уходите в море только затем, чтобы на дне полежать...

— Это вы во время похода морское дно утюжите...

— Мы хоть два транспорта потопили, а вы что сделали?..

— Не транспорты, а два свиных корыта...

— Попадись вашему командиру неприятель — он затрясется, как бараний хвост...

— Ничего подобного! А вот ваш командир — это да! Во время сражения нужно команду отдавать, а он пальцем в носу квартиру очищает...

Гавань в напряженной работе — гудит, грохочет, лязгает железом.

Я давно привык к этому разнобою жизни, и мне скучно от него.

Достаю свою тетрадь со стихами. Нет, не пишется. Решаю показать свою поэзию Зобову. Он самый умный человек из всей команды.

— Это ты писал?

— Да.

Зобов прочитывает два-три стихотворения и возвращает мне тетрадь.

— Довольно.

— А что?

— Скучно.

Он зевает с каким-то особым завыванием, так что

трещат его скулы и виден большой клыкастый рот. Противно смотреть на него и обидно за себя.

— Ты, Зобов, беспроволочная балда!

Моя ругань не задевает его. Наставительно заявляет:

— Ты пыжился над своими стихами, потел. А настоящий талант должен сам выпирать из человека, как хвост из павлина.

Я схватил фуражку и, словно ошпаренный, побежал к старшему офицеру, чтобы отпроситься в город.

Сколько еще может быть случайностей в моей жизни? В этот вечер я никуда не собирался уходить с базы. Но случайно дал свою тетрадь Зобову. А отсюда — новое знакомство, новое разветвление в моей душе.

Усиливается ветер. Ворчливо шумят деревья, точно от зависти к облакам, что плывут в небесном просторе, плывут неведомо куда.

Здесь, за городом, в этой роще, я встретился с молодой женщиной. Роста среднего, но проворная, как мадагаскарская ящерица. Брови — два полумесяца, а под ними — два горных озера, манящие синевой. От тоски ли это, но мне до смерти захотелось познакомиться с нею. Подкатываю к ней с правого траверза и барабаню по-матросски:

— Позвольте покрейсировать вместе с вами?

Женщина ощупала меня взглядом дольше, чем нужно, показала белые зубы и отвернулась.

Мне приходит мысль — бросить ей предлог, оправдание для прогулки со мною:

— Здесь бегает бешеная собака. Большая, страшная. Набрасывается на людей. Вы рискуете...

Она останавливается. На лице — притворный испуг.

— Нет, правда?

— Зачем же мне врать?

— В таком случае проводите меня, уж будьте так любезны.

— Рад стараться.

Разговорились.

Оказывается, она вдова. Муж убит на немецком фронте. Средства добывает швейной работой.

Мы прогуляли до ночи. Я отлично выдержал свою марку: вел себя настолько чинно и вежливо, что Полина Васильевна назначила мне новое свидание.

А когда подходил к своему судну, ветер старался сорвать с меня фуражку, а море угрюмо рокотало.

— О, я сам знаю, что делаю, и не боюсь этих угроз! — кричу я в темную даль.

В эту ночь я долго ворочался на рундуках: в мозгу флейтой звучал знакомый голос, а сердце хотело женской ласки, как пересохшая земля теплого дождика.

Скоро нам предстоит отправиться в поход.

С «Мурены» разносится по гавани дробный звук дизель-моторов. Пущены в действие динамомашины. Весь корпус лодки охвачен лихорадочной дрожью, как алкоголик с похмелья. Это идет зарядка аккумуляторов. Запас электрической силы нам необходим при подводном плавании.

Машинное отделение наполнено гулом, стуком, воем. Иногда в этот шум врывается резкое шипение какого-нибудь открывшегося крана. Дизели, облитые смазочным маслом, блестят начищенной медью и сталью. Отдельные части их дергаются, как живые, скачут, пляшут, перебирают помпочками, шмыгают поршнями. Здесь жарко. Мотористы в рабочих платьях, пропитанных соляром, истекают потом.

В лодке чадно, несмотря на то, что люки открыты. Пахнет резиной, перегаром соляра. Едкие газы пробираются в легкие, разъедают их. Сознание мутнеет, словно от угара.

Когда аккумуляторы достаточно зарядились, дизель-моторы замолчали. Стало тихо.

Но работа в лодке продолжается. Здесь почти вся команда. Каждый занимается своим делом: моют палубу и борта, чистят и приводят в порядок разные приборы, проверяют клапаны. За командой наблюдает старший офицер Голубев. Полный не по летам, он медленно, вразвалку, прохаживается от носа до кормы и с напускной серьезностью покрикивает:

— Поторопитесь, ребята! Еще немного — и обедать.

— Да уж пора бы, ваше благородие,— отвечает Залейкин.— А то кишка кишке начинает протоколы писать.

На гладко выбритом лице старшего офицера, под черными усиками — снисходительная улыбка.

Мое место на лодке — в носовом отделении, у балластной цистерны и минных аппаратов. Сейчас я вожусь с минами.

Вспомнил про один наш крейсер, уничтоженный немецкой подводной лодкой. На нем был экипаж в шестьсот человек. Он шел вместе с другими судами. Вдруг что-то произошло. На других судах не сразу даже сообразили, в чем дело. Взрыв был настолько оглушительным, точно вдребезги разлетелось само небо. Крейсера как и не бывало. Не осталось ни одной жизни. Только большое облако пара и дыма густо заклубилось над местом катастрофы...

Даже сейчас по спине пробегает дрожь.

Я смотрю на мину, которую только что смазал салом. В ярком свете электрических ламп она жирно лоснится, игриво переливает огнями. Забавная игрушка, черт возьми! Длинная, круглая, с машиной внутри, с винтом и рулями на конце. Сама идет под водой, сама управляется и несет с собой около восьми пудов самого сильного взрывчатого вещества. А где-то есть люди, сотни людей: живут, пьют, едят, влюбляются, веселятся, грустят. И не подозревают, что их ожидает впереди. Быть может, в этой вот отполированной стали уже начертана для них неминуемая гибель, страшный провал в бездну. Одно мгновение — и куски человеческого мяса, беспросветный мрак морской пучины. А дальше? В одной стране — неизбывная скорбь, слезы, попы пропоют печальные панихиды, а в другой — ликование, громкое «ура», и такие же попы, только наряженные по-другому, пропоют тому же богу благодарственные молебны, почадят перед ним кадилами...

Кто такую подлость придумал на земле?

Поповский дьявол тут ни при чем.

Лучше бы я не знакомился с Зобовым. Это он отравил мою душу ядом сомнения.

Вот он и сам здесь налицо. Покончил работу со своим аппаратом беспроволочного телеграфа и теперь стоит передо мною, длинный и нескладный, как собачья песня. А в лобастой голове крепкие мысли. Ехидно улыбается одним углом рта.

— Стараешься, Власов?

— Стараюсь.

— Да благо тебе будет.

— Иди-ка ты...

Я вовремя присек язык: в дверях непроницаемой переборки показалась русая бородка, похожая на восклицательный знак, и сверкнуло пенсне в золотой оправе. Это наш командир, маленький и невзрачный человек. На берегу — он самый безобидный офицер, его никто не боится. А здесь — весь экипаж в сорок пять человек скручен его волей, как железными проволоками. Он вырастает в наших глазах в великана.

Командир привычным взглядом окидывает носовое отделение и отдает распоряжение старшему офицеру:

— Соляровое масло нужно принять сегодня же!

— Есть, Владимир Николаевич!

Оба уходят.

Дудка свистит к обеду.

С Полиной я вижусь каждый вечер. Мы гуляем в общественном саду и за городом — в роще. Она постоянно весела, много смеется, и смех ее вливается мне в душу светлой струей. Но только я обниму ее — она вскидывает испуганные глаза.

— Не надо. Ради бога, не надо...

— А что тебе надо, Полина?

— Ничего.

— Хочешь, я тебе ботинки куплю? Или платье хочешь?

Радостное лицо Полины тускнеет, точно падают на него ночные тени. Срывается голос и колюче хлещет в уши:

— Если хочешь, я сама куплю тебе сапоги...

— Не сердись, Полина. Я только пошутил. А если всерьез сказать, я бы сделал тебе подарок совсем другой. Жаль только, что наша лодка стоит здесь, в гавани, а не в Тихоокеанском архипелаге. Я бы или погиб, или достал для тебя с морского дна такой жемчуг, которого нет ни у одной графини...

В ответ мне призывно улыбаются сочные губы.

В последний вечер перед походом я ушел от нее с жаром поцелуев.

По карте все море разделено на квадраты. Наша задача — занять один из таких квадратов и выслеживать неприятеля. «Мурена» идет полным ходом.

Низко висят распухшие облака. Моросит дождь, мелкий, как пыль. Полное безветрие. Сырость съела все яркие краски. Весь простор будто затянут паутиной, и не разберешь, где кончается море и начинается небо. Кругом одна и та же картина, унылая, грязно-серая, как талый снег осени. За целый день ни одной встречи. Хоть бы какой дельфин выскочил из воды. Скучно, мертво. Онемевшая пустыня вод будто прислушивается к настойчивому стуку дизель-моторов, к шуму бурлящих винтов, к говору стоящих наверху людей.

Каждый из вахтенных — в непромокаемой куртке, а на голове — большая желтая зюйдвестка, похожая на гриб.

Старший офицер, нагнув голову, протирает замшей линзы бинокля и говорит как бы про себя:

— Мы вышли из гавани в понедельник...

Узкие глаза рулевого на секунду оторвались от компаса и покосились на старшего офицера:

— И тринадцатого числа, ваше благородие.

— Да, и тринадцатого числа.

— Значит, еще хуже?

— Наоборот. По алгебре — минус, умноженный на минус, дает плюс. Поход наш будет удачный.

Незаметно подкрадывается вечер. Мутнеет, наливается сумраком, потом становится черным, как свежевспаханная земля.

Изредка появляются острова. Возможно, что здесь скрываются неприятельские миноносцы.

У меня ноет зуб, и я не нахожу себе нигде места.

Зобов сидит в своей телеграфной рубке. На голове у него наушники с проводом. Усердно вызывает кого-то по радио. На лобастом лице — досада.

— Точно под хлороформом их всех положили — не отвечают. Вот гады полосатые!

— Кого это ты обкладываешь?

— Да на сторожевых постах, должно быть, заснули.

Я спрашиваю у Зобова:

— Не напоремся на этот раз?

Пытливо уставилась на меня пара зрачков, заострившихся от яркого света электричества.

— Наш долг — идти вперед, живота не жалеючи.

Хочется ударить по руке, что ключом телеграфа выстукивает позывные.

— Я должен лишь одной проститутке, которая научила меня грамоте. Больше никому. Ненавижу, когда ты кривишь душой. Зачем тебе притворяться передо мною?..

Зобов восклицает:

— Ага! Наконец-то! Гм... Да... Противник не появлялся. Все хорошо.

Быстро набрасывает надпись на бумажке и бежит к командиру.

По вертикальному железному трапу спускается из рубки в центральный пост человеческая фигура, одетая в непромокаемое платье. По свисту я догадываюсь, что это старший офицер, окончивший свою вахту. Он всегда свистит. Губы у него, как флейта,— могут выполнять любой мотив.

В носовом отделении — большинство команды. Пока есть возможность — отсыпаются. Впрочем, это не сон, а только тревожное забытье. То и дело поднимают головы, беспокойно оглядываются.

Вахтенные сосредоточены во второй половине лодки.

На главной электрической станции сидят на табуретках два электрика: один лицом к одному борту, а второй — к другому. Перед ними — распределительная доска с рубильниками, циферблаты вольтметров, амперметров.

Подальше, на корме, у своих машин стоят мотористы. Рабочее платье на них грязное, насквозь пропитанное соляром и смазочным маслом. Словом, «маслопуты». Здесь же, несмотря на жару, толкутся и те, кому не спится.

В шум стучащих дизелей вдруг врезалось звяканье машинного телеграфа: дзинь, дзинь! На большом медном циферблате стрелка передвинулась за «стоп».

Матросы переглянулись. Потом засуетились, передвигая рычаги.

Дизель-моторы замерли.

Из рупора переговорной трубы донеслось повелительное:

— Электромоторы вперед!

— Есть! — подхватил унтер-офицер.

Рубильники на мгновение вспыхнули красно-зелеными искрами.

Чем вызвана эта перемена в двигателях?

Матросы молча ждут следующей команды, более тревожной. Напрасно. В тишину лодки вливается заглушенный гул электромоторов. Тихо, но вместе с тем чувствуется, как внизу, под железной настилкой, напряженно вращаются два гребных вала. А когда все успокоились, начинают смеяться над своим же товарищем — смеяться жестоко, чтобы рассеять собственную тоску.

— Плохие дела твои, Кирсанкин!

— Чем?

— Ты тут, можно сказать, мучаешься, как грешник в аду, а в это время, поди, какой-нибудь суфлер твою жену охаживает. Вот жизнь, а?

Кирсанкин — только что подошедший вестовой, молодой парень. У него красивая жена. Но войне до этого дела нет: через какой-нибудь месяц после свадьбы его оторвали от любимой подруги. Он очень тоскует по ней, часто пишет письма. Это всем известно по его же рассказам.

Пробует защищаться:

— Вокруг моей походят... Она у меня строгая...

На вестового набрасываются все:

— Хо-хо! Походят! Нынче какой народ? В два счета обработают...

— Ты бы, Кирсанкин, до поры до времени не трогал жену. Тогда бы можно еще надеяться. А то только растравил бабу...

— Будь у нее дети — могла бы терпеть. Дети не дают женщине баловаться. А без них — конец! Пиши пропало — баба...

Вестовой огрызается, пуская ругань в двадцать пять оборотов. Не помогает! Еще хуже нападают, точно он является главным виновником их кошмарной жизни.

— Не то еще, братцы, может случиться. Вернется, скажем, Кирсанкин домой, а у жены — памятник нерукотворенный. Будет пестовать да приговаривать: «Весь в отца! Вылитый! И мордашка, и глазки, и пяточки!» Вот где обида...

Веселье разгорается:

— Добро бы от русского. А то ведь теперь немцев набрали — пропасть! Даже в селах есть. А наши бабы набрасываются на них с такой жадностью, точно акулы на мясную приманку. Знал я одну солдатку. Правду сказать, с дурцой она немножко. Ходит по соседкам и все рассказывает: «Все бы ладно, все как следует быть. А как почуяла я под сердцем, так и покою лишилась. Уж очень боязно: а ну да как по-русски не будет говорить?»

Затравленным зверем оглядывается Кирсанкин, оглушенный ядовитым смехом других. Его хлопают по плечу, советуют:

— Одно, брат, тебе остается — это удавиться. Ей-богу. А для нас это будет развлечением...

Наступила внезапная пауза...

Над чем это вы хохотали так? — спрашивает подошедший инженер-механик Острогорский.

Старший унтер-офицер докладывает серьезно:

— Кирсанкин, ваше благородие, здесь все чудил: о жене своей рассказывал.

— Наверно, какие-нибудь гадости?

Наперебой поясняют другие матросы:

— Да уж хорошего не услышишь от него.

— Прямо хоть уши затыкай.

Инженер смотрит в сконфуженное лицо вестового.

— Трепачи они, ваше благородие, и больше ничего,— заявляет Кирсанкин и уходит в носовое отделение.

Зуб мой продолжает ныть. Нестерпимая боль в голове, точно бурав, сверлит мозг.

Какой уж раз я выхожу наверх!

Двигаемся бесшумно, окутанные ночной тьмой. Снаружи на лодке — ни одного огня. Даже курить строго запрещено. На рубке стоит несколько человек; здесь же находится и сам командир, но никого не видно. Мрак кажется бездонным, смущающим ум. Перед ним чувствуешь свое несовершенство, свою слабость. Кругом — ни звука. Только у бортов тихо шумит вода, разворачиваемая форштевнем.

— Ваше высокоблагородие! Впереди как будто огонек...

— Где? — спрашивает командир.

— Немного справа от носа.

Голос у боцмана глухой, точно отсырел от влажной ночи.

— Ничего не вижу.

— Да вот, вот...

— Осторожнее, черт! Биноклем в лицо мне не тычь!

— Виноват, ваше высокоблагородие!

Командир обращается к минному офицеру, мичману Кудрявцеву:

— Петр Петрович, вы что-нибудь видите?

У Кудрявцева юный голос, но сейчас он отвечает баском:

— Ерунда! У боцмана в голове огонек.

Напрягаю зрение, стараюсь проникнуть в сырую, как в погребе, тьму, и мне начинают казаться несуществующие огни.

И вдруг — неожиданное явление слева, немного впереди. На темном фоне ночи, совсем близко, открывается дверь, выбросившая полосу света. Ясно обозначается человек, выходящий из рубки неведомого корабля. И снова ничего нет. Ночь проглотила видение. Только огонек вспыхивающей папиросы красным светлячком чертит тьму. Что-то огромное с шумом проносится мимо нас. Кажется, заденет нашу лодку, подомнет под себя, раздавит. Мысли мои дробятся, как налетевшие на камни волны. Нет, это не сон, это чудовищная явь, дохнувшая холодом смерти. Я чувствую, как закачалась «Мурена». Все молчат, точно онемели.

— Вот так встреча! — наконец восклицает командир.

— А как вы думаете: не заметил он нас? — придушенно, почти шепотом, расспрашивает Кудрявцев.

— Ясно, что нет. В противном случае мы бы дальше этого места никуда не ушли...

Немного погодя у Кудрявцева опять появляется басок, спокойный и надежный, как буксирный катер.

У меня никакой боли в зубах, точно я побывал у дантиста.

На рассвете в лодке опять раздался знакомый дробный стук. «Мурена» шла медленно — под одним только дизелем, а другой пустили на зарядку аккумуляторов.

Когда пополнили запас электрической энергии, двинулись вперед быстрее.

Редели облака. В небе кое-где появились просини. Изредка показывалось солнце, разбрасывало червонцы по заштилевшему морю.

Матросы часто выходили на верхнюю палубу, курили и болтали между собою.

К вечеру на горизонте показались четыре дымка, направлявшиеся на зюйд-вест. «Мурена» повернула к ним на сближение. Каждая пара глаз остро смотрела в сторону невидимых кораблей.

— Не иначе, как немцы,— говорит кто-то.

Электрик Сидоров, большой пьяница, привалился к кормовой пушке и мечтает вслух:

— Эх, братцы! Хорошо бы теперь встретиться с немцами и айда вместе с ними на какой-нибудь остров. Они бы вытащили водки, а мы — еще больше. Да еще закуски разной. И закрутить там денька на три. По-хорошему, по-братски, чтобы главного дьявола от зависти к нам понос прохватил. А потом по домам...

— Да, это бы куда лучше, чем на дне моря погибать,— отзываются матросы.

По распоряжению с рубки мы начали было задраивать люки, но тут же последовала другая команда:

— Отставить!

Показавшиеся дымки начали удаляться от нас. По-видимому, неизвестные корабли изменили курс.

Ночью прогремела команда:

— Приготовиться к погружению!

Матросы и офицеры на своих местах. Каждый знает, что это не встреча с неприятелем, а здесь предстоит ночевка. Поэтому никто не тревожится. Тем не менее чувствуется напряженность, и каждое слово командира ловится с лету.

— Застопорить дизеля! Пустить электромоторы!

Задраивается последний люк над боевой рубкой.

Я стою на самом носу. И не только ушами, но, кажется, каждою частицею своего тела прислушиваюсь к отрывистым приказаниям начальства. Да, сейчас я точный, как стрелка манометра. Вот команда, заставившая меня встрепенуться. Я быстро открываю клапан носовой

цистерны и повертываю рычаг манипулятора. Потом кричу:

— Пошел помпы!

Электрик замыкает рубильники.

Загудел мотор помпы. По трубам с металлическим звоном врывается вода.

То же самое проделывается и в корме.

Концевые цистерны наполняются балластом. «Мурена» медленно утопает. Слышен голос человека, что следит за глубомером:

— Десять, двадцать футов!.. Сто!.. Сто три! Остановилась!

Мы мягко прикоснулись к грунту.

В лодке водворяется тишина.

Кок, пухлый и шаровидный человек, похожий на меч-рыбу, уже давно возится у своего камбуза: готовит на электрической плите ужин. У него всегда глуповато-растерянный вид, словно он что-то потерял или о чем-то хочет вспомнить и не может.

«Камбузный Тюлень» — прозвала его команда.

Пахнет жареным мясом, луком.

— Команде ужинать! — разносится радостная весть.

Каждый с мискою в руках примащивается там, где ему удобнее. С большим аппетитом уничтожаем мясо, рисовую кашу, какао со сгущенным молоком.

На ночь остается дежурить только один человек: следить за глубомером. Остальные все свободны.

Я лежу на рундуках, жую табак — в лодке курить нельзя — и думаю о той, чьи поцелуи так звонки.

Трещит звонок.

Вместе с другими срываюсь и я со своей постели.

Секунду-две мы смотрим друг на друга с недоумением:

«Что случилось?»

В следующий момент уже начинаем понимать, что готовимся к всплытию.

Каждый стоит на своем месте. По команде повертываются нужные рычаги. Сжатый воздух с шумом выбрасывает из цистерн водный балласт. Лодка начинает подниматься. Точно пчелиный улей, гудят электромоторы. Некоторое время идем на глубине двадцати четырех футов. Осторожный командир не хочет сразу всплывать,

через перископ он осматривает горизонт. Снова поднимаемся. Свист и шипение. Открываем люки. В уши что-то ударило, точно заткнуло их пробками. На две-три минуты мы остаемся глухими. Внутрь лодки врывается свежая струя воздуха. Дышим глубоко и жадно.

Утро тихое и туманное. Ползут, движутся белые призраки, прячут море. Мы идем медленно и чутко прислушиваемся. Командир то и дело протирает пенсне. Входим в полосу еще более густой мглы. Ничего не видно. Не помогают и бинокли — все загадочно и мутно, словно в молоко окунулась «Мурена». Кажется, что все живое здесь превратилось в блуждающий мир.

Застопорили машины. Ждем прояснения, одинокие среди мертвой тишины.

Но вот где-то проснулся ветер. Туман дрогнул, заколебался. Поплыли толпы бестелесных видений. Образовались прогалины, похожие на каменные ущелья, а в них серебристо засверкали фантастические реки. Вскоре весь простор стал чист, прозрачен и сиял свежестью утреннего солнца. Море и небо, словно после долгой разлуки, влюбленно смотрели друг на друга.

Мы снова тронулись в путь. Здесь наш мысленный квадрат. Мы долго блуждаем в безлюдье синей пустыни.

Вдруг торопливый возглас сигнальщика:

— Ваше высокоблагородие! Слева, на нос, что-то есть...

Вскидываются бинокли.

Для невооруженного глаза видна лишь маленькая черная точка. Она быстро катится навстречу «Мурене», как маленький шарик. Солнце бьет в глаза, ослепляет. До слез напрягаем зрение. К нам несется муха. А через минуту — нет, это большой жук скользит по голубому зеркалу, весь в золоте отраженных лучей.

— Подводная лодка! — с уверенностью определяет старший офицер.

— К погружению! — раздалась команда.

С быстротою испуганных кошек все метнулись внутрь лодки.

«Мурена» принимает балласт и при помощи горизонтальных рулей, похожих на рыбьи плавники, вонзается в недра моря. Идем под перископом.

Я у своих минных аппаратов.

— На фут уменьшить глубину! — командует командир.

— Есть на фут уменьшить глубину! — как эхо, раздается в лодке.

— Носовые аппараты приготовить к выстрелу!

— Есть аппараты приготовить к выстрелу!

Открываем передние крышки минных аппаратов. В носу слышны всплески воды.

Тревожное ожидание. Я во власти судовой дисциплины. Душа будто затянута в железный корсет. Ни одной мысли. Весь — слух и напряжение.

Вдруг и сам я и все другие, что находились в носовом отделении, быстро присели, нагнулись, точно от полета брошенного камня. Грудь задохнулась втянутым воздухом.

За бортом послышались знакомые звуки смерти, похожие на торопливое клохтание — ко-ко-ко-ко... Это сверлит зеленую массу воды неприятельская мина, пущенная в нас. Она проносится над самой головой, так близко, что кажется, заденет за череп.

В позвоночник будто вонзилась длинная ледяная игла. По телу разливается холодный ток. Я не вижу себя, но у других — помертвевшие лица, а взгляд точно у быка, которого молотом ударили по голове. В этот момент страшного напряжения немногие секунды превращаются в мучительно долгие часы. Наконец медленно выпрямляются человеческие фигуры. Кто-то облегченно вздыхает:

— Не задела...

Молодой матрос Митрошкин все еще держится за голову, втянутую в плечи, словно старается предохранить ее от удара, и визгливо восклицает:

— Прошла, окаянная!.. Хи-хи-хи... Вот, братцы, чудо-то. Хи-хи-хи...

Он дергается весь, оглядывается. С посинелых губ опять срывается нервный смех. Потом Митрошкин спохватывается и начинает креститься.

Залейкин бросает шутку:

— Вот, черт возьми! Лодка наша — точно гитара: каждый звук отдается в ней...

Снова команда. Погружаемся глубже.

— Что такое?

Взрыв за кормою, взрыв впереди. А через минуту грохочущий лязг железа с правого борта, почти рядом. «Мурена», словно с испугу, шарахается в сторону.

Глубомер показывает шестьдесят два фута. Дно лодки царапает морской грунт. Раздается звук, похожий на скрежет зубов. Словно от страха содрогается весь корпус.

В голове, как бумажки в вихре, скачут и кружатся обрывки мыслей. Представляется, что нас преследуют миноносцы. А может быть, при них есть и тральщики. Нас нащупают сетями и забросают бомбами. Тогда гибель неминуема. Но что можно предпринять? Мы беспомощны. Мы только трагически таращим глаза...

Еще два взрыва по сторонам.

Море кажется минным складом.

По лодке проносится шепот:

— Гидропланы! Гидропланы нас преследуют...

Это известие исходит из рубки, от самого командира, единственного человека, который доподлинно знает, в чем дело.

С высоты мы, безусловно, видны неприятелю. Он выслеживает нас, как чайка рыбу. Чтобы скрыться от него, мы должны зарыться глубже в море. Но под ногами опять слышен железный скрежет. А каждый посторонний звук, врывающийся внутрь лодки, теркой царапает нервы.

Дальше и дальше от этой проклятой мели! Только бы не заклиниться между камней!

Бухнуло что-то за кормой, точно кто молотом ударил по корпусу лодки. Матросы съежились и молча переглянулись холодными взглядами.

В горле у меня до боли сухо.

Наконец глубина в сто тридцать футов.

Ложимся на дно.

— Горячего чаю мне! — резко выкрикивает командир из офицерской кают-компании.

В матросском отделении матрос Залейкин налаживает свою мандолину.

Возвращаемся в свой порт.

Ночь. Не уснешь никак. Не спят и другие матросы. Зобов рассказывает им об астрономии. Залейкин несет:

— Нет, вот у нас в Пензенской губернии девки — так уж девки!

— Хороши?

— Эх, чудак! Наши девки черноземные, хлебные. Поглядеть — малина, а чуть прикоснешься — ток электрический!

— Только, говорят, толстопятые больно,— вставляет кто-то.

— А ты любишь овечьи ножки, как у городских. Нет, наши плотно на земле стоят. Бывало, пока ее за угол затащишь — весь потом обольешься. Значит, в поте лица добывай себе удовольствие. Так, что ли, в писании говорится, а?..

Кто-то грустит, что из дому давно нет писем.

В офицерской кают-компании сражаются в шахматы.

Выхожу на верхнюю палубу. Никого нет. Только на рубке двое несут свою вахту: старший офицер Голубев и рулевой Мазурин. Поднимаюсь к ним и присаживаюсь на край рубки.

— Не спишь, Власов? — спрашивает старший офицер.

— Освежиться захотелось, ваше благородие.

— Признайся уж откровенно,— зазноба не дает покоя?

— Мышка соломку точит и то любви хочет, а я чистый хлеб ем да какао пью!

Такая приятная ночь, что говорить не хочется.

Стучат дизель-моторы, нижут морской простор, как швейные машины. «Мурена», без огней, черная, несется по глади моря, словно испуганная рыба. Вдоль бортов с шумом струится пена.

Я глотаю соленый воздух, а из головы не выходит Полина. Тоска по ней разрывает грудь. Чтобы забыться, смотрю в небо. Усеяно оно зернами золотой чечевицы. С правого траверза — недавно родившаяся луна. Где же горы на ней, как объяснял Зобов? И кажется уже, что это не луна, а серебряный ноготь, что состриг бог с большого пальца ноги. Ангелы не успели подхватить его, он повис в темно-синем воздухе. И опять мысли, как перелетные птицы, несутся туда, на берег...

Так просидел до зари, пока не вошли в свою гавань.

Я отправился к Полине прямо на квартиру. Застал ее дома. В средине узкой и длинной комнаты, с одним окном, она примеряла на манекене какое-то платье.

— Здравствуйте, Полина!

— А, вернулся...

Нехотя протягивает холодную руку и продолжает свою работу.

— Что с тобой, дорогая? Заболела, что ли?

— Да.

— Чем же это?

— Сердечной болью.

— Это что же за болезнь такая?

На мне недоверчиво-пытливый взгляд Полины. Спрашивает с раздражением:

— Лучше скажи-ка, как поживает твоя драгоценная жена?

Я в недоумении.

— Какая жена?

— Какие бывают жены у людей.

— Это кто же тебе набрехал?

— Слухами земля полна.

Голос у Полины сухой, как осенняя полынь.

Я понял лишь одно, что между нами все кончено. Счастье провалилось в черную яму. Кто ее выкопал? В замутившейся голове нет ответа.

На комоде скучно тикает будильник. Весь пол в разбросанных лоскутках. На столе — швейная машина, утюг, куски разрезанной материи. И вдруг — откуда он взялся? Передо мною, у противоположной стены, стоит страшно знакомый матрос: крупный и взъерошенный; весь вытянулся, точно на адмиральском смотру; на безусом, как у актера, лице движутся скулы; желтые глаза округлились; в одной руке — крепко сжатая фуражка, и я никак не могу прочитать на ней золотую надпись.

Зарябило в глазах.

Перевожу взгляд на Полину. Испуг и тревога у нее на лице. Опять смотрю в сторону противоположной стены. И только теперь замечаю большое трюмо, а в нем — мое отражение.

— Прощай, Полина, навсегда!

И уже в дверях дрогнувший голос толкнул в сердце:

— Подожди, Сеня!.. Вернись...

Я послушался.

На мою грудь падает темно-русая головка. Отчаяние, скорбь, признание, жалобы на безотрадное одиночество вырываются вместе с рыданиями. Мне всегда больно смотреть на женские слезы, в них есть что-то детское, беспомощное. Я клянусь, утешаю, целую милое лицо, соленое, как море...

Стало тихо. Ясным небом засияла душа. Передо мною, как два маяка с синими огнями, мерцают глаза. В них — призыв земли, в них — радость солнца.

Целый день льет дождь. Поэтому матросы никуда не уходят с базы. На «Амуре» стоит гул человеческих голосов и музыки.

Я насытился сведениями о войне и передаю газету Зобову.

— Может, заглянешь?

— Зачем?

— О войне здорово пишут.

— Нет, спасибо. Об этой человеческой глупости я почитаю потом, когда умные и добросовестные люди напишут серьезные книги.

Зобов сидит на рундуках и усердно занимается починкой своих старых штанов.

Меня все больше и больше интригует этот несуразный с виду человек. Я знаю почти всю команду, знаю, откуда каждый явился сюда, кто женат, кто холост,— все знаю. Но кто такой Зобов? У него широкие ладони, толстые пальцы в заросших шрамах, со сбитыми, кривыми ногтями. Словом, у него руки, испытанные в физической работе. Это наводит на некоторые догадки — и только. Прошлое его не известно. В настоящем — недовольный человек, который все подвергает злой критике. Сейчас он рекомендует мне мир с очень плохой стороны. Всюду очень мало добра и очень много зла. Для него красота природы, что приводит меня в восторг,— только декорация. За нею он видит разбой, душегубство. И люди, поднявшиеся в своих знаниях до величайших высот, занимаются тем же разбоем, что и животные,— рвут и гложут друг друга.

— А ты? — спрашиваю я.

— И я! — мрачно восклицает Зобов.— Потому что я тоже живу на грешной земле. И мне некуда деться. Если бы можно переселиться на одну из планет, я охотно бы это сделал...

Против нас под звуки гармошки матросы танцуют краковяк.

Зобов смотрит на них и других матросов и хмурит большой лоб. Потом опускает свою отяжелевшую голову, думает.

— Эх, сколько в людях дури! — снова заговаривает Зобов.

— А именно? — спрашиваю я.

— Посмотри вон на Мазурина.

Мазурин — наш рулевой. Он стоит недалеко от нас, переодетый в новую форменку, и не знает, куда приколоть на груди георгиевский крест.

— Не вижу тут никакой дури.

— А сейчас узнаем.

Зобов подзывает Мазурина и спрашивает его:

— Ты имеешь еще один крест, не георгиевский, а другой?

Мазурин не понимает и таращит глаза.

— Ну, что дали тебе при крещении?

— Ношу, а что?

Зобов злорадствует:

— Так. Значит, на одной и той же груди у тебя два креста: на одном изображен распятый Христос, а на другом — Георгий Победоносец. Скажи теперь, во имя чего ты носишь первый крест и во имя чего второй?

— Блажной ты — и больше ничего! — бросает Мазурин и уходит.

— Ну и беспроволочный! — восторгается один матрос, глядя на Зобова.— Выходит, значит, что один крест дают человеку, чтобы не проливал людскую кровь, а другой за то, что пролил кровь. Здорово загнул!

— Ну, что скажешь на это? — обращается ко мне Зобов.

Говорить мне нечего, и я молчу.

Мысли Зобова пристают к моему мозгу, как репей к овечьей шкуре, и не дают покоя.

В душе, как воды в Бискайском заливе, бушуют вихри чувств. Начинаю яростные атаки, бурный натиск на Полину. Но она проявляет упорное сопротивление.

— А потом что?

Когда она задает этот вопрос, у нее трагически заостряется лицо.

— Что потом? Жизнь покажет путь...

— А если случится?..

Краскою стыда, словно малиновым соком, наливается ее лицо.

— Будем вместе радоваться новому человеку.

— Хорошо ты, Сеня, поешь, но только... Уж лучше по закону, как и все добрые люди делают.

— При чем тут добрые? Венцы и на мерзавцев можно надеть!

Она хотела что-то возразить, но я перебиваю ее и начинаю злобно издеваться:

— Хочешь, Полина, я водолазные колпаки принесу. Надраю их песком — лучше венцов заблестят. Надвинем их на головы и айда на лодке вокруг каменного мола. Не три, а тридцать раз можем объехать. Морской ветер пропоет нам: «Семен и Полина! Оставьте своих родителей и пришвартуйтесь друг к другу крепкими канатами любви. И ликуйте, ликуйте так, чтобы самого бога покорежило». А мой друг и приятель радиотелеграфист Зобов сделает нам наставление насчет супружеской жизни. Ты как-нибудь поговори с ним. Это замечательный человек. Он тебе расскажет о разных людских комедиях. Ха-ха... Было время, когда люди обходились без попов: любили, родили, умирали. Потом появились актеры...

Полина смотрит на меня с испугом, как на сумасшедшего. Потом у нее набухают веки, а из васильковых глаз, словно от увядающей осени, сочится печаль.

Я обезоружен и смят.

Что такое любовь?

На это не может ответить даже сам Зобов.

Наступил торжественный день.

Ровно два года тому назад наша «Мурена» оставила чрево строительных верфей и впервые сползла на во-

ду. Вот почему этот день считается днем рождения ее, и мы его празднуем.

Накануне подкрашивались, мыли палубу, прибирались, надраивали медяшку циферблатов и стальные части машин. Кудрявый боцман покрикивал:

— Не подгадь, братва! Сделайте, чтобы сияло все, как в соборе Исакия, чтобы без зеркала можно прическу свою видеть...

А сегодня с семи утра вся лодка разукрашена флагами. В синей пустоте ветер полощет разноцветными полотнищами, а солнце освежает краски.

Камбузный Тюлень давно уже возится у электрической плиты. Вид у него озабоченный, точно у колдуна, исцеляющего человека от тяжелых болезней. Ворчит на назначенного ему в помощь комендора Рубцова:

— Проворнее крути мясо. Тебя приставили ко мне дело делать, а не варежку жевать.

Рубцов щерит зубы, похожие на частокол.

— Ну и надоел же ты мне, чумичка толсторожая!

К полудню все приготовления закончены. На импровизированных столах — вазы с пышными цветами. Вся внутренность «Мурены» в ярком свете электрических ламп. Приборы и механизмы убраны зеленью, живыми цветами.

Боцман — в центральном посту. Вонзает наметанный взгляд в корму, а потом — в нос, распускает по лицу широкую улыбку.

— Лодка что надо! Все сделано на контр-зекс.

Кроме наших офицеров, собираются гости: начальник дивизиона, его помощник, командиры других подводных лодок. Кают-компания полна белыми кителями, сверкает золотом погон. В носовом отделении — ряды белых форменок с синими воротниками.

Я сижу крайним в кают-компании, и мне все видно, что делается там.

На верхней палубе грянул оркестр духовой музыки «Боже, царя храни».

Все встали. Но это только для порядка. Главный интерес теперь не в гимне. Глаза жадно устремлены на столы, где аппетитно расставлены закуски и выпивка. У нас разведенный спирт, а у офицеров в хрустальных рюмках горит коричневая жидкость.

После музыки начальник дивизиона капитан первого ранга Берг заявляет:

— Прошу внимания...

Тишина нарушается лишь гудением электрических вентиляторов.

У Берга глаза навыкате, строгие.

— Господа офицеры! Сегодня «Мурена», согласно установившейся у нас традиции, справляет свой лодочный праздник. Два года она несла во флоте свою верную службу. За нею уже есть немало заслуг. Я надеюсь, что под руководством такого опытного командира, каким является Владимир Николаевич Бельский, и его помощников в лице офицеров и команды она и впредь будет, на страх врагам, проявлять чудеса храбрости...

Холодные казенные слова летят рыбьей шелухой мимо нас, но мы все кричим «ура» и пьем водку.

Наш командир в ответной речи благодарит своих офицеров и команду, а в заключение предлагает поднять бокалы за начальника дивизиона.

В лодке опять громыхают крики «ура», несуразно вклиниваются в пляшущие звуки оркестра.

Меня интересует командир «Росомахи» лейтенант Ракитников. В плотной фигуре его чувствуется физическая сила. Лицо угловатое, с резкими чертами. Из-под крупного носа, как два острых гвоздя, торчат в стороны напомаженные усы.

Ракитникова хорошо знают все подводники. Он плавал раньше на английской лодке практикантом, один среди англичан. Лодка эта потерпела аварию: при встрече с неприятельским истребителем получила от снаряда пробоину в корме. Истребитель был взорван миной, но и лодка легла на дно, на очень большой глубине. Роковые снаряды противников — один перелетный, а другой плавающий были выпущены одновременно. Поэтому страшные взрывы раздались один за другим, с промежутками в несколько секунд.

В английской лодке кормовая цистерна оказалась настолько поврежденной, что никакими мерами нельзя было освободить ее от балласта. А когда продули среднюю и носовую цистерны, лодка только могла вздыбиться. Но до поверхности моря оставался еще толстый слой воды. Положение было трагическое. Пахло смертью.

Сколько ни изворачивался человеческий ум, другого выхода не было, как спасаться через носовые минные аппараты. Решились на отчаянный риск. Человек залезал в длинное круглое жерло. Захлопывалась задняя крышка и открывалась передняя. Сжатым воздухом подводник выбрасывался из лодки. Эта стрельба людьми вместо мин похожа на кошмарный сон, но разве был у них выбор?

К счастью, подвернулись два русских тральщика. В числе немногих англичан, спасенных ими, оказался и Ракитников.

Ему давали отпуск — отказался. Сейчас же был назначен командиром «Росомахи». А через несколько походов он затмил своей славой всех остальных подводников. Для него не существовало ни минного поля, ни сетевых заграждений. Появлялся в неприятельских водах, поднимал переполох. Не раз уходил от стаи преследующих его истребителей.

Сейчас меня занимает вопрос: что заставляет этого человека проявлять бесшабашную удаль, кружиться над бездной? Он имеет золотое оружие за храбрость, но это, видимо, мало его интересует. Понурившись, он глотает водку больше всех. На широком темени, как лужица среди травы, поблескивает лысина. (Что творится под нею?) У Ракитникова напряженный взгляд, а поперек лба, над переносицей — крупная складка. И я чувствую, что какая-то тяжелая дума беспокоит его.

Капитан первого ранга Берг покосился на него, встал. Вместо прежней строгости приклеил к своему лицу официальную улыбку.

— Среди нас, господа, присутствует самый боевой командир, достойный подражания. Со свойственной ему скромностью он старается быть незамеченным. Вы, конечно, догадываетесь, кого я имею в виду...

— Виктора Самсоновича Ракитникова! — раздаются голоса.

— Выпьем за командира «Росомахи»!

Ракитников встал, поднял на людей темные, мутные от выпитой водки глаза, загадочные, как перископы:

— Господа! За восьмилетнюю свою службу подводного плавания я стал фаталистом. Вы все хорошо знаете моего бывшего командира. В каких только переделках

не был он еще раньше, до моей встречи с ним! Знаете вы и то, как он спасся с погибшей лодки вместе со мною через минный аппарат. И все это только для того, чтобы потом поехать домой и там, на суше, при самых благоприятных условиях жизни, простудиться и умереть. Следовательно, все зависит от судьбы. Я вот, например, почему-то уверен, что ни со мною, ни с «Росомахой» ничего не случится. Поэтому лично я никакой храбрости за собою ни признаю. Я предлагаю лучше выпить за самого старейшего и первого нашего подводника — за пророка Иону...

— Браво, Ракитников! Ура!..

Провозглашаются тосты и за других офицеров.

Позднее ушли только два человека: начальник дивизиона и его помощник.

Но в лодке сразу стало просторнее, свободнее.

Что будет с нами завтра? Наплевать! Не стоит об этом думать. Старший офицер дал нам еще водки и несколько бутылок коньяку. Сказывается наша нервная жизнь — мы быстро возбуждаемся. Начинается дьявольская карусель. Надрывается музыка. От носа до кормы носится прыгающий смех. Шумно. Слышны обрывки выкриков, осколки слов.

— Навернем, братва, сегодня на берег, а?

— Готовь лоты, глубину измерять...

— Хо-хо! Будет дело!

Залейкин обращается к товарищам:

— Кто, братцы, выручит зелененькой? А то у меня в кармане, как в турецком барабане,— только воздух один.

Невзначай толкнул боцмана, вышиб из рук пирог с начинкой. Сердится тот, изрекает:

— Крутишься ты, точно в чужое государство попал.

Залейкин гладит боцмана по кудрявой голове.

— Не сердись, дружок, у тебя и без того волосы судорогой свело. А не могу иначе, раз душа вольтовой дугой вспыхнула...

Один матрос спрашивает:

— В чем заключается дисциплина подводника?

Другой отвечает:

— В полбутылке водки, в паре огурцов и в хорошем товарище.

— Правильно, дуй тебя черт косматый бугшпритом в ноздрю!

В кают-компании свое. Один из офицеров предлагает:

— Выпьем, господа, за отсутствующий прекрасный пол...

Ракитников отрицательно крутит головою:

— К черту женщин! Что такое женщина? Сладостный яд, отравляющий душу...

— Ошибаешься, Виктор! Без женщин жизнь была бы скучная и пресная...

— Ерунда! Наркоз!

Долго еще куролесили. Танцевали, орали песни, качали офицеров. Двое матросов подрались. Обоих отправили в «участь горькую», как у нас называют карцер.

К вечеру все разбрелись. Из офицеров на лодке остались только старший офицер и лейтенант Ракитников. Последний уже сильно пьян, но просит еще водки:

— Дай что-нибудь покрепче, знаешь ли, подинамичнее, чтобы залить рану моей души.

— Хорошо, хорошо. Только на базу не ходи. Там адмирал сидит, и можно нарваться на неприятность. Ложись лучше в моей каюте.

— Ничего я не боюсь: ни черта, ни адмирала! Да и что такое этот адмирал? Поглупевший капитан первого ранга.

Ракитников сам идти не может. Я помогаю старшему офицеру уложить его в каюте. Он жалуется с тоской в голосе:

— Война надоела. Каждый день одно и то же. Всюду измена, ложь, подлость. Жизнь испохаблена. Знаешь, друг, что мне хочется?

— Ну?

— Минимум — на тот свет.

— А максимум что?

Ракитников мутно смотрит мимо нас, кривит губы в улыбке.

— Максимум — жениться бы, но я уже женат...

Я и этот пьяный лейтенант, высказывающийся откровенно,— мы разные люди, из разных общественных слоев. Он воспитывался в кадетском корпусе, а я с малых лет, как никому не нужный щенок, был брошен в кру-

говорот портовых трущоб. Но сейчас мне искренне жаль его. Война больно ударила по всем: даже офицеры начинают стонать.

Я сделал важное открытие.

Как-то вечером гуляю с Полиной по морскому берегу. С запада над горизонтом плывут разноцветные облака, похожие на случайные мазки широкой кисти, точно какой-то художник пробовал свои краски на сине-розовом полотне. Непутевый ветер давно умчался в сторону заката, чтобы догнать солнце. А море все еще вздыхает и зыбучие волны поют песни неизвестно для кого. Железными глотками горланят корабли. Их осатанелый крик распарывает вечерний простор, как портной материю.

Нам встречается мой бывший сослуживец с «Триглы» — моторный унтер-офицер Мухобоев.

— А, Семен Николаевич! Мое почтение. Сколько уж время не видел тебя...

— Столько же, сколько и я тебя.

Он дружески жмет мою руку, а потом расшаркивается перед Полиной.

— Наше вам нижайшее, красавица.

Полина слегка бледнеет, а маленькие уши ее — в пунцовой краске.

Я чувствую ее волнение и начинаю подозревать, что она уже знакома с ним, знакома раньше, до этой встречи. Быть может, он же и наплел ей, что я женат.

— Везет тебе, Власов, в жизни.

— В каком смысле?

— Гулять под ручку с такой королевой — да тут сердце от счастья может лопнуть, как цистерна от воды. За один поцелуй я бы пошел на что угодно — любому черту могу рога сломать.

Полина смеется.

И, когда мы остались вдвоем, я спрашиваю ее:

— Ну, как ты находишь Мухобоева?

— Никак не нахожу!

Синие глаза прячутся за опущенные ресницы.

Продолжаю испытывать:

— Да, умом не богат —приходится, видно, у дяди

занимать. А наружность еще больше подгуляла. Правда, корпусом он хоть куда — даже в адмиралы годен, а рылом — форменный вышибала из публичного дома. Рот широкий, точно у сома. Нос для семерых рос, а достался одному — похож на бугшприт старинных кораблей...

Полина с раздражением перебивает:

— Не интересно об этом слушать! У каждого человека есть какой-нибудь недостаток.

Я впервые при ней стиснул зубы.

В следующие дни опять встречи с Мухобоевым и все как бы случайные. Он болтает с Полиной всякий вздор и хвалит ее на все лады, как барышник лошадь. Ко мне навязывается в друзья. Но я чувствую, что глазами он льстит, а сердцем мстит: ему Полина нужна. И она все больше начинает заглядываться на него.

Однажды говорю ей:

— Полина! Не шути с динамитом! Взорвусь — плохо и тебе будет!..

Она прильнула ко мне, как море к берегу.

— Сеня! Милый мой подводник! Разве ты не видишь: с тоски по тебе извелась вся? Днем не сплю, а по ночам не ем...

И обдала меня смехом, словно волна светлыми брызгами.

Потом ласками заглушила во мне подозрения.

Я иду на почту с казенными пакетами. Каменные стены домов накалены полуденным зноем. После моря здесь жарко и душно. Пахнет медикаментами.

— Власов! — окликает меня знакомый голос.

Оглядываюсь — Зобов. Спрашивает:

— Насчет похода ничего не слыхать?

— Нет.

В свою очередь, я спрашиваю:

— А ты откуда несешься, живая душа?

— К пехотинцам в казармы ходил. С земляком нужно было повидаться. Скоро уезжает на фронт.

— Ну, как настроение среди солдат?

— Рвутся в бой, как львы. Удержу нет.

Зобов и на этот раз хитрит. И вообще он продувная бестия. Он редко пьет водку и не заводит знакомства

с женщинами, а все-таки куда-то ходит. Куда? Никто не знает. Занимается какими-то таинственными делами.

Идет проводить меня. Нам встречаются калеки, одетые в защитный цвет: хромые, безрукие, чахоточные, слепые, шагающие на костылях, ползающие на четвереньках, с рваным мясом, с переломанными костями. Это все те обглодки, что побывали в железных челюстях войны. С каждым месяцем число их увеличивается. Уже теперь не хватает казенных госпиталей, и многие частные квартиры превращены в лазареты. А что будет через год, если еще продолжится война? И наряду с этим по улицам маршируют роты вновь набранных юношей и бородачей, маршируют с разухабистыми песнями. Зобов кивает на них головою и говорит уже откровенно:

— И эти пойдут туда же.

— Куда?

— В мясорубку. Ты представляешь себе эту чудовищную мясорубку в тысячи верст длиною. Она уже миллионы людей выбросила уродами, миллионы людей превратила в падаль. И все ей мало. С остервенением продолжает свою дьявольскую работу дальше...

Мне всегда хочется спорить с Зобовым, и я придумываю возражения:

— Ты все ругаешь на свете, ругаешь и войну.

Зобов оглядывается, говорит тихо и осторожно:

— Я знаю, что надо ругать. Вопрос в том, во имя чего мы занимаемся этим кровопролитием? Нам сказали, что немцы напали на нас, а немцам, наоборот, внушили мысль, что русские напали на них. И двинули к границам войска. Ты видел, как стравливают собак? Одну бросают на другую или потычут их мордами. Собаки начинают грызться, рвать одна другу — только шерсть летит клочьями. То же самое происходит и с людьми. И никому не придет в голову...

На повороте в другую улицу у наших ног гнусаво просипело:

— Родимые матросики... Не оставьте меня, бессчастного калеку...

Это нищий умоляет о помощи. Он сидит на земле, качается и кланяется перед нами, безобразный, как ночное видение. Вместо ног у него торчат короткие оголенные култышки. Голова и все тело в язвах, в струпьях.

Лицо с провалившимся носом. Из больных красных глаз сочится гной. Это уже не человек, а заживо разлагающаяся падаль, вонью отравляющая воздух.

— Спасибо вам, православные,— тягуче тянется за нами гнусавая благодарность за поданную милостыню.

Некоторое время мы шагаем молча. Кажется, что гной прилип к нашему телу, смрадом проник в самую душу.

— Ну, что ты скажешь насчет этого гнилого человека? — спрашивает Зобов.

— Противно смотреть.

— Да он, вероятно, и сам себе противен. А живет. Спроси у него, хочет ли он на фронт,— пожалуй, откажется. Хватается за жизнь. А про нас пишут, что мы рвемся в бой, как львы. Но приближается время, когда мы действительно будем сражаться, как львы,— за свободу народа.

Зобов замолчал, погруженный в свои злые думы.

Я свернул от него на почту.

«Мурена» наша готова в поход: аккумуляторы заряжены, все части механизма проверены, все приборы находятся в полной исправности. Ждем назначения. Продолжаем жить на базе.

После обеда спускается к нам в жилую палубу старший офицер Голубев. Вид у него зловещий. Матросы сразу насторожились.

— Вот что, боцман, сегодня к двенадцати часам ночи вся команда должна быть на «Мурене».

— Есть, ваше благородие!

— Поход предстоит серьезный.

— Есть!

Голубев уходит.

Среди команды говор:

— Опять начнутся мытарства.

— Да, опять...

— Куда на этот раз пойдем?

— Разве нам скажут об этом?

— Эх, жизнь наша несуразная!

Зобов пользуется каждым случаем, чтобы бросить людям в мозги мысли, колючие, как кусты крыжовника...

Он как бы утешает:

— Ничего, братва, не вешай головы! Повоюем. Вместе с японцами станем грудью за веру православную!..

Вздыбилась команда, и, как грязь из-под копыт, летит матерная брань.

Взъерошенный, я бегу к знакомому фельдшеру за спиртом.

Полина в комнате одна.

Ставлю на стол выпивку, выкладываю закуски.

— Это что за торжество у тебя? — смеется Полина.

Голова моя отяжелела от горьких дум и никнет к столу.

— Не торжество, а горе. Может, это поминки по мне.

— Какое горе? Какие поминки?

— Уходим в море. На этот раз нам предстоит очень опасный поход. Кто знает? Может, не увидимся до второго пришествия...

Полина в тревоге.

— Нет, не говори так. Ты вернешься благополучно. А я буду выходить на берег и ждать тебя...

Ее тревога и отзывчивость вызывают во мне еще большую грусть.

Наполняю стакан спиртом, разбавленным вишневым сиропом.

— Выпьем, дорогая!

— Разве только чуточку... Ради тебя...

Водка лишь обжигает грудь, но не заглушает смертельной тоски. Хочется жаловаться на суровую долю свою. И странно, что не только Полина, но и сам я прислушиваюсь к своему голосу, сдавленному и глухому.

— Да, дорогая, война — это вообще очень серьезная штука. Это не именины. Тут угощают не пирогами с начинкой, а снарядами с динамитом и всякой другой мерзостью. Но еще хуже положение подводников. При мне погибло несколько лодок. «Норка» пропала без вести. Что с ней случилось? Никто ничего не знает. «Рысь» наткнулась на неприятельские сети, запуталась в них и взорвалась. О ней прочли лишь несколько строчек из неприятельских сообщений. Немного больше прочли об «Акуле». Ее повредили миноносцы: погрузилась на дно и не могла всплыть. Немцы подняли ее через два дня.

Остался жив только один человек, да и тот оказался сумасшедшим. А остальные — кто задохнулся, кто сам покончил с собой. А еще одна лодка...

Я рассказываю о страшном случае с подводниками, рассказываю искренне, так, как было в действительности. Но в то же время я чувствую, что я какой-то двойственный, что во мне сидит кто-то другой, который задался определенной целью.

Несмотря на полусумрак гаснущего дня, я вижу отчаяние на лице Полины, вижу даже, что в углах ее прекрасных глаз застряли две росинки.

Полина бросается ко мне на шею.

— Довольно, милый, об этом! Не хочу больше слушать... Боже мой! Муки-то какие! Сеня, дорогой... Не унывай, не терзай себя. Лучше выпей... И я с тобой выпью. Хочешь, а?

— Да, да, выпьем, родная.

Руки ее дрожат, и горлышко бутылки стучит о край стакана. Водка плещется мне на колени.

Мне очень жаль Полину, но почему-то хочется, чтобы она заплакала. Для чего это мне нужно? Ах, грудь мою разрывает двухпалый якорь, и я говорю с гнетущей безнадежностью:

— Полина! Я буду помнить о тебе и там, в море, на глубоком дне.

Слезами окропила лицо мое, покрыла поцелуями.

— Не говори так! Не надо... Мне страшно. Я вспоминаю о муже... Как узнала, что он погиб, я чуть не покончила с собой... А ты вернешься. Я буду твоей... Сеня, родной! Я теперь твоя. Слышишь, милый? Твоя без венчания... Мучитель мой! Взбалмошный и славный подводник!

Мускулы ощутили жадный трепет прильнувшей ко мне женщины. Точно незримое пламя полыхнуло в меня, обожгло все тело.

В вечернем небе загорелись венчальные свечи.

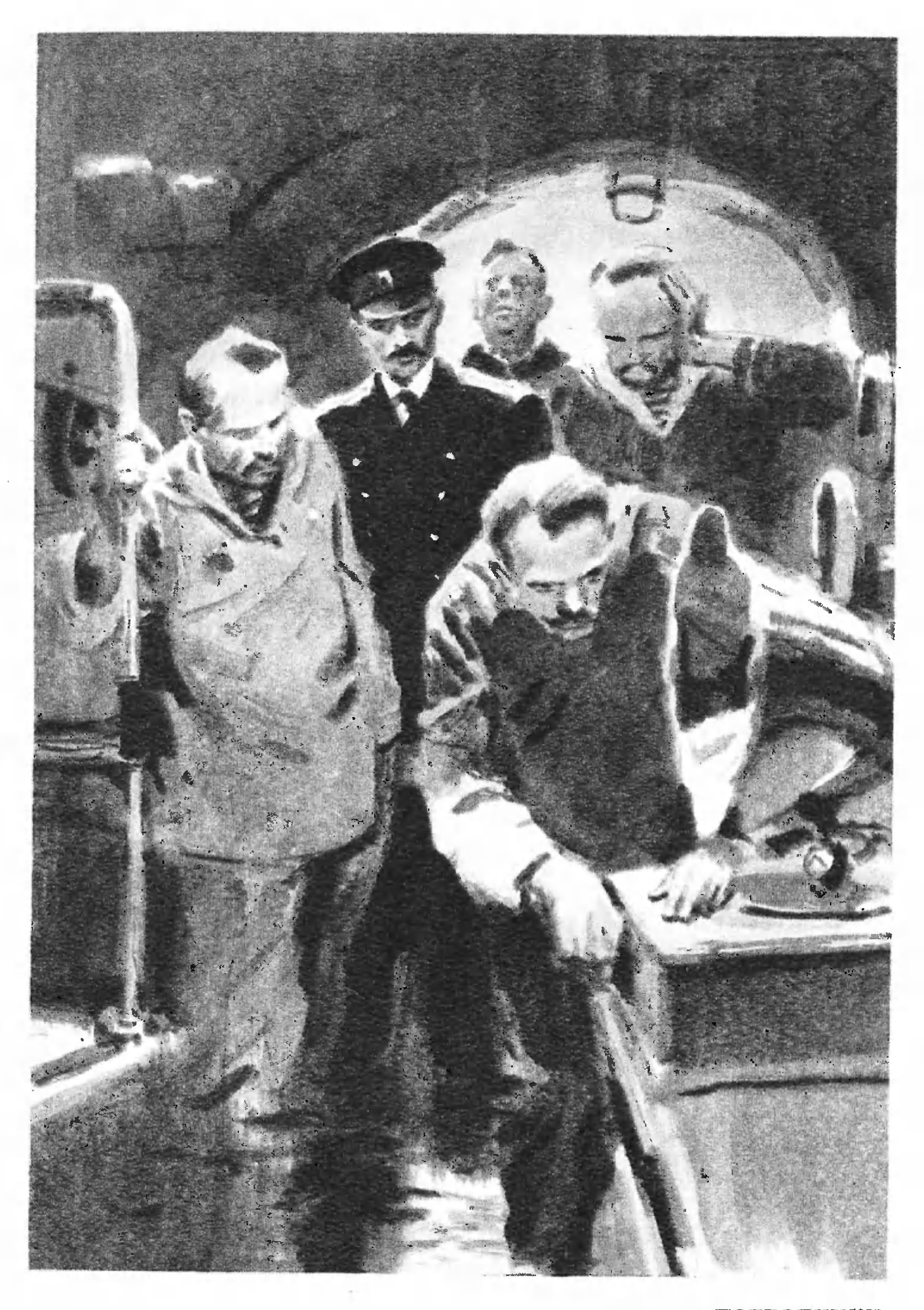
Экватор перейден.

Несется «Мурена», глотает пространство. Настойчиво стучат дизель-моторы.

На рассвете засвежело. Подул норд-вест, порыви-



«ПОДВОДНИКИ»



«ПОДВОДНИКИ»

стый, как молодой жеребенок. Облака на востоке накалились докрасна, словно железо в горне. Море расцвело пионами. Глянуло солнце, поздравило всех с крепким утром. Волны засветились сверкающими улыбками. Но в следующую минуту все померкло. Небо и море нахмурились. Стихийные силы подготовлялись к какому-то торжеству. А после обеда началось безумное веселье.

Я стою на верхней палубе. Руки мои крепко держатся за железный трап рубки. Не оторвешь! Море грохочет, ревет миллионами открывшихся ртов. Темные беззубые пасти хватают лодку, давятся сталью и выплевывают обратно. А, не нравится? Вздуваются кипящие холмы, обрушиваются на борта. Не страшно! Наша «Мурена» устойчива, как «ванька-встанька». Высоко взметнет свой острый нос — сейчас, кажется, сделает прыжок в бушующий воздух. Еще момент — зарывается уже в массу клокочущей пены. А бездомный бродяга-ветер, вечный друг мой, свистит в уши: «Поздравляю с браком!» Обдаст волна и смеется: «Искупайся! Ха-а!» Я мокрый до последней нитки, но уходить вниз не хочется. Грудь в огне горит. Смотрю, как слоняются разбухшие тучи. В них вспыхивают золотые трещины. Перекатными громами хохочет небо.

На рубке стоит командир с биноклем в руках. Губы у него плотно сжаты. Острие бородки затупилось. Серые глаза впиваются в помутневший горизонт. Обращается ко мне, кричит:

— Ты что стоишь здесь зря?

— Любуюсь, ваше высокоблагородие, смутой в природе.

Командир махнул рукой, усмехнулся.

Накатывает большая зеленоглазая волна и рычит: «Что сказать твоей Полине?» И мчится за корму. А ветер вздурел не в меру: распирает мне ноздри, выворачивает глаза, солеными поцелуями мочалит губы. Пенится вся ширь морская, и в моей голове пенятся мысли, пьяные без вина: а что если бросить в море сердце свое? Его подхватят шальные волны, закружат, запоют песни и понесут к родным берегам, а оно будет гореть и сиять, как Сириус в небе.

О, шуми, неистовая буря, сильнее шуми! У меня сегодня торжественный праздник.

Я в центре безумной оргии. Это справляется моя свадьба. Вокруг меня — все в движении. Воды расступаются, смыкаются, гримасничают, показывают небу пенные языки. Над головою, в недоступных высях, развозились пьяные оравы: рвут железо, сбрасывают с чугунных гор тысячепудовые бочки. По клубящимся тучам хлещут огненные бичи. Кто-то пускает фейерверки. Весь простор заполнен звуками: тут и литургия, тут и хохот, звон заслонок, игра на кларнете, рев водосточных труб, рыкание львиного стада. Волны потрясают мне белыми флагами. Внутри лодки бьются пятьсот лошадиных сил.

Я мысленно выпускаю это стадо коней на поверхность моря. Они бешено мчатся в туманную даль. «Мурена», уносясь за ними, танцует, прыгает, скачет, размахивается на ухабах, как сани по сугробам. Эх, держись крепче! Только алмазная пыль крутится в воздухе. Нет, такой разгульной свадьбы не было еще ни у одного короля.

Не выдержал старенький бог — заплакал крупными слезами.

Я спустился вниз к дробному стуку дизелей, к чадному запаху перегорелого соляра.

Прохожу через кают-компанию. Штурманский офицер на своем маленьком столике разбирается в морских картах. Перед ним разные приборы: барометр, указатель скорости, указатель расстояния, глубомер, компас Сперри, переговорные трубки. Старший офицер Голубев лежит на койке в своей крошечной каютке. Ноги его задраны, упираются в перегородку. Он насвистывает песни, как соловей. В носовом отделении — большинство команды. Здесь душно. Некоторые страдают морской болезнью, валяются на рундуках. Камбузного Тюленя укачало настолько, что он лежит без движения, с позеленевшим лицом, с остекленевшими глазами. Матросы накрыли его белой простыней и отпевают: «Со святыми упокой...» Раздается хохот.

Некоторые из команды ворчат:

— Куда это торопится наш командир?

— Да, пора бы на дно ложиться, на покой.

Один матрос спрашивает:

— Отчего это буря происходит?

Другой поясняет:

— Это главный дьявол свои легкие прочищает.

Поднимает голову Зобов, весь какой-то измятый и мутный.

— А какая разница: дьявол или бог прочищает свои легкие? Все равно ни тому, ни другому глотку не заткнешь...

К вечеру переменили курс. Началась бортовая качка. Я едва удерживаюсь на рундуках. Мы точно дети в стальной зыбке. Вместо няни яростная буря. Она колотит пинками в железные борта и рычит: спите, смоленые черти! А то заорет, завоет песни, озорная и распутная, как пьяная баба. И все сильнее свирепеет, злится, что не может убаюкать нас. Зыбка наша порывисто размахивается, дергается. У нас сотрясаются внутренности. Ни минуты покоя.

Дальше идти нельзя: «Мурена» начинает захлебываться.

Скомандовали к погружению.

Лодка лежит на глубине в сто пятьдесят футов. Никакой качки. Буря доносится до нас лишь очень отдаленным гулом. А здесь тихо. Только жужжат, как жуки, вентиляторы, уравнивая воздух.

Морской болезни как не бывало. Все стали бодры. Камбузный Тюлень занимается стряпней.

Заводят граммофон. Вяльцева поет любовный романс, игривой трелью заливается женский голос. В лодке становится веселее.

Я мысленно переношусь к Полине. Где она теперь и что делает? Быть может, смотрит на разбушевавшееся море и тревожится за мою участь. Но может и другое быть? Мухобоев настойчив и нахален... Я стараюсь не думать о нем и заговариваю с Зобовым:

— Ты кем был раньше, до военной службы?

Он лежит на рундуках животом вверх, смотрит на электрическую лампочку и о чем-то думает.

— А для чего это тебе нужно?

— Так.

— Так и чирей не садится.

— Ну, опять пошел мудрить!

Зобов поворачивает ко мне лицо, лениво цедит:

— Я прошел огни и воды, медные трубы и чертовы зубы — остался цел и невредим. А что будет дальше — не знаю. Этого довольно с тебя?

— Вполне. Спасибо.

Потом я подхожу к нему с другого конца:

— Чем ты думаешь после войны заняться?

— Я не думаю об этом вовсе. Была бы крепкая шея, а хомут для нашего брата всегда найдется.

Заклейкин возится с граммофоном. Это — его любимое дело. К нему пристают матросы.

— Трепанись, браток!

— А ну вас к лешему! — отмахивается Залейкин.

— Тьфу, черт! Ну что тебе стоит языком постучать? А мы бы послушали.

— Идите-ка вы все к Е-е-вгению Онегину. Слушайте лучше граммофон. Ставлю «Липу вековую». Эх, и песня! Умирать буду — кого-нибудь попрошу спеть ее. Обязательно попрошу. А если хватит силушки — сам спою. С песней уйду на тот свет.

Залейкин приподнял одну бровь и стоит, словно зачарованный тенором певца.

Над дверями офицерского отделения висит Николай Чудотворец. Из-за стекла позолоченного киота он строго смотрит на матросов, точно недовольный, что все его забыли; ему приходится выслушивать не молитвы, а самую ужасную ругань, какую можно себе представить. Из всей команды только один человек относится к нему по-христиански — это молодой матрос Митрошкин. И сегодня после ужина, прежде чем залезть под одеяло, он повертывается к иконе и крестится.

— Мотаешь? — спрашивает его Зобов с ехидной улыбкой.

— Да, потому что я не такой безбожник, как ты! — сердится Митрошкин.

— Я не знаю ни одного святого из матросов. Значит, зря стараешься.

— Отстань, магнитная душа!

Но Зобов продолжает спокойно:

— Ты не сердись. Я тебе дело говорю. Возьми вон осла: Христа на себе возил, а что толку? Все равно в рай не попал.

Подхватывают другие матросы:

— А ведь верно беспроволочный бухнул. Уж на что была протекция у осла, а все-таки остался несчастным ослом...

Команда смеется, а Митрошкин лежит и сквернословит.

На поверхность моря всплыли рано утром. Горизонт чист. Продолжаем свой путь.

От вчерашней бури осталась только мертвая зыбь. Равномерно покачивается «Мурена». Над нами свежей синью сияет безводный океан. А внизу — зыбучая степь, без конца и края; качаются полированные холмы, сверкают, точно усыпанные осколками разбитого зеркала.

Стучат дизеля, упорно движут лодку к таинственному горизонту.

Что ожидает нас там, за этой синей гранью?

В обед, только что приступили к последнему блюду, к любимому компоту, как раздается авральный звонок. Он так громко и резко трещит, что всегда взбудораживает нервы. Бросаем свои миски.

Спешно готовимся к погружению.

Очевидно, на этот раз предстоит встреча с неприятелем.

— Принять в уравнительную,— командует командир.

— Есть принять в уравнительную!

— Электромоторы вперед! Девятьсот ампер на вал!

Идем на глубину перископа. После боевой тревоги разговаривать не полагается. Тихо. Слышно, как тоненько и заунывно поют свою песню электромоторы. Что теперь делается наверху? Только командир знает об этом, только он один соединен через перископ с внешним миром. А все остальные, сорок с лишним человек, уже не люди. Это живые приборы вдобавок к тем бесчисленным приборам, какие имеются на лодке.

Через четверть часа всплываем.

— Комендоры, к пушкам!

Открываем люки. Вместе с другими и я выскакиваю на верхнюю палубу. Перед нами — немецкий пароход. По нашему сигналу он останавливается, грузно раскачиваемый ленивою зыбью. Подходим ближе. На палубе

виден рогатый скот. Старший офицер Голубев кричит в рупор что-то по-немецки. На пароходе поднимается суматоха. Через несколько минут весь экипаж его усаживается в шлюпки и отплывает в сторону, а шлюпка с капитаном и его помощником направляется к нам.

Комендоры расстреливают пароход, но он тонет медленно. В кормовой части возникает пожар. Быки поднимают отчаянный рев. Несколько из них выскакивают за борт, быстро отплывают от своего судна.

Мы забираем с собой капитана и его помощника. Остальных оставляем на произвол судьбы в море, на шлюпках. Они направляются в сторону чуть заметного берега. Им придется до него плыть очень долго.

«Мурена» трогается дальше.

За нами увязываются быки, спрыгнувшие с парохода, плывут в кильватер нам. Их пять штук. Один из них, самый большой, черный, белоголовый, впереди всех. У него вырваны рога, а может быть, отшиблены снарядом. Он поднимает окровавленную морду и мычит в смертельной тоске.

Пароход весь охвачен огнем. Бушует пламя, извивается, выбрасывает облака черного дыма. Страшный рев быков, рев целого стада, потрясает воздух, далеко разносится по морю. В нем — мольба о помощи, в нем — проклятие нам. Корма быстро начинает осаживаться. Еще минута — и пароход скрылся весь. Раздался взрыв паровых котлов, поднявший громадный столб воды — последний вздох судна.

Парохода не стало.

По-прежнему зыбится море.

«Мурена» увеличивает ход. Быки начинают отставать.

Только один, белоголовый, самый сильный, все еще держится недалеко от нас. Ах, как он мычит! Его трубный рев начинается низкой октавой и кончается высокой, немного завывающей нотой. Он плачет, зовет, угрожает. Этот предсмертный крик погибающего животного ошеломляет матросов.

Они смотрят назад, за корму, молча. У всех серьезные лица, словно только что потеряли близкого человека. А электрик Сидоров, этот неисправимый пьяница, украдкой вытирает слезы.

Я с грустью ухожу в свой носовой кубрик.

Матросы угощают немецкого капитана и его помощника обедом, а они едят и улыбаются, словно хотят сказать:

«Друзья, мол, мы с вами».

Эх, под воз попадешься — сатаной назовешься!..

До вечера время прошло без приключений. Встретили лишь несколько нейтральных пароходов. Опять ночевали на дне.

На следующий день погода ухудшилась. Показались скалистые берега. В них скрывались заливы. Подошли ближе. Море здесь ярилось и гремело. Громадные волны без устали бухали по каменным твердыням, вскипали пеной, поднимали брызги, похожие на стеклянную шрапнель. Утесы, с рубцами от многолетних битв, мрачно смотрели в загадочную даль, откуда двигались на них новые бесчисленные полчища в белых шлемах.

Вдали показался дымок.

«Мурена» пошла наперерез курса неизвестного судна. Дым приближался, увеличивался. А когда показались мачты и зачертили синь неба, мы погрузились.

Через некоторое время командир сообщил нам из рубки:

— Немецкое судно. Типа не могу определить.

Приготовились к выстрелу.

Потом раздалась команда:

— Носовые аппараты — товсь!

Я стою у правого минного аппарата. Одной рукой держусь за ручку боевого клапана, а нога поставлена на рычаг стопора. В такой же позе стоит другой минный машинист у левого минного аппарата. Ждем следующей команды, самой страшной, самой роковой, а в глубине души, как далекая зарница, вспыхивает догадка — значит, какой-нибудь военный корабль.

Около нас, у рупора переговорной трубы, в качестве передатчика и наблюдателя стоит минный офицер мичман Кудрявцев. Рот у него приоткрыт, тонкая шея неестественно вытянута, и на ней торчит большой кадык.

Напряжение растет. Все застыли на месте. Широко открытые глаза не мигают. С каждой минутой мы приближаемся к какой-то загадочной черте. Что ждет нас

там? Эта неизвестность, эта таинственность давит нас, как чугунным прессом.

— Правый аппарат...

Короткая пауза, но самая мучительная. Мы как будто передвигаемся по одному только волоску через темную бездну. Сердцу становится щекотно...

— ...Пли!

Последнее слово прозвучало, как приговор судьбы, взорвало уши. Дрогнула грудь. Я рванул за ручку боевого клапана и в то же время нажал ногой на рычаг стопора. Точно жирная туша, шмыгнула из аппарата отполированная мина, потрясла весь корпус лодки. Вырвалась, как пробка из гигантской бутылки, злорадно взвизгнула и с гулом, с быстротой курьерского поезда понеслась к цели.

От сильного толчка некоторые матросы упали, но тут же поднялись. У каждого теперь широко расставлены ноги. Сейчас рявкнет взрыв, нашу лодку отбросит в сторону. Ждем...

— Левый аппарат — пли!

И опять жуткие секунды ожидания.

Промахнулись оба раза.

Как после узнали, это был немецкий пароход, вооруженный пушками. Поэтому командир наш решил потопить его без предупреждения. Но в самый критический момент случилось небольшое несчастье: командир разбил свое пенсне, а без них он, как новорожденный щенок, ни черта не видит. Так и ушел пароход без вреда. Но мы благодаря этому попали в новое критическое положение.

Всплыли на поверхность моря. Не успели открыть рубочный люк, как откуда ни возьмись неприятельский миноносец. А это для подводной лодки худший враг. Он мчится на нас полным ходом.

— К погружению! — грянул командир не своим голосом и сразу выпалил все команды.

Всем ясно стало, что опасность придвинулась вплотную. Поняли это и наши пленники, что сидели в носовом отделении,— оба побелели и выкатили глаза.

Заработали помпы, зашумели цистерны. А около лодки уже начали разрываться снаряды. Медленно погружаемся. Ах, скорее бы на дно! Хоть в преисподнюю,

только бы не быть разрезанными неприятельским килем. Вдруг над носовою частью, над самой головой, что-то ухнуло, треснуло. Зазвенели осколки стекла, электрическое освещение погасло. Казалось, что взорвался мой мозг, вылетел из черепной коробки. Может, это и есть смерть? Нет, я жив, я слышу, как в непроглядном мраке кто-то упоминает бога, а кто-то ругается матерными словами.

Не успели опомниться, как почувствовали, что к нам приближается страшный гул, подобный бушующему пламени, что на нас накатывается что-то огромное, словно обрушивается многоэтажное здание. Трах! «Мурена» чуть не перевернулась. Наверху что-то ломалось, трещало, рвалось. Весь корпус лодки скрипел, содрогался. Внутри со звоном летела посуда и всякая мелочь. Взвыли чьи-то голоса, судорожно заколотились в стенах стальной сигары.

Лодка опускается в бездну, проваливается камнем. Это я чувствую отчетливо. Здесь наша вечная могила. Прощай, жизнь! Вселенная ослепла для нас навсегда!

Вдруг «Мурена» ударилась о грунт морского дна. Крики затихли, словно весь экипаж умер в одно мгновение. Вероятно, все, как и я, начали прислушиваться, нет ли где течи. Было тихо, тихо до леденящего ужаса, придушившего даже дыхание людей. Неожиданно в молчаливый мрак ворвался властный окрик:

— Спокойствие! Полное спокойствие!..

Это был голос командира, страшный голос. Он обнадеживал и пугал. Он держал нас в своей власти.

Паники уже нет. Из боевой рубки раздаются правильные распоряжения. Их точно исполняют те, к кому они относятся, исполняют в непроглядной темноте ощупью, по привычке.

Через несколько минут лодка вдруг осветилась.

Надеждой загорелись глаза.

Глубомер показывает сто тридцать два фута. Течи нигде нет. С души сваливается камень.

Слава богу...

— Теперь вырвемся...

К нам обращается немецкий капитан, что-то говорит. У него прыгает нижняя челюсть, а в глазах — слезы, страх, точно перед ним держат нож. Он качает го-

ловой и показывает на своего помощника. Смотрим — лежит тот без движения на рундуках, съежившись. Руками за голову держится. Рот разинут, искривлен, оскалены зубы. Выпученные глаза смотрят на нас с застывшей жутью.

Зовем фельдшера. Он ощупывает пульс, прислушивается к груди.

— Готов! Сердце не выдержало.

Кто-то поясняет:

— Да, без привычки трудно выдержать такую полундру...

Командир осматривает лодку. На лице его никакой тревоги. Это успокаивает нас. Пробуем перископы. Они не поднимаются и не поворачиваются. Видимо, оба согнуты. Теперь придется нам уходить отсюда вслепую, как бы с завязанными глазами. До ночи подниматься на поверхность моря нечего и думать.

Отдается распоряжение освободить часть балласта, чтобы придать лодке самую малую плавучесть. Одновременно пускаем электромоторы. «Мурена» ни с места. Еще убавили балласт. Глубомер продолжает оставаться на той же цифре.

Командир проходит в нос. Каждая пара глаз вопросительно смотрит на него. Но он ничего не говорит, только прикусывает нижнюю губу да закручивает русую бородку, придавая ей вид восклицательного знака. А это плохой признак: значит, случилось что-то серьезное.

Страшная догадка потрясла меня: лодка попала на илистое место, и ее засосало. Я начинаю понимать всю трагедию нашего положения. Если освободиться от балласта совсем, то, может быть, мы и всплывем. Но вдруг окажется, что миноносец будет где-нибудь поблизости или даже рядом с нами? Нам грозит неминуемая гибель. Оставаться так до ночи — лодка еще крепче прилипнет к морскому дну.

На лицах команды разлита тревога, тупая покорность перед судьбою.

Застывшими глазами смотрит на нас покойник, и рот разинут, как бы хочет крикнуть:

— Никуда вам не уйти отсюда!..

И, подавленный, я думаю: неужели нет выхода?

— Уберите труп! — сердито приказывает командир.

Несколько человек бросаются к покойнику и прячут его в носовую шахту, под настилку.

Командир смотрит на свои карманные часы и уверенно говорит:

— Пустяки! Посидим еще немного здесь и тронемся в путь. Прямо в свой порт. А пока что каждый по-своему может веселиться, как сказал однажды черт, садясь голым телом в крапиву...

Он улыбается, улыбаются, точно по команде, и все другие. Мы верим в счастливую звезду командира, верим в то, что он знает «Мурену», как редко кто знает свою жену.

Командир разговаривает по-немецки с капитаном. Мы слушаем и не понимаем. Тут же и другие офицеры стоят. Капитан старается улыбнуться, но по лицу его расползаются гримасы:

— Оказывается, не хочет, чтобы мы погибли от немецкого миноносца,— переводит командир.— Желает нашей лодке спастись. Вот вам и патриот.

Офицеры уходят в кают-компанию. Я спрашиваю самого себя: а какие могут быть желания у каждого из нас, если попасть в положение капитана к немцам?...

Меня толкает моторист Залейкин.

— Ну что, брат?

— Ничего.

— Как ничего? А почему же, скажи мне, у барана хвост опущен, а у козла кверху задран?

Залейкин сделал короткую паузу и серьезно наказывает мне:

— Нет, ты подумай над этим. Вопрос, можно сказать, философский. В нем смысл жизни скрывается...

— Ах ты, трепло этакое! — смеются матросы.

Залейкин глянул на всех, хитровато улыбнулся.

— Эх, братва! Недавно случай со мной произошел...

— А ну, дружба, позвони малость, потешь команду,— пристают к нему матросы.

— Тут не потеха, а факт был,— начинает Залейкин.— Вот как нужно это понимать. Да... Иду я ночью по городу. Поздно уж. Людей мало. Глядь — по тротуару горняшка плывет, покачивается, как лодочка на лег-

ких волнах. А за нею, в кильватер, важно этак, пес шествует. Здоровенный кобель, что твой телок годовалый. И породы — сен-бернар. Я ближе и ближе к горняшке — пристал к ее борту. Ну, а дальше — сами знаете: тары-бары, ночевали в амбаре. Идет дело на лад. Гуляем по городу. Проходим мимо одного сада, вдоль забора. Тень от деревьев. Место, думаю, подходящее...

Около Залейкина — почти вся команда. И я здесь. Забыто, в каком положении находится наша «Мурена». Все слушаем, вытягиваем шеи к этому забавному моториcту, а он продолжает:

— Обнял я свою горняшку — и ну целовать. А она, как всякая женщина с первого раза, давай ахать да охать,— притворяется, будто я насильно беру ее. В это время кто-то ка-а-ак шандарахнет меня в бок! Так и опрокинулся я вверх торманом. Лежу на спине. Глядь — уй, мать честная! — надо мною кобель стоит. Пасть разинул, клыки оскалил, рычит в самое лицо, собачьей псиной обдает. А из меня и дух вон. Даже голос отнялся. Тут уж она, горняшка, вступилась. «Тризорушка,— говорит,— не надо, не трогай! Милый Тризорушка! Иди ко мне...» Отпустил мою душу на покаяние — слез с меня. Кое-как поднялся. Даю задний ход. Едва двигаюсь. Все мои внутренние и внешние механизмы развинтились — ни к чертовой матери не годятся. А горняшка к себе манит. Да уж какая тут любовь! Вся душа засохла.

В лодке долго плещется нервный хохот команды.

Я думаю, что без Залейкина мы могли бы сойти с ума.

Командир — в рубке. Отдает распоряжение к всплытию.

— Эх, удастся ли нам еще раз увидеть божий свет?

С шумом освобождаются от воды цистерны. Электромоторы работают полным ходом. Офицеры, вся команда и даже пленный капитан стараются раскачать лодку, с остервенением бросаются от одного борта к другому.

— На левый!.. На правый!..— командует старший офицер.

Но лодка ни с места, точно кто держит ее зубами.

Снова отчаяние леденит кровь.

Решено прибегнуть к последнему средству: выпустить мину. Если и это не поможет, «Мурена» станет для нас вечным гробом.

— Электромоторы — полный назад! — командует командир.

Мина шарахнулась вперед.

«Мурена» дернулась, как живая, и стремительно, словно сама обрадовалась, что удалось оторваться от морского дна, понеслась вверх.

Миноносец в это время находился очень далеко. Он нас даже и не заметил. Мы успели опять погрузиться и пошли на глубине тридцати — сорока футов. Двигались без перископов. Только ночью поднялись на поверхность моря.

Телеграфист Зобов по радио бросил в пространство весть о «Мурене».

Жаром дышит небо.

«Мурена» вспахивает гладкую поверхность моря и несется к родным берегам.

Мы сидим на верхней палубе. Солнце обливает нас зноем. Измученная душа отдыхает, наполненная голубым светом. Никому не хочется вспоминать о том, что недавно пережито. Пусть оно никогда больше не повторится.

Залейкин играет и поет. Его двухрядка растягивается во всю ширину рук. В голубом просторе кружатся и бьются звуки гармошки, а среди них реет звонкий тенор певца.

Кто-то крикнул:

— Земля!

Все смотрим вперед. Там, за крутой чертой горизонта, постепенно вырастают церкви, дома, гавань, точно поднимаются из моря.

Навстречу нам идет дозорный миноносец. Еще издали, по семафору, мы обмениваемся с ним приветствиями. Сближаемся, остановились.

— Поздравляю! — кричит с верхнего мостика командир миноносца.— Сегодня о вас уже в газетах напечатано!..

Наш командир кратко рассказывает о своем походе и, в свою очередь, спрашивает:

— А что нового на берегу? Как на фронте?

— Неважно...

Поговорили и разошлись.

Небо излучает радость. Водная степь горит, усыпанная серебром. И не верится даже, что где-то грохочут пушки, трещат пулеметы, льется человеческая кровь.

Ближе надвигается гавань. Нас встречают чайки, взмывают над лодкой и кричат.

Мне ничего больше не надо. Полина сидит рядом со мною, ласковая, как ветерок морской. Окно занавешено, в комнате полусумрак. И зачем нам нужен свет, когда горят так сердца?

Ах, как задушевно звенит ее голос!

— Я все очи проглядела — все выходила на берег. Смотрю в море, не плывет ли твоя лодка. Начала уже думать, что ты погиб. И вдруг ты явился...

— Нет, Полина, на этот раз смерть миновала нас...

Полина порывисто льнет ко мне, бросает знойные слова:

— Ненаглядный ты мой подводник! Соленое ты мое сердечко! Скажи, любишь?

В сотый раз я отвечаю ей:

— Люблю!

Я чувствую, что во мне играет каждая кровинка, а сердце, как рубильники в лодке, вспыхивает искрами.

В лодке нашей поврежден корпус, согнуты перископы. Скоро ее поставят в док и начнут ремонтировать. Для нас наступает полоса отдыха.

На базе жизнь проходит по-прежнему. Если кто посмотрит на нас со стороны, то невольно подумает, что это все беспечные и веселые ребята, отчаянные головушки. На самом деле мы только стараемся быть такими, чтобы забыться от пережитых и ожидаемых ужасов. Но не всегда это нам удается. И сам я чувствую и на других замечаю, что озорство, удаль — часто напускные. Мы с трудом сдерживаем гнев против того, что творится на земле. Среди команды все чаще раздаются раздраженные голоса:

— Когда же это мы перестанем колошматить друг друга?

— Да, конца войны с самой высокой грот-мачты не видать...

— Эх, сговориться бы с немцами и громыхнуть по головам заправил! Да так громыхнуть, чтобы вся земля загудела!..

— К этому все идет. Только это будет похлеще, чем в пятом году: с испугу сам дьявол начнет молитвы творить...

Иногда я думаю: как это случилось, что эти двести человек стали подводниками? Точно чья-то могучая, но незримая рука хватала каждого из нас за шиворот и со всех концов России тащила сюда — на этот транспорт, на эти подводные чудовища. Одного заставили следить за электромоторами, другого — из пушек стрелять, третьего — мины пускать.

Говорю об этом Зобову. Он оглядывается и тихо отвечает мне:

— А это потому так случилось, что большинство человечества — идиоты! Будь то французы, русские, англичане, немцы — все равно...

— Как?

— Оно исполняет чужую волю очень ничтожного меньшинства,— злую волю.

Зобов делает подсчет тому, сколько людей одето в защитный цвет, сколько работает их для фронта в тылу на фабриках и заводах, на полях и в рудниках. Не упускает из виду и нейтральные страны, поставляющие военный товар. Получается рать в двести миллионов, самая производительная, вооруженная лучшими техническими средствами. Зобов мысленно пускает эту рать в работу, соединяет моря новыми каналами, взрывает всю пустыню Сахару, орошает ее артезианскими колодцами. И нет больше этих мертвых желтых песков, есть на свете новая цветущая страна, вся в тропических растениях.

— Молодец ты сегодня, Зобов! Под такими мыслями я подписываюсь обеими руками.

Во флоте переполох: сам царь осматривает корабли. На фронтах дела наши плохи. Поэтому царь объезжает усталые войска, чтобы поднять среди них воинственный дух. Неожиданно и к нам завернул.

В порту суматоха.

Готовится к встрече важного гостя и наша «Мурена». Наспех прибираемся. Все наше начальство налицо, в волнении.

В гавани то и дело гремит музыка духового оркестра, раздаются крики «ура». Все суда расцвечены флагами.

Вдруг прибегает к нам на лодку начальник подводного дивизиона, капитан первого ранга Берг. Лицо у него красное, как мясо семги. Пучит глаза на командира и торопится вытолкнуть из горла застревающие слова:

— Через пятнадцать — двадцать минут будет здесь... да, будет... Я отрекомендовал, как самую боевую... отрекомендовал «Мурену»... Немедленно команде переодеться в чистое... Слышите? Немедленно!

— Есть!

Быстро выполняем распоряжение Берга. Томительное ожидание. Наконец выстраиваемся на верхней палубе «Мурены». Появляется царь, осторожно шагает по сходням, а за ним — свита его. Принимает рапорт от нашего командира. Здоровается с нами, картавя, не выговаривая буквы «р».

Я вижу впервые того, кто считается главным капитаном громаднейшего корабля, именуемого Россией. С детства мне внушали мысль о важности царя. Поэтому я ждал встретить в нем нечто особенное. Заочно он представлялся мне или очень ласковым, как ранняя зелень весны, или суровым и грозным, как подземный гул вулкана, смотря по обстоятельствам; с электрическими глазами, все знающими и все видящими,— не проведешь! А сейчас — ни то и ни другое. Самый обыкновенный человек в форме морского офицера.

Роста — среднего. На плечах погоны капитана первого ранга. Рыжеватая бородка — конусом. Помятое лицо. Усталый взгляд полинявших глаз. И во всей фигуре чувствуется дряблость воли. Кажется, что он никогда больше не воспрянет духом.

— «Мурена», к осмотру! Команда, по местам!

В один момент очистилась верхняя палуба. Мы рассыпались внутри лодки — каждый теперь стоит у своих приборов.

Медленно проходит царь, рассеянно скользит глазами по сложным бесчисленным механизмам, по окаменевшим лицам людей. За ним, как гуси за своим вожаком,

тянется свита,— бородатая и бритая, толстомясая и поджарая, вся в золоте, в орденах, в аксельбантах. Впечатление потрясающее, но в то же время у меня возникает игривая мысль: если бы с этих солидных людей сорвать все обмундирование, оставить их голыми, что останется от них? В груди дрожит смех, как морская поверхность от дуновения ветра, а на лицо точно кто-то чужой натягивает маску верноподданного. Здесь и наш адмирал Гололобый. Несмотря на свою тучность, он теперь порывист и проворен, как полевая мышь.

Царь обращается к нашему командиру:

— Вы давно плаваете на подводных лодках?

— Шесть лет, ваше императорское величество.

Еще несколько незначительных вопросов — и все. Мы опять выстраиваемся на верхней палубе. А дальше — обычное: царю нужно обойти фронт, еще раз заглянуть в лица людей, может быть, спросить кой-кого, если это придет в голову. Так любит делать все высшее начальство. Я мельком наблюдаю за радиотелеграфистом Зобовым. Большой, он напряженно смотрит на царя сверху вниз,— смотрит, как судья на преступника. Встречаются их взгляды. Это какая-то безмолвная схватка глазами. Кажется, что сейчас произойдет что-то страшное. Один спросит:

— Для чего устроили эту бойню?

А другой прикажет:

— Зарядите этим болваном пушку!

Зобов успеет крикнуть:

— Я не один! Нас миллионы! Всю Россию не втиснешь ни в какую пушку!

Царь не выдержал и недовольно отвернулся.

— До свидания, братцы!

— Счастливо оставаться, ваше императорское величество!

Вслед царю кричим последнее «ура».

Смотр кончился.

У нас остался от него листок бумаги с надписью: «Посетил подводную лодку «Мурена». Николай II». Дальше идет дата. Этот листок бумаги решено вставить в золотую рамку и повесить в кают-компании «Мурены».

Я вынес такое впечатление, что царем можно восторгаться только заочно, не видя его.

Позднее спрашиваю Зобова:

— Ну, как?

— Пустое место. А природа, как известно по физике, не терпит пустоты. Отсюда пока что — Гришка Распутин. Потом все переиначится...

— Когда?

Зобов надвинул брови на глаза.

— Сейчас вся Россия оделась в траур. Стонет, скулит, плачет. Но скоро ей надоест это. И должны же, наконец, когда-нибудь иссякнуть слезы! Тогда весь народ оскалит зубы. Глянет на всех виновников войны сухими глазами. Зарычит по-звериному. Понимаешь? Весь народ! Это будет страшное время.

— Ты думаешь?

— Я уверен.

Я молча жму руку Зобову.

Вечер. На базе, на жилой палубе, матросы ложатся спать. Говор вертится вокруг смотра.

— Нет, наш-то Камбузный Тюлень — вот учудил!

— А что?

— Проходит царь мимо камбуза. Нужно бы пожирать его глазами, чтобы ни одной косточки в целости не осталось, как полагается по уставу. А он, дурной, на генерала свои мигалки уставил...

Кок оправдывается:

— Я не знал, кто из них царь. Ну и выбрал самого здорового генерала, внушительного, с лентой через плечо...

Зобов, раздеваясь, говорит:

— Раз его величество осчастливил нас своим посещением, то поможем ему в трудном деле...

Над ним смеются:

— Молчал бы уж, магнитная душа!

— Он поможет, как помогает балласт утопающему в море.

Из-под одеяла высовывает голову моторист Залейкин:

— Слава всевышнему творцу, что смотр кончился благополучно.

— А что могло быть?

Залейкин привстает и садится в постели.

— Кажись, в Черном море это случилось — забыл. Сделал царь так же вот смотр, довольным остался. Хо-

рошо. Ходит потом, как полагается, вдоль фронта, разные вопросы задает команде. Дело идет отлично. А напоследок — пожалуйте бриться — с козыря шандарахнул: спрашивает у одного матроса, что это, мол, означает — двуглавый орел. У того, оказывается, гайка слаба насчет такой мудрости. Обращается к другому, к третьему. То же. И даже сам командир напоролся—нечем крыть. Царь задвигал скулами—в обиде большой. Офицеры трясутся, словно котята на морозе,— срежет теперь золотые погоны. Тут один кочегар нашелся—юлит всем туловищем, точно ему кто шилом колет ниже поясницы. Заметил это царь, спрашивает его: «Может, ты знаешь?» «Так точно, ваше императорское величество, доподлинно знаю». Обрадовалось начальство — выручит всех. И даже головами закивали кочегару — не подкачай, мол, родной! «Ну-ка,— спрашивает царь,— ответь мне: что значит двуглавый орел?» А тот возьми да брякни: «Урод, ваше императорское величество!»

Залейкин под хохот команды прячется под одеяло.

Провожаем в поход другую подводную лодку из нашего дивизиона — «Росомаху».

Полуденное небо в сиреневых облаках. Хороводами плывут они в сторону сизого моря. Легкий ветер играет матросскими ленточками.

Мы стоим на каменной набережной и смотрим, как «Росомаха» разворачивается. Вид у командира Ракитникова уверенный, распоряжения точны и непоколебимы.

— До свидания! — кричат нам товарищи с палубы.

— Счастливо вам вернуться! — дружно отвечаем мы с берега.

Смеются на лодке, смеемся и мы, а в глубине души растет смутная тревога: удастся ли им еще раз причалить к этому берегу?

С нами стоят на берегу штатские: жены, дети и родственники отплывающих. Слышны вздохи, печалью наливаются глаза.

Расстояние между лодкой и берегом все увеличивается.

С той и другой стороны машут платочками, фуражками.

Гавань и город давно уже позади нас, а мы все идем и не замечаем ни времени, ни пространства. На берегу, кроме нас, ни одной живой души.

— Не хочу дальше! — заявляет Полина и падает на траву.

— Хорошее место,— говорю я и опускаюсь рядом с Полиной.

Волны в рыжих кудрях заката. Их гонит ветер, как пастух стадо, задорно свистит. По небу плывут караваны облаков. С горы, придвинувшейся к берегу, многоголосо шумит лес, качает лохматыми папахами.

— Скажи, Сеня, страшно тонуть в море?

Я смотрю в синь ее глаз, ставших вдруг холодными.

— С жизнью расставаться одинаково страшно везде. А почему это тебе в голову пришло?

— Вспомнила о муже... Как узнала, что он погиб на фронте, я побежала к морю. А увидела волны — испугалась...

— Не стоит думать об этом.

Она соглашается со мною, и уже по-иному зазвучал ее голос:

— Знаешь что, Сеня?

— Ну?

— С первого нашего знакомства я ужасно боялась тебя.

— А теперь?

— Теперь... Мне очень холодно...

Полина бросает на меня ласковый взгляд и громко смеется.

— Полина! Ты сияешь для меня, как семицветная медуза в тропиках.

Я обнимаю ее, горячую, как приморский песок, накаленный солнцем. Озорной ветер, постоянный спутник мой по всем странам, перебирает ее локоны, бросает мне в лицо пряди волос. Она увертывается от моих поцелуев. Это не каприз, а желание поиграть, взбудоражить и меня и себя.

В темной дали видны электрические вспышки. Это переговариваются огнями наши дозорные суда. Лучи прожекторов режут ночь, шарят по взъерошенной поверхности моря, ощупывают волны. Пусть занимаются военными делами. Я далек от этого.

А пока что в моих руках бьется Полина, осыпает меня ласками. Но я и сам не скупой на ласки. Бери, любимая, все, что тебе надо и что даром получил я от солнца! Вокруг нас оркестр из напевного ветра, лесного шума и рокочущего прибоя. Море кадит нам соленым запахом.

Ах, как коротка эта ночь!

Нас провожает утренняя заря.

В иллюминаторы «Амура» скромно заглядывал тихий вечер.

С моря вернулась подводная лодка «Куница», принадлежащая к нашему дивизиону. Команда ее с чемоданчиками и сундучками потянулась на базу. Это нас обрадовало. Кинулись к товарищам с расспросами:

— Ну, как дела?

— Одно судно угробили.

— Крейсер или броненосец?

— А черт его знает! Какое-то большое судно...

Вид у команды возбужденный, неестественно веселый, точно она вернулась со свадьбы и находится еще под хмелем. Все разбились на кучки. Идет оживленная беседа. В кубрике шумно. Мы с интересом слушаем рассказы матросов, вернувшихся из похода.

— «Куница» встретилась с неприятелем в то время, когда он, по-видимому, держал курс к нашим берегам. Шел целой эскадрой — посредине крупные суда, а по сторонам — миноносцы. Лодка наша постепенно сближалась. А потом погрузилась на большую глубину. Слышно было, как проходили над нею головные суда. А когда мы поднялись и высунули перископ, то увидели себя в средине неприятельской эскадры. Командир решил выстрелить залпом из четырех аппаратов Джевецкого, которые находились на верхней палубе. Мины были пущены веером.

— Эх, и саданули,— рассказывает рябой минный машинист Тюркин, когда-то мой одноклассник.— Море заревело! И уж вот до чего качнуло нас! Как только не опрокинулась «Куница»! Но и у нас чуть было беды не случилось. Слышим: на верхней палубе творится что-то неладное. Оказалось, что одна мина застряла хвостом

в ножницах аппарата. Работает ее винт, урчит, завывает. А сама она, окаянная, рвется, ерзает по железу, бьется о борт. Ведь шутка сказать — шестьдесят пудиков в ней! Болтается такая штуковина, так что весь корпус лодки дрожит. Вот, думаем, ахнет! А тут еще стрельба со всей эскадры. Все море засыпали снарядами. Эх, что было! Не рассказать всего. Давай мы тут зарываться в глубину. Да и ухнули с отрицательной плавучестью футов на триста. Даже заклепки начали слезиться. Насилу выбрались изо всей этой кутерьмы.

— Слышь, Тюркин! Ты про нашего Сонькина им расскажи,— подсказывают другие матросы.

Сонькин служит моторным кондуктором на «Кунице». Это толстый человек на коротких ножках.

При воспоминании о нем Тюркин рассмеялся:

— Да, Сонькин немножко позабавил нас. Как услышал, что одна мина на борту у нас болтается,— у него слабина наступила. Хлоп на палубу пузом и давай ногами дрыгать, точно его на сковородке поджаривают. «Ой,— кричит,—пропала моя головушка!» Подхватываем мы его, спрашиваем: «Что случилось?» Очухался немного — стыдно ему стало. «У меня,— говорит,— второй день резь в животе. Чем-нибудь объелся. Все кишки судорогой сводит». А я ему в ответ: «Значит, в кишках тут дело! А мы думали, родить человек собрался». Эх, и рассердился на меня Сонькин!

Слушаем мы эти рассказы и хохочем. Хохочут и матросы с «Куницы». Как будто речь идет о веселой оперетке. А я знаю, что эти люди пережили в море тяжелую трагедию. Попасть в то положение, в каком очутился весь экипаж лодки,— это все равно, что быть привязанным к жерлу заряженной пушки, из которой каждую секунду собираются выстрелить.

На базе бьют склянки. Время — восемь часов. Дежурный по палубе свистит в дудку и зычно командует:

— На молитву!

Неохотно, с матерной руганью идем в другую жилую палубу, где вместе с пожилым священником «Амура» поем «Отче наш» и «Спаси, господи, люди твоя». Так повторяется изо дня в день, пока мы стоим у базы. И еще много раз будет повторяться.

А когда вернулись в свой кубрик, Зобов заявил:

— Ну, доложу я вам: команда с «Куницы» просила сегодня у бога гибели себе.

— Это как понять? — спрашивают матросы.

Зобов неторопливо раздевается, чтобы потом, в постели уже, погрузиться в свои научные книги.

— Понимать тут нужно очень просто. Что вы просили у бога в молитве? «Остави долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». Это что значит? Мы, мол, потопили немецкое судно — ты, господи, с нами так же поступи, то есть утопи нашу подводную лодку...

— Вот идол беспроволочный! — отзывается о нем команда.— Все перевернет на свой лад.

С Полиной у меня начались нелады.

— Ты очень часто ходишь ко мне. Надо мною соседи смеются. Стыдно встречаться с ними.

Но я чувствую, что за этими словами скрывается какая-то другая причина, и путаюсь в догадках.

— Как же не ходить, Полина, если мне тошно жить без тебя?

— Мне до этого дела нет...

— Ах, вот как!..

Мы поссорились.

Я несколько дней не выходил из базы. Надо же хоть немного проучить ее. Пусть сама вызовет меня!

Напрасны мои ожидания. Тоскливо проходит время. Я начинаю бродить по улицам города в надежде встретиться с Полиной. Но ее все нет.

Мое уныние замечает Зобов и как бы про себя говорит:

— Женщине, как и морю, не верь никогда, если только не хочешь остаться в дураках.

Я рассказал Зобову все.

— А ты что, купил Полину?

— Не купил, но...

— Зачем же пристаешь к ней, как банный лист? Предоставь ей распорядиться собою...

Меня взорвало его холодное спокойствие:

— А ну тебя к черту! Ты со своими книгами засох, как вяленый лещ.

С горечью в душе иду к Полине. Хочется, чтобы она встретила меня по-прежнему — с той зовущей улыбкой, от которой становится жарко в груди.

Комната пуста. На комоде бесстрастно отбивает время будильник. Со стены остро смотрит на меня усатое лицо. Это тот, чьи кости гниют в сырой земле. Я отворачиваюсь. Через запыленные стекла окна часто заглядываю на улицу,— нет ее, не идет. Медленно опускается вечер над большим городом. Скучно. Стою у окна и потихоньку насвистываю. Что же мне делать еще? И сам не заметил, как своим носом, совершенно думая о другом, нарисовал на пыльном стекле: «Аллилуйя». А когда прочитал, то сам испугался: что за чепуха? Почему мне вспомнилось это слово? И почему я его написал именно носом?

Шагаю по комнате, безрадостный и потухший.

Полина явилась около полуночи.

— Это кто здесь? — пугливо спрашивает она.

— Кто же другой, кроме меня?

— Ах, как я испугалась!

Торопливо зажигает лампу, а у самой дрожат руки.

Рассказывает, что у двоюродной сестры была, и жалуется на головную боль. Вид у нее помятый, усталый, под глазами синие круги. От моего присутствия уже не загорается, как раньше. Смотрит таким скучным взглядом, от которого, кажется, скиснет и парное молоко.

А через два дня выяснилось все. Я встретил около ее дома Мухобоева. Он, видимо, ждал Полину. Он прохаживался с таким видом, точно в небо хотел плюнуть.

У меня невольно сжались кулаки, но я прошел мимо Мухобоева, как будто и не заметил его.

Ворвался в знакомую комнату и говорю с запальчивостью:

— Полина! Довольно морочить мне голову! Ты ветрогонкой хочешь заделаться, да?

Вид у меня, должно быть, решительный. Полина смотрит на меня испуганными глазами.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Неправда! Ты знаешь, что на улице тебя ждет Мухобоев!

Полина всплеснула руками.

— Ах, господи, вот он про что! Мало ли меня ждут, мало ли за мною ухаживают! Я до сих пор знала только одного своего Сеню.

И вдруг заплакала, залилась слезами.

Моя злоба растаяла, как туман перед солнцем. Мне стало стыдно и жаль Полину.

Да, на этот раз мы помирились. Мы хорошо провели время. Вечер звенел для нас любовью. А когда при звездах и луне возвращался на базу, в душу опять ворвалось сомнение.

«Росомаха» должна была уже вернуться, но ее все еще нет. Это вызывает среди матросов тревогу. Но никому не хочется верить, что случилось несчастье.

— Вернется,— говорят на базе.

— Конечно, вернется. Куда же ей деться?

— На дне моря хватит места для всех наших лодок,— подает голос Зобов.

К нему поворачиваются злые глаза.

— Ты что говоришь?

— Ничего. Только трусы вы большие. Боитесь правды, как плотва щуки.

На него обрушивается команда:

— Не квакай лягушкой!

— Заткнись!

— Двинуть его святым кулаком по окаянной шее, чтобы душой заговелся! Сразу замолчит...

Но Зобова этим не испугаешь: мускулы у него железные, а кулаки — два молота.

Встречаю на верхней палубе своего командира.

— Что-то долго, ваше высокоблагородие, не возвращается она...

Он знает, про что я говорю, и с напускным спокойствием отвечает:

— В шхерах где-нибудь путается. За время войны уже не один раз так случалось. Наверно, скоро опять станет рядом с нами.

Начальство распорядилось послать на розыски «Росомахи» две другие подводные лодки и миноносцы.

Дни стоят погожие, ясные, но для меня они наливаются свинцовой тяжестью. Гроза приближается,— я смут-

но сознаю это внутренним чутьем. Но какая? Живу и жду неизбежного.

Разлад с Полиной углубляется. Я уже не сомневаюсь, что она любит другого — Мухобоева. И каждый раз, когда я возвращаюсь от нее на свое судно, решаю про себя:

«Не пора ли бросить всю эту канитель? Ясно, что связался чад с дымом, и получился один угар...»

И все-таки тянусь к Полине, как шмель к пахучему цветку.

О нашем соперничестве узнали команды с «Мурены» и «Триглы». Разболтал Мухобоев. Ему захотелось, чтобы и другие знали о его победе.

Некоторые из наших матросов подзуживают меня:

— Неужели уступишь этой твари?

Я отвечаю на это:

— Да уступить я никому и ни в чем не уступлю. Понимаете? И в любой момент могу в морду дать, кто будет лезть ко мне с такими разговорами.

Нашему отдыху пришел конец: «Мурена» подлечила свои раны и теперь спешно готовится в новый поход. В гавани, около гранитной стенки, где пришвартована лодка, громыхают ломовые подводы. Жадно лязгает цепью подъемный кран, а его длинная, как у жирафа, шея то и дело поворачивается. Натуживаются крепкие мускулы матросов, трещат под тяжестью спины. «Мурена» беспрерывно глотает грузы: снаряды, соляровое масло, смазочное масло, мины, ящики с консервами. Перед уходом она старается как можно туже набить свой железный желудок.

Безоблачное небо обжигает зноем. Море плавится и кажется горячим. На матросах рабочее платье мокро от пота.

Неожиданно хлестнула команда:

— Смирно!

А вслед за этим слышим старчески трескучий голос:

— Здорово, морские орлы!

Около сорока глоток дружно и привычно выбрасывают в воздух готовый ответ:

— Здравия желаем, ваше гитество!

Это явился к нам сам адмирал, начальник подводной дивизии.

Он тучен — весом пудов на восемь. Сырое лицо с седыми бакенбардами расползлось в стороны. А над этим ворохом мяса и сала возвышается громаднейшая лысина, словно каменный мол над морем. Заочно матросы называют его «Гололобый».

Офицеры и матросы поражены небывалым явлением: адмирал привел на подводную лодку свою дочь. Все смотрят на нее угрюмо, враждебно — быть теперь беде. Но что можно поделать? Гололобому все позволено — на золотых погонах его грозно чернеют орлы.

Дочь, как только спустилась внутрь «Мурены», пришла в восторг:

— Прелесть! Светло, как в театре. Папочка, да тут столько приборов разных, что можно запутаться! Я бы ни за что не разобралась.

— Поэтому-то, Люсик, ты и не командир,— смеется Гололобый.

— Папочка, а это что за машины?

Отец говорит ей о дизель-моторах.

— Нет, все здесь удивительно! Нечто фантастическое!

У Люси звонкий голос, а с молодого лица радостно излучаются две спелые вишни, как два солнца. На тонкой фигуре белое прозрачное платье. Она кажется мне чайкой: спустилась на минуту в лодку, но сейчас же упорхнет в синий морской воздух. И уже не верится, что от такой радостной женщины может случиться несчастье. Я смотрю на нее и думаю: неужели Гололобый, напоминающий собою гиппопотама,— ее отец?

— Папочка! А где же перископ? Я хочу посмотреть в него.

— А вот командир покажет тебе.

Она поднимает ресницы и бросает на командира ласковый взгляд.

— Пожалуйста! Я с удовольствием вам покажу.

Гололобый продолжает осматривать лодку, всюду заглядывать. Вот здесь-то и случилась непредвиденная каверза. Не успел он войти в офицерскую кают-компанию, как на него набросился наш Лоцман. Это был командир-

ский пес, лохматый, клыкастый, с голосом, точно у протодьякона — ревущий бас. Гололобый со страху побелел, как морская пена. Но тут же опомнился, в ярь вошел. Глаза стали красные, как у соленого сазана. Поднялся шум — всех святых уноси.

— Это что за безобразие! На судне псарню завели!..

Но для Лоцмана, что нищий в рваной одежде, что адмирал в золотых погонах,— все равно: заслуг он не признает. Еще сильнее начинает лаять.

В кают-компанию вбегает командир. Я впервые вижу его таким растерянным, обескураженным, чего не случалось с ним даже при встрече с неприятельским миноносцем. Он даже не пытается унять своего пса, заставить его замолчать.

Гололобый обрушивается на командира, надрывается, синеть стал, как утопленник.

— Это мерзость!.. Под суд отдам!.. Всех отдам!..

А Лоцман тоже не уступает — поднял шерсть и готов вцепиться в бедра его превосходительства.

Нам и любопытно, кто кого перелает, и в то же время страх берет, чем все это кончится.

Наконец Лоцмана уняли, но не унимается Гололобый.

— Папочка! — обращается к нему дочь.— Папочка! Тебе же доктора запретили волноваться.

— Да, да, это верно... Горячиться мне вредно. Но меня псина эта вывела из равновесия...

Гололобый начинает затихать, а дальше и совсем обмяк.

У него всегда так выходит: нашумит, нагрохочет, точно пьяный черт по пустым бочкам пройдется, и сразу затихает. В сущности, адмирал он безвредный, даже добрый в сравнении с другими.

Приказывает выстроить нас на верхней палубе. Обходит фронт, шутит с каждым, улыбается.

— Ты что, братец, женат? — спрашивает у одного матроса.

— Так точно, ваше превосходительство.

— А это хорошо, хорошо. Вернешься домой, а тут тебя женка ждет.

Другой матрос оказался холостым.

— Вот и отлично! — одобряет Гололобый.— Забот меньше, не будешь тосковать, не будешь беспокоиться, как там супруга поживает.

Подходит к Зобову.

— Ты что это, братец, серьезный такой, мрачный?

— С детства это у меня, ваше превосходительство.

— Что же случилось?

— С полатей ночью в квашню упал.

— Значит, ушибся?

Зобов преспокойно сочиняет дальше:

— Никак нет, ваше превосходительство, потому что я в самое тесто попал. И до утра там провалялся. С той поры и началось у меня это — скучище. Мать говорит, что мозги мои прокисли...

Хохочет Гололобый, смеется дочь, улыбаются офицеры и команда. Становится весело.

Доходит очередь до Залейкина. Веснушчатое лицо его строго-серьезное, как у монаха-отшельника, а глаза прыщут смехом.

— Ты чем до службы занимался?

— По медицинской части, ваше превосходительство.

— Как по медицинской?

— При университете в анатомическом театре работал вместе со студентами.

— В качестве кого же?

— А без всякого качества — просто сторожем служил. Подавал человеческие трупы, а убирал только куски от них...

Гололобого от смеха даже в пот бросает. Он то и дело снимает фуражку и вытирает платком лысину.

— Ты, значит, знаком с анатомией?

— Так точно, я ее, можно сказать, всю на практике прошел, анатомию-то эту самую.

— В таком случае скажи-ка, братец, почему это я толстый?

Залейкин шевельнул бровями и отчеканил серьезно:

— От ума, ваше превосходительство!

— Это что же значит?

— В голове ум не помещается — в живот перешел...

— Хо-хо-хо! — грохочет Гололобый, точно ломовик по мостовой катит.— Молодец! Люблю находчивых матросов! Вот тебе за умный ответ...

Дает Залейкину трехрублевую бумажку.

А когда Гололобый удалился, мы еще долго смеялись, смеялись до слез.

— Ой, батюшки! — жалуется боцман.— Я живот свой надорвал от смеха. Вот, лысый идол, начудил...

— Что вы, братва, все лысый да лысый! — вступается Залейкин.— А я доложу на этот счет совсем другое...

— А ну, удумай что-нибудь!

— Вот козлы и ослы никогда не лысеют, а какой толк в них! Могут они, скажем, академию кончить и дослужиться до его превосходительства?

И опять смех среди команды.

А когда заговорили об адмиральской дочери, все стали злыми: пребывание на подводной лодке женщины нам даром не пройдет.

По гавани с коммерческих и военных судов разноголосо прозвучала медь отбиваемых склянок. Через полчаса мне предстоит смена. А пока что я с винтовкою в руках стою на верхней палубе «Мурены».

Солнце точно играет в прятки: то спрячется за облако, то опять обольет светом. Легкий ветер скользит по морю, словно пыль с него сдувает. Однако чувствуется, что погода начинает свежеть. Чайки нервничают: снежными комьями нижут воздух и беспокойно кричат. Ночью должна разыграться буря.

Я смотрю на морской простор, откуда доносится до меня угрожающий гул пропеллеров. Это парят наши гидропланы. Как они похожи на альбатросов! Некоторые спустятся на сизую поверхность моря, проплывут немного и снова взмоют в вечернее небо. С высоты виднее, не крадется ли где-нибудь в недрах моря неприятельская субмарина. Один из гидропланов, это чудо из чудес человеческого разума, вонзился в облако и скрылся за его пределами. Что ему там нужно? В гавани, недалеко от нас, дымит одной трубой их матка — «София». Для гидропланов она является такой же базой, как наш «Амур» для подводных лодок.

Куда-то уходит, огибая мол, «Мудрец». Это — двойное судно, похожее издали на железный мост с двумя бы-

ками. На нем имеются подводные краны мощной силы. Оно появилось на божий свет только во время войны и приспособлено исключительно для того, чтобы спасать погибшие подводные лодки.

«Мудрец» выходит на большой рейд и продолжает свой путь дальше. Я провожаю его глазами, а в голове возникает тоскливая догадка, что где-то в море произошло несчастье.

— Слышишь, что ли, Власов? Или оглох?

Поворачиваюсь на зов: с набережной кричит мне наш рулевой Мазурин. Из-под коричневых усов расползается такая довольная улыбка, точно его сразу произвели в адмиральский чин.

— В чем дело?

— Носатый-то ведь повел ее, твою кралю. Вон туда пошел, за город...

— Убирайся к черту!

Он еще что-то говорил, но я уже больше ничего не слышал. Помутилось сознание. Я не помню, как сменился с поста. Мне никуда не хотелось идти, но что-то толкало меня за город, как парус ветром.

Берег оказался безлюдным. Закат грозно нахмурил огненные брови. Из-под них упрямо смотрел на меня воспаленный зрачок солнца. Медленно опустились багряные ресницы. Будет дело! В воздухе послышался гул! Пой, ветер, пой панихиду! Прибою захотелось подшутить: разостлал передо мною ковер из белой пены, но тут же отпрянул назад. Неужели я такой страшный?

Но где же, где эта счастливая пара? Мне хочется посмотреть им в глаза.

Начинается бугристое место. Впереди что-то мелькнуло. Ускоряю шаги. Так и есть: идут под руку. Полина первая заметила меня. Метнулась в сторону, точно Мухобоев оттолкнул ее. Он тоже оглядывается...

Сближаемся. Они останавливаются и ждут. Хочу быть спокойным, как индусский идол. Злобу свою сдерживаю, как цепную собаку. Полина не смотрит на меня, стоит с понурой головой, словно в ожидании приговора. Ветер раздувает ее юбку, играет локонами. Мухобоев первый заговаривает со мною:

— А, Семен Николаевич! Куда это ты так торопишься?

— Не дальше этого места.

— Разве что забыл здесь?

— Ничего, кроме подлости!

— Вот как!..

Разговор обрывается. Только сверлим друг друга глазами. Слышно, как под отвесным берегом рокочет прибой. Молчание наше становится тягостным. Мухобоев и на этот раз заговаривает первым:

— Что это ты смотришь на меня, как черт на архимандрита?

— Потому что я не просвирня, чтобы взирать на твою вывеску с умилением. А ты не только не архимандрит, но я и за человека-то тебя не считаю.

Мы оба задыхаемся от волнения.

— А кто же, по-твоему, я?

— Рвота поганая!..

— А, так!..

Я почему-то снял свою старую, истрепанную фуражку и аккуратно положил ее на траву, точно это была корона с драгоценными камнями. А когда сделал это, сам удивился; быть может, удивил и своего противника.

— Мои кулаки давно соскучились по твоей морде!

Мы с ревом столкнулись, как два разъяренных тигра.

Обрушиваем друг на друга кулаки. Головы стали таранами. Падаем, поднимаемся — и снова нападаем. Пущены в дело пинки. Схватываемся за горло, рвем мясо, мячом катаемся по земле. Трещат кости, лица в крови. Нашу хриплую ругань пронизывает женский голос:

— Что вы делаете? Перестаньте! Ради бога, перестаньте! Господи, они убьют друг друга!

Но присутствие третьей, ее отчаянные вопли только подхлестывают нас. Мы озлобляемся еще больше. Меня пламенем обжигает желание столкнуть противника в море. Но и у него, видимо, та же мысль. Ползаем по земле и все ближе придвигаемся к обрыву. На самом краю его задержались. Схватились — и не можем отцепиться. Под ногами, внизу, на большой глубине, клокочет пена. В уши бьют истерические вопли женщины. Перед глазами, совсем близко, страшное лицо — в крови, с оскаленными зубами. Я со всей силой рванул своего противника в сторону моря. Но он не отпустил меня. Вдруг земля дернулась из-под ног, как бумажный лист

из-под стакана. На глаза надвинулось черное покрывало. Казалось, будем проваливаться в пучину без конца. В горле будто кусок соли застрял, забил дыхание. Я поперхнулся. И сами собою разжались объятия.

А когда вынырнули, то случилось нечто странное: мы поплыли в разные стороны.

Долго болтался в соленой воде, оглушаемый волнами, пока не выбрался на отлогий берег. Кругом ни одного человеческого голоса. Шагаю торопливо. И не хочу уже больше встречаться ни с Полиной, ни с Мухобоевым.

На базе, ложась спать, я почувствовал головную боль, и меня сильно лихорадило. Всю ночь мучили нелепые видения...

...Морское дно. Зеленый свет. Когда мы кончим драку с Мухобоевым? Наплевать! Вечно будем рвать друг друга, пока не сдохнем. А вокруг нас мечется Полина, голая, с распущенными волосами. Нет, это не волосы, а водоросли спускаются с головы. Почему-то сладострастно взвизгивает. Все морские чудовища здесь: лангусты, морские коровы, змеи, скаты, морские архиереи, акулы. Какой только твари здесь нет! Обступили нас, смотрят неподвижными глазами. Я оторвал Мухобоеву нижнюю челюсть. Красной тряпкой болтается у него язык и не может слова сказать. Мухобоев содрал с моего лица кожу. Полина восторженно взвизгивает:

— Ах, как это мило!

И еще пуще извивается.

Вокруг нас хохот. Потом рев этой поганой оравы:

— Довольно!

— Надоело!

— Ничего нового!

— Видали мы это и среди своей братии!

А зубастая акула, вращая глазами, предлагает:

— Пусть она ни тому, ни другому не достанется...

Все набрасываются на Полину, хватают ее за ноги. Мы отталкиваемся друг от друга, смотрим в ужасе. Один момент — и наша любимая разорвана на две половины. С гулом и ревом удаляются все чудовища. А нам осталось от Полины только сердце. Оно бьется и содрогается, раскаленное, как уголь. Мы оба одновременно подхватываем его. И вдруг — что это значит? Это уже не сердце, а спрут. Два щупальца обхватывают Мухобоева,

а шесть — меня. Это я точно вижу. Вся моя грудь стянута, как ремнями. Я задыхаюсь.

Это и есть любовь?

Я собрал последние силы, рванулся.

Удар по темени. Все исчезло.

Я ползаю на коленях. В голове боль. Передо мною знакомая стена с круглыми отверстиями, похожими на мутные зрачки. В полусумраке не сразу соображаю, что это железный борт нашей базы. Горит одна лампочка. На рундуках в один ряд валяются подводники. Всхрапывают, посвистывают носами. За бортом зашипело — это травят пар. Монотонно гудит вентиль. Кто-то придушенно стонет. Один матрос вскакивает, как очумелый, и орет во все горло:

— Кормовая цистерна лопнула!

Разбуженные люди ворчат:

— Дьявол комолый! Чего булгачит народ? Чтоб его мочевой пузырь лопнул!

Поворочались подводники — прочистили горло руганью, и снова послышался храп.

Что стало с Полиной? Неужели погибла в море? Я не мог больше заснуть. В больной голове муть. Поднялся и вышел на верхнюю палубу.

Рассветает.

На мостике базы — вахтенный начальник и сигнальщики. Через бинокли и подзорные трубы смотрят за морем, за каждым движением судов, чтобы отметить все это в вахтенном журнале. Около борта «Амура» — две подводные лодки. На них тоже вахтенные матросы с винтовками.

Море и небо в смятении. Вода — в горбатой зыби, в кипящей пене. Низко ползут тучи, а с них, мотаясь, свисают трепаные лохмотья. Глухим гулом наполнен мглистый воздух. Горизонт сузился, мир кажется тесным. И только на востоке виден провал. Он весь красный, зияющий, с раскаленными краями рваных туч. А дальше, за этой брешью, развертывается бесконечное пространство, пронизанное заревом утра. Туда темно-бурой громадой несется броненосец, весь закованный в стальные латы, потрясающий веером порозовевшего дыма. Слева от него дымятся тучи, похожие на вулканы. Ждешь — сейчас потрясут воздух сокрушительные взрывы. Справа,

на кроваво-лиловых пластах облаков, вырисовывается человеческое лицо, пухнет, оскаливается, словно от прилива злобы. Еще минута — оно исчезает в огне. Световым половодьем разливается утро, ширится, гонит последние ночные тени. Взмывают и дыбятся красногривые волны.

А корабль все продолжает свой путь к востоку, неуклонно мчится на всех парах в красный провал прошибленного неба.

Что ждет его там, в этом огненном море? Тихая пристань с цветущими берегами или шторм с подводными скалами?

По глазам хлестнули золотые струи поднявшегося солнца.

Еще так недавно мы провожали «Росомаху» в дальний поход. Сорок с лишком человек махали нам фуражками, махали и мы им с берега. Улыбались друг другу. А теперь — мы никогда уже больше не увидим своих товарищей.

Вернулись с поисков миноносцы и подводные лодки. Обшарили все море, заходили на многие острова, расспрашивали рыбаков, обращались по радио ко всем сторожевым постам. «Росомаха» исчезла. Нет сомнения, что она погибла.

Это известие надвинулось на базу, как злая чума.

В открытые иллюминаторы смотрит утреннее солнце, но не разогнать ему хмури с матросских лиц.

Высказываются разные предположения:

— В подводных камнях заклинилась.

— Нет, скорее всего в заградительные сети попала.

— А может, на мину налетела.

И никто не может раскрыть тайны. Ее навсегда унесли на дно моря те, кто остался на «Росомахе».

Вернее другое:

— Уж больно отчаянный командир.

— Да, командир бедовый был.

— Он всегда, как шутоломный, лез куда зря.

Комендор с другой лодки сообщает:

— Это у него с горя.

Жадно поворачиваются лица к комендору.

— С какого же горя?

— Дома у него неладно было.

— А что?

— Наш один моторист рассказывал, будто жена командира закрутила любовь с каким-то инженером.

— А моторист-то ваш откуда об этом знает?

— Как же ему не знать, раз он сам путается с горничной Ракитникова.

Ругают женщин, проклинают войну.

Неугомонный Залейкин острит надо мною:

— Посмотрите-ка, братцы, нашему Власову кто-то поставил отличительные фонари под глазами.

Сейчас же начали и другие шутить. Рассказывают анекдоты, вспоминают разные смешные случаи, изощряются в остроумии, чтобы вызвать хохот. Вообще мы очень много смеемся. Я понимаю, насколько необходим для нас смех: он является противоядием от сумасшествия, как известная прививка от чумы. Вся жилая палуба охвачена гомоном, веселым шумом. Но это только внешне,— чувство обреченности не покидает нас. Гибель «Росомахи» — не первый и не последний случай. Такой же участи может подвергнуться и наша лодка. Поэтому мы как бы находимся на положении подсудимых. Перед нами невидимым призраком стоит грозная судьба. Для подводников у нее нет половинчатых решений: она или оправдает, или превратит в ничто.

После обеда выхожу прогуляться по набережной. Стоит небольшая кучка женщин и детей. Все те же знакомые лица, что в прошлый раз вместе с нами провожали «Росомаху». Воспаленные глаза устремлены в светлую даль. Все ждут дорогих людей и часто сморкаются в белые платочки.

А водная равнина — вся в голубом шелке, в золотом блеске. Соперничает своим нарядом с лучистым небом.

Мне хочется крикнуть морю:

— Не будь подлым! Скажи этим женщинам, чтобы шли домой!

И мне кажется, что по водной глади не солнце рассыпало свои искры. Нет! То горят слезы погибших моряков.

Мальчик в матросском костюме, сын командира, семилетний Ракитников, обращается к стройной и красивой шатенке:

— Мама! Смотри! Судно плывет. Это ведь папа возвращается, не правда ли?

Показывает ручонкой в лучезарную даль, туда, где из-за горизонта вырисовывается силуэт дозорного миноносца.

— Да, да, милый, это... это, наверное, папа.

Мать давится слезами, жмется, точно тесно ей в туго затянутом черном платье.

Мальчик захлопал в ладоши, восторгается:

— Вот хорошо! Папа опять будет рассказывать мне о своих приключениях...

Мать не выдерживает, и стоном прорываются ее муки:

— Боже мой! Боже мой!..

Я смотрю на нее и думаю: неужели она, эта рыдающая теперь женщина, является косвенной виновницей гибели «Росомахи»?

Я отхожу в сторону.

Я знаю, что еще долго эти люди будут приходить на берег, будут много-много раз смотреть на море и ждать от него ответа. Ничего им не скажет море. Будет ласково сиять или мрачно бурлить, но правды от него не узнают. Только буря знает о том, где могила их близких, только она одна будет петь над ними свои погребальные песни.

В носовом отделении «Мурены» никого нет, кроме меня. Зачем я пришел сюда? Не знаю. Последние события потрясли меня, и я нигде не найду себе места. Сижу один на рундуках. На верхней палубе прохаживается часовой, и под звуки его шагов я с горечью думаю...

«Что за нелепость творится на земле? Народы разделились на два враждебных лагеря. Бьют и режут друг друга, превращают в развалины города и села, топчут поля, уничтожают богатства, созданные с таким трудом. Этот мировой разбой не только оправдывается, но всячески поощряется человеческими законами. Мало того, в это кровавое преступление притягивают и самого бога. И та и другая из воюющих сторон обращается к нему с молитвами, с просьбой о помощи. Стараются задобрить его — жгут перед ним свечи, ку-

рят фимиам, жертвуют деньги, льстят словами, рабски бьют челом. Чем такой бог отличается от бессовестного чиновника, промышляющего взятками? Кто больше даст, за того он и будет стоять. А если творец жизни иной, то почему он не возмутится против такой извращенности людей? Почему он не зарычит всеми громами, чтобы от страшного гнева его содрогнулась вся земля?»

Молчит небо, опустошенное войной, молчит. И не я один, а миллионы людей уже отвернулись от него и крепко задумались...

Я вздрогнул: в гавани жалобно завыла сирена, точно собака, защемленная подворотней.

В носовое отделение «Мурены» вошел Зобов.

— Вот хорошо, что я застал тебя одного. Мне нужно поговорить с тобой.

— Ладно.

— Вот что, Власов, брось за юбками волочиться.

— А что?

— Время теперь не такое. Видишь, как гибнут люди? Погибнем и мы. Во имя чего?

— Да, дорогой друг, вижу, все вижу. Вся земля размывается дождями слез и крови. Но что можем мы с тобой сделать?

Зобов склонил ко мне лобастое лицо, мускулистый и упрямый, как буйвол. В стальном блеске серых глаз отразилась несокрушимая воля.

— Вся сила в народе. А народ ощетинился. По всей стране несется ропот. Значит, наступила пора, когда нужно готовиться...

— К чему готовиться?

— К расплате.

— С кем?

— С теми барышниками, что торгуют человеческой кровью.

— А дальше что?

Зобов начал развивать свои мысли. Я давно догадывался, что у него есть какие-то замыслы. Оказывается, он только небо хочет оставить в покое, да и то лишь на время, а на земле думает перевернуть вверх торманом все порядки.

Обещался познакомить меня со своими товарищами.

— Ты нам нужен будешь.

— Хорошо, Зобов, я согласен.

Я понял, куда должен направить свои силы. Стреноженный народ теряет смирение. Рвутся вековые путы. А гнев почти всей страны — это сокрушительный удар девятого вала. Уже чувствуется содрогание людского моря, глухой ропот грозных бурь. Быть может, я вдребезги разобьюсь о назревающие события, выплесну свою горячую кровь на мостовую. Все равно — мой курс обозначился ясно.

За спиной вырастают крылья.

Тихо надвигается вечер, окутывает город в теплый сумрак.

Зачем я иду к Полине? Я сам не знаю. И только дорогой твердо решаю, что скажу ей по-матросски:

— Отдай концы нашей любви!

Больше ни слова не прибавлю. Повернусь и уйду.

Но другое приготовила для меня судьба: знакомая комната пуста, на дверях висит маленький зеленый замок. А хозяйка, низенькая и пучеглазая женщина, со злостью поясняет мне:

— Я сколько ей говорила, чтобы не связывалась с вашим братом. Нет, не послушалась. Вот и дошла до своей точки...

— Что случилось?

Хозяйка одну руку держит фертом, а другой размахивает, точно гвозди вбивает мне в голову.

— А то и случилось, что должно было случиться. Третьего дня на рассвете взяла да и хватила уксусной эссенции. Увезли в больницу. Будет ли жива — это еще неизвестно. А тут вот теперь таскайся на допросы. Хоть бы, дура она этакая, записку оставила, что сама, мол, кончаю жизнь. А то ведь ничего! И словами ничего не может объяснить, потому что всю пасть сожгла. Вот ведь через вас, разбойников, какой грех бывает!.. Больше ко мне на квартиру чтобы ни шагу! Ишь, морду-то как испохабили! Тоже, видать, хорош, пес бесхвостый...

Я быстро шагаю по улице, а в голову лезет нелепость. Мне почему-то кажется, что я непременно встречу адмирала Гололобого и не сумею вовремя встать перед ним во фронт. Это меня очень беспокоит. Зорко всматриваюсь

в офицерские лица, чтобы не пропустить нужного момента.

Я не пошел на базу, а неожиданно для самого себя свернул к Чертовой Свахе.

В подвальном помещении закрыты окна и ставни. Душно. Пахнет прокисшим бельем. В чаду табачного дыма, словно ночные заговорщики, сидят матросы и женщины. Большинство из матросов — наша команда.

— А, и Власов пришел! — обращается ко мне Зобов.

— Да, пришел.

— Хорошо сделал. Присоединяйся к нашей компании.— Я впервые вижу его таким пьяным.

Мы оглушаем себя денатуратом и очищенной политурой. С нами угощаются и женщины. Около одной из них, скучной, как великопостный звон, увивается Залейкин. На все его выходки она только лениво улыбается. Тут же и Чертова Сваха, бывшая жена боцмана, а теперь вдова, сводница и пройдоха, каких мало на свете. Она управляет всей компанией, как командир экипажем. Мясистое, безбровое лицо ее покраснело, словно выкрашено суриком. Пара маленьких глаз провалилась в жир и беспомощно ворочается, чтобы выбраться наружу. На голых руках, вокруг серебряных браслетов, образовались толстые складки осалившегося мяса.

— Пейте, морские соколики! Водочка первый сорт! Крепче царской. А я еще закусочки прибавлю.

Чертова Сваха медленно уплывает за перегородку, показывая нам зад, широкий и тупой, как корма чухонской лайбы.

— Портовая шельма! — шепчет ей вслед матрос с другой лодки.

Навстречу Чертовой Свахе из дальних комнат выходит наш Камбузный Тюлень. Его сопровождает девица, худая, с желтым, как оберточная бумага, лицом.

— Фу ты, ну ты! Диво какое — и Власов здесь! Сегодня все прут к Чертовой Свахе, точно корабли в гавань. А что это, брат, сидишь ты с таким видом, ровно укусить кого хочешь?

— Ничего.

— Ничего, а морду в ижицу свело!

— Зато твою на казенных харчах раздуло,— хоть на салазках катайся.

Чертова Сваха приносит тарелку огурцов.

— Кушайте, соколики! Сегодня только с грядки.

Залейкин вскидывает на нее озорные глаза.

— Эх, Лукерья Ивановна! По видимости вашей — вам бы только адмиральшей быть. Боюсь смотреть на вас: а ну да свихнусь от любви...

— А что ж? В сорок два годка — баба еще ягодка.

— Осенняя, кислая,— вставляет кто-то.

Зобов обводит всех мутными, как слюда, глазами.

— Узнал я от старшего офицера: завтра на испытание идем, а на следующий день, вероятно, в поход отправимся. Конец нашему веселью. Опять начнутся мытарства для грешных душ. Поэтому кутнем сегодня, братва!..

— Кутнем! — отзываются другие.

— Раздуем кадило, чтобы всем чертям жарко стало! — весело бросает Залейкин.

Я пью всякую дрянь, много пью, но не могу заглушить своей тоски и позабыть Полину.

Зобов мрачно бормочет:

— Земля сорвалась со своей орбиты. Мир потрясен. Народы ополоумели. Льются реки крови. Куда примчимся мы на своей планете?

— Брось ты про планету! — просит кок.

— Молчи, Камбузный Тюлень! Ты два года за границей плавал, да?

— Ну и что же?

— Оказывается, там все продают, кроме ума,— вернулся дураком.

— Не дашь ли мне взаймы своего ума? А то сковородки нечем подмазывать.

— Э, да что с тобой толковать! Ты еще сер, как штаны пожарного...

Чертова Сваха рассказывает конопатому матросу:

— Покойник-то мой, боцман, не к ночи будь помянут, души во мне не чаял. Бывало, как вернется из плавания, так что же ты думаешь? До того ярь его обуяет, что при виде меня прямо сатанеет. Ласкать начнет — все мои ребрушки трещат...

Она говорит мягко и плавно, точно катится на велосипеде по ровному асфальту. Рука ее лежит на коленях кавалера, и я вижу, как его лихорадит.

Залейкин оставил свою подругу и теперь пристает к Чертовой Свахе.

— Лукерья Ивановна! Благодетельница всех странствующих, путешествующих и ныряющих! Разрешите на гармошке сыграть да спеть что-нибудь. Не могу жить без музыки...

— Право руля! — командует она решительно.— Мне еще не надоело на воле жить. Хочешь, чтобы архангелы сюда заглянули?

Залейкин ругается. Потом забирает свою двухрядку и уходит на улицу.

Разгул усиливается.

Я не помню, какая из девиц на этот раз была моею женой.

Тихое утро. Небо — голубая бездна. Море — отполированный хрусталь. Неподвижный воздух накаляется зноем.

«Мурена» идет ровно, послушно, огибает суда. Выходим за каменный мол. Начинается поле минного заграждения. Приходится идти по фарватеру и постоянно поворачивать то вправо, то влево.

На рубке стоят офицеры. Командир, как всегда, серьезен и сосредоточен. Старший офицер Голубев улыбается утреннему солнцу. Минный офицер почему-то оглядывается на берег.

Кругом столько света и блеска, а в измученной душе моей глухая полночь. Я стою на верхней палубе и не слушаю, о чем говорят другие матросы. Одна мысль занимает меня — мысль о Полине. Как это случилось, почему она решила отравиться? Не могу найти успокаивающего ответа.

«Мурена» острым форштевнем разворачивает хрусталь и все дальше уходит от гавани.

Начинаем приготовляться к погружению — задраиваются люки.

Я спустился внутрь лодки.

Пахнет жареным луком. Это Камбузный Тюлень что-то готовит на своей электрической плите. После вчерашней пирушки он распух, точно от водянки, глаза кровью налиты.

— Как дела?

— Дела, как сажа бела, и сам чист, как трубочист. Башка трещит, точно в ней дизеля поставлены. А опохмелиться нечем.

Камбузный Тюлень вдруг завернул художественно-забористую ругань. Оказалось, что он по ошибке бросил перец в компот. Засуетился, схватил кастрюлю, но тут же столкнул на пол жаровню.

— Уйди, пока не огрел чем-нибудь по башке! — кричит на меня и еще пуще ругается.

Матросы смеются.

Прохожу за непроницаемую перегородку, в свое носовое отделение.

Зобов мрачен и часто глотает воду.

Залейкин стоит перед зеркалом и той же щеткой, которой он чистит сапоги, приглаживает маленькие усики и прямой пробор на голове. Поучает команду:

— Если хочешь иметь хорошую жену, то выбирай ее не в хороводе, а в огороде.

Смех других меня только раздражает.

Гул и стук дизелей точно оборвался. Лодка движется при помощи электромоторов. Балласт принят частично. Идем в позиционном положении, имея самую малую плавучесть.

В тишине слышен сердитый шепот:

— Анафема! Людей хочешь чадом отравить!..

Я догадываюсь, что это кто-то обрушивается на кока.

И опять тихо, как в пустом храме. Только из машинного отделения доносится дрожащий ритм моторов.

Лодка, герметически закупоренная, продолжает свой путь. По переговорной трубе долетает до нас распоряжение увеличить балласт концевых цистерн.

Засвистел воздух, яростно захрипела цистерна, глотая соленую воду. А вслед за этим в лодку ворвался другой шум — шум грохочущего потока. С ним смешался

крик, вой людей. Ничего нельзя разобрать. В носовое отделение, за непроницаемую перегородку, врывается несколько матросов и старший офицер. Мокрые все, с искаженными лицами. Торопливо задраивают за собой железную дверь, точно от напавших разбойников. А за нею раздаются выстрелы. Кто кого бьет? Почему?

Я застыл на месте, раздавленный катастрофой. У других втянутые в плечи головы, точно в ожидании неизбежного удара. Чувствую, как уходит из-под ног палуба. Это «Мурена» опускается в бездну. Все быстрее и быстрее. Проваливается в пучину, словно брошенный кусок железа. Я набрал полную грудь воздуха и не дышу. А вода продолжает врываться внутрь лодки, грохочет и рычит, как водопад мощной реки. Увеличивается тяжесть нашего суденышка. И сам я будто наливаюсь свинцом. Ноги прилипли к палубе — не сдвинуть их. Ах, скорее бы прекратился этот оглушительный рев потока! Я ничего не могу сообразить. Мне кажется, что гибнет мир, с треском и гулом проваливается куда-то земля...

Толчок под ногами. Лодка на дне моря. А через несколько минут в носовом отделении водворяется могильная тишина. Вопросительно смотрим друг на друга безумными глазами.

— Ничего, ничего... Не волнуйтесь... Сейчас разберемся, в чем дело...

Старший офицер старается успокоить нас, а у самого прыгают посиневшие губы.

Светло горят электрические лампочки, словно ничего не произошло. Это дает возможность хоть немного прийти в себя.

— Как это все случилось? Кто знает?

— Я, ваше благородие! — торопливо отзывается комендор Сорокин, словно от его сообщения зависит спасение лодки.— Это все Камбузный Тюлень натворил. Он жирный соус пролил на плиту. Угар пошел. Кто-то начал ругаться. Тюлень испугался, что ему от командира попадет. Взял да и открыл самолично люк над камбузом. Он, верно, думал, что лодка нескоро начнет погружаться, успеет, значит, выпустить угар.

— А я видел, как минный офицер на месте уложил его,— поясняет другой.

— Там друг друга расстреливали и сами себя...

Посмотрели на глубомер — девяносто восемь футов. Над нами целая гора воды. Сидим крепко в проклятой западне. За перегородкой — тридцать с лишним трупов наших товарищей. Очередь за нами. Нас десять человек, приговоренных к смертной казни. Железная перегородка не выдерживает тяжести напирающей воды — выгибается в нашу сторону, вздувается парусом. В перекосившихся дверях появляются щели, дают течь. Никакими мерами нельзя остановить ее. Это мстит море. Оно изменнически и подло просачивается в носовое отделение, чтобы задушить нас — задушить податливой массой, мягкими лапами, медленно, с холодным равнодушием.

— Как же теперь быть, ваше благородие? — спрашивают старшего офицера.— Значит, конец нам?

— Не нужно отчаиваться. Подождите. Что-нибудь сообразим...

Кто-то вспомнил Гололобого. Нет, не кок, а он виноват. Зачем он женщину привел на «Мурену»? Его кроют не только матросы, но и старший офицер. А комендор Сорокин, всегда желчный и вспыльчивый, потрясает кулаками и кричит:

— Будь Гололобый здесь, мы бы из его брюха выпустили воздух...

Зобов сурово обращается к старшему офицеру:

— За что гибнем?

— Братцы! Я сам — только пешка в этой дьявольской игре. Не время об этом рассуждать. Давайте лучше подумаем, как спастись...

Море напирает на нас. Переборка трещит по швам. Сейчас будем смяты, раздавлены, превращены в ничто.

Матрос Митрошкин зарыдал.

— Замолчи! — кричит на него старший офицер.— Ты не девчонка, чтобы слезы распускать. Будь матросом до конца...

Митрошкин вытягивается и моргает слезящимися глазами.

Голубев окончательно оправился. Все смотрели на него. Он опытный подводник и знает лучше, чем кто-либо из нас, что нужно предпринять.

— Прежде всего, братцы, нужно дать знать наверх, в каком положении мы находимся. А сделать это можно очень просто: отнимем от мины зарядник и выкачаем из него воздух; затем вложим в нее записку. Если такую мину выбросить через аппарат, то она сейчас же всплывет. Здесь постоянно ходят суда. Кто-нибудь непременно заметит ее.

— Верно, ваше благородие, правильно...

Далеким маяком загорелась надежда.

Через несколько минут все было готово. Мина шмыгнула из аппарата, понесла весть в отрезанный для нас мир,— весть из могилы.

И хотя вода прибывает, начинает заливать палубу, но на душе становится легче, точно чьи-то невидимые когти, что держали нас в тисках, ослабевают, разжимаются. Растет смутная надежда, что мы можем еще спастись. Об этом между нами идет разговор. За нашими маневрами, безусловно, следили с мостиков всех кораблей. А наше длительное исчезновение с поверхности моря вызовет подозрение на базе. Там сразу догадаются, в чем дело, и вышлют суда на розыски. Поймают мину, прочтут записку. Сейчас же будут пущены в ход все средства, чтобы извлечь нас со дна моря: водолазы, спасательное судно. И снова солнце глянет нам в лицо.

Залейкин вдруг что-то вспомнил: срывается с места и лезет под рундуки. С поспешностью выхватывает футляр с двухрядкой. Гармоника, радость его и гордость, оказалась подмоченной. Он ругается матерно.

— Хорошо, что мандолину повесил над головою, а то бы и этой конец!

Залейкина хоть к черту на рога посади, он все равно не уймется и будет петь песни.

Из нашего кубрика можно выбраться только двумя путями: или через носовой люк, или через минный аппарат, как когда-то спасся лейтенант Ракитников. Обсуждаем этот вопрос. Выводы у нас получаются очень печальные. Чтобы выбросить человека из минного аппарата, нужно страшному давлению воды противопоставить еще большее давление воздуха. А это означает неминуемую гибель. Поднимаем головы и жадно смотрим на носовой люк. Как его открыть? А потом — такая тяжесть над нами! С остервенением хлынет море внутрь

лодки, разорвет наши легкие, прежде чем мы выберемся отсюда. При одной мысли об этом мутится разум.

Решено твердо ждать помощи извне.

Старший офицер приносит из своей каюты три бутылки хорошего коньяку.

— В поход себе приготовил. Люблю хватить в критические минуты.

— Благодетель вы наш!..— радостно взвизгивает Залейкин.— Ведь это теперь для нас вроде причастия...

Только Митрошкин отказался от своей порции. Разделили коньяк на девять человек и выпили залпом, чтобы лучше ударило в голову. Жаль, что нельзя добраться до казенной водки — она осталась за перегородкой.

— Эх, повеселимся напоследок! — говорит Залейкин и достает свою мандолину.

Зазвенели струны, рассыпали веселые звуки. Подхватывает веселый тенор:

У моей у милочки
Глазки, как у рыбочки.

Оживают лица, загораются глаза. Вода на палубе — выше колен. Неважно! Я чувствую, что и во мне просыпается какая-то удаль. Пусть появится теперь смерть. Я плюну ей в костлявую морду и скажу:

— А теперь души всех!

Мы забрались на рундуки и сбились в одну кучу. Только один Митрошкин держится в стороне. Он украдкой крестится и что-то шепчет. Над ним издевается Зобов:

— Брось, слышь ты, эту канитель. Ты только подумай — до поверхности моря далеко, а до неба еще дальше. Не услышит тебя твой бог, хотя бы ты завыл белугой...

— Оставьте его в покое,— советует офицер.

Мандолина сменяется граммофоном. Под звуки рояля баритон напевает знакомые слова:

Обойми, поцелуй,
Приголубь, приласкай...

Все слушают эту песню угрюмо. Она звучит для нас какой-то насмешкой. Там, наверху, в живом мире, лучистое небо разливает радость. Всюду блеск и трепет жизни. Может быть, в этот момент кто-нибудь смотрит

с берега на море, любуется игрою красок и грезит о любви и счастье. И не подозревает, что под голубою поверхностью вод, под струящимся золотом, на глубоком дне в тяжких муках корчатся люди. Вода продолжает прибывать. Залитые ею аккумуляторы перестают работать. Электрическое освещение постепенно слабеет, свет гаснет. Воздух плотнеет, становится тяжким. Мы ждем не горячих поцелуев возлюбленной, а холодных объятий смерти.

— К черту эту пластинку! — кричит старший офицер.

— Поставьте что-нибудь повеселее!

Завертелась новая пластинка. Женщина цинично поет про шофера-самца. Эта похабщина вызывает хохот...

Прошло несколько часов мучительного ожидания.

Электричество погасло. Пустили в ход юнгеровский аккумулятор. Это небольшой ручной фонарь. Свет от него слабый, как от маленькой свечки. Кругом полусумрак.

Вода дошла до высоты рундуков и остановилась. Давление на непроницаемую перегородку с той и другой стороны уравновесилось. Но воздух начал портиться и настолько уплотнился, что больно стало ушам.

То и дело поднимаем головы и жадно, как звери на добычу, устремляем взгляды на носовой люк. Спорим, горячимся. Зобов доказывает, что этим выходом нужно воспользоваться немедленно, пока мы не истратили своих сил.

— Мы, как птицы из клетки, вылетим отсюда вместе с воздушным пузырем. Только бы люк открыть.

Его поддерживает комендор Сорокин, страдающий легкими.

Другие возражают:

— Может, вылетим, а только куда прилетим? К черту в лапы?

— Лучше подождем.

Больше всех настаивает на этом старший офицер.

— Стойте! Тише! — кричит электрик Сидоров.

Голова его запрокинута, а правая рука поднята вверх.

Напрягаем слух. Где-то и что-то гудит. Все ближе и ближе. Над головою различаем шум бурлящих винтов. Ясно, что проходит какое-то большое судно.

Взрыв радости и надежды выливается в крики:

— Нас ищут!

— Сейчас выручат!

— Спасены!

Старший офицер поворачивается к Зобову и заявляет:

— Я прав оказался. Погода тихая. Мина с запиской не должна далеко уплыть. Нас скоро найдут...

Зобов отвечает на это:

— Да не скоро выручат...

Спустя несколько минут опять раздается гул винтов.

Еще больше утверждаемся в мысли, что теперь будем спасены.

Даже Зобов как будто начинает верить в это. Он запрокинул голову и смотрит на носовой люк. Кулаки его, величиною в детскую голову, крепко сжаты, здоровые зубы оскалены. Рычит разъяренным львом:

— Эх, вырваться бы отсюда! Только бы вырваться!

Я знаю грандиозные замыслы Зобова, понимаю его. Пламенем гнева загорелась грудь. Я откликаюсь:

— Дружба! Мне с тобой по пути — одним курсом...

В лодке не действует ни один прибор, ни один механизм. Все части ее давно похолодели. «Мурена» стала трупом. От соединения соленой воды с батарейной кислотою выделяется ядовитый хлор. Ощущается неприятное царапание в горле, щекотание в ноздрях. Но мы упорно ждем спасения. В жутком полусумраке, издерганные, подбадриваем себя разговорами, шутками. Больше всех в этом отношении отличается Залейкин.

— Эх, братва! Уж вот до чего жаль мне свою женку!

— До сих пор ты как будто холостым считался, а? — спрашивают Залейкина.

— Это я наводил тень на ясный день. Иначе — перед любовницами разоблачили бы. А на самом деле я давно обручен. Да и бабенка же у меня, доложу я вам! Надставить бы ей хоть на один вершочек нос, была бы пер-

вая красавица на всей земле. Люблю я ее, как дождь свинью. Она тоже меня любит, как кошка горчицу. Словом, только в раю такую пару можно найти. И жизнь у нас проходила, можно сказать, только в одних радостях.

— Как же это ты наладил?

Залейкин, как всегда в таких случаях, рассказывает и не улыбнется.

— Очень просто. Один день я запущу в нее поленом и не попаду — она радуется. На другой день жена ахнет в меня горшком и не попадает — я радуюсь. Каждый день была у нас только радость. Вот!

Судорожным хохотом мы заглушаем свою тревогу, смертельный страх.

Я думаю, что если существует бог, то он, наверное, улыбнулся, когда зачат был Залейкин.

Не успели затихнуть от смеха, как от носа послышался испуганный шепот:

— Тише, братцы! Слышите!

Старший офицер поднимает фонарь. В стороне от нас, к носу, в полутьме маячит согнутая человеческая фигура. Это ползет к нам по рундукам Митрошкин.

Он останавливается и показывает рукой к корме.

—Слышите? Царапают ногтями... Шепчутся... Живы они, живы...

— Кто живы? — мрачно спрашивает Зобов.

— Наши... Просят, чтобы пустили их в носовое отделение...

Митрошкин, не похожий на самого себя, ежится и в страхе закрывает лицо руками.

Все невольно открываем рты и прислушиваемся. Мертвая тишина. Не слышно даже дыхания. Хоть бы какой признак жизни донесся до нас из отрезанного мира! И есть ли где жизнь? Кажется, вся вселенная находится в каком-то оцепенении. Слабо горит свет, а между рундуками мертво поблескивает черная вода. Лица у людей неподвижны, как маски. Глаза холодные, пустые. Наш ручной фонарь — это лампада в склепе.

— Ха! Вот черт! Взаправду напугал! — смеется Залейкин.

Начинается нелепый галдеж. Говорят все сразу, нервно смеются, лишь бы только не молчать. Тишина для нас тягостна, невыносима. Мы можем сойти с ума.

Воздух портится. Дышать становится труднее. В голове шум.

— Граммофон! — скомандовал старший офицер.

— Граммофон! — разноголосо повторяют и другие.

Из большой красной трубы, словно из пасти, выбрасываются звуки оркестра, а за ним, как удав, медленно выползает здоровенный бас Шаляпина. Он громко возвещает о королевской блохе:

Блоха! Ха-ха!..

Грохочет дьявольский грохот, точно кто бревном бухает по железным бортам лодки.

Один из матросов повторяет за Шаляпиным:

Блоха! Ха-ха!..

Его смех подхватывают еще несколько человек. Становится и жутко и весело.

Звуки оркестра пронизывают уплотненный воздух, испуганно мечутся на небольшом пространстве. Их оглушает грозный бас:

Призвал король портного:
«Послушай ты, чурбан!
Для друга дорогого
Сшей бархатный кафтан...»

Грянул неистовый смех. Вместе с Шаляпиным и мы все повторяем: «Блоха! Ха-ха!..»

Буйное веселье охватывает нас, как зараза. Ничего не слышно, кроме судорожного смеха. Залейкин задирает голову и будто клохчет. Старший офицер держится за живот, трясет плечами, сгибается, точно от боли. Зобов качается с боку на бок, как маятник. Комендор Сорокин дрыгает ногами. Некоторые катаются на рундуках, дергаются, корчатся, как в падучей болезни. У меня от смеха распирает грудь, трясутся внутренности. Мелькают на бортах уродливые тени, маячат предметы. В ушах треск от грохочущих голосов. Давно уже молчит граммофон, не слышно Шаляпина, а мы наперебой повторяем его слова: «Блоха! Ха-ха!..» И опять неудержимый шквал смеха сотрясает наши тела. Содрогается вся лодка...

Я пытаюсь остановить себя и — не могу. Я на время отворачиваюсь, зажимаю уши. Вдруг страх перехваты-

вает мне горло. Я стою на коленях и с дрожью смотрю на других. Мне начинает казаться, что люди окончательно обезумели. Трясутся головы, оскаливаются зубы, слезятся прищуренные глаза. Фигуры ломаются, точно охвачены приступом судороги. У некоторых смех похож на отчаянные рыдания. Я не знаю, что предпринять. Дергаю за руку старшего офицера и кричу:

— Ваше благородие! Ваше благородие!

Он смотрит на меня непонимающими глазами. На лице смертельная бледность и капли пота. Тупым взглядом обводит других и орет не своим голосом:

— Замолчите! Я приказываю прекратить этот дурацкий хохот!

Страх и недоумение в широко открытых глазах.

Над головою что-то заскрежетало, точно по верхней палубе провели проволочным канатом. Потом что-то треснуло, и опять раздался тот же звук.

Нас нашли! Ура!

Проходит еще несколько часов.

Нас не выручают. Напрасно мы напрягаем слух: никаких больше звуков. Ждем впустую.

Воздух портится все больше и больше. Отравляемся хлором. У людей желто-землистые лица, синие губы, помутившиеся глаза. То и дело чихаем, точно нанюхались табачной пыли. В груди боль, одышка. Мы дышим часто, дышим разинутыми ртами, сжигаем последний кислород. Наступает вялость. Сердце делает перебои. В голове шум, как от поездов, плохо слышим.

Комендор Сорокин совершенно обессилел. Он отполз от нас. Лежит на рундуках и стонет:

— Не могу, братцы, больше ждать... Мочи нет.

Временами мне кажется, что это только тяжелый сон. До смерти хочется проснуться и увидеть себя в другой обстановке. Нет, это леденящая действительность! Как избавиться от нее? Я завидую всем морским животным. Они находятся вне этой железной западни. Море для них свободно. Если бы можно, я готов превратиться в любую рыбешку, только бы жить, жить...

Залейкин пробует шутить. Не до этого. Кружится голова, тошнит. В тело будто вонзаются тысячи булавок. Это терзает нас проклятый хлор. Он забирается в горло, в легкие и дерет, точно острыми когтями.

С каждым ударом сердца, с каждым вздохом слабеет мысль, мутится разум.

— Ой, тошно,— стонет Сорокин,— погибаю...

Решаем еще немного переждать — пять, десять минут.

В довершение всего у нас истощается энергия в ручном фонаре. Чтобы сберечь ее, мы выключаем на некоторое время свет. В один из таких промежутков наступившего мрака я отчетливо и ясно почувствовал знакомый запах женских волос. На мгновение засияли передо мною васильковые глаза Полины. В мозгу прозвучал ласковый голос:

— Приходи сегодня...

Вдруг — выстрел.

А вслед за ним громкий голос:

— Свет дайте!

Стираю со лба холодные капли пота. Оглядываюсь. Зобов высоко держит фонарь.

Все точно оцепенели в своих позах, смотрят в одно место.

Между рядами рундуков, в черной воде бултыхается покончивший с собой Сорокин. Он размахивает руками, падает, поднимается, хрипит, фыркает. Во все стороны летят брызги. Можно подумать, что он только купается. Но почему же лицо обливается кровью? Сорокин мотает головою, ахает, точно от радости. На мгновение скроется в воде и снова страшным призраком поднимается над нею...

Я приблизился к грани, за которой начинается безумие. Еще момент — и я покатился бы в черный провал. Меня встряхнул знакомый голос:

— Братва!

Я оглядываюсь.

Зобов потрясает кулаками и кричит:

— Не будем больше обманывать себя. Пока нас выручат отсюда, будет уже поздно. А у нас есть средство спастись.

Эти слова огнем обожгли нас.

— Какое же средство? Говори скорее!

Все потянулись к Зобову.

Он похож на сумасшедшего. Глаза вылезают из орбит. Торопится, давится словами.

Едва уясняем их смысл. Наши капковые куртки имеют плавучесть. Каждому нужно одеться. Воздух у нас сильно сжат. Стоит поэтому только открыть носовый люк, как сразу мы вылетим на поверхность моря, точно пробки.

Старший офицер добавляет:

— Если уж на то пошло, то нужно еще открыть баллоны с сжатым воздухом. Это облегчит нам поднять крышку над люком...

Вдруг с противоположного борта раздался отчетливый стук. Все обернулись, замолчали. Стук повторился.

Зобов одним прыжком перемахнул через воду, с одного ряда рундуков на другой. Мы кинулись за ним с криком:

— Спасены!

Кто из нас не знает азбуки Морзе? Старший офицер суфлирует Зобову, а тот английским ключом выстукивает его слова по железу корпуса. И уже нет больше очумелости. С напряжением прислушиваемся к диалогу.

— Кто там?

— Водолазы.

— Что думаете предпринять?

— Будем пока подводить стропы под лодку. А когда явится «Мудрец», поднимем вас наверх.

— Где же «Мудрец»?

— Он в пути из порта.

— А когда явится?

— Часов через двенадцать.

— Будет уже бесполезно. Наша жизнь исчисляется минутами.

Водолазы продолжают еще что-то выстукивать. Кончено. Мы не слушаем. Единственное наше спасательное судно «Мудрец» придет не скоро. Больше никто не может нас выручить. Мы, как приговоренные к смерти, ждали помилования. От кого? От случайности. А нас бросают на растерзание бездушным палачам: испорченному воздуху, ядовитому хлору, морской воде...

Минута безнадежного отчаяния.

Мы на эшафоте.

Петля на шее затягивается.

Наступает хаос, тьма.

И не только мы, а все человечество провалилось в бездну.

Зобов возбужденно крикнул:

— Рискнем, братва!

Дружно бросили ему в ответ:

— Рискнем!

Мы теперь готовы на что угодно. Действуем по определенному плану, одобренному всеми. Прежде всего кинули жребий, в каком порядке должны выбрасываться из лодки. А потом каждый наспех обмотал себе бельем голову, уши, лицо, оставляя открытыми только глаза. Это предохранит нас от ушибов о железо и от давления воды. В люке отвернули маховик. Крышка теперь держится только тяжестью моря. Остается пустить из баллонов сжатый воздух. Это должен выполнить последний номер нашей очереди — электрик Сидоров.

Залейкин и в этот страшный момент остался верным самому себе: он едва жив, но привязывает к груди свою мандолину.

Не принимает никаких мер к спасению лишь один Митрошкин. Он держится в стороне и таращит на других глаза.

Все готово. Электрик Сидоров уползает от нас по рундукам в темноту, в самый нос, где находятся клапаны воздушных баллонов. Слышно, как плеснулась под ним вода... А мы стоим уже в очереди. Я иду третьим номером. За мною — старший офицер. Еще через человека назад — Зобов.

Слабо горит фонарь, прикрепленный к верхней палубе, около люка.

Минный машинист Рябушкин, идущий за головного, колотится, дрожит, растерянно оглядывается.

— Не могу... Боязно очень.

К нему кинулся Зобов, отшвырнул его и заорал:

— Болван! Становись на мое место!

Удастся ли пробиться через толстый слой моря? Не будем ли раздавлены громаднейшей тяжестью воды?

В груди что-то набухает, распирает до боли ребра. Только бы не лопнуло сердце. Самый решительный момент. Игра со смертью. Это последняя наша ставка. Идем ва-банк...

— Пускай воздух! — громко крикнул старший офицер.

— Есть! — откликнулся из мрака Сидоров.

— Понемногу открывай клапаны!

— Есть!

Во всем носовом отделении забурлила вода. С шумом полетели брызги. Воздух сжимал нас легким прессом, все сильнее давил на глаза, выжимал слезы, забивал дыхание. Клокотание воды увеличивалось. Мы как будто попали в кипящий котел.

Зобов с решимостью начал открывать крышку люка.

Я плохо отдаю себе отчет, что произошло в следующий момент. Помню только, как что-то рявкнуло, хлестнуло в уши, оглушило. В глаза ударило мраком, ослепило. Я остановил дыхание. Кто-то схватил меня беззубой пастью, смял в комок, выплюнул. Я полетел и завертелся волчком. Потом показалось, что я превратился в мину. Долго пришлось плыть, сверлить воду. В сознании сверкнула последняя вспышка и погасла.

. . .

Через сколько времени я очнулся? Не знаю. Надо мною развешан голубой полог. Новенький и необыкновенно чистый. Но зачем же на нем белая заплата? И почему она так неровно вырезана? Черная борода склоняется ко мне. На плечах серебряные погоны. Откуда-то рука с пузырьком протягивается к моему лицу. Что-то ударило в нос. Я закрываю глаза, кручу головою. А когда глянул — все стало ясно. Паровой катер, небо, белое облачко, солнце с косыми лучами. Я раздет, повязка с головы сорвана. Меня переворачивают, растирают тело. Досадно, что мешают смотреть в голубую высь. Она ласкова, как взгляд матери.

— Выпей,— говорит доктор и подносит полстакана коньяку.

Горячие струи разливаются по всему телу. Состояние духа самое блаженное. Хочется уснуть. Но меня беспокоит мысль: не начинаю ли я умирать? Быть может, это

только в моем потухающем сознании сияет небо? Сейчас очнусь и снова увижу себя в железном гробу. Нет, спасен, спасен! Я вижу: катера, лодки, миноносцы ходят по морю. Перекликаются голоса людей. На самой ближней шлюпке несколько человек держат электрика Сидорова, а он вырывается и громко хохочет: «Блоха! Ха-ха-ха!..»

Со мною рядом стоит Зобов. С ним разговаривает доктор:

— Восемь человек всего подобрали. Значит, только одного не хватает?

— Так точно — одного.

Глаза мои невольно смыкаются. Я знаю, кто этот один, но не могу вспомнить его фамилию. Напряженно думаю об этом и засыпаю.

ЖЕНЩИНА В МОРЕ

I

Торговый пароход «Октябрь», в четыре тысячи тонн водоизмещения, стоял в своем порту на приколе. На нем шла спешная работа: грузили хвойный лес, так называемый пропс, закупленный голландцами для бумажных фабрик. Беспрерывно гремели лебедки, опоражнивая причаленные к бортам длинные деревянные баржи. В грохот трудового дня врезывался тот или иной голос, всегда повышенный и резкий:

— Вира!

Тяжелый груз, состоявший из круглых, в метр длиною чурбанов, поднимался в воздух, туго натягивая стальной трос.

— Стоп!

Стрела, похожая на длинный нос чудовищной птицы, медленно поворачивалась к раскрытому люку. Рабочие и матросы, находившиеся на палубе, вскидывали головы и настораживались. Над ними угрожающе покачивался груз, пока не раздавалась следующая команда:

— Майна!

Лебедка, окутываясь в клубы пара, лязгала цепью, травился стальной трос, проваливая огромнейшую связку чурбанов в глубокое чрево судна. На дне трюма, в душном и спертом воздухе, потные люди, вонзая железные крючки в дерево, растаскивали кругляки в разные стороны и по указанию стивадора плотно укладыва-

ли их в ряды. Освободившись от тяжести, снова взвивался пудовой гак и снова, раскачиваясь на синеве безоблачного неба, опускался с полкубом пропса. Нагружались сразу все четыре трюма. Шумным прибоем гремел человеческий труд.

Из маленькой своей каюты вышла прислуга Василиса. Это была полная женщина, лет сорока, выросшая в портовых трущобах. Она направилась к носовой половине судна, по-матросски переваливаясь, мокрая от пота, тяжелая и сырая, как творог. С безбрового лица ее с отвисшим подбородком тускло посматривали серые, всезнающие глаза, кого-то разыскивая среди работающих людей. Около трюма встретила второго штурмана, беспокойного сухого человека, и обратилась к нему:

— Поликарп Михайлович, я собрала все ваше белье. Надо сегодня же снести к прачке. А то не успеют до отплытия выстирать.

— Хорошо,— машинально ответил штурман, делая в своей записной книжке какие-то отметки.

— Так что после обеда вы меня отпустите на берег.

— А вы когда вернетесь?

— Да я и сама не знаю. Делов много: нужно ботинки отдать в починку, нужно в райкомвод зайти. Пожалуй, до вечера не управиться мне.

— В шесть часов должны быть на корабле.

Прислуга хотела возразить, но в этот момент под случайный взгляд ее попала своя шлюпка, направлявшаяся к судну. В корме дежурный матрос, Буланов, голанил длинным веслом, а на банке сидела какая-то женщина в платочке земляничного цвета. Василиса сначала смотрела на них с недоумением, но когда заметила на дне шлюпки корзинку, лицо ее приняло такое выражение, как будто она решила трудную задачу.

— Так оно и есть: новая буфетчица едет. В красной повязке. Должно быть, из комсомолок, вертихвостка какая-нибудь. И зачем только таких на суда принимают? Пользы от них, словно от обгорелой спички,— никакой, а форсу — ломом не проворочаешь...

Василиса, возмущаясь, барабанила над самым ухом штурмана до тех пор, пока тот не оборвал ее:

— Не звякайте по-пустому языком! Вы мешаете мне! Идите по своим делам!

— Ваше дело — сторона, Поликарп Михайлович, а мне придется работать за нее. Вот к чему я веду речь. А я и так всю жизнь мучилась.

Матрос первого класса Брыкалов похлопал ее по крутым бедрам и сказал:

— От мучения ты превратилась в ангельскую душку, в шестипудовую тушку. Или придется накинуть на шесть?

Василиса огрызнулась:

— Отстань, охальник! А то враз леща приложу!

Брыкалов громко засмеялся.

— Не сердись, мармеладная наша зазноба! Я не знал, что при солнце нельзя тебя трогать.

— Майна! Помалу майна! — неслась по судну команда.

Вдруг в работе произошел какой-то перебой. Головы людей повернулись в одну сторону, туда, где по штормтрапу поднималась маленькая женщина. Секунду она задержалась на фальшборте и легко спрыгнула на палубу. Предобеденное солнце ударило ей в лицо, осветило свежий румянец. Прищурившись, она окинула взглядом всех, приветливо улыбнулась.

Раздался сердитый окрик старшего над рабочими:

— Товарищи! Столбняк, что ли, на вас напал? Гони работу по всем двенадцати статьям!

Снова закипела работа.

Прибывшая особа обратилась к двум матросам, стоявшим у второго люка:

— Здравствуйте, товарищи! Я к вам на пароход назначена.

Кровь горела на ее щеках, подернутых легким загаром, а из золотистых глаз струилась светлая радость.

Матросы, одетые в грязное платье, почувствовали себя неловко и ответили без обычной резвости:

— Добро пожаловать. Значит, вместо прежней буфетчицы?

— Да. Скажите, пожалуйста, куда я должна...

В этот момент, взвившись, грозно закачалась над ними полкубовая связка пропса. И тут же, покрывая шум погрузочной суматохи, ударила по нервам предостерегающая команда: «Полундра!»

Буфетчица ничего не успела сообразить. Кто-то крепко схватил ее и, приподняв на воздух, рванул с невероятной силой. Голова, мотнувшись, готова была оторваться прочь. Вслед за этим что-то загромыхало рядом. Это, вываливаясь из петли, падали на палубу тяжелые чурбаны.

— Ой, как страшно! — опомнившись, воскликнула с наивностью буфетчица.

Она находилась теперь под капитанским мостиком.

Перед ней стоял матрос второго класса Максим Бородкин, простодушный рыжеватый парень. Это он выхватил ее из-под удара смерти. Он весь изогнулся, ухватившись рукой за левое плечо, а широкое лицо его, веснушчатое, с торчащими усами, исказилось от боли.

— Вы живы? — спросил Бородкин, не отрывая изумленных глаз от буфетчицы.

— Я-то жива, но что с вами?

— Задело малость концом чурбана.

Василиса смотрела на них, сложив руки на груди и строго поджав губы. Потом покачала головой и сказала:

— Вот оно, начинается греховодье преподобное.

Налетел второй штурман, загорячился:

— Черт знает что такое! Чуть убийство не произошло! Машинист на лебедке никуда не годится: не умеет плавно груз спускать! А вы, товарищ Бородкин, тоже рот разинули, точно собрались мух ловить! Ну-ка, что у вас?

Бородкин повернулся к штурману спиною: на левой лопатке, где разорвалась рубашка, вывернутым куском отвисло мясо, кровью обагряя тело, смачивая платье.

— Бедный, это ему из-за меня досталось! — сокрушенно произнесла побледневшая буфетчица.

Штурман распорядился:

— Идите скорее, товарищ Бородкин, в кают-компанию. Пусть третий штурман перевяжет вас.

Потом обратился к прислуге:

— Товарищ Василиса! Проводите новую буфетчицу в кают-компанию и покажите ей все, что она должна будет делать.

— Хорошо,— нехотя согласилась прислуга.

Матросы смотрели вслед уходящей буфетчице, оценивая ее стройную фигуру и легкую походку. Брыкалов, знающий толк в женщинах, авторитетно заявил:

— Эта кое-кому сокрушит мозги.

Один машинист добавил:

— Да, глянет — аж деревья гнутся.

Кормовая палубная настилка возвышалась над остальной палубой. Эта часть судна называлась полуютом. Только отсюда, спустившись по витому трапу и пройдя несколько шагов по коридору, можно было попасть в кают-компанию. К ней примыкали два жилых помещения: справа — капитанское, слева — первого помощника.

— Вот, Татьяна, твои владения. Все в чистоте держать, в порядке. Чай и кушанье для комсостава тоже ты будешь подавать. А мое дело — убирать каюты, что находятся на середине парохода. Там их у меня восемь штук. Канители за ними будет больше, чем у тебя...

Василиса говорила ровным голосом, сладко-приторным, как патока. В то же время в душе у нее росло чувство вражды к буфетчице. Увядающая, как осенний лист, она не могла равнодушно относиться к молодости и свежести той, что будет находиться с нею на одном судне, среди тридцати с лишком человек мужчин.

Продолжая показывать дальше, она провела буфетчицу под трап и открыла дверь в маленькую каютку, совершенно изолированную, с узкой кроватью вдоль борта, с одним иллюминатором.

— Это будет для тебя вроде кельи. Только прямо скажу: капитан наш не любит, чтобы тут матросы шаландались. Насчет всяких шашней — упаси бог.

Таня вспыхнула вся, залилась краской.

— Прекратим разговор о шашнях! С кем хочу, с тем и буду знакомство вести. Никто мне не может запретить. Это — мое личное дело. Лучше покажите, что еще должна я буду исполнять.

У Василисы чуть было не сорвалось с языка резкое слово. Но она вовремя спохватилась: вдруг эта особа окажется партийной. Вздохнула сокрушенно:

— Ох-хо-хо! Времена наступили: держи язык на привязи.

Буфет, представлявший собою небольшое помещение,

находился рядом с кают-компанией, имея выход в коридор. К стенкам его были приделаны шкафы и полки. Для посуды, чтобы не билась во время шторма, имелись особые гнезда.

Василиса по счету сдавала новой буфетчице тарелки, стаканы, ложки, кастрюли.

А в это время в кают-компании третий штурман, Иннокентий Григорьевич Салазкин, открыв сундук с аптекой, лечил Бородкина. Он смазывал рану йодом и говорил:

— Вон как хватило. Придется отправить вас в больницу.

Матрос, ежась от укусов лекарства, запротестовал:

— Что вы, товарищ штурман, зря говорите! В больнице только смеяться будут над таким пустяком. Это мне нипочем. Я сейчас же опять стану на работу.

— Ну, хорошо. Через день-другой увидим. Но как же все-таки вас угораздило под чурбан попасть? Где в это время были ваши глаза?

— Глаза мои, товарищ штурман, были на месте. Я спас новую буфетчицу. Не схвати я ее — крышка бы ей. От нее осталось бы только мокрое место.

Буфетчица слышала весь разговор. От последних слов у нее задрожали руки. Она сбилась со счета.

Бородкин, проходя мимо буфета, встретился с золотистыми глазами: Таня смотрела на него с искренней благодарностью.

В обед уже всей команде стало известно о прибытии новой буфетчицы. Некоторые под каким-нибудь предлогом спускались в кают-компанию, другие подкарауливали у камбуза, чтобы взглянуть и оценить новую женщину. Одни, увлекаясь, слишком преувеличивали ее красоту, другие ничего особенного в ней не находили. Так или иначе, но на этот раз разговор вращался только вокруг Тани.

II

Целую неделю на судне гремели лебедки, целую неделю возились рабочие, обливаясь потом. Набили проп-сом все четыре трюма, закупорили люки, накрыли их брезентом. Груз начали укладывать на верхнюю палубу. Пароход осаживался все глубже и глубже, пока

ватерлиния не сравнялась с водой. Караван, обставленный по сторонам деревянными стойками, возвышался до капитанского мостика. Осталось только принайтовить его. Вся верхняя команда ползала по круглым чурбанам, перекидывая от одного борта к другому железные цепи, стальные тросы, пеньковые концы. Боцман, здоровенный латыш, в лице которого было что-то лошадиное, руководил работой, и шевеля одной бровью, покрикивал:

— Хорошенько крепи! Идем в море, а не к теще на праздник!

Таня, если предстояла грязная работа, одевалась в серый казенный халат и принималась за дело горячо. С самого утра, когда все еще спали, она уже хлопотала в кают-компании. Босая, с засученными рукавами, смахивала щеткой пыль с дивана, протирала тряпкой стены, ножки стола и кресел, а палубу, застланную линолеумом, промывала с мылом. Стекла светового люка, что возвышался над столом, очищались мелом. То же проделывалось и с иллюминаторами в передней стенке, открывавшими вид на верхнюю палубу. Не было такого места, до которого не прикоснулась бы ее рука. Потом принималась за капитанскую каюту и за каюту первого помощника. К удивлению их обитателей, все стояло на месте, в порядке, ни на чем нельзя было найти ни одной пылинки. Тарелки подавались в кают-компанию без единого пятнышка, ножи, вилки, металлические ложки блестели, словно только что принесенные из магазина. За минуту до указанного по расписанию времени накрывался стол. Таня обходила каюты командного состава, стучала в двери, и звенел ее ласковый голос:

— Пожалуйте кушать!

Ничего подобного не было раньше.

Все из командного состава до капитана включительно удивлялись ее проворству, как и тому, что и сама она всегда ходила в чистом платье, аккуратно одетая. Это сразу всех расположило к ней. Таня успела присмотреться к судовым порядкам и освоиться в новой обстановке. Она уже теперь знала всю судовую администрацию, которую обслуживала, знала, кто какую должность занимал.

Нравился ей капитан, Николай Иванович Абрикосов. Несмотря на шестидесятилетний возраст, он был

еще достаточно крепок, ходил прямо. Седоусое лицо его, чисто выбритое, обожженное солнцем, продубленное морскими ветрами, сохранило ядреность. Только вокруг серых глаз, привыкших щуриться, защищаясь от морского блеска, легли складки морщин. Говорил тихо, не волнуясь, но за его словами чувствовалась сила воли. Подчиненные в деловых отношениях побаивались его. Обращаясь к буфетчице, он всегда начинал одной и той же фразой:

— Таня, будьте так любезны...

И отдавал то или иное распоряжение.

Первый помощник его, в прошлом лейтенант, Анатолий Гаврилович Глазунов, был породист, нос имел с горбинкой. Он никогда не входил в кают-компанию без крахмального воротничка. Дело свое, по-видимому, знал хорошо — капитан доверял ему,— но был беспечен и ленив. В свободное время любил поспать долго и крепко, так что с трудом его можно было разбудить.

Старший механик, Матвей Савельич Лысухин, пожилой опытный человек, был скуп и расчетлив. Садясь за стол, он всегда вынимал гребенку и расчесывал коричневую бороду, похожую на рыбий хвост. Остроконечная голова его, подстриженная под первый номер машинки, постоянно была чем-то озабочена. Он любил говорить об экономии угля, как будто в этом заключался весь интерес его жизни.

Перезнакомилась Таня и с командой.

И со всеми она была одинаково ласкова, каждому дарила милые улыбки, по-прежнему в меру застенчива, с невинным взглядом золотистых глаз. Утром при встрече с матросами так приветливо раздавался ее голос:

— Здравствуйте, товарищи! Сегодня замечательная погода!

Команда добродушно ухмылялась, отвечая шуткой:

— Это вы ее нам принесли. А до вас было пасмурно.

Таня смеялась. Вздрагивали тонкие темно-русые брови, заострившиеся к вискам, точно крылья стрижа. Морской бриз запутался в ее белокурых вьющихся волосах и тихонько шевелил их. Солнце смуглило обнаженные плечи, шею, лицо. Все тянулись к ней, как растения к свету. Но пока их сдерживала близость своего города, где почти у каждого была семья или возлюбленная. А

когда кончался трудовой день, моряки мылись, чистились, сбрасывали с себя грязное платье. На берег отправлялись в новых костюмах, в белых воротничках, в цветистых галстуках. Даже кочегаров можно было смешать с богатыми нэпманами. На пароходе оставались только вахтенные да матрос Бородкин, всячески добивавшийся встречи с Таней.

— А ты, Максим, что же никуда не уходишь? — как-то спросила она, встретившись с ним на палубе.

— У меня в городе никого нет,— остановившись, ответил он угрюмо.

— Наверно, доволен, что свободный человек?

— Мне такая свобода надоела.

— Кто же тебе мешает подругу иметь?

Крупная и немного сутулая фигура его выпрямилась, а по хмурому лицу заиграла ожидающая улыбка.

— Не было случая... Я хочу, чтобы крепко было, на всю жизнь...

Он придвинулся ближе и, поблескивая белесыми глазами, взглянул на нее с такой жадностью, что она испугалась и переменила разговор. Говорила о городе, о предстоящем походе в море. Восторгалась жизнью на корабле. Бородкин слушал рассеянно и кратко отвечал на вопросы, чувствуя кипение в крови. Хотелось и ему говорить, но не находил слов. И этим он смущался больше всего.

В другой раз Бородкин приготовил ей подарок. Выждав, когда кругом никого не было, он вытащил из кармана букетик цветов и неуклюже сунул его Тане.

Она ласково рассмеялась.

— Какой ты потешный, Максим! Разве так подносят женщине цветы? Ну, спасибо, дорогой.

Бородкин что-то промычал в ответ. Рыжеватое лицо его, наливаясь кровью, загорелось, будто прикоснулось к солнцу, глаза его стали влажными. Но он был счастлив.

Обида пришла после.

Оказалось, что Василиса наблюдала за ними из камбузного иллюминатора... Когда он, повернувшись, зашагал с кормы в носовой кубрик, навстречу ему вышла прислуга. Она ехидно посмеивалась, глядя ему в лицо.

— Ничего, парень, у тебя не выйдет. Напрасно только расходуешься на цветы.

Бородкин остановился в недоумении, точно ударили его по голове дубиной.

— Ты что, портовая ведьма?

— Ничего. Совет даю.

Сурово глядя на расползающееся лицо, он показал ей здоровенный кулак.

— Ты такой штуки не пробовала?

Василиса нисколько не испугалась и заговорила вызывающе:

— Только тронь. Будешь потом свистеть за железной решеткой. Да и мало чести такому большому дуролому женщину одолеть.

Бородкин крепко выругался и пошел дальше.

На второй день вся команда знала о том, что Бородкин подарил буфетчице цветы. Над ним издевались. Больше всего досталось от Брыкалова.

— Не туда, браток, лезешь со своим ухажорством. Для Тани нужен молодец, чтобы кровь заходила. А ты ни рылом, ни черепком не можешь похвастаться. Посуди сам, какие таланты перед нею выставишь? А главнее всего — не имеешь ты никакого понятия о барометре женского сердца.

Бородкин не успевал перед всеми огрызаться. Лицо его стало красным, как сургуч. Отчаянно ругаясь, он угрожал вырвать длинный язык у сплетницы Василисы.

В последние дни перед выходом в море на пароход стали чаще приходить жены командного состава. Когда они сидели в кают-компании за длинным полукруглым столом, Таня угощала их чаем или обедом. Одета она была, как всегда, скромно, без крикливости, и это придавало ей особую прелесть. При виде молодой и красивой буфетчицы жены тревожились за своих мужей. Они косились на нее, закусывая губы и настораживаясь, точно она замышляла украсть у них маленькое семейное счастье.

III

В теплый и ясный день «Октябрь» приготовился сняться с якоря.

Настроение у всех было приподнятое. Походка людей стала торопливее. В отрывистых выкриках чувствовалось нетерпение.

После обеда явилась комиссия по отправке судна за границу. Тут были представители от начальника порта, таможни, особого отдела, госпароходства и доктор.

Из дверей буфета Таня наблюдала, как в кают-компании просматривались разные документы, подписывались какие-то бумаги. Таможенники, сопровождаемые вторым штурманом, обыскивали каюты и другие помещения. Ничего предосудительного не оказалось. Доктор осматривал людей. Все были здоровы. Под конец, исключая капитана, весь экипаж вызвали на полуют и поставили у правого борта. Молодой человек во френче защитного цвета, заглядывая в морскую книжку с фотографической карточкой, вызывал каждого по фамилии.

— Есть! — отвечал тот, кого выкликали, и переходил к другому борту под пытливым взглядом представителей от Особого отдела.

Перекличка продолжалась.

— Дроздова!

— Я самая! — отозвалась Василиса и неторопливо пошагала через полуют, переваливаясь, как гусыня.

Таня уже слышала от матросов, что в последний момент Особый отдел может не пропустить за границу, если тот или иной человек покажется в чем-либо подозрительным. Такие случаи бывали. Этого она боялась больше всего и очень волновалась.

— Милованова!

— Есть! — вздрогнув, ответила Таня и направилась к противоположному борту.

Человек в защитном френче вдруг остановил ее и пристально взглянул в лицо.

— Вам сколько лет?

Таня, подняв ресницы, остановилась в недоумении.

— Двадцать второй год,— спохватившись, ответила она.

Человек в защитном френче помедлил, не зная, о чем еще спросить, и наконец буркнул:

— Так. Идите.

Часа через полтора формальности были закончены. Комиссия, распростившись с администрацией, покинула судно. С берегом сообщение прекратилось.

Около «Октября» уже стояли два буксирных катера: один — с носа, а другой — с кормы. От парохода протя-

нулись к ним стальные тросы. На баке заработал паровой брашпиль, поднимая черный двухлапый якорь. «Октябрь» начал развертываться. Вытягивались из гавани медленно, обходя иностранные и русские суда, нагружавшиеся также лесом. На мостике стоял лоцман и через рупор перебрасывал свои приказания на буксиры.

А когда вышли в залив, катера, отдав буксир, вернулись обратно. «Октябрь» громко заржал, словно застоявшийся жеребец, и двинулся вперед, вздыхая железными легкими. Из широкой трубы повалил дым гуще и чернее. Ход увеличивался.

Таня стояла на полуюте, возбужденная и радостная. Она впервые отправлялась в плавание. И все для нее было интересно и ново. Раздвигались берега, уходили вдаль, затягиваясь дымкой. Все шире расстилались воды залива, совершенно заштилевшие, в изумительной игре небесных красок. Внизу, у самого киля, гудел гребной вал, вращаясь с такой силой, что вздрагивала под ногами палубная настилка. За кормой оставался длинный и широкий след, точно по золотой и неподвижной равнине, волнуясь, протекала река. Родной город исчезал. А там, на западе, куда, развевая алым полотнищем флага, несся «Октябрь», ничего не было видно, кроме лучистого простора.

— Товарищ Таня!

Буфетчица подняла глаза на оклик. На караване стоял вахтенный матрос, светловолосый латыш Ян, широко улыбаясь. Он запнулся, придумывая, как поумнее выразиться.

— Я за вашей честью пришел.

Таня сдвинула брови.

— Что вы сказали?

— Да, да, за вашей честью я, потому что капитан просит принести ему три стакана чаю и хлеба с маслом.

Она громко рассмеялась.

— Вот вы про что! Хорошо.

Через несколько минут она уже шла с подносом на мостик.

— Спасибо, родная, спасибо,— закручивая седые усы, промолвил капитан с отцовской нежностью.

Уходя, Таня заглянула в рулевую рубку. У штурвала, глядя на компас, стоял молодой немец Гинс. Рукава

его тонкой вязаной рубахи были закатаны выше локтей. Съехавшая на затылок английская кепка и выбившаяся на лоб прядь темных волос придавали ему вид лихого моряка. В этот момент он был великолепен. Казалось, это он, сильный и красивый, управляет кораблем и ведет его в какую-то призрачную страну.

Таня спустилась по трапу на палубу, не загруженную пропсом, и пошла к камбузу между машинным кожухом и каютами. Здесь стояли матросы, свободные от вахты. Она и не подозревала, что они, вымывшись и принарядившись, нарочно поджидали ее. Среди них был и Брыкалов. Копируя англичан, он брил лицо и верхнюю губу, любил прямой пробор на гладко причесанной голове, почти всегда держал в зубах трубку. По отношению к женщинам он считал себя неотразимым, держался уверенно, с некоторым превосходством.

— Как ваше самочувствие, товарищ Таня? — первым обратился к буфетчице Брыкалов.

— Очень хорошо, спасибо,— флейтой зазвенел ее голос.

— Вот и отлично. Когда придем за границу, не откажите абордировать вашу ручку для посещения иностранного театра.

В золотистых глазах Тани сверкнул лукавый огонек.

— Там видно будет.

Другие матросы считали Брыкалова самым опасным соперником в любовных делах. Поэтому нашли нужным немного осадить его.

— Правильно говорит товарищ Таня. Почему именно она должна с тобой пойти?

— Я не навязываюсь. Может идти с любым губошлепом, если только это доставит ей удовольствие.

Брыкалова начали язвить со всех сторон:

— Заткнись, дружище!

— Морду задирает к небу, а плюет на землю.

Таня упрашивала:

— Не нужно так издеваться друг над другом. Вы все свои люди.

— Мы только шутим, товарищ Таня.

Из машинного кожуха вышел кочегар Меркулов, большеголовый парень, грязный и черный, похожий на

африканца. Он расшаркался перед буфетчицей и, откинув в сторону правую руку, бойко заговорил:

— Татьяне Петровне полтысячи лет изо всей силы!

Она рассмеялась откровенно.

— Ой, какой вы чумазый!

— Пошуруйте в топке — еще больше будете чумазой.

Таня запротестовала:

— Ничего подобного. Я бы и там, в вашей кочегарке, навела чистоту.

Меркулов заспорил, но его перебил машинист Краснов, судовой профуполномоченный:

— Убавь пару, дух!

Кочегар повернул на машиниста белки глаз.

— А ты что за указчик такой?

Краснов вместо ответа похлопал кочегара по грязной кепке.

— Эх, к этой бы голове да чугунную шею! Веку бы не было.

Все расхохотались.

Матрос Бородкин стоял в стороне, привалившись к переборке каюты. У него был отчаянный вид, точно он вдребезги проигрался в карты.

Таня заметила его и, на зависть другим, обратилась к нему таким ласковым голосом, от которого дрожь пробегает в позвоночнике:

— А ты что, Максим, на отлете держишься? Иди сюда ближе. И отчего ты сегодня такой грустный?

Бородкин неуклюже переступил с ноги на ногу и тихо буркнул:

— Ничего... так себе...

За него пояснили другие:

— Задумал парень жениться, а никак не может невесту найти.

— Невесту-то он наметил, да батька его, вишь, скроил не на ту колодку,— неказистым вышел.

Внимание всех неожиданно сосредоточилось на другом. К камбузу приближалась Василиса, держа в руке чайник. Лицо у нее было постное, а губы строго подобраны, как у развратной игуменши при молодых монашках. Она бросила уничтожающий взгляд на Таню, а потом обратилась к коку, лысому и добродушному Пет-

ровичу, заслонившему своей толстой фигурой квадрат камбузных дверей:

— Ну-ка ты, антрекот с горошком, посторонись.

Кок, давая ей пройти, ухмыльнулся:

— Пожалуйте, дыня переспелая!

Прислуга, налив кипятку, вышла обратно. Матросы остановили ее, прося:

— Покалякай с нами, товарищ Василиса.

— Я еще не потеряла свой стыд, чтобы около вас, охальников, околачиваться,— прошипела она сердито и опять бросила на буфетчицу уничтожающий взгляд.

— Да ну? А где ты его носишь, стыд-то свой? — спросили матросы.

Василиса круто повернулась к ним и забарабанила:

— Когда я была в девках, я за версту обходила мужчин.

Она торопливо пошагала к своей каюте, а в спину ей послышались едкие замечания:

— Слышите? Она в девках была!

Матросы, играя словами, задорно смеялись. И Тане нравились эти веселые ребята, ко всему относившиеся с беззаботной шуткой. На бронзовых лицах отвагой светились глаза.

Вечером открылся плавучий маяк. «Октябрь» нетерпеливо заревел, давая тем знать, что нужно снять лоцмана. Подошли ближе и остановились. К борту причалила маячная лодка.

А через минуту гребные лопасти снова забурлили воду.

Солнце медленно погружалось за раскаленный горизонт. Закатным огнем горела текучая гладь. Таня, с мискою в руках остановившись у вант-грот-мачты, жадно вдыхала душистую влагу моря и, прищурившись, смотрела вперед. Манила оранжевая даль, звала. Что там, за этим цветистым небосклоном? Грезилось о счастье, и рождались смутные мечты.

Хорошо было отплыть в ясный, солнечный день.

IV

«Октябрь» продолжал пересекать водную пустыню. За ним, расширяясь, длинным хвостом развевался дым. На корме, под красным полотнищем флага, механизм,

именуемый лагом, точно и аккуратно отсчитывал морские мили. Их сотни остались позади с тех пор, как вышли из своего порта, и все они отмечены на карте, что разложена на столе в штурманской рубке.

Быстро летело крылатое время. Таня насыщалась новыми впечатлениями, радостными и волнующими. Над судном с криком кружились чайки. Изредка над поверхностью воды морская касатка показывала свой костяной гребень, которым она, как саблей, распарывает животы китам и наводит ужас на этих морских великанов. Встречались с другими кораблями и расходились в разные стороны. Вечером впереди, совершив свой дневной дозор, солнце раскаленным шаром проваливалось в море, чтобы через ночь всплыть за кормою и рассыпаться по голубой равнине световой лихорадкой. Матросы еще больше начали нравиться буфетчице. Она чувствовала себя прекрасно и, казалось, хорошела с каждым днем.

Погода вдруг испортилась. Как ночной разбойник изза угла, налетел шквал, нагнал тяжелые вороные тучи. Ливнем обрушился дождь, завесил простор снующими водяными нитями. Загромыхала высь, с треском ломались огненные линии молний. Всколыхнулась водная гладь, поднялась, зашумела. Пароход начал нырять по буграм и откосам.

Таня в это время находилась под рострами, в кругу матросов. От внезапной перемены в море она растерялась. В тревоге смотрела на товарищей, а те, усмехаясь, говорили:

— Будем плавать — дождемся настоящей бури.

— Да так разозлится, что бороду с корнями вырывает.

— А этот ветер пустяковый. Сразу пронесется — слишком круто взял.

И на самом деле в морской стихии произошла лишь кратковременная вспышка. Шквал быстро пронесся с диким гулом, с мутью, с брызгами, как пьяный свадебный кортеж. Небо снова прояснело. Воздух стал неподвижным. Море, утихая, весело заструилось палящей синевой и трепетным блеском, точно по нем рассыпало солнце золотые стружки.

Буфетчица была неистощима в своей энергии. По-

прежнему в ее владениях был порядок, по-прежнему она наводила на все чистоту. Это всех поражало. Она все больше становилась центром внимания экипажа. Вдали от берегов люди превращались в романтиков. А Таня обладала одной особенностью: золотистые глаза ее всегда были игриво-лучистые, зовущие к жизни. Когда она смотрела на кого-нибудь, то, помимо своей воли, обещала близкое счастье. Человеку этому казалось, что она расположена к нему больше, чем к другим, и что не сегодня-завтра, может быть, через неделю, но она будет принадлежать ему. Каждый втайне хранил эту надежду, радостно сверкавшую в сознании, словно кусок семицветной радуги. И никто не подозревал, что она относилась ко всем одинаково. В этом был ее успех.

Маленькая женщина перерождала людей. Грубость на корабле исчезала. Матерная ругань раздавалась реже, с оглядкой, только в то время, когда не было на палубе буфетчицы. Если ей приходилось случайно услышать похабные слова, она смотрела на того холодным взглядом. Матросы начали ходить чище, опрятнее, зная, что это нравится Тане. Даже кочегары, кончая вахту, прежде чем оставить котельное отделение, предварительно приводили себя в человеческий вид: до блеска натирали намыленной мочалкой тело, переодевались в чистое платье, делали на голове перед осколком зеркала затейливые прически. Потом выходили на верхнюю палубу и смотрели по сторонам, ища глазами буфетчицу. При встрече с нею каждый матрос радостно улыбался, точно неожиданно получил повышение по службе.

Как-то перед обедом Таня спустилась в носовой кубрик, чтобы по поручению первого штурмана позвать матроса.

Кубрик разделялся коридором и переборками на два жилых помещения: одно — для кочегаров, а другое — для матросов верхней палубы. В последнем сидело несколько человек. Кругом было грязно. На столе валялись окурки, хлебные крошки. Койки были не убраны. Буфетчица откровенно возмутилась:

— Как вы по-свински живете! Неужели трудно за собой убрать?

Матросы, сконфузившись, начали оправдываться:

— Да некогда было. То на вахте приходится стоять, то еще что-нибудь делать...

Таня перебила их:

— Никогда этому не поверю. Я бы одна убрала это помещение. А вас вон сколько здесь. Только пять минут времени — и все будет блестеть. Хотите, я вам сейчас порядок наведу?

— Да что вы, товарищ Таня? Зачем же так? Мы этого не позволим. Вы вечером приходите к нам. Вот тогда увидите, что будет.

— Хорошо, хорошо, я приду.

Наказав одному из матросов, чтобы он шел к старшему штурману, буфетчица заглянула в помещение кочегаров. Двое сидели за столом, играя в шашки, трое спали на койках.

— Здравствуйте, товарищи! Посмотреть хочу, как вы живете.

— Милости просим, с кого гривен восемь, а вас даром.

И здесь, возмущаясь, зазвенел ее голос:

— У вас еще грязнее, чем у матросов! На полу валяются ботинки, носки. Разве нет места, чтобы убрать все это? А чайник какой грязный! Кружки из белых в коричневые превратились. Не могу понять одного: сами ходите чисто, а в помещении, как в хлеву.

Кочегары смутились. На койке из-под одеяла высунулась голова, по заспанному лицу расползлась улыбка, и глухой голос начал возражать:

— Это вы зря так говорите, товарищ Таня. Вы должны войти в наше положение. Не в алтаре служим. Там что? Мотайся вокруг престола да помахивай кадилом. Откуда будет грязь? А то ведь в преисподней работаем, среди угля.

— Все равно. Это не оправдание.

— Вы бы, товарищ Таня, присели да поговорили с нами. До смерти люблю с женщинами покалякать насчет смысла жизни.

— Некогда мне. Надо на стол накрывать. Как-нибудь загляну к вам.

Она повернулась и ушла.

Раньше и Василиса пользовалась некоторым вниманием со стороны матросов. Но теперь все от нее отшат-

нулись, над ней смеялись. Эта девчонка, несмотря на свой маленький рост, заслонила от нее жизнь, отравила душу. Она ненавидела Таню, хотя при встрече с нею была притворно ласкова.

— Что уж ты, ягодка моя, стараешься так? Как ни посмотрю — все ты в хлопотах, все что-нибудь делаешь. Сколько ни старайся, а выше теперешней должности все равно не прыгнешь.

— Знаю. Но без работы не проживешь.

— Так-то оно так. Только всему есть мера. А то как говорится: работа дураков любит.

— Эту пословицу ленивые выдумали.

Василиса скривила губы.

— Уж не знаю, кто ее выдумал. Зато другое знаю: с работы лошади дохнут. А я так рассуждаю: нашей сестре только и погулять, пока в девках ходишь. Тут тебе и воля, и почет, и обхождение хорошее. Насчет заботушки — от нее оскомину набьешь, когда замуж выйдешь. Так-то вот...

И медленно уплывала от Тани, переваливаясь с боку на бок.

После обеда Василиса спустилась в матросский кубрик. В том и другом помещении шла спешная работа. Матросы, засучив брюки и рукава, работали с каким-то особым рвением: кто надраивал песком медный чайник, кто чистил кружки, кто крыл потолок эмалевой краской.

— Стараетесь? — ехидно спросила Василиса, остановившись у порога.

— Сама, поди, видишь,— недружелюбно ответили ей матросы.

— Чистоту наводите?

— Да, наводим. Это лучше, чем по судну засаленной свиньей шляться.

Василиса поняла это как намек, и у нее задрожал дородный подбородок.

— А по святцам как будто назавтра никакого праздника не должно быть?

— Мы без святцев живем. Это ты продолжаешь по-прежнему — богу молишься, а с дьяволом водишься.

Она укоризненно покачала головой:

— Посмотрю я на вас: какие-то оглашенные вы стали все, ну, как есть оглашенные.

— А что?

— Срамота одна — вот что! У каждого из вас что теперь в башке? Вместо мозга жидкость одна, как в яйце-болтуне. Чистятся, моются, бреются, наряжаются. Из кожи лезут, лишь бы перещеголять друг друга. Ради кого? Ради этой крученой девчонки! Хоть бы посмотреть было на что. А то ведь так себе — трясогузка какая-то. Ухватиться не за что...

Матросы закричали:

— Заткни свой поганый фонтан, акула земноводная!

— Ухватиться, говорит, не за что! Если по-твоему рассуждать, то любая корова или кобыла в сто раз красивее тебя: там уже есть за что ухватиться.

— Это она, братцы, из зависти так говорит.

Мужчины в хохоте прятали свою неловкость.

Василиса кричала:

— Это мне-то да ей завидовать! Да я на своем веку видела молодцов не таких, как вы! У меня офицеры с иностранных кораблей ночевали. А вы что собою представляете? Кобели бесхвостые, и больше ничего! Тьфу, прости ты, господи, душу мою окаянную!..

Никогда раньше, уходя от матросов, она не поднималась по трапу так быстро, как на этот раз.

V

Вечером, отделавшись от своих обязанностей, Таня решила сходить в матросский кубрик. Догорала заря и густела ночь, когда она поднялась на палубу. Она прошла на бак. Здесь вдруг услышала говор, доносившийся из матросского кубрика через раструб вентилятора. Кто-то произнес ее имя. Она невольно придвинулась ближе к вентилятору и насторожилась. По голосу она узнала Брыкалова. Он заносчиво рассказывал другим:

— Если мне понравится какая — не устоять ей. Я знаю все тонкости женского сердца. Попробуйте все время приставать к ней со своей любовью — ничего не выйдет. Нет, ты покажи ей, что она, скажем, вдохновляет тебя и ты при ней так загораешься, что можешь горы опрокидывать. Женщины страсть любят вдохновлять нашего брата. А потом немножко отхлынь от нее, притворись равнодушным. А еще лучше, если тут за другой

приударить. Тогда сразу все обозначится. Если здорово клюнуло, тут уж губами не шлепай, а сразу бери. Твоя будет. А так действовать, как Бороджин,— это все равно, что голой мачтой ветер ловить...

Таня закусила губу.

«Хорошо,— подумала она про себя.— Будем иметь это в виду».

Из раструба вентилятора послышался смех, а потом кто-то недоверчиво заявил:

— На словах ты, Брыкалов, готов построить мост до небес. А ты на практике покажи.

— Я уже доказывал.

— Там никто не видал.

— Скоро увидите.

— Не обожгись, Брыкалов!

Таня хотела вернуться обратно, но тут же передумала и решительно начала спускаться по трапу.

Матросы, вскочив, встретили ее шумными аплодисментами.

— Пожалуйте, товарищ Таня, к столу!

Брыкалов подлетел к ней с улыбкой бульварного кавалера и выпалил заранее заученные слова:

— Приветствую вас, Татьяна Петровна, от всего горячего сердца, изоляционно от других! Вы — чудесная наша морская сказка! Ваши глаза возбуждают во мне целую бурю возвышенных чувств...

Таня холодно взглянула на него.

— Я не люблю балаганщины.

Кавалер сразу скис, что-то забормотал под хохот других.

У Бороджкина от радости прыгали глаза.

— Молодец ты сегодня, Максим,— веселый такой!

Он мотнул головой.

— Идем за границу. Вот и радуюсь.

Таню угощали чаем, печеньем, конфетами.

— Где это вы достали сладости?

— Для вас со дна моря добудем.

Кубрик нельзя было узнать: все в нем аккуратно убрано, палуба вымыта, на клеенчатой скатерти ни одного пятнышка. От белого, как снег, потолка пахло свежей краской. При свете электрической лампы большой чайник горел красной медью, точно закатное солнце. И са-

ми матросы, выбритые, вымывшиеся, наряженные в чистое платье, выглядели так, как будто приготовились на парадный смотр.

Таня, оглядывая кубрик, восторгалась:

— Вот видите, как хорошо стало у вас!

Матросы оправдывались:

— У нас, товарищ Таня, сроду так было. Это давеча маленькая оплошность вышла: понадеялись друг на друга.

Одна треть экипажа управляла кораблем. А те, что были свободны, почти все собрались в кубрике. Сюда пришли кочегары, машинисты, даже плотник и боцман. Вокруг маленькой женщины вскипало веселье. Голоса людей стали напряженнее. Часто говор людей заглушался прорвавшимся смехом. Соперничая между собою, каждому хотелось чем-нибудь блеснуть перед буфетчицей и в то же время осадить другого.

Пожилой плотник, Артамон Хилков, раньше всегда был молчалив, а теперь говорил больше всех. Он рассказывал смешные анекдоты, выдавая их за факты. Скуластое лицо его морщилось хитроватыми ужимками, локти оттопыривались, как крылья птицы, собравшейся вспорхнуть.

— А то вот еще случай. Это произошло, когда я еще в военном флоте служил. После обеда, как полагается, кок вымыл свои котлы и вылил ополоски в ведро. Выходит он с ведром на двор. Глядь — в ворота экипажа сам адмирал вкатывает на лихаче. «Стой! — кричит ему адмирал.— Что это,— спрашивает,— ты несешь?» Кок оробел, мотнул башкой, вытряхнул слова: «Так что от обеда осталось, ваше превосходительство». «А ну,— говорит адмирал,— дай ложку, попробую, чем кормят команду». Подал кок ложку. Адмирал хлебнул раз — поморщился, второй раз хлебнул — еще больше поморщился. «Черт знает,— говорит,— какая гадость! Совершенно несоленая, это не суп, а помои какие-то, отвратительные помои!» Кок возьми и бухни: «Так точно, ваше превосходительство, форменные помои. Я их и несу в помойную яму». Адмирал как зарычит, как задергается весь. Посинел, точно спелый баклажан. И сразу — бац на землю! Сказывали после — сердце, словно от динамита, вдребезги разорвалось...

Таня смеялась больше всех. На ее щеках, как ясное утро, играла молодость, опьяняя мужчин. Матросы жадно льнули к буфетчице взглядами. В каждом будто увеличилось количество крови, гудели мускулы...

Машинист, чтобы понизить успех плотника, заметил:

— Если бы не одна причина, в Хилкова могли бы женщины влюбляться.

— То есть что же это за причина? — спросил плотник.

— Постарел. Представляешь собою отработанный пар.

Плотник огрызнулся:

— Вот и видать, что язык у тебя наперед ума рыщет. Не понимает человек одного: старое вино крепче бывает.

На пороге появился кочегар Перекатов с двухрядной гармошкой. В норвежском темно-синем свитере, в шотландской кепке, он был похож на иностранного моряка. На красивом овальном лице с маленькими усиками светилась торжествующая усмешка.

Все повернулись к нему.

— А ну, Боря, дерни того-этого, чтобы на дне морском вся живая тварь зашевелилась.

Кочегар, усаживаясь на скамью, глубже надвинул на глаза кепку. Задористо бросил взгляд на Таню. Растянулись узорчатые мехи, забегали пальцы, перебирая лады. Брызнули и закружились веселые звуки. Один матрос, хлопнув в ладоши, крикнул:

— Выходи кто на пару!

Подбоченившись, он засеменил ногами по раздвинутому кругу. Навстречу ему выплыл другой, шаркая подошвами в такт ладов. Плясали до изнеможения, лица стали красные, как морковь.

Когда кончилась пляска, кочегар запел:

Ах, глазки мои,
Что мне делать с вами?
Увидали милую —
Заморгали сами...

Задушевный тенор, перевитый звуками гармошки, захватил Таню, наполнил сердце покоряющим призывом. Она теперь смотрела только на Перекатова. Загадочная полуулыбка застыла на ее лице. Забылась, унеслась в грезах с этим порывистым парнем к солнечному блеску.

За ней наблюдал Бородкин. Уплывало от него счастье, закатывалось, как луна за тучу. На сердце навалилась тоска, густела в жилах кровь. Песня оборвалась. Он с нетерпением ждал этого момента и, стараясь быть спокойным, бросил Перекатову:

— Молодец, черноспинник! Только зря кепку на глаза надвигаешь.— И сдернул кепку на затылок.

У кочегара на лбу, над левой бровью, была шишка, красная, лоснящаяся, величиною с грецкий орех. Он тщательно скрывал ее от Тани, а теперь она увидела этот противный жировик.

Перекатов вскочил, как безумный.

— Ты что, рыжий идол? Я для тебя игрушка, что ли? — И почти отшвырнул гармошку на стол.

У Бородкина тоже зашевелились усы.

— Что ты больно взъерепенился? Пошутить с тобой нельзя?

— Я тебе за такие шутки только два зуба оставлю, чтобы сахар грызть!

— Тише на повороте! А то я из тебя грязь сделаю, чтобы ходить мягче было!

Оба стояли в боевой позе, меряя глазами друг друга.

Другие подзадоривали их.

Между соперниками стала Таня.

— Садитесь! Ну! Я вам говорю — садитесь! А то я больше никогда не приду к вам!

Кочегар больше не мог играть: он ушел в свою половину кубрика.

Таня стала прощаться.

На полуюте, прежде чем спуститься к себе в каюту, она задержалась. Ночь мерцала переливами звезд. Море притихло и, казалось, слушало безмолвную песню неба. Только «Октябрь» тревожил тишину, вспахивая темную поверхность. И странно было сознавать, что там, за этим небосклоном, скоро откроется новая страна, невиданная до сих пор. На правом крыле мостика прохаживались два человека. Это были вахтенные. Они направляли бинокли в одну сторону. Скоро и Таня заметила, что навстречу плыли две звезды: повыше — белая, пони-

же — зеленая. Спустя некоторое время услышала голос второго штурмана:

— Немецкий грузовик за хлебом лупит. Без России им не обойтись.

VI

После обеда третий штурман лег в своей небольшой каюте отдохнуть. Как и все моряки, он быстро начал засыпать, но в это время раздался осторожный стук в двери. Он недовольно крикнул:

— Да, да!

Дверь открылась, и через порог перешагнул кочегар Перекатов. Он был настолько взволнован, точно на судне случилось страшное бедствие.

— Я к вам с просьбой, товарищ штурман!

— С какой?

Кочегар сорвал с головы кепку и, показывая пальцем на свою шишку, спросил:

— Видите эту мерзость?

Штурман поднялся с койки.

— Вижу. А еще что?

— Вырежьте ее к черту! Не могу больше с такой шишкой ходить!

— Почему?

Кочегар не сразу нашелся, что ответить.

— Мешает она мне работать.

— Как мешает?

— Ну, так и мешает.

Штурман Глазунов шире открыл глаза.

— Что-то у вас, товарищ Перекатов, неладно в голове. Сегодня случайно вас никто не огрел по затылку?

Кочегар взмолился:

— Будет вам шутить, Иннокентий Григорьевич! Я серьезно прошу: уважьте мою просьбу.

— К доктору обратитесь, когда приедем в порт. А я не хирург.

— Да я прошу вас не в печенках операцию сделать, а всего только шишку отрезать. Тут ведь и без хирурга можно обойтись.

Штурман был неумолим.

Кочегар, уходя, хлопнул дверью.

Разыскал плотника Артамона Хилкова, пошел с ним в каюту.

— Хочешь получить бутылку коньяку? Или еще что на твой выбор?

Плотник недоверчиво спросил:

— Это за что же такая милость?

— Мало одной — две поставлю, в первом же порту поставлю.

— Да за что?

— За пять минут работы.

— Говори.

Кочегар, указывая рукой на лоб, взволнованно сказал:

— Будь, Артамоша, другом: вырежь мне этот проклятый нарост.

Плотник покачал головой.

— Дело тут серьезное. Без привычки, пожалуй, не справиться мне.

— Чепуха! Ты мастер! Рука у тебя верная. Шкафы можешь делать. А с шишкой справиться — это все равно, что сучок с доски стругнуть.

Хилков ухмыльнулся от похвалы.

— А в случае чего в ответе не буду?

— Да я скорее сдохну, чем подвести кого.

— Говоришь, две бутылки можешь поставить?

— Факт! Мое слово крепче олова: то гнется, а мое слово никогда. Это тебе известно.

— Ладно.

Принесли кипятку, положили в него только что наточенную бритву. Приготовили чистых тряпок. Плотник, готовясь к операции, засучил рукава, вымыл руки. Кочегар, ложась на койку, попросил:

— Как будешь резать, ты кожу немного засвежуй. А то нельзя будет рану зашить.

— Не беспокойся, дружок. Разделаю тебя за милую душу. Любой профессор позавидует.

Когда острие бритвы коснулось живого мяса, Перекатов оскалил крепко стиснутые зубы. Тело его покрылось холодной испариной, а по бледному лицу заструились тонкие ручейки крови, попадая и в глазные впадины. Он зажмурился. Операция длилась долго. Казалось, холодное лезвие стали разрушило лобную кость, добралось до мозга. Нестерпимая боль простреливала нервы, сознание

мутилось. Ощущалась тошнота до судороги в желудке, точно он наглотался отравы. Кочегар крепился и лежал, не двигаясь, безмолвный, как дерево. Подбадривал себя мыслью: теперь никто не посмеет над ним смеяться и при встрече с женщинами ему уже не будет надобности надвигать на глаза кепку, чтобы скрыть противный нарост.

Плотник, заканчивая операцию, ухватился за подрезанную вокруг шишку и дернул ее с такой силой, что голова кочегара взметнулась вверх.

Перекатов вскочил и закачался, как пьяный.

— Готово, дружок! — сказал плотник.— Главное я сделал. А заштопать рану — это и штурманишка может.

На следующий день «Октябрь» бросил якорь в немецком порту. По заявлению старшего механика нужно было кое-что купить для машинного отделения. Пришлось задержаться на сутки.

Часть экипажа была отпущена на берег.

Капитан Абрикосов, встретив в кают-компании Таню, спросил:

— А вы почему не погуляете?

— Спасибо, капитан. Если можно, я с удовольствием посмотрю, как немцы живут.

— А деньги у вас есть?

— Не успела еще заработать.

— Ну, это дело поправимо.

Капитан обратился к первому помощнику, заведовавшему кассой и судовой отчетностью:

— Анатолий Гаврилович, выдайте Тане авансом месячное жалованье.

Буфетчицу сопровождали двое: Гинс и Бородкин. Прежде всего поразило ее огромнейшее количество кораблей, находившихся в гавани. Тут были суда со всех частей света. Одни из них набивали свои объемистые трюмы немецким товаром, другие разгружались. Голоса разноплеменных людей тонули в лязге железа, в грохоте подкатывающихся поездов и ломовых подвод, в завываниях сирен и гудков. Не было отбоя от нищих. Эта изголодавшаяся голытьба, состоявшая из мужчин и женщин, пожилых и подростков, назойливо лезла на каждый корабль, приставала к матросам, выпрашивая хлеба или денег. Гинс пояснил Тане:

— Никогда этого не было здесь до войны. А теперь — эх, и круто многим приходится!

После пустынного моря еще больше взволновал город. Жизнь показалась необычайно шумной и суетливой. Гудели трамваи, разнотонно рыкали автомобили, уносясь куда-то с бешеной поспешностью. По тротуарам переливались потоки людей. Таня испытывала странное чувство: как-то не верилось, что еще так недавно между русскими и немцами происходила самая жестокая и беспощадная схватка. А теперь можно гулять среди бывших врагов, никого не боясь. И когда заходили в роскошные магазины, сверкавшие зеркальными витринами, служащие, предлагая товар, так мило улыбались ей.

Побывала она и в ресторане. Оба кавалера, угощая ее, старались перещеголять друг друга. При этом все преимущества оставались на стороне Гинса. Он, как немец, свободно болтал со своими соотечественниками, рассказывал Тане об их жизни. Бородкин оказался в глупом положении. У него остался один только козырь: это то, что он был холостой. Он решил воспользоваться этим.

— Ты вот, товарищ Гинс, веселишься здесь. Музыку слушаешь, пиво на столе, пирожное. А в России твоя семья, поди, в нужде бьется.

— То есть какая это семья? — растерявшись, спросил Гинс.

— А та семья, что в документах прописана,— жена и дети.

Таня насторожилась.

Гинс посмотрел на товарища исподлобья.

— Мозги в твоей башке съехали набекрень. Поправь их сначала, да иди со своими наставлениями к длинноухим животным. А я и без тебя знаю, что нужно делать.

— Ты вроде как сердишься, а я ведь правду говорю.

— Нужна мне твоя цыганская правда, как блоха в кубрике.

Таня рассмеялась:

— Хорошие вы ребята, а вечно язвите друг друга, как враги какие. Я хочу, чтобы вы были веселые.

Она, как цирковая укротительница зверей, хлопнула по руке одного, а потом другого. Оба матроса заулыбались.

На судно вернулись поздно вечером.

В своем маленьком помещении Таня нарядилась в обновку. И только после этого вошла в кают-компанию. Большинство из командного состава сидело за столом, распивая чай. Прислуживала Василиса, пасмурная, с таким недовольным видом, точно она держала во рту отвратительное лекарство, не решаясь проглотить его.

— Приятного аппетита, товарищи!

Все оглянулись. То, что они увидели, многих изумило. У порога стояла не прежняя скромная буфетчица в красной повязке. На момент показалось, что на судно неожиданно явилась знатная иностранка. Она была в голубом, как тропическое море, платье с короткими рукавами, с вырезом на груди. Из-под широких полей шляпки, украшенной незабудками, призывно смеялись золотистые глаза.

— Вас, Татьяна Петровна, узнать нельзя,— заговорил старший механик, впервые назвавший ее по имени и отчеству.

А третий штурман, как самый молодой, вскочил и громко воскликнул:

— Неужели это наша уважаемая Татьяна Петровна? Не верю своим глазам!

Дружно посыпались похвалы, восторги перед нарядом буфетчицы, причем, кроме капитана, все величали ее по имени и отчеству.

Кают-компания наполнилась ликующим шумом.

Только Василиса сердито фыркала:

— На буржуйку стала похожа. Ничего хорошего в этом нет. А к слову сказать — меня это не касается. Я отдежурила за тебя.

Она вышла и, поднимаясь по трапу, прошипела:

— Даже и эти распробабились совсем.

Буфетчицу усадили за стол и стали угощать печеньем и фруктами. Теперь и комсоставу не стыдно было поухаживать за ней.

В кают-компанию под каким-нибудь предлогом спускались матросы. Чтобы задержаться подольше, обращались к персоналу с нелепыми вопросами. Пришел и Максим Бородкин, успевший нарядиться в серый, только что купленный костюм. Бросив на Таню тоскующий взгляд, он обратился к Салазкину:

— За лекарством пришел к вам, товарищ штурман.

— А что с вами?

— Тошнит что-то,— ответил Бородкин и покраснел от непривычки врать.

Принимая какие-то капли, разведенные с водой, он поперхнулся, закашлялся и, как ошалелый, выскочил из кают-компании.

Матросы, стоявшие у камбуза, очень обрадовались, когда пришла к ним буфетчица. Некоторые из них были под хмельком, но старались казаться трезвыми. Все заговорили с ней наперебой.

Подошел, покачиваясь, плотник Хилков.

— А, товарищ Таня! Краса и гордость нашего «Октября»!

— Что это вас бросает так из стороны в сторону? — спросила Таня.

— Простите, что я малость того... В одной кофейне немцы молоком угостили. Больше ничего не пил. Воистину не вру. А молочко-то, как теперь обозначается, скорее всего от бешеной коровы было. Вот и шибануло в мозги. Но пока что — я еще в здравом уме.

Хилков угрожающе поднял кулак.

— Всем вам, друзья мои, заявляю, кто обидит нашу жаворонку поднебесную, тому я дам только одну минуту жизни. Вот! Одну минуту, чтобы он мог проститься с белым светом. А потом начну ему душу выворачивать наизнанку. Поняли?

Матросы, посмеиваясь, поддакивали ему:

— Ты можешь. На то ты и хирург.

— Товарищ Хилков! А как ваш пациент поживает? — осведомилась Таня.

— Великолепно. Перекатову я сделал операцию на совесть. А что одна щека у него раздулась и глаз закрылся, так это сущая ерунда. Вероятно, помощник мой, штурманишка, не тем лекарством помазал рану. Теперь немцы будут долечивать его.

— Как немцы?

— Перекатова в больницу отправили. Затемпературил парень.

Таня в этот вечер долго думала о веселом гармонисте.

VII

«Октябрь» шел дальше, бороздя свинцовые воды Северного моря. Дул слабый зюйд-ост. На синеве неба, как расплескавшиеся сливки, ярко белели редкие облака. Солнечные потоки, разливаясь, грели благодатным теплом душу и тело водников.

Буфетчица несколько раз поднималась на полуют и любовалась простором. За кормой, теряясь вдали, тянулся прямой и длинный след. Широко раздвинулся горизонт. Таня, щурясь, смотрела на море, а море, забывая свою суровость, смотрело на Таню, покрываясь сетью сияющих морщин. И улыбались друг другу.

Вечером, после чая, просвистала дудка, и с мостика раздалась команда:

— На общее собрание!

Никогда с такой охотой не собирались в кают-компании. Помещение было набито людьми. Одни сидели за столом, другим пришлось стоять. Председательствовал машинист Рябинкин. Он то и дело вскидывал руки к голове и, растопырив толстые пальцы, взъерошивал густые черные волосы. За секретаря был Брыкалов. Посасывая трубку, он смотрел на всех свысока. Второй механик, бритый, толстогубый, с кроткими телячьими глазами, нудно и утомительно жевал доклад о международном положении. Матросы плохо слушали его. Их занимала буфетчица. Она сидела за столом между вторым штурманом и радистом. Последний осторожно прижимался к ней, точно хотел прилипнуть к женскому телу. Все видели, как с его нескладного лица исчезала постоянная угрюмость, а когда косился на груди соседки, вздрагивали ноздри широкого тупого носа, похожего на пятку. Тут же находилась и Василиса. Привалившись к переборке каюты, она с ненавистью наблюдала, как мужчины перебрасывались с Таней веселыми взглядами, точно перекидным огнем.

— Будем обсуждать доклад? — спросил председатель, когда замолчал второй механик.

Матросы зашевелились.

— Ясно все и без обсуждения.

— Принять к сведению и больше ничего.

Следующий вопрос стоял об артельщике. Старый артельщик говорил только на своем пензенском языке. Для

заграничного плавания он оказался малоподходящим. Выбрали Гинса.

Встал Брыкалов и, вынув изо рта трубку, обратился к председателю:

— Слово мне.

— Наворачивай,— усмехнулся председатель.

— Я, товарищи, трепаться долго не буду. Вы все хорошо знаете — раз мы вывернулись из буржуазно-дворянского хомута, то сами должны управлять государством. А мы в этом деле столько же понимаем, сколько моржи в компасе. Как быть? Нужно больше выписывать литературы и больше читать. Книга для мозга, что оселок для бритвы,— заостряет ум. Вот я и вношу предложение: будем отчислять на библиотеку от жалованья не по полтиннику, как раньше, а по рублю. Как вы на этот счет думаете?

Таня взглянула на Брыкалова и кивнула головой. Все разом загалдели, соглашаясь с предложением:

— Правильно!

— Довольно слепыми кротами жить!

Один кочегар, перебивая других, заорал:

— Крой на полтора рубля каждого!

Таня даже улыбнулась ему.

Бородкину тоже захотелось чем-нибудь отличиться. Он протолкался ближе к столу и, покраснев, точно поднимая тяжесть, бухнул:

— По два рубля!

Василиса, возмущаясь, запротестовала:

— Да что же это такое делается! Разум у вас дьявол отнял! Готовы все свое жалованье пожертвовать. Да ради чего я-то буду тут страдать?

— Я вам, товарищ Василиса, слова не давал,— заметил председатель.— Поэтому прошу сократиться.

— А что? Твоя юбка, что ли, на мне?

Когда приняли поправку Бородкина, он был чрезвычайно доволен.

Председатель энергично взлохматил голову и заговорил:

— Беру слово себе. Если уж пошло дело насчет библиотеки, то мы должны технику улучшить. У нас библиотекарь не всегда бывает свободен. Часто случается так:

нужно книги выдавать, а он стоит на вахте. Вот я и предлагаю выбрать нового библиотекаря.

Председатель остановился, взглянул на буфетчицу, а потом спросил:

— Знаете кого?

Сразу раздалось несколько голосов:

— Товарища Таню!

— Правильно, норд-ост вам в спину! — одобрил председатель.— Вы согласны, товарищ Таня?

Буфетчица смутилась.

— Да я ничего не имею против. Только смогу ли справиться?

— Пустое дело. Подымай, братва, лапы!

Дружно взмыли вверх руки. Потом посыпались аплодисменты.

Василиса отвернулась от стола. На висках у нее узловато вздулись вены.

Абрикосов, сидевший у конца стола, молча наблюдал за всеми. Седоусое лицо его чуть-чуть ухмылялось. Все понимал старый капитан, ибо и сам когда-то был молод.

— Еще есть какие вопросы? — спросил председатель.

— Вношу предложение,— выступил латыш Ян.

— Слушаем, дружок, тебя в двадцать пять пар ушей.

— Как мы стали сознательные граждане, то насчет матерщины больше — баста. Кто выругается, с того рубль штрафу. Деньги эти пойдут на библиотеку.

— У нас как будто никто крепко не выражается,— заметил на это председатель.

— Ясное дело — нет,— отозвались матросы.— А ты все-таки проголосуй на всякий случай, для очистки совести.

Василиса знала, для кого хотят вынести такое постановление, и, не утерпев, горячо заговорила:

— Да что вы, оглашенные, выдумываете разные штуки! Для вас матерщина, что хлеб насущный,— жить без этого не можете. Взять хотя бы боцмана. Утерпит он? Его в гроб положи, а он все будет чепушиться.

Боцман покосился на Василису, шевеля редкими усами, потом перевел взгляд на Таню и, встретившись с ее взглядом, безнадежно опустил голову.

За него заступился плотник:

— Зря ты беспокоишься, Василиса. Боцман выдержит марку лучше всех. А уж если крепко заберет за сердце и невтерпеж станет, он может спуститься в форпик или еще куда: на корабле места хватит. Изрыгнет там в одиночку всю хулу на всех богов и опять —наверх.

Раздался смех.

Предложение приняли почти единогласно.

Василиса в этот вечер долго сидела у себя в каюте, кусая губы. Успех буфетчицы среди мужчин ошеломляюще увеличивался с каждым днем. Не только матросы, но и командный состав начал обалдевать перед этой девчонкой. А что осталось на долю Василисы? Ничего, кроме обиды за ограбленную жизнь. Многие из мужчин нарочно, без всякой нужды, старались проявить к ней презрение, боясь, чтобы Таня не заподозрила их в обратном отношении. И это будет продолжаться до тех пор, пока та не достанется одному из многих, с такой жадностью ожидающих молодой любви. Рассуждая так, опытная в жизни женщина пришла к выводу: надо это дело ускорить. Каким образом? Она задыхалась от волнения и злобы. Она готова была призвать на помощь кого угодно, лишь бы отомстить той, что бросила в сердце отраву мучительной ревности. В груди что-то клокотало, мешая дышать. Мысли метались, сплетая предательские сети для соперницы.

Прислуга взглянула в зеркало. Увидела чужую рожу, искаженную от внутренней боли, с вывернутыми глазами, с дрожащим подбородком. Она с ненавистью отвернулась от своего отражения. Вышла из каюты. Время было за полночь. Бородкин стоял на вахте. Дождавшись, пока он отбился от других, она позвала его к грот-мачте. Здесь никто не мог их услышать. Стоя на караване пропса, она шепотом обратилась к нему:

— Вот что, малый, ты хочешь взять Таню?

Бородкин удивился.

— То есть как взять?

— Не виляй умом, как собака хвостом. Я все знаю. Говори прямо. Помогу.

— А чем?

— Это уж не твое дело. А без меня другому достанется. Ты только облизнешься, как кот на сметану.

Бородкин вздрогнул. Он еще раз спросил с хрипом в голосе:

— Почему?

— Потому, что под носом у тебя взошло, а в голове не посеяно.

Она порывисто зашептала, давая ему свои наставления.

Между редкими облаками спокойно мерцали звезды, далекие от земных волнений. Над горизонтом, медленно поднимаясь, висела ущербленная луна, похожая на корку спелой дыни. Слегка посеребренное море было безглагольным и только у бортов идущего парохода урчало сердито-ласково.

— Понял все? — спросила Василиса.

— Да,— кратко ответил Бородкин.

— Ну, смотри — исполняй в точности мой наказ.

Они разошлись: он — на мостик, она — в каюту.

VIII

Библиотека помещалась в кубрике, в бывшей маленькой каюте. Буфетчица, дорвавшись до нее, прежде всего начала наводить порядок. Протерла сырой тряпкой полки и стены, вымыла пол. Все книги были просмотрены и расставлены по отделам. Написала новый каталог.

Матросы между собой говорили о Тане:

— Ну, и проворная!

— Двадцать дел сразу делает.

— Золотые руки.

Кто-нибудь мечтал вслух:

— Вот это будет жена! С такой муж не пропадет.

Для матросов самое счастливое время было от шести до восьми вечера. В эти часы выдавались книги. Люди, принарядившись, заранее стояли у библиотеки, поджидая Таню.

— Здравствуйте, с кем не видалась,— приветствовала она их, когда спускалась в коридор кубрика.

— Здорово, если не шутите,— ухмылялись матросы.

В библиотеке она принимала посетителей по очереди.

Одни спрашивали определенные книги, называя автора и заглавие, другие сами не знали, что им нужно взять.

— Вам какую же дать?

— Все равно. Только чтобы позабористее была.

— Есть по социальным наукам, по естественным. Говорите. Или что-нибудь из беллетристики возьмете?

— Дайте такую книгу, чтобы сразу на полпуда ума прибавилось.

Таня смеялась, расцветая румянцем, смеялись и матросы.

Плотник Хилков, получив толстый том Некрасова, сказал:

— Разрешите, товарищ Таня, задержать подольше.

— Нравится вам Некрасов?

— Здорово покойник стихи строчил. Я, товарищ Таня, и сам иногда балуюсь перышком. Страсть люблю поэзию.

Таня удивилась.

— Вот как! И что же — ничего выходит?

— Хуже, чем у Некрасова. Стану того читать — слеза прошибает. Иной раз точно огнем хватит за сердце. А у меня — пишу стихи, а получается одна матерщина.

— Ты бы, Хилков, современных поэтов почитал,— посоветовал один из матросов.

— Да, теперешние еще хлестче пишут, только не поймешь ничего. Другого читаешь и думаешь: неужто в здравом уме? Таких стихов я бы каждый день по аршину сочинял.

Плотник стал в позу и, потрясая кулаками, зарычал:

Небо — голубая корова.
Солнце — золотое вымя.
Море — свинцовый подойник...

Библиотека давала немало веселых минут.

Выяснилось затем, что Таня, увлекаясь сама книгами, больше благоволит к тем, кто много читает. С ними она была ласковее, улыбалась лучистее. Она уже не раз откровенно заявляла:

— Люблю начитанных людей. С ними и поговорить интереснее.

Ни на одном пароходе не было того, что наблюдалось на «Октябре»: каждый матрос ходил с книгой. Как только наступала свободная минута, сейчас же принимались за чтение. При этом Брыкалов ввел новую

моду: чтобы отличиться от других, он с первого же раза, обменивая книгу, поделился с Таней впечатлениями о прочитанном. И все заметили, что это ей понравилось. А разве можно было в чем-либо отстать от этого признанного кавалера? То же начали делать и другие, благодаря чему приходилось ползать по строчкам от крышки до крышки. Некоторые целые ночи проводили без сна. Тяжелее всех доставалось Бородкину, решившему во что бы то ни стало перегнать в умственном развитии товарищей. Трещала от натуги голова, лицо осунулось.

Василиса, прогуливаясь по судну, спрашивала:

— Почитываете, братцы?

— Твои братья в серых шкурах по лесам рыщут.

Она верила в скорое крушение буфетчицы и была спокойна.

— На профессоров, что ли, начали готовиться?

— Выше хватай.

— А это что за чин — выше профессора?

— Не понять тебе, мать-игуменша, потому что умишко у тебя короче воробьиного носа.

— А вот смотрю на вас и все понимаю: и нарядные-то вы, и прическа на голове волосок к волоску, и ботиночки начищены, и галстучек прицеплен. Ну, как есть кастрюльная интеллигенция. Одно только плохо — рылом посконные вышли.

Максим Бородкин, разговаривая как-то с Таней наедине, заметил как бы между прочим:

— Зря наша братва издевается над Василисой.

Таня возразила:

— Да она сама постоянно задирает всех. Мне кажется — она очень ехидная женщина.

— Ничего подобного. Василиса на редкость добросовестный человек. Только жизнь у нее была незадачливая. Вот и расстраивается.

— А что с нею?

— Росла в чужих людях. Первый муж погиб. Он грузчиком работал. В трюме его придавило. Пудов сто железа на него свалилось. От второго мужа сама сбежала. Пьяница был и увечил ее каждый день.

Таня почувствовала неловкость и с грустью опустила глаза.

— Да-а. А я была о ней совершенно другого мнения.

— И она в вас ошибается: считает вас гордячкой.

Таня всплеснула руками.

— Это я и вдруг гордячка! Да с чего она взяла?

После разговора Таня стала относиться к Василисе лучше. А та принимала все меры к тому, чтобы подружиться с молодой женщиной, войти к ней в доверие.

«Октябрь» вошел в полосу тумана. На поверхность моря будто свалилась серая туча. Горизонт скрылся, солнце погасло. Временами с мостика нельзя было видеть людей, стоявших на баке. Пароход, убавив число оборотов, шел медленно, вслепую, как безглазый бык. Через каждую минуту он бросал в пространство протяжный рев. Из лохматой мглы, завывая, ему откликались другие корабли. Казалось — это перекликались морские чудовища, то сближаясь, то расходясь, невидимые в мутных облаках тумана.

Свободные матросы собрались около камбуза. Среди них находилась и буфетчица. Шутили, смеялись, а в глазах была какая-то настороженность. Вязкий туман прилипал ко всем предметам, обволакивал людей сыростью. И хотя знали, что вокруг не было ни одной скалы, но чувствовали беспокойство духа больше, чем при свежем ветре.

Глухо звучал голос одного матроса:

— Это что за туман! Вот я однажды попал — это да. На английском пароходе было. Руку перед собой вытянешь — и уже не видать ладони. А капитан у нас был — сам дьявол не мог бы так управлять кораблем, как он. Жарил полным ходом. С полного хода в гавань вошел. Звериное чутье имел...

Таня слушала рассказы матросов с большим увлечением, то заливаясь смехом, то пугаясь, когда речь заходила о столкновении кораблей, о гибели моряков. Каждому было что рассказать, и каждый, зная, что это нравится молодой женщине, старался еще что-нибудь сообщить ей.

Плотник Хилков вытер сырость с лица и, улыбнувшись одними глазами, заговорил:

— У нас тоже был интересный случай. Я служил на гафель-шкуне. Называлась она «Ромашкой». Посудина эта была настолько старая, что советское правительство

не стало реквизировать ее. Так и осталась в собственности хозяина. Ну, а, между прочим, хозяин на ней делал чудеса. Это был хороший рыбак и сам ходил на шкуне за капитана. Бывало, всех обставит по части рыбной ловли. Таких моряков редко я встречал: начнись всемирный потоп, все равно уйдет в море. Очень, говорю, решительный человек был. При этом судно любил поставить на «ять». У него ни одна копейка даром не пропадала. Даже матросские объедки и внутренности от рыбы шли в пользу: свинью держал на шкуне. И вот однажды, как уйти в море, приходит к нам человек. Обращается к хозяину: «Не возьмете ли, капитан, на судно? Даром буду работать». Смотрим на него — грязный, оборванный. Пальцы у него длинные, тонкие. Лицо худое, измученное. В глазах — отчаяние, тоска. Хозяин спрашивает: «А сможешь работать?» «Привыкну»,— отвечает тот. «Хорошо,— соглашается хозяин,— я тебе рыбой заплачу». «А мне,— говорит пришелец,— безразлично». Взяли его. Ушли в море. Рыбы на этот раз было уйма. Как ни поставим сети — почти в каждую ячейку наберется. Не успевали отдыхать: то сети очищать, то рыбу шкерить, то солить ее. Рыбу складывали прямо в трюм. Нашего нового рыбака величали Арнольд Николаевич. Туго ему приходилось — жидковат мускулами вышел. А все-таки, по совести сказать, старался человек. Присмотрелись к нему. Видать, не из нашего брата. Образованный. Все знал на свете. Как начнет, бывало, рассказывать что-нибудь — уши развесишь. Одного только не знал — это сноровки насчет работы. Хозяин обрушивал на его голову всех человеческих и божеских матерей. Потом Арнольд Николаевич, как сдружились с ним, признался нам: из господ оказался. Свое имение было. Офицером служил. Ну, революция общипала его, как ястреб курицу,— катись. И оказался он вроде как с волчьим билетом. На должность никуда не мог устроиться. До того измотался, что хотел покончить с собой. А тут мы подвернулись. Он и пришился к нам.

Плотник сделал маленькую паузу, оглядел всех и продолжал:

— Все шло хорошо, пока шторм не закрутил. Эх, что тут было! Шкуна наша прыгала на волнах, как резиновый мяч. Иногда вся верхняя палуба уходила под воду.

Хорошо, что мы вовремя успели паруса убрать. А то бы одни только клочья остались от них. И понесло нас невесть куда. Из Арнольда Николаевича дух вон. Каждой волны он боялся больше, чем тигра с оскаленными зубами. Он дрожал, как заброшенный щенок, и все скулил: «Капитан, мы погибнем! Скорее к берегу! Я на землю хочу!» У хозяина морда сытая, кирпичного цвета, широкий рот в бурых волосах, мясистый нос красным помидором прилип. Как зарычит он на Арнольда: «Замолчи, медуза мягкотелая! А то враз за борт выброшу!» Новый рыбак посинел весь от страха, языком перестал ворочать. Мы стащили его в кубрик. Вот, братцы, что значит жизнь-то: сам хотел покончить с собой, а тут — на-ка вот — испугался хуже всех. Да, вот оно какое дело. На второй день шторм утих. Ничего особенного с «Ромашкой» не случилось. От шторма осталась только мертвая зыбь. Шкуна покачивалась на ней, как люлька. Зато туман наполз — гуще, чем теперь вот. Ни черта не видно. А мы, как на грех, потеряли накануне сигнальный горн. Кругом тральщики и парусно-моторные шкуны ревут. Иной раз рядом завоет. Вот-вот какое-нибудь судно нас на таран возьмет. Погибай тогда ни за что ни про что. Как предупредить столкновение? Хозяин наш сразу нашелся. Взял ящик, сделал в нем с одного конца дырку. Потом посадил в него свинью так, что хвост ее пришелся против дырки. Обращается к Арнольду Николаевичу: «Нам нечем сигналы давать. Могут нас пополам разрезать. Поэтому дергай хавронью за хвост. Получится живая сирена». Обидно тому до слез — как-никак, а ведь бывший барин. В то же время как ослушаться хозяина? А главное — страшно, смерть кругом ходит. Старается наш новый рыбак. Свинья визжит с таким надрывом, точно режут ее. Мили за две разносится ее голос. Смотрим мы на Арнольда Николаевича — куда вся ученость его девалась! Глаза выпучил, лицо стало белее алебастра и такое глупое, точно кто ударил его по мозгам пыльным мешком. А нам и по-человечески жалко его и от хохота не можем удержаться. Хозяин кулаками потрясает над его головой и разные слова в морские узлы завертывает. То и дело приказывает: «Дергай, сильнее дергай, если не хочешь в зубы акулам попасть». Барин на коленях стоит, руки его трясутся, точно в лихо-

манке, и готов совсем оторвать хвост. Мы ясно себе представляем, как в тумане шарахаются от нас корабли: думают, что берег рядом. Ну, и потеха была! В театре того не увидишь...

Последние слова плотника утонули в хохоте слушателей.

— Ну, и смехотворный же вы, товарищ Хилков! — восторгалась Таня.

Потом спросила:

— А дальше что было с барином?

Плотник, довольный вниманием буфетчицы, пояснил:

— Ничего не было. Опять много раз ходил с нами на рыбную ловлю. И все благодарил нас, что мы его в люди вывели. И на самом деле — окреп человек, поправился телом. Бояться моря перестал. К работе приловчился. Словом, заправским рыбаком заделался. О самоубийстве больше уже не помышлял.

Таня, уходя в кают-компанию, думала, что милее матросов никого нет на свете.

IX

В голландском порту пришвартовались к каменной стенке. Над палубой «Октября» висели тяжелые гаки узорчатых кранов. На берегу, в тридцати — сорока саженях, высокие трубы бумажной фабрики чадили в пасмурное небо.

После того как представители полиции, таможенные чиновники и врач осмотрели судно и его экипаж, приступили к разгрузке. Залязгали железом краны. Послышались выкрики на непонятном языке. Из одного крайнего корпуса выкатывались вагонетки, останавливались на короткое время около крана, пока не опускали на них большие связки пропса, и мчались дальше, исчезая в глубине другого корпуса. Они совершали какой-то круг, но казалось, их бегают сотни с неутомимой заботливостью. Караван, возвышавшийся над палубой, постепенно таял, а корпус судна поднимался.

Таня с матросами осмотрела небольшой городок. Там, в гавани, кипела жизнь, наполненная суетой и шумом, а здесь, на просторных улицах, обсаженных обстриженными деревьями, была тишина. Бросалось в

глаза сытое благополучие людей в этих чистых двухэтажных домиках, с палисадничками, с гардинами на окнах. Даже собаки отличались своей откормленностью. Это было не то, что пришлось увидеть в Германии, переполненной нищими. Сразу было заметно, что в то время, когда другие нации разорялись, занимаясь ненужной бойней, голландцы торговали и сколачивали барыши.

Побывала Таня и в Амстердаме, куда совершила поездку по железной дороге.

На этот раз сопровождали ее лица только из командного состава: старший механик, первый и третий штурманы, радист.

В эту ночь, вернувшись на «Октябрь», она долго не могла уснуть. В голове все перепуталось от избытка впечатлений. То, что она видела, теперь представлялось будто во сне: многочисленные каналы, разделяющие город на отдельные острова; корабли, большие и малые, вторгающиеся по искусственным бассейнам прямо в улицы и причаливающие к домам; огромнейшие площади с памятниками, с древними храмами в готическом стиле; рестораны с волнующей музыкой; горячие взгляды иностранных моряков, проявляющих в гульбе азарт и бесшабашную удаль...

На второй день за утренним чаем капитан спросил, обращаясь к буфетчице:

— Ну, как, Таня, погуляли в городе?

— Спасибо, капитан! Очень хорошо. Я в восторге от всего. И вообще мне очень нравится на вашем судне.

На момент в капитанскую душу, застуженную годами старости, повеяло весенним теплом, дрогнули седые усы.

— В Англии я сам пойду с вами в мюзик-холл.

Раздались протесты подчиненных:

— Капитан! Это жестоко с вашей стороны. Вы нас лишаете единственного удовольствия — погулять на берегу вместе с Татьяной Петровной.

А третий штурман, подражая попам, рассказывал заунывным голосом из библии:

— Когда царь Давид состарился и кровь перестала греть его, слуги нашли для него самую красивую девицу, чтобы она спала с ним и своим телом согревала бы его тело...

Капитан смущенно склонил голову, заглядывая в стакан с крепким чаем.

В кают-компании число поклонников у буфетчицы увеличивалось. Даже флегматичный радист ожил, заволновался. Раньше он ругал женщин и часто приводил свое любимое изречение:

— Любовь — это обман. Она, как позолота на железе, скоро стирается, теряет свой блеск, и остается лишь ржавчина семейной жизни.

А теперь он засматривался на Таню больше других. Покрутив по воздуху несуразным носом, он сказал:

— Я полагаю, что наша досточтимая и во веки веков незабываемая Татьяна Петровна не изменит нам.

Второй штурман подхватил:

— Слышите, что сказал радист? Совсем переменился парень. А был когда-то страшным женоненавистником.

Радист возразил:

— Никогда я себя к такой категории не причислял. Да и не мог я быть женоненавистником, если я вместе с женщиной на свет появился.

— Это как же так?

— Очень просто: близнецы мы с сестрой.

Кают-компания шумела возбужденными голосами.

В Голландии «Октябрь» простоял около недели. За это время многие из мужчин, распаленные близостью буфетчицы, разрядили свою энергию в веселых кабаках. Интерес к буфетчице немного понизился. Затем он утроился, когда опять вышли в море и взяли курс на Англию.

Пароход, избавившись от груза, вырос. Марка, показывающая осадку при полном тоннаже, высоко поднялась над водой. По обоим бортам обозначилась широкая красная полоса. Засвежел ветер. «Октябрь» закачался, хлопая наполовину обнаженными лопастями о поверхность моря.

Тане давно хотелось посмотреть на машину. Она надела серый халат и вошла в двери машинного отделения. Сразу обдало теплом. Она медленно спускалась по железным трапам, придерживаясь за тонкие поручни. Судно падало с борта на борт, дергалось от толчков, точно хотело стряхнуть ее с кружевных ступенек. Внизу она остановилась, не решаясь двинуться дальше. Тре-

тий механик, высокий, с острыми плечами, подлетел к ней, взял за руку и провел к верстаку. Растерянно улыбался, смущенный за свой грязный водолазный костюм.

— Пришла полюбоваться вашей работой,— закричала она, чтобы преодолеть машинный шум и удары зыбей, раздававшиеся теперь над головою.

— Хорошо сделали, Татьяна Петровна! — криком ответил третий механик, весь изогнувшись над ней.

Расспрашивая его, она пытливо оглядывалась.

С неистощимой энергией работала машина, обливаясь маслом, точно потом. На отполированных частях меди и стали играл электрический свет. Под давлением шатунов, как бы обгоняя друг друга, поднимались и опускались головы мотылей, вращая тяжелый гребной вал. Как две широкие ладони, терлись металлические диски. Равномерно покачивались коромысла, шмыгали взад и вперед какие-то рычаги и стержни. Нервно колебались стрелки на манометрах, показывая могучую силу пара, врывающегося в цилиндры. Все здесь было в напряженной дрожи. Казалось, что где-то в машине находится человеческий мозг, и она совершала каждое свое движение обдуманно и строго. А машинисты, грязные, засаленные, с лоснящимися лицами, лазили по решеткам, ощупывали работающие части, поливали их маслом. Они ухаживали за машиной, как за капризной женщиной, стараясь вовремя удовлетворить каждое ее требование. В то же время, несмотря на усталость, весело скалили на Таню зубы.

— Покажите мне еще преисподнюю,— попросила буфетчица.

Механик повел ее по узкому и мрачному коридору. Кочегарка была похожа на глубокую черную яму. Несмотря на вентиляторы, с воем нагонявшие в это помещение свежий воздух, здесь было душно. В полусумраке обрисовались черные фигуры, потерявшие человеческий облик. Гудели поддувала. Широкоспинный человек открыл топку и, нагнувшись, начал ворочать в ней ломом уголь, сбивать с колосников раскаленный шлак. Буфетчицу ослепило ярким светом, обдало нестерпимым жаром. На момент она зажмурилась. А потом увидела, что с чумазых лиц недовольно повернулись на нее белки глаз. Она никого не узнала и не сразу заметила, что

кочегары были полуголые, в одних только рабочих брюках. Шарахнулась обратно.

Необыкновенно хорошо показалось на верхней палубе. Внизу ее чуть не стошнило. А теперь она дышала глубоко, полной грудью, освежаясь чистым морским воздухом. На небе не было ни одного облачка. Высь лучилась синью и солнцем. Ветер резвел, пел в снастях, в раструбах вентиляторов. Море, изумрудно-сизое, неоглядное, колебалось, сверкало брызгами, вздувалось пирамидами, увенчанными пеной.

С каждым днем преклонение перед Таней увеличивалось. Ее начали награждать подарками. Снаружи, на дверную ручку ее каюты привешивалась коробка с шоколадом или с винными ягодами, иногда пакет с фруктами. И на подарке нередко встречалась надпись: «Милой Чайке», «Морской Лилии». Боцман сплел ей из смоленых прядей троса небольшую рыбу с плавниками и хвостом, с медными шариками вместо глаз. Лучший слесарь, машинист Рябинкин, смастерил ей металлический якорь, внутрь которого, отодвинув задвижку, можно было класть швейные принадлежности: иголки, булавки, наперсток. На одной из лап якоря были непонятные слова: «Комета оплела душу мою золотым хвостом». Не остался в стороне и плотник Хилков. Вечером, улучив момент, когда Таня находилась в своей каюте одна, он пришел к ней и вынул из-под полы плаща блестящую, пахнущую свежим лаком шкатулку.

— Это зачем? — удивившись, спросила Таня.

— На память вам,— застенчиво ответил Хилков и, как вор, торопливо выскочил из каюты.

Она не успела его поблагодарить, но он унес от нее радостную улыбку, скатившуюся в его душу звездой.

Василиса стала чаще навещать буфетчицу. Расспрашивала, от кого получены подарки, хвалила их, едва сдерживая себя от зависти.

— Мне очень неловко, что приносят для меня столько гостинцев,— жаловалась Таня.

Василиса тонко и осторожно вела свою политику, толкая молодую наивную соперницу на путь, ведущий к катастрофе.

— Чего же тут плохого, моя дорогая? Разве от тебя требуют что-нибудь мужчины? Моряки — народ ветре-

ный, любят деньгами сорить. А тебе что? Раз дают — бери. Стесняться тут нечего. Выйдешь замуж — все прекратится. И рада бы получить гостинец, да ничего не очистится.

Василиса подперла рукой свой дородный подбородок и, покачивая головой, заговорила о себе:

— И за мной когда-то ухлестывали мужчины. Да еще как! Отбоя не было. А гостинцами, бывало, засыпят. Что твоей душеньке угодно. А целовали сколько! Больше, чем ноги у Христа. И я теперь нисколько не раскаиваюсь: по крайней мере вспомнить есть о чем...

Приближались к берегам Англии. Предобеденное солнце позолотило синие воды. Чаще начали встречаться иностранные корабли.

Матросы сидели на третьем люке, находившемся за средними надстройками, в кормовой половине парохода. Это место стало излюбленным для команды. Здесь скорее можно было увидеть Таню и показать ей себя. Одни читали книги, а другие, разговаривая, посматривали вперед, ожидая, когда на горизонте покажется плавучий маяк.

Подошла Василиса. Увидев плотника, сидевшего вместе с другими, она не выдержала и обратилась к нему с усмешкой:

— Товарищ Хилков! Я слышала, ты очень хорошие шкатулки делаешь. Почем торгуешь?

Плотник вскочил, точно его внезапно ужалила оса, и уставился на женщину помутившимися глазами.

— Ты что? Обалдела? Когда я торговал шкатулками?

Василиса, кивнув головою на корму, в свою очередь, спросила:

— А разве даром туда снес?

Матросы, догадавшись, в чем дело, расхохотались.

А плотник стоял с таким видом, как будто ему сообщили о смерти его семьи, но он все еще не мог понять и осмыслить значения страшной вести. Наконец беспомощно выкрикнул:

— Утроба зловредная! Когда отсохнет у тебя язык?

— А тогда, когда у тебя собачий хвост отрастет.

Рябинкин, сидевший на люке, встал, намереваясь скорее уйти.

— Куда, дружок, заторопился? — спросила его Васи-

лиса.— Подожди малость. Мне нужно с тобой насчет якорька поговорить.

— Иди-ка ты... Тьфу, черт возьми! Чуть не побожился...— И, посвистывая, шмыгнул в машинное отделение.

У плотника от ярости лицо стало сизым. Под хохот других он не переставал рычать на Василису, заглушая свой стыд:

— Чума ты египетская! Неродеха! По древним законам, убить тебя мало! Тебя, как бесплодную смоковницу, нужно бы в огне сжечь!..

Женщина почувствовала себя уязвленной в самое больное место. Сокрушительный удар выбил ее из равновесия. Она перекосила лицо и начала возражать визгливо, как девчонка:

— А может, я не хотела пускать нищих на землю! Почем ты знаешь? Велика хитрость — ребенка родить! Да если бы я захотела, у меня были бы дети всех наций!

Она больше не могла говорить, точно захлебнулась словами. Быстро пошла к себе в каюту, отплевываясь, убитая и жалкая.

Плотник, не унимаясь, продолжал кричать ей вслед:

— Чтобы тебе забеременеть от морского дьявола и чтоб тебе родить ежа против шерсти...

На горизонте показались мачты плавучего маяка.

X

В Англии «Октябрь» простоял несколько суток, пока не наполнил свои трюмы углем.

Тронулись в обратный путь.

Если бы в это время кто взглянул на «Октябрь» со стороны, он был бы крайне поражен тем образцовым порядком, который царил на пароходе. Люди исполняли свои обязанности охотно, не дожидаясь понуканий. Всюду замечалась идеальная чистота, и не могло ее не быть: с самого утра, вооружившись шлангами, матросы окачивали морской водой железную палубу и все деревянные надстройки. Около ванной постоянно толпилась очередь: каждому хотелось щегольнуть свежестью своего тела. Бриться начали ежедневно. Мало того, все завели себе одеколон. Кончив вахту, люди выходили на верхнюю палубу чистые, нарядные и надушенные. У

всех был молодцеватый вид, и все были с книгами. Разве можно было признать в них прежних грязных моряков? Нет, они скорее напоминали богатых туристов, совершающих морское путешествие.

Но так могло бы показаться только по первому впечатлению. На пароходе не все было благополучно. Вокруг Тани пожаром разгорались страсти. Может быть, это было только временное увлечение, но, поджигаемое соперничеством, оно дошло до предельной черты. Маленькая женщина своими улыбками, обещающим взглядом золотистых глаз, зовущими губами, внезапно вспыхивающим румянцем на щеках опрокидывала сильных и мускулистых мужчин. Командный состав и матросы при встрече с нею пьянели, как пьянеет весной все живое от молодой, зацветающей земли. В этом было виновато море. Это оно, то сверкающее, как синяя парча в солнечных узорах, то вскипающее в штормах и циклонах, превратило Таню в какое-то божество, а мужчин — в идолопоклонников. Прикажи она кому-нибудь: «Прыгай за борт на полном ходу. Обратно выбирайся по ланглиню. Буду твоя»,— это было бы сделано немедленно.

Однажды перед вечером Таня сидела у себя в каюте и пила чай. На крохотном столике перед нею были коробки со сладостями. Она возвращалась в свой порт, и, несмотря на рычащие всплески моря, жизнь ей казалась необыкновенно красивой, пронизанной ясными лучами радости. Напрасно старуха мать, провожая дочь в плавание, уговаривала ее быть осторожней с моряками. И командный состав и матросы оказались самыми благородными людьми. С какой нежностью они относились к ней! Они готовы были пожертвовать всем, не требуя от нее ровно ничего. О таком бескорыстии можно было прочитать только в книгах. Все ей нравились — одни больше, другие меньше, но все. Даже Василису она начала любить. Таня, перебирая в уме мужчин, тихо улыбалась. В радостном горении билось молодое сердце.

В каюту вошла Василиса.

Таня пересела на койку и, показывая на освободившуюся складную табуретку, пригласила:

— Садитесь. Чаем угощу.

— Что ж, чайку выпить не вредно.

Таня наполнила стакан густым чаем.

— Пожалуйста, кушайте. Хотите — с шоколадом, хотите — с конфетами.

— Нет, уж я лучше с шоколадом. С шоколадом оно как-то уважительнее.

Прошлой ночью с Василисой спал Бородкин. Поэтому настроение у нее было великолепное: она внутренне торжествовала над Таней, а внешне была с нею необычайно мила.

Разговорились о новом рейсе. Гадали, с каким грузом и куда еще направится «Октябрь». Тане предстояло побывать во многих портах. Заманчиво рисовалось будущее. Она восторгалась:

— Нравится мне на корабле! Так бы вот и плавала всю жизнь!

Василиса соглашалась во всем, а потом, улучив момент, вставила:

— Ох, уж эти мужчины, мужчины! Смотрю на них и удивляюсь.

— А что? — спросила Таня.

Василиса вздохнула.

— Да взять хотя бы Бородкина. Ведь погибает парень совсем. А уж человек-то какой хороший! В нынешние времена таких поискать. И непьющий, и в работе старательный, и справедливый. Золото парень. Он только молчит, а во сто крат лучше всех этих барахлятников.

Таня широко открыла глаза.

— Кто погибает?

Василиса сокрушенно покачала головой.

— Эх ты, канареечка моя залетная! Молода ты и ничего не видишь. Раньше-то какой был парень? Щеки горели, хоть папиросу прикуривай. А теперь что стало? Ходит по судну, как неприкаянный. В тоске весь извелся. Тень только от него осталась. И поверь мне: не нынче-завтра руки на себя наложит.

Таня вскочила с койки, стиснула ладонями побелевшее лицо.

— Что с ним?

Василиса отодвинула стакан и тоже встала.

— Спасибочко за угощение. Пойду. Некогда мне.

Таня порывисто ухватила Василису за плечо.

— Подождите уходить. Расскажите толком, что случилось с Бородкиным?

Пожилая женщина сделала скорбное лицо.

— Иному человеку такая планида выпадет: чужую жизнь спасет, сам со смертью начнет играть. Вот оно что.

И, уходя из каюты, добавила:

— Скорее всего за борт бросится.

Таня, оставшись одна, продолжала некоторое время стоять, глядя на затворенную дверь. То, что она узнала, потрясло ее. Она села на табуретку, в задумчивости уронила голову на руки. Она не ощущала качки, не слышала, как за бортом угрюмо ворчало море. Боль сдавила грудь. Неужели она будет невольной убийцей того, кто спас ей жизнь? Это было бы безумием. После этого не стоило бы жить на свете. Нет, во что бы то ни стало, но она должна спасти его. Хорошо, что Василиса вовремя открыла ей глаза. Окруженная ласкою мужчин, весельем, Таня слишком была счастлива, чтобы заметить горе другого. Что-то надламывалось в душе, туманились от слез глаза.

Сумрак спускался на море, когда она вышла на верхнюю палубу. Ветер крепчал, усиливая качку, становился полногласнее. В белых чадрах пены катились волны, и не было им конца. Таня прошла на мостик.

— А, Татьяна Петровна! Что скажете хорошего?— обратился к ней второй штурман.

— Ничего особенного. Я пришла только спросить: чаю вам не принести?

— Нет, спасибо. Скоро сменюсь — тогда попьем.

Разговаривая со штурманом, Таня наблюдала за Бородкиным, стоявшим вместе с двумя другими матросами. Он действительно осунулся, побледнел, проводя ночи без сна, за чтением книг. Умственное напряжение изнуряло его больше всего. Вокруг углубившихся глаз появились синие оттенки, и это придавало его лицу страдальческий вид. Он отворачивался от нее, ему стыдно было смотреть в чистые и невинные глаза той, у которой добивался любви нехорошими средствами. От прошлой ночи, проведенной с развратной Василисой, что-то грязное и липкое, как паутина, осталось в душе. И это он почувствовал только теперь, в присутствии Тани, этой милой девушки, раскрывшейся для любви, как роза в утренний час. А она, находясь под впечатлением разговора с хитрой женщиной, смотрела на него с болью, с

безмолвным криком в душе. Казалось, в эту же ночь, а может быть, сейчас, потеряв надежду на любовь, он бросится за борт...

— Вы, Татьяна Петровна, как будто расстроены чем-то,— заметил второй штурман.

— Нет, нет, нисколько,— спохватившись, ответила она и насильно заулыбалась.

Ветер ласково трепал ее волосы, забирался за пазуху и парусил тонкую блузку.

У второго штурмана, изголодавшегося по женщине, возникали шаловливые мысли: почему он в этот момент не ветер? Все было бы дозволено.

Зажгли отличительные огни: с правого борта зеленый, с левого — красный. Вспыхнул топовый фонарь на фок-мачте, а со вторым топовым фонарем, находившимся на вершине грот-мачты, было что-то неладно — электричество не загоралось.

Второй штурман обратился к матросам:

— Кто полезет на мачту исправить фонарь?

— Есть! — с порывом ответил Бородкин.

Чем выше поднимался он по вантам, тем сильнее становился размах мачты и тем тревожнее следила за ним Таня. Ванты кончились. До топового фонаря оставалось еще несколько аршин. Пришлось добираться до него, перехватываясь руками и ногами вокруг мачты. Бородкин, налаживая фонарь, пускал в ход всю мускульную силу, чтобы не сорваться с головокружительной высоты. Когда судно кренилось, он висел над бездной. Мельком он видел буфетчицу с непокрытой головой, в белой кофточке, в темной юбке. Пусть посмотрит, как матрос может работать. Ради нее он готов залезть еще выше, на самый клотик, хотя бы при этом была самая свирепая буря. Таня не спускала с него глаз. Откинув назад голову, она держалась за поручни и не дышала, ожидая каждую секунду, что он может сорваться и вдребезги разбиться о палубу или найти смерть в волнах. Теперь он был дорог для нее, как никто из всего экипажа. А когда ветер сорвал с него кепку и с яростью понес ее в море, как черную птицу, Таня вскрикнула:

— Ай!

Фонарь наконец вспыхнул.

Бородкин благополучно спустился на палубу.

Таня сбегала к себе в каюту и, не задумываясь, написала записку: «Приходи сегодня ко мне. Буду ждать тебя с 11 до 12». На полуюте она встретила Бородкина, пришедшего посмотреть на лаг. Сунула ему записку и юркнула по трапу вниз.

В назначенный час он уже стоял около ее каюты, одергивая новый свитер и поправляя шнурковый галстук. Осмотрел черные триковые брюки, блестящие ботинки. Все было в порядке. Наконец тихо, одним только ногтем, постучал в дверь. Раздался милый голос, дрожью пробежавший по нервам:

— Войдите.

Она, как и Василису, усадила его на табуретку, а сама пересела на койку.

Оба были сильно взволнованы. Говорили не о том, о чем нужно было сказать. Согнув голову, он крутил в руках новую кепку. Она смотрела на него и думала: когда он работал на мачте, рискуя жизнью, он больше нравился ей, чем теперь. Там он казался героем, а здесь перед нею сидел самый обыкновенный человек с напомаженной головою. Что-то нехорошее было в его белесых глазах в сочетании с веснушчатым лицом и рыжими усами. В то же время было жалко его.

Таня поправила прическу и с очаровательной улыбкой обратилась к матросу:

— А ты, Максим, все худеешь. Случайно, не больной?

— Нет, нисколько,— испуганно ответил он.

— А почему такой грустный ходишь?

Он ответил, как советовала Василиса:

— Жизнь надоела.

— Максим! Тебе ли говорить об этом? Что с тобой?

Голос ее прозвучал с необыкновенной теплотой.

Бородкин решил, что наступил момент сказать затаенное. Он сурово сдвинул брови, точно намеревался выйти на поединок с противником, и, взглянув в золотистые глаза женщины, промолвил официальным тоном:

— Татьяна Петровна, я желаю с вами...

На момент заученное слово вылетело из головы, но он тут же поймал его и, задыхаясь, произнес неестественно громко:

— Желаю с вами одекретиться.

Собственный голос оглушал его, напугал. Покачиваясь на табуретке вместе с палубой, он огляделся по сторонам.

В каюте никого не было, кроме Тани, рванувшейся с койки. Электрический свет показался слишком ярким. Хотелось тьмы. Он действовал бы смелее. Слух его напрягался в ожидании ответа. Прошла мучительно долгая секунда, пока он не услышал женский голос:

— Одекретиться! Для меня это слишком серьезный шаг. Но у нас много времени впереди...

Она не обещала и не отказывала. Просила только ждать. Гладила его крепкую, мозолистую руку. Он вздрагивал, распираемый приливом страсти. Сердце двигалось, как поршень в цилиндре.

А в это время за дверью повисло ухо пожилой женщины, с жадностью ловившее каждое слово.

Позднее Василиса под страшным секретом сообщила самому болтливому матросу:

— У буфетчицы Бородкин. Сварилась девчонка. Только никому об этом.

По судну поползла клевета — шипела в кубрике, на мостике, в кочегарке, в машине.

Бородкин вышел из каюты в четыре часа ночи, как раз в то время, когда ему нужно было становиться на вахту.

XI

«Октябрь» шел все тем же ходом, какой имел накануне, точно ничего на нем не случилось.

Утро было мутное. Небо подернулось серыми облаками. Море поблекло. Навстречу слабо дул зюйд-ост.

Таня взяла в одну руку большой медный чайник, начищенный до блеска, а в другую эмалированный кофейник и, поднявшись на палубу, направилась к камбузу. Прежде всего удивило то, что матросы были в грязных платьях, а некоторые даже в лохмотьях. На ее приветствие никто ничего не ответил, точно все были глухие. Это обстоятельство еще больше поразило ее. Что за перемена произошла на судне? Она недоумевала. Кок, всегда добродушный Петрович, был в таком засаленном фартуке, точно вытирал им жирную посуду. Он не бро-

сился к ней, как бывало, со своими услугами. Наоборот, насупившись, отвернулся от нее. Буфетчице пришлось самой наливать кипяток. Она поставила кофейник на горячую плиту и стала ждать, пока заварится кофе. А тем временем около камбуза один чумазый кочегар нарочно громко рассказывал плотнику Хилкову, держа его за рукав:

— Когда я был маленький, поймал однажды насекомое. Нет, ты понимаешь? Оно блестело на солнце, как зеленое золото. Я думал тогда: ничего нет красивее на свете, как это насекомое. Нет, ты понимаешь? Прямо залюбуешься. Отец мне тут объяснил. Оказалось, это была самая противная муха, что питается падалью. Нет, ты понимаешь? Так и мы, взрослые, иногда ошибаемся...

Кто-то матюкнулся, тихо и робко, словно впервые произносил скверные слова, и кто-то захлюпал сдержанным смешком, как школьник в присутствии учителя. А когда Таня, похолодев, пошла к корме, за спиною у нее раздалась ругань увереннее и хлестче. Около полуюта ее догнал плотник Хилков.

— Подождите.

— В чем дело? — остановившись, спросила она.

Плотник стал к ней боком и, покосившись на бледное лицо женщины, угрюмо спросил:

— Говорят, ты замуж вышла за Бородкина. Правда это?

Таня передернулась вся, вспыхнула обидой.

— А кому какое дело до этого?

И, загоревшись, добавила назло другим, громко и отчетливо:

— Ну, да, я вышла замуж, вышла за Бородкина! Что вам еще нужно?

— Ничего,— буркнул на это плотник.

Он пошел от нее, опустив плечи и округлив спину.

— Ну что? — спросили у него поджидавшие матросы.

Плотник ответил с дрожью в голосе:

— Сама призналась, стерва белобрысая!

Только что подошедший Брыкалов, скрывая свое собственное раздражение, засмеялся:

— Значит, зря ты, Хилков, распинался перед нею.

Плотник обвел его злым взглядом.

— Ты бы помолчал, орел в куриных перьях! Больше всех звонил языком: передо мною ни одна не устоит! Скушал дырку от баранки?

Машинист прибавил:

— Он бы навернул, да гайка не от того винта оказалась.

На Брыкалова обрушились и другие.

Этот день был проклятым днем на корабле. Каждый считал себя обманутым, оскорбленным в лучших чувствах. Обида заключалась главным образом в том, что Таня выбрала самого последнего матроса. Как она посмела это сделать? Взять хотя бы Брыкалова — высокий, стройный, до того похожий на гордого сына Альбиона, что на берегу часто обращаются к нему по-английски. А разве плотник не важное на судне лицо? Разве даром дают ему отдельную каюту? А кого выбирают в профуполномоченные? Первого человека, которому доверяют остальные товарищи. А разве кок не служил раньше в лучших ресторанах? Это такой знаток своего дела, такой фокусник, что может из грязной швабры приготовить вкусное блюдо. Взять других матросов: один игрок на гитаре, другой редкостный говорун, третий просто красавец. Каждый имел то или другое преимущество перед Бородкиным. Машинистам, например, сколько пришлось учиться, прежде чем заставить стальную махину со множеством рычагов и труб так планомерно работать! Даже кочегаром не всякий может быть — тоже ведь специальность! А разве боцман не первое лицо из всей команды? На всех морях и океанах, кроме свиного корыта, нет ни одного корабля, который бы мог обойтись без боцмана. Что касается командного состава, то нечего уже говорить — народ образованный. Они величали ее по имени и отчеству, обращались с ней, как с равной, а она, эта пустозвонная девчонка, так по-хамски унизила их, отдавшись Бородкину.

Когда Таня показалась на верхней палубе, один из матросов заорал:

— Судно не для того существует, чтобы на нем романею разводить! Надо об этом поставить вопрос на общем собрании!

— Правильно! Корабль не публичный дом! — поддакнули другие.

Золотая мечта превратилась в нечто подлое и грязное. Каждому хотелось унизить Таню. Ругань на судне разрасталась, становилась все забористее.

Боцман стоял на баке, осклабившийся, возбужденный. Целый час, почти не повторяясь, он исторгал фонтан похабных слов. Казалось, он читал акафист всем матерям, перечисляя при этом небо, море, спрятавшееся солнце, всякую тварь, что живет на суше и на воде. Ничто не ускользнуло от его внимания. Он крыл матом и машину, что ухает где-то внизу, и дым, что вываливается из трубы, и все судно по частям и целиком. Давно не слышали подобной ругани. Он изгибался, размахивая руками, точно фанатик, впавший в религиозную исступленность, и не слова, а плевки вылетали из его хрипящей пасти.

Кто-то, нервно расхохотавшись, заметил:

— Вот поливает! Даже рябь по морю пошла!

Василиса то и дело выходила на палубу и бросала на матросов торжествующий взгляд. Она достигла своей цели: уничтожила соперницу и отомстила тем, кто издевался над ней. Такая победа редко выпадала на ее долю. Она чувствовала себя моложе, красивее, шагала бодрее, точно с ее плеч скинули десять лет. Жирно улыбалось безбровое лицо.

Таня, бледная и потрясенная, прошла на мостик, чтобы позвать капитана к обеду.

Василиса, увидев ее, вдруг сделалась серьезной и набросилась на матросов:

— Да что же это вы, охальники, свои поганые горловины открыли! Бражка вы несчастная! Да разве можно так при женщинах выражаться?

— Замолчи, портовая рвань!

— Подумаешь! Бароны с лягушечьего болота!

— Ты разве женщина? Ты сатана в юбке!

Василиса прорвалась:

— А вы кто? Громыхалы тупоумные. Постановление выносили: не ругаться, мол, мы сознательные, мол, граждане! Куда же ваша сознательность девалась? Двадцать тысяч цепных собак не набрехали бы столько, сколько вы за половину дня. По рублю за каждое матерное слово! А если взаправду штрафовать! Тут был бы

такой капитал, что можно бы два больших парохода купить...

На этот раз кок приготовил никуда не годный обед: суп был пересолен, кислый, а второе блюдо, жареное мясо, настолько пригорело, что его нельзя было взять в рот. Пища полетела за борт, сопровождаемая руганью. Этот день был полон неудач. У кочегаров пары в котлах то падали, то чересчур поднимались. Машинист один чуть не сжег подшипники в машине. Рулевые не могли держать судно на курсе — оно виляло, катилось вправо, влево, вызывая раздражение штурманов. И все люди были озлоблены, ругались друг с другом, как заклятые враги.

Один только матрос, несмотря на все нападки на него, ходил по судну именинником: это был Максим Бородкин.

Капитан Абрикосов, как всегда, был спокоен. Много мудрости почерпнул он из прожитых лет, чтобы возмущаться такими пустяками. Он прогуливался по мостику, оглядывая горизонт, и лишь изредка ухмылялся в седые усы, думая: «Все утрясется».

Таня переживала ужас. За всю свою жизнь она ни разу не испытывала такого разочарования в людях. Неужели это были те же самые ребята, которые так весело смеялись с нею? Теперь все смотрели на нее исступленными глазами и готовы были растоптать ее, как нечисть. Ей никогда не приходилось слышать такой отвратительной ругани. Казалось, она попала в потоки грязи, клокотавшей вокруг нее. Жизнь представлялась в виде страшного провала, населенного двуногими гадами. Рыча, они плевали ей в душу гнилою слюной, липкой, словно клейстер. Таню тошнило. Она исполняла свою работу машинально, с окаменевшим лицом, с потухшими глазами. Как провода на антенне, дрожали нервы.

За что? Какое преступление она сделала перед людьми?

Вечером, покончив с делами, Таня пришла к себе в каюту и бросилась на койку. И только здесь, в одиночестве, дала волю слезам. Неизбывной болью ныло оскорбленное сердце. Вспомнила о родном брате, плавающем моряком где-то на Дальнем Востоке. Неужели он такой же порочный, как и те, что живут с нею на одном паро-

ходе? Тяжелое отчаяние давило ее. Она плакала беззвучно,— плакали мысли, запутавшиеся в безнадежности, как птицы в силках. Хотелось, чтобы кто-нибудь утешил словом, а каюта была пуста и тосклива, как гроб.

Явилась Василиса. Она пришла затем, чтобы еще раз почувствовать торжество свое над молодой соперницей, пережить сладость победы. Но когда увидела Таню, свернувшуюся на койке калачиком, словно от холода, увидела подушку, мокрую от слез, жалость зашевелилась в груди. Сколько раз самой ей, испытывая тяжкие удары неудач, приходилось изливать неутешную тоску в постели! Только подушка знала о горькой женской доле. Стало стыдно за свою роль. Дрогнуло сердце. Василиса заговорила ласково и откровенно, точно обращалась к родной дочери:

— Что уж ты убиваешься так, родная моя?

Задушевный голос тронул Таню. Она подняла заплаканные глаза на пожилую женщину и потянулась к ней, как обиженный ребенок к матери:

— За что они так на меня? Что я им плохого сделала?

Василиса обняла ее.

— Сошлась ты с Бородкиным. Вот и осерчали все.

Таня горячо запротестовала:

— Ничего подобного не было! Он только просил, чтобы я вышла за него замуж. А мне хотелось спасти его от гибели, и я обещала...

У Тани сердце было капризное, как порыв морского ветра. Она заявила, сверкнув глазами:

— Мне хочется сегодня же позвать Бородкина. Назло всем я, действительно, сойдусь с ним.

Василиса замахала руками:

— Что ты, что ты говоришь, дите неразумное! Хорошо сделала, что не согрешила. Нужно привыкнуть к человеку, познать его характер...

Она наставляла Таню с искренней убедительностью, любовно поглаживая голову. Той становилось легче, выпрямлялась сжавшаяся душа.

— Скажи, Василиса, откровенно: что такое мужчины?

— Жеребцы двуногие. Знаю я их. Сколько их перебывало у меня! Им от нас только и надо то, чтобы свою окаянную похоть заглушить.

— И больше ничего?

— А что же еще? Ты думала, что они и вправду все готовы были молиться на тебя? До чего ты еще неразумная, зорюшка моя ясная! Просто они, если сказать поученому, кобелировали вокруг тебя...

У Василисы вдруг задергались губы, и она продолжала:

— Ох, до чего я ненавижу их! Прости ты, господи, душу мою грешную. Не дал он мне, наш создатель, терпения. У самой часто бунтует тело. А кабы не это, я бы их, этих проклятых мужчин, ползать заставила около себя!

Таня смотрела на пожилую женщину широко открытыми глазами.

— И все такие?

— Почти все одинаковые: темные и образованные, бедные и богатые. Жила я в молодости у барина одного. Он так увивался вокруг меня, что руки целовал. А уж, бывало, любезности начнет говорить! И откуда только у него слова такие брались? А потом, гад щелкоперый, заразил меня и бросил. Через это вот, как сказывают доктора, я и родить не могу. И пошла я с той поры по худой дороженьке. Бросалась на мужчин: все хотелось ребеночка иметь. И все напрасно. Оставаться, видно, мне бесплодной до окончания века. И некому будет глаз прикрыть, коли подохну. И не только человек, а ни одна собака не повоет на моей могиле...

Голос Василисы задрожал, лицо болезненно сморщилось, орошаемое крупными слезами. Теперь уже Таня, всегда отзывчивая на чужое горе, утешала ее.

Две женщины, увядающая и молодая, долго еще сидели на койке, изливая друг другу тоску наболевшего сердца.

Когда остановились в германском порту, на «Октябрь» явился кочегар Перекатов. Еще издали, подплывая на шлюпке, он помахал товарищам рукой и весело крикнул:

— Алло, октябристы.

Ему никто ничего не ответил. Держа в руке желтый чемоданчик, он поднялся на палубу с такой поспешностью, точно здесь находилась его родная семья. На нем

был новенький темно-синий костюм, коричневый вязаный галстук. Он лихо сдвинул серую кепку на затылок — пусть теперь посмотрят на его лоб! Вместо прежней шишки остался над бровью лишь маленький шрам. Кочегар задорно улыбнулся, уверенный в своей неотразимости. Хотелось скорее увидеть ту, из-за которой пришлось столько мучиться, а его окружили матросы, грязные и неряшливо одетые. Пожимая им руки, он нетерпеливо бросал взгляд к корме. Тани не было видно.

Один матрос заметил Перекатову:

— Зря, браток, мечешь глазами туда. Опоздал.

— Что значит опоздал? — упавшим голосом спросил кочегар.

Ему показали на Бородкина, стоявшего на баке.

— Видишь — рожа масленым блином сияет? Накрыл твою симпатию.

Сразу стало понятным, почему Бородкин в противоположность другим был хорошо наряжен. Кочегар, избавившись от противного нароста, сжился с мыслью, что Таня будет его. Разве теперь мог кто-нибудь соперничать с ним? И вдруг на его голову свалилась такая весть, от которой зашевелились волосы. Легче было бы, если бы на его вахте взорвались все котлы.

Перекатов торопливо пошагал в свой кубрик, шевеля одними губами, точно внезапно лишился голоса.

«Октябрь» снялся с якоря и снова двинулся в путь.

Целые сутки лил дождь, а потом наступили солнечные дни и звездные ночи. Через каждые полчаса гудел судовой колокол, отбивая склянки. Одна вахта сменяла другую. Жизнь протекала по заведенному шаблону, однообразно. Только у матросов не было покоя. Вместо прежних шуток, перебиваемых веселым смехом, слышались озлобленные выкрики.

Василиса взяла буфетчицу под свою защиту. Она одна, никого не боясь, пошла почти против всего экипажа. Никто не мог переспорить ее. В этом отношении у нее был неистощимый запас энергии. Она перебирала людей в одиночку, подвергая недостатки каждого едким насмешкам, и ругала всех сразу.

— Не спросила девка вашего совета — окрысились! Да хоть бы с чертом она связалась! Вы-то здесь при

чем? А еще в благородство играли, трепачи окаянные! На словах — мед сладкий, а на деле — полынь горькая.

Василиса ругалась по целым дням, ругалась с яростью, до хрипоты в голосе.

Третий штурман, как-то проходя мимо, сказал о ней:

— Не баба, а железа с внутренней секрецией.

Василиса набросилась на него:

— А вы кто? Сердце с перцем, а душа с горчицей. Вы бы уж помолчали о секретах. Убирала я вашу каюту, спринцовочку нашла. Это не секрет? Получили от заграничных женщин подарок?..

Так она отбивалась от мужчин, а Таню ласково уговаривала:

— Ты не думай, девонька, с судна уходить. Где ты еще такую должность найдешь? А что ругаются — не велика беда. Ругань не смола — к телу не пристанет. Да и скоро выдохнутся они, водяные черти...

И действительно, по мере того, как пароход приближался к своему порту, другие интересы захватывали мужчин. У каждого там были близкие люди, каждому хотелось скорее попасть на берег. Бури, разыгравшиеся вокруг буфетчицы, постепенно утихали.

Библиотеку забросили совсем. Только один Бородкин продолжал почитывать книги. Одевался он чисто и аккуратно. Это выгодно отличало его от других. В глазах Тани он стал вырастать в героя.

XII

Когда стали на якорь в своем порту, на «Октябрь» явилось начальство. После некоторых формальностей таможенники приступили к осмотру судна. Но сколько они ни шарили по всем отделениям, пачкаясь в грязи и пыли,— ничего не нашли. Да и не возможно было найти то, что спрятано моряком. Для этого потребовалось бы вытащить пароход на берег и разобрать его весь на части или расщепить, как щиплют полотно на корпий. Тогда где-нибудь за двойным бортом или в бункерах под толстым слоем угля, или в паровой трубе могло бы что-нибудь оказаться: женские блузки, шелковые чулки, ботинки. Ведь у каждого моряка есть жена или возлюбленная, с таким нетерпением ожидающая возвращения сво-

его милого. Как он, побывав в заграничном плавании, может явиться к ней без подарка? Труднее было пронести эти подарки с судна. Для этого существуют сотни различных способов, но все они известны таможенникам. Приходилось изобретать новые планы, чтобы обмануть своих бдительных противников. И пока разгружались в угольной гавани, многие были озабочены своей контрабандой, если только можно назвать так небольшой подарок, привезенный для близкого человека. Это всех сблизило. Люди теперь жили берегом, домом, семьей.

К Тане начали относиться лучше, как будто между нею и остальным экипажем ничего не произошло. При встрече с нею раскланивались и участливо спрашивали:

— Ну как, удалось что-нибудь пронести?

— А у меня ничего запретного нет,— шутливо отвечала она.— Я купила только то, что на себя можно надеть.

Она не хотела оставаться на судне ни одного дня, но потом заколебалась. С одной стороны, ее уговаривала Василиса не бросать должности, а с другой — ей больше стал нравиться Максим Бородкин. Он оказался великолепным парнем. А главное — моряки опять превратились в добродушных, веселых людей. Она забыла прежнюю обиду. Опять загорелась бодростью, зазвенела переливчатым смехом.

Правление Госпароходства решило перебросить «Октябрь» на несколько рейсов в один из северных портов, чтобы усилить оттуда перевозку леса за границу. Это событие взволновало весь экипаж. Предстояло расстаться со своими близкими надолго, пока арктические воды не покроются льдами. Чтобы не идти порожняком, пароход срочно нагружался рельсами, газетной бумагой, бочками с сахаром. Все это предназначалось для своего же далекого края.

Прежний радист заболел аппендицитом и вынужден был отправиться в больницу на операцию. Вместо него назначили другого, Григория Павловича Островзорова. Это был человек лет двадцати восьми, немного выше среднего роста, крепкий и статный. Он явился на пароход в обед, в перерыв работы. Его сопровождал пес из породы лаек — белый, пушистый, с лохматыми, словно

в галифе, икрами. Закинув на спину хвост, свернутый в кольцо, как крендель, он смело шел за своим хозяином, настораживая чуткие треугольные уши. Новый радист, держа в руках два чемоданчика, направился в кают-компанию. На палубе около четвертого люка с ним встретилась Таня. Она взглянула в лицо нового человека, выбритое, со здоровым загаром, с коротко подстриженными усами. Из-под светлого козырька морской фуражки на нее тоже смотрели большие серые глаза, немного изумленные, что-то разглядывающие. Таня почувствовала внутреннее смущение. А когда пес подбежал к ней, чтобы по своей собачьей привычке обнюхать ее черным, словно лакированным носом, она, попятившись к борту, испуганно вскрикнула:

— Ой! Я боюсь!

Пес поднял на нее черные умные глаза, вильнул в знак первого знакомства кольцеобразным хвостом.

Радист хорошо улыбнулся ей.

— Не беспокойтесь, сударыня. Он никогда не укусит человека напрасно.

Она густо покраснела и засмеялась.

— Я люблю смирных собак.

И потрепала пса по голове.

— Вот и отлично,—промолвил Островзоров.—Вместе будем плавать.

Потом обратился к собаке:

— Идем, Норд.

Таня посмотрела им вслед, улыбаясь.

Некоторые из команды видели эту сцену, и каждый решил про себя: этот выручит всех.

«Октябрь», оставив свой порт, шел в беспредельность воды и неба. Ветер мирно дул в левую скулу судна. По широкой пустыне моря, матово поблескивая, катились небольшие волны. Проходили мимо знакомых островов, заселенных рыбаками. Иногда на горизонте вырастал маяк с причудливой башней. Хорошо было сознавать, что курс, проложенный на карте, верен и что ночью расцветет другой маяк, бросая в темноту яркие лучи света.

Таня нисколько не изменилась в отношении своих служебных обязанностей. Как и раньше, в кормовых помещениях был образцовый порядок. В ее проворных ру-

как все делалось необыкновенно быстро и хорошо. Ни в чем нельзя было к ней придраться.

По вечерам к ней заходил в каюту Максим Бородкин. Он нравился ей, однако не настолько, чтобы она немедленно согласилась выйти за него замуж. И раз навсегда запретила ему об этом говорить, заявив:

— Я сама скажу, когда придет время.

На судне уже не было прежнего щегольства. И все-таки некоторое влияние ее на людях отразилось: нельзя, стыдно было грязными и неряшливо одетыми встречаться с красивой женщиной. Поэтому все ходили чище, чем это обычно бывает на торговых транспортах.

Буфетчица теперь хорошо знала водников. Она видела их хорошими, видела и плохими. Отношения между нею и остальными с каждым днем все улучшались. Одного она только не подозревала: что с появлением на судне Островзорова почти весь экипаж страшно был заинтересован в новом романе. Трудно было примириться с тем, чтобы она, такая привлекательная женщина, продолжала, как все были в этом уверены, жить с Бородкиным. Кто он такой в сравнении с другими? Самый последний матрос. Другое дело, если бы она сошлась с радистом. Тогда никому не было бы обидно: он был красив, умен, ловок, имел все шансы на успех и, кроме того, представлял собою нейтрального человека, не принимавшего участия в предыдущих событиях.

Первым взялся за дело штурман Глазунов. Однажды, оставшись в кают-компании только вдвоем с буфетчицей, он заговорил, посмеиваясь:

— Ну, товарищ Таня, не простится вам грех на том свете.

— Какой грех? — спросила она, удивленно подняв ресницы.

— Да как же. Не успел новый человек явиться на судно, а вы уж его в плен забрали. Не насмотрится на вас.

Таня стыдливо потупилась.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

Вместо ответа штурман продолжал:

— Однако должен сказать, что вкус у вас недурен. За такого молодца в прежнее время любая графиня вышла бы замуж.

И вышел, оставив ее в недоумении.

Сейчас же направился в радиорубку. Поболтав с радистом о разных делах, он вдруг спросил:

А вам, Григорий Павлович, вероятно, здорово везет насчет женщин?

Островзоров положил слуховые трубки на стол, потер ладонью крутой лоб, точно желая уяснить мысль своего собеседника.

— Это из чего вы заключаете?

— Да вон наша красавица сразу втрескалась в вас.

— Я что-то этого не замечал. Думаю, что вы говорите глупости.

Они еще говорили о буфетчице. Это было после обеда. А вечером за ужином штурман видел, как Таня и Островзоров переглядывались друг с другом. И та и другая сторона хотела проверить наблюдения Глазунова. Факт оказался налицо.

С этого вечера у обоих началось приятное волнение. Первый толчок был дан удачно. С каждой новой встречей радист и буфетчица все больше и больше обращали друг на друга внимание. Помогал сближению и Норд. Пес очень нравился Тане, и она восторгалась им при хозяине:

— Замечательный у вас Норд! Сам весь белый, а нос и глаза черные. Красавец! И такой умник!

Островзоров хвалился:

— Щенком достал его в Мурманске. Третий год со мною плавает. Сколько портов обошел. Он стал настоящим моряком — по шторм-трапу может лазить.

Таня смеялась, обнимала Норда и ласково приговаривала:

— Слышишь, что про тебя говорит твой хозяин? Славный ты, мой песик!

Норд терся около нее, почтительно махал кольцеобразным хвостом и любовно заглядывал в лицо женщины, поблескивая черными глазами.

По вечерам, от шести до восьми часов, буфетчица всегда находилась в библиотеке. Водники понемногу опять начали заниматься чтением и опять здесь послышались шутки. Приходил сюда и Островзоров. При его появлении все старались подчеркнуть свое уважение к нему, сдергивая кепки и раскланиваясь:

— Здравствуйте, Григорий Павлович!

Другие спрашивали:

— Какие новости у вас, Григорий Павлович? Буржуазия ничего не замышляет против нас? Вы ведь, можно сказать, уши нашего «Октября».

— Пока ничего особенного нет,— посмеиваясь, отвечал Островзоров.

Перекатов, сдвинув кепку на затылок, рассказывал:

— Побывал я, братцы, в радиорубке. Ну, и хитро там все устроено! Уму непостижимо! А Григорий Павлович управляет аппаратом, точно волшебник какой. Вот что значит — голова!

— Наука,— поддакивали другие.

Когда Островзоров, обменяв книгу, уходил, начинали хвалить его еще больше:

— Вот это радист! Не то что прежний: урод какой-то был, черт сопатый. Задается, бывало, точно он в княгиню влюблен.

— Да по крайней мере посмотреть есть на что.

— И дело свое знает.

— А главное, человек хороший.

— Настоящий товарищ.

— Душа-парень.

Таня, слушая эти восторги, невольно и сама заражалась ими. Островзоров начинал ей казаться необыкновенным человеком. В то же время Бородкин в ее глазах постепенно снижался, тускнел. Этому помогали и матросы. В той же библиотеке, когда он однажды пришел за новой книгой, на него набросился Брыкалов:

— Ты мне, рыжий идол, прошлую ночь совсем не дал спать.

— Чем я тебе помешал? — покосившись на противника, спросил Бородкин.

— Храпел так, что весь кубрик содрогался.

Это было сказано при Тане, и у Бородкина задергались губы. Он промычал сдавленным голосом:

— Врешь, гнилой черт! Со мной этого никогда не бывает.

Против него выступили другие:

— Чем опровергать факты, ты лучше подумай хорошенько: как жена будет с тобой спать? Ты ее в гроб вгонишь своим храпом.

Плотник Хилков, ядовито ощерившись, заговорил:

— А какая женщина, с позволения сказать, пойдет замуж за такого идиота? С ним, бывало, по улице стыдно пройти: все извозчичьи кобылы от него отворачиваются.

Один машинист из-за спин других возразил:

— Зря ты, товарищ Хилков, так говоришь. На земном шаре хватит женщин. Какая-нибудь дура найдется и для него.

Кочегар Перекатов советовал:

— Ты, Бородкин, поменьше слушай этих лоботрясов. Я знаю хорошее средство для тебя. У нас в кочегарке есть так называемый банник. Это проволочная щетка такая. Мы ею чистим дымогарные трубы. Кто тебе помешает перед свадьбой пошваркать этой щеткой ноздри?

Раздался злорадствующий хохот.

Бородкина трясло всего от накипавшей злобы. Глаза его стали напряженными и жесткими. Если бы можно было, он разнес бы вдребезги весь кубрик со всеми его обитателями. Не дождавшись книги, он повернулся к двери и на ходу процедил сквозь зубы:

— Сволочи!

А в коридоре кубрика уже громко произнес отъявленную ругань.

На момент всем стало неловко. Хилков рассыпался мелким смехом. Кто-то сказал:

— Вот нахал! Позволяет себе так выражаться при барышне.

Таня, нагнувшись, сидела за столом и бесцельно перелистывала каталог. Опущенные ресницы ее стали мокрыми, пальцы дрожали. Тот, кого она ценила, кто был дорог и близок ее сердцу, не мог постоять за себя против грубых насмешек матросов и ответил на них лишь циничными словами. Разоблаченный и жалкий, он ушел, оставив в душе осадок горечи и разочарования.

XIII

В Архангельском порту простояли почти две недели. Нагрузились тяжелыми бревнами, предназначенными для Англии. Караван, как и в первый раз, высоко поднялся над палубой, обставленной по бортам стойками.

Сверху, посредине каравана, в сторону кормы и носа были протянуты леера и прикреплены к бревнам доски, чтобы можно было ходить по ним, не ломая ног. Несколько часов ушло на выполнение портовых формальностей, и «Октябрь» ревом возвестил окрестность о своем отплытии.

Низко нависли серые облака, моросил мелкий дождь. Таня, одетая в непромокаемый плащ, стояла на полуюте и смотрела по сторонам могучей Северной Двины. На десятки верст берега ее завалены лесом: бревнами, досками, тесом, брусьями. Дымили лесопильные заводы. Проходили мимо иностранных пароходов, пришвартованных к деревянным стенкам. По знакам на трубах и по флагам Таня научилась распознавать их национальность. Чем дальше шли, тем шире раздвигалась река, становилось пустыннее. Правый берег едва мерещился, подняв в моросящую высь зеленую щетину леса, а левый исчез совсем. Стало почему-то тоскливо. Хотелось скорее вернуться в свой порт, побывать у матери, а она осталась так далеко и, казалось, разлучилась с дочерью навеки.

В открытом море подул слабый ветер. Дождь усилился. Изредка встречались черные океанские пароходы или промысловые шкуны с поднятыми парусами.

Таня пошла проведать Василису. В маленькой одиночной каюте, приспособив доску на койке, прислуга гладила белье, шумно брызгая на него изо рта водою. Чувствовался особый запах полотна, прижженного утюгом. Буфетчица, усевшись на диван, обитый черной кожей, пожаловалась:

— Что-то сердце ноет.

— Не обращай на это внимания. Глупее женского сердца ничего нет, живи больше разумом.

Буфетчица рассказала, как за нею ухаживает Острозоров, но она почему-то боится его, несмотря на то, что он нравится ей.

Радист, зная, что прислуга дружит с буфетчицей, давно уже расположил пожилую женщину к себе своим вежливым обращением с нею. Он величал ее не иначе, как Василиса Игнатьевна, справлялся о ее здоровье. Правда, и другие мужчины заигрывали с нею, и она легко отдавалась им, но всегда в душе питала к ним не-

примиримую вражду. Только радиста выделяла из общей массы. Поэтому, выслушав Таню, она заговорила:

— Ну, что ж. Это неплохо, коли такой молодец ухаживает за тобой. Парень хоть куда — и лицом люб, и обходительный, и насчет разума не пойдет к соседу занимать. Такие удачливые редко бывают. Смотрю на него — точно красному солнышку брат.

Таня сразу повеселела, обрадовавшись, что нашла оправдание для своей любви в словах такой опытной женщины. Значит, не зря она увлекается им.

— Только смотри, девонька, будь построже с ним.

— В чем? — спросила Таня.

— Коли будет приставать насчет того... крепись. Я к тому это говорю — вперед в загс нужно сходить, а потом и в постель можно.

Таня стыдливо потупилась.

Василиса, кончив гладить, сложила белье в шкаф. Больше ей нечего было делать. Она села на диван рядом с Таней и опять заговорила:

— Ох, если бы мне вернуть молодость! Я бы нашла для себя совсем другую линию. Многому я научилась от жизни, да поздно. Я бы заставила мужчин уважать себя.

Она остановилась и чихнула три раза подряд.

— Сто тысяч вам на мелкие расходы,— посмеялась Таня.

— Спасибочко за доброе пожелание.

Василиса высморкалась в платок и продолжала:

— Посмотри на животных: да у них, ей-богу, в сто раз супружеская жизнь налажена лучше, чем у людей. Помню, как меня второй муж колотил, сколько измывался надо мною. А возьми, к примеру, собак. Да разве кобель позволит себе изобидеть сучку? Никогда! И в другом деле то же самое. На что уж глупая тварь — боров, а и тот честь знает: не полезет к свинье без поры, без времени. И вся скотина, и все звери, и все птицы знают правило. Только люди нет. А все почему? Развратил нас мужчина. Мы потеряли над ним всякую силу. А он пользуется этим и тиранит нас.

Две женщины долго беседовали о самых сокровенных делах.

Таня ушла от нее, обогащенная житейскими знаниями.

На второй день «Октябрь» проходил через горло Белого моря. Еще немного оставалось — и откроются воды Ледовитого океана. Здесь путь был полон опасностей. Наползали туманы. Пароход продолжал медленно двигаться на север, ежеминутно оглашая пространство ревом. Моряки знали, что здесь разбросаны «кошки», эти подводные каменные снаряды для кораблекрушений, и у всех лица были строги. Никто не смеялся, точно чувствовали присутствие покойников, нашедших себе могилу в этих водах. Изредка показывалось солнце, мутное, как сальное пятно на серой бумаге.

Капитан Абрикосов, не доверяя вахтенному штурману, все время находился на мостике. Он предпочитал борьбу с самой жестокой бурей, чем идти вслепую в тихом тумане: там честный и открытый бой, а здесь все основано на предательстве. Вот почему лицо его, нахмурившись, выражало досаду. Он часто сам заглядывал на компас и, подавшись вперед, сверлил привычными глазами серую мглу.

Усиливалась качка, несмотря на малый ветер. Это приближались к «сувою» — к двум встречным течениям, образующим толчею. «Октябрь» изменил курс, повернув на северо-запад. Мысленная линия, обозначающая Полярный круг, осталась позади. Туман понемногу начал редеть. Наступила прохладная сентябрьская ночь. Безоблачное небо расцвело золотым виноградом звезд. Ледовитый океан, заштилев, дремал в мертвом молчании. Верхнепалубные вахтенные стояли на посту в теплых куртках.

Наступили тихие и ясные дни. Таня, как только освобождалась от работы, выходила на полуют, чтобы полюбоваться диким севером.

С левой стороны виднелись первозданные массивы гор. Они были совершенно голые, безлюдные и уходили в голубую даль серыми очертаниями. Некоторые взметнули к небу тяжелые куполообразные вершины, другие сгрудились остроконечными скалами, точно там, на материке, когда-то бушевали гранитные волны и навсегда застыли в разнообразных формах. Иногда казалось, что на океан надвигались поколебленным фронтом великаны: одни из них храбро выступали вперед, обруши-

ваясь в пучину крутыми уступами, другие будто в испуге остановились, образуя в извилинах заливы, губы, бухты. В них кое-где скрывались становища смелых поморцев. Вдоль берега, дымя, шел паровой тральщик. Он казался таким маленьким, что его легко можно было принять за плывущего баклана.

А справа, уходя на север к таинственному полюсу, величественно раскинулся Ледовитый океан. Ни одной морщинки не было на нем. Сыто поблескивая, он лишь чуть-чуть вздыхал, молочно-голубой, такой мирный, внушающий полное доверие к себе. «Октябрь», сопровождаемый криком чаек и рыданиями гагарок, продолжал разворачивать арктические воды. Встречались стайки чистиков, так красиво ныряющих в прозрачные глубины за пищей. Изредка, недалеко от борта, всплывала белуга, блестя атласной белизной своего длинного туловища. Через секунду она скрывалась и появлялась с другой стороны судна. Вот впереди замерещились черные точки, похожие на жуков. А по мере того как приближались к ним, они увеличивались в размерах, удлинялись, превращаясь в елы, или карбасы поморцев, вышедших в океан на рыбные промыслы.

На мостике прохаживался кто-нибудь из вахтенных штурманов. Иногда к ним выходил капитан. А над ними, на крыше штурманской рубки, у главного компаса, всегда находился Норд. Это место для него стало излюбленным. С раздувшимися от еды боками, кипенно-белый, он сидел на задних лапах и с философским спокойствием созерцал картины и жизнь полярных вод. Казалось, что он представляет собой главное лицо на судне, а все остальные находятся у него в подчинении.

«Октябрь» забрал мористее. Берег уплывал, теряя четкость очертаний. Горы поголубели, стали похожими на далекие облака.

Буфетчицу теперь нередко можно было видеть вместе с Островзоровым. Она стала бывать у него в радиорубке. Иногда они выходили на полуют и, прогуливаясь, подолгу беседовали. О чем? Обо всем, что приходило в голову.

Другие, глядя на них, радовались:

— Дело на мази.

— Раз загорелись — никакой водой не зальешь.

В кают-компании, исключая капитана, все открыто намекали на их любовь. И это не вызывало протеста ни со стороны буфетчицы, ни со стороны радиста. Напротив, такие намеки нравились им обоим, приводя их в радостное опьянение.

Команда, в свою очередь, продолжала действовать, разоблачая Бородкина. Обыкновенно это делалось в присутствии Тани. Кто-нибудь из матросов обращался к нему с таким видом, точно хотел дать только добрый совет:

— Ты бы, браток, мази, что ли, купил от веснушек. А то лицо у тебя точно мухами засижено.

Стоило ему открыть рот в защиту, как на него начинали сыпаться нападки со всех сторон:

— Молчал бы уж, убогий!

— Не моряк, а недоразумение одно.

— Хоть бы человек был. А то так себе — плевок судьбы.

Таня невольно подпадала под влияние почти всего экипажа. Бородкин действительно начал казаться ей никчемным матросом. Тем сильнее производил на нее впечатление Островзоров, восхваляемый всеми. Крутолобый, с задумчивым взглядом серых глаз, с уверенной осанкой широкоплечей фигуры, он с каждым днем крепче врастал ей в душу, точно пускал незримые корни, и с каждым днем черты его характера становились все милее. А когда сидел за своим радиоаппаратом, казался интригующе-загадочным человеком. Даже собака у него была необыкновенная. Недаром матросы так подружились с Нордом, часто забавлялись с ним и хвалили на все лады:

— Ну, и пес у вас, Григорий Павлович!

— На охотника — за такого тысячу рублей не пожалеет.

Для Бородкина наступило тяжелое время. Он был влюблен в женщину, отвернувшуюся от него и готовую при первом же удобном случае броситься в объятия другого человека.

Это обстоятельство так пришибло его, что первое время он растерялся совсем и относился ко всему пассивно. У него оставалась слабая надежда, тонкая, как во-

лосок, что Таня еще образумится и опять вернется к нему. Он перестал с ней встречаться.

Дня через три был необыкновенно тихий вечер.

Буфетчица находилась на полуюте, усевшись на железный кнехт. Рядом сидел Норд, положив ей на колени голову. Она тихо гладила его, а он, жмурясь от удовольствия, стучал скрюченным хвостом о палубу в знак благодарности. За кормою, вращаясь, надежно работали лопасти гребного винта. Бурлящий шум воды привычно ласкал слух. Таня и Норд смотрели на северо-запад. Там, застилая горизонт, появились темно-синие облака. К ним медленно скатывалось солнце, распухая и пунцовея. Облака накалялись, разливаясь по небу огнем. Не было видно ни одного судна. Только «Октябрь» продолжал свой путь, держа курс на пожар. В воздухе, несмотря на тишину, чувствовалась напряженность. Все морские птицы с беспокойным криком улетали в сторону берега. Норд, настораживаясь, перестал бить хвостом и шире открыл глаза. По-видимому, его охватывала какая-то тревога.

На полуюте появился Бородкин под предлогом, что ему нужно проверить лаг. Уходя обратно, он покосился на Таню и Норда. Скулы его туго обтянулись кожей, как у человека, крепко стиснувшего зубы, а во взгляде белесых глаз было что-то тяжелое, давящее душу. На мгновение показалось, что он хочет подойти ближе и заговорить, но он поднялся на караван и пошел дальше, ни разу не оглянувшись.

Вдруг в стороне раздался вздох: у-у-ф-ф. Норд бросился к борту и, вздыбив шерсть, зарычал. Таня увидела черную голову с большими глазами, удивленно уставившимися на судно. Потом поднялось над поверхностью все черное лоснящееся туловище и, кувыркнувшись, сразу исчезло в глубине. Это был, как Таня после узнала, морской лев.

Вся водная пустыня впереди плавилась багрянцем.

С мостика капитан распорядился:

— Принайтовить все основательнее.

Боцман и несколько матросов ходили по каравану, оглядывая и ощупывая стальные тросы, которыми был скреплен палубный груз. Они проделывали работу молча, с озабоченными лицами, точно в ожидании борьбы

с сильным противником. Второй штурман, проходя в кают-компанию, увидел буфетчицу. Он наказал ей, чтобы вся посуда на ночь была убрана на место.

— А почему так, Поликарп Михайлович?

— Ночь будет пакостная.

Закат, угасая, истекал кровью. Ледовитый океан стал бордовым, как виноградное вино.

В штурманской рубке Глазунов, записывая в вахтенный журнал, отметил: «Закат был нехороший. Барометр падает. Ожидается шторм».

Потом посмотрел на карту. Если бы все было благополучно, утром должны бы обойти Нордкап, самую северную часть Норвегии. В душе почему-то стало тускло. Хотелось скорее быть по ту сторону Нордкапа, этого гранитного мыса, мрачно поднявшегося над арктическими водами, как нос носорога. А когда вышел на мостик, вся западная часть неба почернела, точно покрылась толстым слоем копоти, а восточная — мерцала звездами. Подул норд-вест.

«Октябрь» шел в полярную тьму.

XIV

Ночью Таня проснулась от сильных толчков. За бортом слышались глухие удары, хрипящие вздохи. Казалось, кто-то огромный, больше чем само судно, лезет с шумом на палубу и, срываясь, бухается в океан. Под кормой гудел гребной вал. Пароход, сотрясаясь, падал с борта на борт. Буфетчица попробовала еще раз заснуть, натянув на голову одеяло, и не могла: чем дальше, тем сильнее она каталась по койке. В каюте было темно, и мрачные мысли лезли в голову. Протянула руку к выключателю. При электрическом свете стало бодрее. Проворно одевшись, она выскочила из каюты. Ее бросило к одной переборке коридора, а потом к другой. Она ухватилась за поручни и начала подниматься по трапу. Но не успела высунуть голову наружу, как оглушило ревом, ударило в лицо ветром, обдало солеными брызгами. Нет, нужно было спуститься обратно. Войдя в кают-компанию, она уселась в капитанское кресло. Могучие взмахи взбудораженной бездны нагоняли страх. К этому прибавились муки морской болезни, создавая

самое отвратительное настроение. Все тело знобило, как в лихорадке.

В кают-компанию вошел Островзоров. Он был весь мокрый, чем-то страшно взволнованный.

— Норд не здесь, Татьяна Петровна?

— Нет. А что?

— Пропал. Все судно облазил. Нигде не нашел.

Таня, придерживаясь за край стола, испуганно смотрела на радиста.

— Вечером он со мной был на полуюте.

— Я его в полночь видел. А потом как-то забыл о нем. Либо волной смыло его, либо кто выбросил за борт.

Островзоров вдруг побагровел и, сжимая кулаки, добавил в ярости:

— Выбросить собаку мог только Бородкин! Если это подтвердится, я ему дурацкую башку оторву!

С последними словами он исчез из кают-компании.

Таня вспомнила, как вечером на полуюте Бородкин посмотрел на нее и собаку. Сомнений никаких не было: он виновник в этом деле. В воображении представлялось, как Норд, ничего не подозревая, доверился человеку и, попав в его руки, очутился за бортом. Это было жестоко, отвратительно, как всякое предательство. Бедный пес, наверное, плакал, взывал о помощи, а его трепали и били волны. Быть может, он мучился целый час, пока смерть не задушила его. Таня нервно вздрагивала. Казалось, на судне должно случиться что-то еще более страшное. Два сильных противника затаили друг против друга ненависть, слепую и яростную, как эта ночь. Быть может, на верхней палубе уже разыгралась кровавая драма. А может и другое быть. Обозленный насмешками матросов, потерявший рассудок от бешеной ревности, Бородкин явится сейчас сюда, схватит ее и потащит на полуют, чтобы швырнуть в волны Ледовитого океана. От таких мыслей морская болезнь исчезла. Осталась только непреоборимая, терзающая жуть. Таня смотрела на дверь, широко открыв глаза и прислушиваясь, не идет ли кто. Никого не было. Только волны шумели, сотрясая корпус судна.

Пошла к себе в каюту и заперлась на ключ. Ночь тянулась долго и нудно. Таня дергалась на койке, не смы-

кая глаз, испытывая неодолимую тоску о твердой земле, о покое. С недоумением оглядывала свою каюту, пустую, ставшую неуютной. В умывальнике хлопала дверка, и не хотелось встать, чтобы прикрыть ее.

В семь часов утра Таня была уже на ногах. Исполнительная и точная в своих обязанностях, она оделась в непромокаемый плащ и, захватив кофейник, отправилась к камбузу. Чтобы пройти через караван до половины корабля, нужно было совершить огромнейший подвиг. Бревна, сотрясаемые качкой, ерзали, скрипели стойки. Казалось, что вот-вот развалится весь груз, и она полетит за борт вместе с лесом. Дул норд, обдавая ледяным дыханием. Под сумрачным небом, спустившимся почти до мачт, вздымались могучие валы, развевая пенными гривами. Верхушки волн, сорванные ветром, неслись по воздуху горизонтально, словно охапка сена. И нельзя было понять, идет ли дождь или это брызги так больно хлещут в лицо. При этом беспокоила мысль, как обошлось дело между Бородкиным и Островзоровым.

В камбузе, встретившись с коком, она спросила:

— Ну, как, Петрович, на судне все благополучно?

Он ответил недовольно:

— Не совсем: Норд пропал. Это нам даром не пройдет.

— А что?

— Собачьи слезы скажутся. Чувствуете, что кругом творится? Через Бородкина мы хлебнем соленой водицы. Вот, мерзавец, что наделал. Его самого нужно за борт выбросить.

Таня с трудом добралась до кормы и была вся мокрая.

Лица из командного состава приходили в кают-компанию в одиночку. У всех был недовольный вид, суровые взгляды. Наскоро глотали из кружек горячий кофе, закусывали консервами. Разговаривали мало, с неохотой. Старший механик спросил у второго штурмана:

— Ну, как барометр?

— Падает.

— А где мы теперь находимся?

— Приблизительно против Нордкапа.

— А не думаете завернуть в какой-нибудь норвежский порт?

— Наоборот —уходим дальше. Держим курс на норд.

В такую погоду рискованно приближаться к скалистым берегам.

Пришел Островзоров и, не глядя ни на кого, буркнул:

— Здравствуйте.

К нему обратилась Таня:

— Не нашелся Норд?

— Нет,— угрюмо ответил радист и замолчал.

Таня заметила, что пропавший пес, по-видимому, нагонял на всех суеверный страх. Это не укладывалось в ее понятия. При чем тут пес, если буря разыгралась раньше, чем он исчез?

В этот день обеда не готовили. Тане надоело сидеть в кают-компании, и она перешла в каюту Василисы. Прислугу тошнило — она стонала, ругала самое себя, что отправилась в такой далекий рейс. Буфетчица, глядя на нее, тоже заражалась морской болезнью. У нее было такое отвратительное состояние, точно она объелась гнилой падалью. Она часто выходила из каюты. Около камбуза, согреваясь горячим чаем, толпились матросы, одетые в непромокаемые плащи и большие сапоги.

— Вот и вы, товарищ Таня, дождались настоящей бури,— сказал ей один из матросов.

— А надолго это будет? — спросила она.

— А шут ее знает. Скорее всего к вечеру утихнет.

Таня, измученная и жалкая, прислушивалась к тяжелым всплескам волн, к завыванию ветра, и ей казалось, что буря все усиливается. «Октябрь» делал неистовые взмахи. Чтобы устоять на ногах, нужно было придерживаться за что-нибудь руками.

С мостика иногда спускался вахтенный, дрожащий от стужи, с посиневшими губами. К нему обращались с вопросами:

— Ну, как у капитана — харьковская не перевернулась?

— Пока нет,— отвечал тот.

— Значит, еще повоюем.

Разговор не налаживался, шутки выходили фальшивыми.

«Октябрь» шел восьмиузловым ходом, поставленный носом к полюсу, против ветра. Большой палубный груз уменьшил его устойчивость. Поэтому изменить курс и

подставить ветру и волнам борт было рискованно: судно может перевернуться вверх килем, как перевертывается вверх брюхом дохлая рыба.

На передний караван лезли волны, проникая через промежутки бревен на середину судна. В бортовом проходе между машинным кожухом и каютами плескалась вода. Таня с завистью смотрела на мужские сапоги. Ноги ее, обутые в ботинки, окоченели от холодной воды. И сама она вся дрожала. Единственное место, где она могла согреться, было в машинном отделении. Она вместе с матросами сидела на решетках, крепко уцепившись за них руками. Здесь было чадно и душно. Сверху доносился шум бури, а внизу, издавая шипящие вздохи, работала машина. На вахте стоял старший механик, зорко следя за каждым движением стальных частей. Вдруг в машине раздался свисток. Старший механик бросился к переговорной трубке. Матросы и Таня вытянули с решеток шеи вниз, желая узнать, о чем будут говорить с мостика. Старший механик то прикладывал ухо к переговорной трубке, то сам что-то кричал в нее.

Оторвавшись от трубки, он крикнул машинисту:

— Вихров! Скажи кочегарам, чтобы пар все время держали до отказа, если хотят еще пожить на свете.

Сам он бросился к регулятору и увеличил ход.

Некоторое время спустя с мостика пришел на решетки рулевой Гинс. Головы всех повернулись к нему, впиваясь глазами в растерянное лицо.

— Что случилось наверху?

— Дела, братцы, скверные,— ответил Гинс глухим, словно простуженным, голосом.

— А что?

— «Октябрь» сносит назад. А за кормой скалы. Их увидали, когда на момент просветлел горизонт. И никто теперь не знает, где мы находимся...

Он замолчал, молчали и другие, пришибленные удручающей новостью. Поникли головы даже самых отчаянных моряков перед страшным вопросом: вдруг сдаст машина, или произойдет поломка в руле, или даже заест только штур-трос? Тогда «Октябрь», лишенный возможности защищаться от напора зыбей и ветра, с безумной быстротой понесется назад, в обратную сторону, чтобы разбиться о каменные выступы, как яичная

скорлупа. Все понимали, что находятся под угрозой гибели, и каждый замкнулся в себе, в своих неумолимо суровых думах.

Таня нигде не находила себе места: в машинном отделении было душно и жарко, в бортовых проходах обливало водой и пронизывало холодом. Но она все муки выносила терпеливо, никому не жалуясь. Мало того, долг службы был у нее на первом месте. Вечером она заварила кофе и понесла на мостик, чтобы угостить любимого капитана. Трап падал под нею, а потом с неудержимой быстротой летел вверх. Она держалась не за поручни, а за ступеньки, поднимаясь по ним, как маленький и беспомощный ребенок. Буря перешла в снежный ураган. По лицу хлестали брызги, жесткие, как голые прутья, глаза запорашивало снежной пылью. Нельзя было дышать, точно воздух превратился в упругое вещество. А когда поднялась на мостик, она мельком увидела впереди пропасть, вырытую ураганом. «Октябрь» нырнул в нее и зарылся носом в кипящую гору. Прошли две-три секунды, бесконечно долгие, пока он снова не очутился на вздувшемся холме. На мостике никого не было, кроме капитана, одетого в непромокаемый плащ с капюшоном. Держась за поручни, он стоял неподвижно, согнувшись, точно прилип к парусной полке, защищавшей от ветра. Таня стала рядом по левую сторону его и сказала:

— Капитан, я принесла вам кофе.

Абрикосов не пошевелился.

Потом он повернулся и устремил взор за корму, в мутно-серую даль, совершенно не замечая Тани.

Она дернула его за рукав и снова повторила свою фразу.

Он посмотрел на нее долгим удивленным взглядом, точно не понимая, в чем дело. И видно было по его мрачному и сосредоточенному лицу, что он занят чем-то другим, более важным, чем кофе. Потом он покачал головою, и под седыми мокрыми усами разомкнулись твердые губы, изобразив подобие улыбки. Он сам взял у нее кофейник, и они вместе с трудом вошли в штурманскую рубку. Находившийся там первый помощник сейчас же вышел на мостик. Таня, усевшись на диван, наблюдала за капитаном. Он торопливо пил кофе из

кружки, обжигаясь, как пассажир на вокзале. Лицо у него было сизо-красное, утомленное, веки вспухли, точно по ним хлестали веником. Воспаленными глазами косился на барометр, не предвещавший ничего утешительного. В качающейся рубке с мокрой палубой, несмотря на электрический свет, было безотрадно, как в чужом, давно заброшенном помещении. Снаружи ревел ураган и барабанил по крыше брызгами, нагоняя тоску.

— Ну, спасибо, родная, за кофе. Пусть теперь штурман погреется.

Уходя, он пожаловался ей:

— Вот какова наша служба!

Тане до слез стало жалко старика. Хотелось броситься к нему, расцеловать его, как родного отца или как человека, спасающего от гибели судно и людей.

Потом пил кофе первый штурман.

Когда она вышла вместе с ним из рубки, по трапу в это время поднимался Бородкин. Увидав Таню, он остановился в недоумении, глядя на нее исподлобья. Сквозь снежную пыль обрисовывалось искаженное лицо. На него обрушился штурман, заорав:

— Вон отсюда! Чтобы вашим духом не пахло здесь!

— Почему? — упрямо спросил Бородкин.

— Где Норд?

— А я почем знаю? Я не сторож вашей собаки.

Он повернулся и, спустившись по трапу, скрылся под рострами.

Таня побоялась идти вниз и осталась на мостике, держась за поручни. В рулевой рубке увидела двух матросов — Гинса и Брыкалова. Это были лучшие рулевые изо всей верхнепалубной команды. Никто не мог так правильно держать корабль на заданном курсе, как они. У руля они стояли только вдвоем, сменяя друг друга.

Смеркалось. Таня, как и штурман, прильнула лицом к защищавшей от ветра парусиновой полке и, прикрыв ресницами глаза, начала смотреть вперед. Ураган достиг страшной силы. Кружились вихри, обдавая брызгами и осыпая снежной пылью. Лицо обжигало холодом. Казалось, что не «Октябрь» мотается, проваливаясь в пучины и стремительно взлетая вверх, а опрокидывается весь Ледовитый океан и черные тучи. И впереди и по

сторонам громоздились огромнейшие пласты воды. На караван, расшатывая найтовы, с грохотом обрушивались волны. Плоскость мостика валилась набок настолько, что Тане приходилось почти висеть на руках. Она не понимала, подвигается ли судно вперед или нет. Чувствовала только дрожь его.

В промежутки небольшого затишья на мостик поднимались матросы, чтобы взглянуть, не опрокинулась ли «харьковская» у капитана. Абрикосов не обращал на них внимания, впиваясь взором вперед. Иногда он оглядывался назад, твердокаменный, с непроницаемым лицом. Матросы тогда уходили обратно успокоенными.

Порывы урагана становились все бешенее. Трудно было разобраться в этой кутерьме. Казалось, вселенная сошла с ума и закружилась в дикой пляске. Заунывный визг в снастях, вой в вентиляторах, свист и стон в дырах каравана, в промежутках бревен, треск и скрипение железного корпуса, захлебывающиеся удары зыбей, рыкающие вздохи бездны — все это сливалось в один аккорд зловещих звуков. При этом ни на одну минуту не покидала жуткая мысль, что там, за кормою, в мутноклубящейся дали, мрачно вздыбились к небу гранитные скалы. На каком расстоянии они находятся? Уходит ли от них «Октябрь», работающий изо всей мочи железными плавниками? Или, наоборот, его сносит назад? Об этом никто ничего не знал. Каменный берег с крутыми обрывами, с острыми выступами перестал быть желанным, ибо он таил в себе гибель и смерть. Хотелось быть дальше от него.

Таня, продрогнув, решила спуститься вниз. Но вдруг замерла, почувствовала, что «Октябрь» куда-то проваливается. Впереди, бурля пеной, развевая космами, поднялся чудовищный вал. Словно сплав чугуна, он обрушился всей тяжестью на переднюю часть судна. Весь носовой караван оказался под водою. Это была мертвая хватка со стороны урагана. Пароход повалился набок, как оглушенное насмерть животное. Казалось, никогда ему больше не подняться. Прошла мучительная секунда, а может быть, больше, и, как ружейные выстрелы, затрещали, обрываясь, стальные тросы цепи, скреплявшие палубный груз, ломались стойки у фальшбортов. С грохотом разваливался караван, усеивая бревна-

ми арктические воды. Даже у привычных моряков похолодело сердце. В следующий момент «Октябрь» высоко взметнул облегченный от груза нос. Одно бревно, поднявшись, ударило концом по мостику. Рядом с Таней, на расстоянии одного аршина от нее, хрястнули поручни. Словно от взрыва снаряда, ее отбросило на ростры, ударило о спасательную шлюпку. Она онемела от боли и, ошарашенная событиями, на мгновение потеряла представление об опасности. Но тут же почуяла весь ужас своего положения. Медленно поползла на мостик, хватаясь за мокрую настилку и ломая ногти. Поднявшись на ноги, она ухватилась озябшими руками за поручни.

Темнел завьюженный простор, словно наливался черным соком. Внизу слышались удары и звон стекла. Это оставшиеся бревна, поднимаемые волнами, таранили палубные надстройки.

Капитан что-то кричал в ухо первому штурману, а потом штурман что-то отвечал капитану.

Шум урагана прорезали человеческие голоса. Откуда они неслись? Что случилось? Первый штурман бросился на ростры, но скоро вернулся. От него узнали о новом бедствии. Оказалось, что оба бортовых прохода, отделяющие каюты от машинного кожуха, забиты бревнами. Последние упирались в задний караван, и от них, вследствие дифферента на корму, нельзя было избавиться. Каютные двери, открывавшиеся наружу, оказались заваленными, а люди, находившиеся в этих помещениях, очутились в западне. Сообщение между мостиком и остальным экипажем прекратилось.

В довершение всего корма судна осела, а нос, освободившись от груза, поднялся вверх, и его сильнее стало парусить ветром. «Октябрь» перестал слушаться руля. Он как бы отчаялся, потерял веру в свою мощь, в свои надорванные силы и, погруженный в слепой бушующий мрак, проявлял намерение повернуться в обратную сторону, чтобы вдребезги разбиться о каменные выступы. И только железная воля капитана и ловкость таких славных рулевых, как Брыкалов и Гинс, заставляли корабль держаться против невероятного натиска ветра и волн. Но так продолжаться долго не могло: «Октябрь» находился в невыгодном положении. Нужно об-

легчить корму, устранить дифферент и освободить пленников из кают.

К счастью, многие из матросов находились в машинном отделении.

Капитан Абрикосов по переговорной трубке крикнул вниз:

— Выслать наверх всех матросов, не занятых вахтой.

Второй механик ему ответил:

— Двери машинного кожуха завалены. Выйти нельзя.

— Пусть выбираются через световой люк, но они должны быть здесь.

Первым явился на мостик боцман, потом плотник Хилков, латыш Ян и другие. Они придерживались руками за что только возможно, угрюмые и молчаливые.

Капитан распорядился:

— Отдать найтовы кормового каравана.

Никто ничего ему не ответил. Во главе с первым штурманом люди с мрачной решимостью двинулись по рострам к корме, освещая себе путь карманными электрическими фонариками. Предстояла труднейшая задача — разваливать караван и самим находиться на нем в то время, когда кругом бушует тьма, когда океан лезет на судно, раскачивая его из стороны в сторону,— это все равно, что поджечь под собой бочку с порохом. Но об отступлении не могло быть и речи — это тоже было бы равносильно самоубийству. Решили действовать при помощи снастей. Их нужно было протянуть к тросам, скрепляющим груз, и приспособить таким образом, чтобы потом можно было сделать отдачу найтовам издалека, не сходя с ростр. За это дело взялось несколько человек: боцман, плотник и еще один матрос. Обвязав себя концами, они ползали по каравану с ловкостью обезьян, работая в потоках холодной воды.

Таня продолжала стоять на мостике, крепко держась за поручни. Мрак сгустился настолько, что ничего нельзя было разобрать, точно попали в безграничную пещеру. Снег прекратился, но ураган нисколько не ослабевал. Волны поливали не только палубу, но и мостик. В них вспыхивали медузы синим светом, как блуждающие луны. Иногда казалось, что на судно лезет сказочное чудовище, оглушая ревом и сверкая огненными

глазами. Все это превышало всякое представление об урагане. Замерзая и щелкая зубами, Таня думала о моряках: более грубой и мстительной жестокости, какая выпала на их долю, трудно было придумать, а они работали, они не могли не работать, защищая родной корабль.

Абрикосов увидел буфетчицу, взял ее за руку и, балансируя, повел в рубку.

На корме загромыхали бревна разваливающегося каравана.

Не было покоя и в штурманской рубке: бросало из стороны в сторону. Тогда Таня вклинилась между столиком и стенкой. Здесь можно было сидеть, не ерзая и не падая.

Несколько человек притащили латыша Яна, обвязанного концом снасти. Он странно блуждал глазами и плевался кровью. Его уложили на койку.

Дальнейшее представлялось как во сне: попеременно видела то капитана, то первого штурмана. Потом явился третий штурман, заявивший с напускным ухарством:

— Точно из тюрьмы вырвался.

Наконец капитану доложили:

— Палуба очищена вся.

— Хорошо,— ответил капитан.

Утром Таня, поддерживаемая Гинсом, спустилась в каюту прислуги. Василиса валялась на койке, над краем которой возвышался барьер.

— Ой, Татьянушка, умираю. Что было тут! Господи...

Таня легла вместе с нею. В койке было тесно, и это не позволяло им кататься. Обе женщины, обнявшись, решили умереть вместе.

Через коридор, шипя, проносились буруны. Сквозь дверные щели в каюту просачивалась вода. «Октябрь» делал какие-то безумные взлеты и падал, пришибленный, вдавленный в ревущий океан.

Таня забывалась на короткое время и снова открывала глаза. Точно в бреду слышала, как молилась прислуга:

— Святая Мария Магдалина. Сама ты была блудница. Ты знаешь, как трудно жить без греха. Ходатайствуй перед святым престолом за рабу Василису...

А когда забирала морская болезнь, давно уже опустошившая ее желудок, она отплевывалась желчью и ругалась самыми скверными словами.

Вдруг почувствовали, что судно проваливается.

Обе женщины одновременно приподнялись и, судорожно задержав дыхание, раскрыли рты, точно хотели что-то крикнуть.

Это был момент, когда «Октябрь» сделал поворот, чтобы лечь на новый курс. Маневр был чрезвычайно рискованный. Пароход качнулся больше, чем мог показать кренометр, и по мостик ушел в кипящую пену. С неумолимой беспощадностью смерть висела над людьми, пока выбирались на поверхность.

Спустя некоторое время «Октябрь» шел уже в юго-западном направлении, огибая норвежские берега. Еще целых полсуток его терзали волны. А потом сразу наступил покой, и загремел якорный канат, даруя измученным морякам жизнь и отдых.

XV

Два дня «Октябрь» отстаивался в норвежском порту. Иностранные рабочие строили на нем новые трапы вместо сломанных, вставляли иллюминаторы, исправляли поручни на мостике. Запаслись пресной водой. Пополнили бункерные ямы углем.

Капитан Абрикосов, не смыкавший глаз во время бури, казалось, состарился на несколько лет. Глаза у него провалились, лицо приняло землистый оттенок. Он спал подряд двадцать часов, предоставив на судне распоряжаться своим помощникам. Он вставал только для того, чтобы поесть, попить, и опять ложился на койку.

Остальные из экипажа были моложе, а потому скорее восстановили свои потраченные силы. Дорвавшись до берега, они кутили, охваченные буйным разгулом. Таня, сама испытавшая ледяное дыхание смерти, понимала теперь моряков лучше, чем раньше, и не осуждала их. Они были грубы, как буря, они были веселы и расточительны в ласках, как море в солнечный день.

И сама Таня постепенно изменялась, заражаясь удалью мужчин и чувствуя в душе новые наслоения, оставляемые морской жизнью.

На третий день «Октябрь» вышел в море. Стрелка барометра стояла на дуге, показывающей ясную погоду. Воды заштилели. За кормой разгоралась янтарная заря. Из-за гор поднималось солнце, создавая чудесную зрительную поэму. Лица моряков по-детски просветлели, улыбались кротко и наивно.

После обеда Максим Бородкин явился в каюту к Тане. Он, как и раньше бывало, выбрился и приоделся. Но лицо его выражало мрачное настроение.

— Здравствуйте, Татьяна Петровна! — сказал он, остановившись у порога.

Таня насторожилась.

— Здравствуйте. Что скажете?

— Поговорить пришел.

Она посмотрела ему в глаза и спросила:

— Это вы выбросили Норда за борт?

Он замялся, а потом, решив подействовать на нее страхом, признался:

— Да, я. Я еще не то сделаю, если это будет продолжаться.

Она не пошевелилась и только порывисто дышала, жестко глядя на веснушчатое лицо.

— Хорошо. Больше вы ко мне не приходите. И все разговоры между нами кончены.

Бородкин, когда шел к ней, на что-то еще надеялся, а теперь, услышав холодный голос, отказывающий ему навсегда, почувствовал, что все пропало. В первый момент он посмотрел на нее умоляющим взглядом, словно просил пощады, а потом белесые глаза его будто помертвели, приняв ртутный отблеск. Он задвигал челюстями, собираясь сказать что-то значительное, но произнес одно только слово, произнес глухо, как пещерный житель:

— Ладно!

Оставшись одна, Таня одновременно переживала два чувства: боязни и облегчения. Пугало то, что Бородкин решился на что-то страшное. С другой стороны, она обрадовалась, что он признался в своем преступлении. Он давно уже надоел ей и опротивел, но она считала его спасителем своей жизни и не могла оборвать с ним знакомства. А теперь нашелся для этого основательный предлог. Разве может она питать любовь к чело-

веку, с такой жестокостью погубившему невинную собаку?

И еще сильнее, еще неудержимее почувствовала влечение к радисту. Никакой страх, никакие угрозы не могли остановить ее. Сердце, встретившее в своей жизни двадцать две весны, теперь билось только для Островзорова. Каждая кровинка в ней играла и, казалось, звучала песней.

«Октябрь» подвигался на юго-запад. С каждым днем становилось теплее. Небо плескалось ласковой синью, а море лучилось, обведенное широким кругом горизонта. Всюду разливалась тишина и покой. Трудно было себе представить, что опять когда-нибудь поднимется буря и опять будет жестоко трепать людей. В прищуренных глазах моряков отражалась радость, торжество за жизнь, сияющую голубым простором.

Таня все свободное время проводила в радиорубке.

Тридцать с лишком пар глаз следили за нею и за Островзоровым. Каждый, засматривая ему и ей в лицо, старался определить, насколько между ними произошло сближение. Об этом теперь шел разговор в кубрике, в кочегарке, в кают-компании. Люди волновались, переживали острое любопытство, точно каждый из них сам был влюблен. Одни уверяли, что дело можно считать законченным, что буфетчица уже принадлежит радисту, другие возражали:

— Вот когда она останется ночевать у него или он у нее, тогда — да.

— Хоть и ловок парень он, радист-то, но и она с характером. Крепкая женщина.

Перед Островзоровым все заискивали, готовы были носить его на руках, только бы выручил их. При нем восторгались Таней:

— Ну и буфетчица у нас! Не женщина, а вишня.

— За такую не пожалел бы своей буйной головушки!

— Правильно! — с азартом восклицал плотник Хилков и, не глядя на радиста, начинал рассказывать товарищам:— Мы, братцы, не умеем ценить красоту. А если понять ее по-настоящему, это великое счастье. Я вам сейчас поясню. Возьмем примерно какую-нибудь американскую миллиардершу. Денег у нее, что песку на морском дне,— всю жизнь будешь считать и не пересчи-

таешь. А с виду она — сидеть бы ей с такой рожей под рогожей и конфеты сосать, а на свет божий лучше и не показываться. И вот, скажем, взять нашу Татьяну Петровну и показать этой уродливой великомученице. А потом спросить: хочешь, мол, обменяться красотой? Сколько дашь в придачу? Да она, американка-то эта самая, ей-богу, половину своего состояния не пожалела бы. И не задумалась бы. Чувствуете, братцы, чем это пахнет? Значит, как по-нынешнему сказать, природа отвалила нашей Татьяне Петровне капитал в пятьсот миллионов рублей. Шутка, а?

— Ну и Артамоша! Ловко балансы свел! — отзывались матросы.

Радист, слушая такие разговоры, счастливо улыбался.

К буфетчице тоже относились как нельзя лучше. С нею шутили, смеялись, величали ее по имени и отчеству. Для нее готовы были сделать что угодно, только бы не подвела их. Почти весь экипаж хотел того, чтобы она сошлась с радистом. Тридцать с лишком человеческих воль, не переставая, действовали на одну ее волю изо дня в день, проявляя в деле внушения изумительную изобретательность. И одинокая личность, молодая, еще не окрепшая, не имеющая житейского опыта, невольно растворялась в массе, заражалась желаниями большинства, катилась по пути, указанному ей другими.

«Октябрь» вступил в воды Немецкого моря.

Когда потухла заря, буфетчица пришла в радиорубку. Островзоров лежал на диване с слуховыми трубками. При появлении ее он вскочил и, улыбнувшись, заговорил:

— Вот хорошо, что вы пришли, Татьяна Петровна. Сейчас в Ньюкастле идет спектакль специально для судов, находящихся в море. Хотите послушать?

— С удовольствием,— засмеялась Таня.

Он надел ей на голову вторую пару слуховых трубок, посадил ее на диван и сам сел рядом. Скоро она услышала человеческий голос, говоривший что-то по-английски. Островзоров перевел ей:

— Сейчас будет петь под аккомпанемент рояля артистка мисс Крейтон.

Полилась мелодичная музыка, а несколько секунд спустя в нее вплелся женский голос. Таня слушала с трепетным волнением. Казалось, что звуки несутся не с берега, не за сотни миль, а кружатся и вьются в воздухе рядом, над крышей рубки. Мотив был печальный. Представлялось, что это не женщина, а чайка поет, летая над судном; поет и рыдает, оплакивая жизнь погибшего друга. Когда смолкла песня, раздались аплодисменты. Таня, возбужденная и сияющая, тоже похлопала в ладоши.

Потом были другие номера: веселые песни, комические сценки, струнный оркестр. Наконец запел баритон. Островзоров взялся переводить ей, но фантазировал свое:

— С тех пор, как встретился с тобою, мое сердце не знает покоя. Мое счастье в тебе. Ты для меня дороже жизни. Приди ко мне, моя желанная...

Таня сама не заметила, как прижалась к радисту. Приятно было слушать и баритон, распевающий где-то на берегу, и звуки рояля, опьяняющие голову, и слова своего друга, ласкающие сердце. Рука его легла на ее талию — она не протестовала против этого. От близости любимого мужчины синей далью пламенела душа. Золотистые глаза ее стали знойными. Радист, заглянув в них, понял все. Он знал, что женское сердце, словно море, имеет свои приливы и отливы. Таня как раз переживала прилив чувств. Он понял это и погасил электрическую лампочку.

А в это время недалеко от радиорубки стоял на рострах вахтенный матрос латыш Ян, успевший оправиться от ушиба. Он привалился грудью к спасательной шлюпке и, покуривая трубку, устремил взор в небосклон, усеянный яркими звездами. Ночь была тихая, с бодрящей прохладой. Хорошо было стоять здесь и думать о том, как он опять встретится в Англии с мисс Рейл, если только она не вышла замуж. Вдруг со стороны рубки, обрывая его мечты, донесся женский стон. Он обернулся, подошел ближе к дверям рубки, прислушался. А когда удалился, удивлению его не было границ. Зашептал тихо:

— Вот тебе раз... А мы-то, головотяпы, думали, что она с Бородкиным того...

На второй день каждому мужчине обязательно хотелось взглянуть на Таню. Для этого изобретались всевозможные предлоги. Она ходила бледная, стыдливо опустив ресницы. Сомнений ни у кого не было. Все обрадовались, все были довольны. В то же время к радисту, переживавшему торжество самца, как-то сразу охладели, а некоторые косились на него враждебно.

Над Бородкиным перестали смеяться. Он был мрачен, налился весь мутью. Все догадывались, что он дошел до той грани, когда человек не отдает себе отчета в своих поступках. От него всего можно было ожидать.

Хуже стало, когда один матрос, тараща глаза, таинственно сообщил о нем:

— При мне достал из сундучка финский нож. Попробовал на палец лезвие и в карман положил. Зарежет, дьявол!

— Кого? — спросили другие.

— Скорее всего радиста.

— Как бы и еще кого не пырнул.

Матросы испуганно переглянулись.

— От него станется. Дурак ведь. Выкинул Норда. За что, спрашивается, собаку погубил? Спишь ты и ничего не думаешь. А он тебе ножом в ребра...

Весть об этом перекинулась и в кают-компанию. Там тоже начали высказывать опасения.

Над судном нависла тревога. Все насторожились, ожидая кровавой развязки. Многие раскаивались в том, что затеяли эту опасную игру. Некоторые проклинали женщин: из-за них все бедствия на земле, а еще больше — в море. Беспокойство росло, нервировало всех.

Бородкин все больше и больше приковывал внимание к себе. Он ни с кем не разговаривал, погруженный в свои одинокие думы. Иногда веснушчатое лицо его становилось мрачно-торжественным, а провалившиеся белесые глаза, словно радуясь черным мыслям своей души, загорались зловещим блеском. В такие мгновения он был страшен.

В кубрике кочегары свою половину запирали на ночь на крючок, а во второй половине, где находились верхнепалубные матросы и сам Бородкин, никто не мог как сле-

дует спать. Тогда, посоветовавшись между собою, решили устроить тайное дежурство. Тот, чья наступала очередь, брал книгу и просиживал с нею за столом всю ночь.

Тут же, не раздеваясь, лежал на койке и Бородкин. Глаза у него постоянно были открыты. Когда он спал? Окутанный непроницаемым мраком молчания, он только на время забывался в полудреме и тогда стонал или скрежетал зубами, наводя ужас на дежурного.

Когда бросили якорь в английском порту, на судне стало легче жить. Бородкин все время проводил на берегу, пьянствовал с продажными женщинами. За него охотно несли вахту другие, говоря:

— Пусть погуляет. Может, очухается парень.

Пока «Октябрь» нагружался углем, для Тани наступили самые счастливые дни. Она теперь отправлялась в город только с радистом. Ни одного вечера они не пропустили, чтобы не посетить мюзик-холл.

Возвращалась она на судно ликующая.

XVI

«Октябрь» возвращался к себе на родину, широко раскинувшуюся за двумя морями. Днем пришлось пробиваться через муть рассвирепевшей погоды. Налетая, рвал сизокрылый шквал, били гребнистые волны, поднимаясь выше бортов. На палубу вкатывалось невероятное количество воды, и весь корпус содрогался, когда над судном, словно горные реки, проносились буруны. А к вечеру в воздухе разлилась тишина. Небо загустело тучами, расползающимися, как тесто. Наступила ночь, накрыла море непроницаемым мраком, словно огромнейшей звериной шкурой. Пароход отмерял морские мили, плавно раскачиваемый мертвой зыбью. Было тихо, и только за бортами, словно в бреду, тяжело ворочались бездны, издавая глухой рокот. Вахтенные на мостике, напрягая зрение, вглядывались вперед. Тьма, всегда скрывающая в себе что-то внезапное, заставляла их настораживаться. Навстречу замерцали два топовых фонаря неведомого судна, а потом всплыл красный огонь. Это означало, что пароходы расходились левыми бортами. Скоро огни скрылись за кормою.

В рулевой рубке, у штурвала, стоял матрос. Кругом было темно. Только у компаса, прикрытого картонным

колпаком с небольшим отверстием для наблюдения, горела электрическая лампочка. Рулевой напряженно согнулся, упер глаза в медный котелок, в картушку, разбитую на румбы и градусы. Это был Максим Бородкин. Он старался думать о служебных обязанностях, а мозг рождал безнадежные мысли. Таня изменила ему, бросила навсегда. И все это наделал радист Островзоров, вклинившийся в их любовь. С поразительной ясностью представлялось, что она опять, как и в прошлые ночи, сидит в радиорубке и милуется с новым другом. Бородкин дрожал. Сердце накалялось. Перед глазами, налившимися кровью, рябило, значки и цифры на компасе расползались, как черные букашки. Он крепче стискивал ручки штурвала, точно душил своего соперника. Хотелось сейчас же, сию минуту, сбежать на палубу, схватить лом и, трахнув им по двери, циклоном ворваться в радиорубку.

— Вы куда держите курс? — раздался суровый голос над ухом.

Бородкин дернулся, бросил взгляд в сторону. Рядом, качаясь в темноте, выросла широкоплечая фигура первого штурмана, только что кончившего в соседней рубке записывать вахтенный журнал и пришедшего взглянуть на компас.

Послышался раздраженный крик:

— Вам, товарищ Бородкин, приказано было держать курс зюйд-ост пятьдесят семь, а вы самовольно повернули судно почти в обратную сторону! Понимаете ли вы, какому риску подвергаете пароход и весь экипаж? Это преступление! Я рапорт напишу! Вы под суд пойдете!

На баке загудел колокол. Бородкин, не слушая дальнейших слов штурмана, начал почему-то отсчитывать в уме удары склянок. С трудом сообразил, что до полночи остается еще час. Почему же его сменили с вахты раньше времени? К рулю был поставлен матрос Гинс, вызванный наверх вместе с боцманом и профуполномоченным. Штурман никак не мог успокоиться и все продолжал кричать:

— А если бы тут поблизости были скалы или подводные рифы, что могло бы получиться?

К Бородкину сухо обратился профуполномоченный:

— На каком основании вы самовольно изменили курс корабля?

Виновник провел ладонью по лицу, покрывшемуся холодным и липким потом.

— Я не менял. Это так вышло.

С мостика он спускался тихо и осторожно, точно боялся оступиться.

Боцман пояснил о нем:

— Парень в большое расстройство пришел. Может много бед натворить. На судне кровью пахнет.

В радиорубке было светло. За столом, перед блестящими аппаратами, сидел радист Островзоров. На его лице, крутолобом, с коротко подстриженными усами, была уверенность в знании своего дела. Он ловил электромагнитные волны, доносившиеся до «Октября» за сотни и тысячи миль. Из массы разных сообщений, пронизывающих морские просторы, сознание отсеивало то нужное, что необходимо занести в вахтенный журнал. Тогда голова радиста, перехваченная ремнем под нижнюю челюсть, с слуховой трубкой над каждым ухом, склонялась перед раскрытой книгой.

Вдруг Островзоров насторожился. В тревоге расширились глаза, застыли, словно увидели перед собою что-то кошмарное. Левая рука, вздрагивая, быстро начала передвигать регулятор. И сразу три отчетливые буквы, словно вылитые из сверкающего металла, остро врезались в мозг: SOS. Смысл их настолько был страшен, что у него похолодел затылок, точно он прикоснулся к куску льда. Какой-то корабль, затерянный в беспредельности моря и мрака, переживал трагедию и взывал о помощи.

В рубку вошла буфетчица Таня. На щеках ее играл румянец молодости, золотистые глаза излучали радость. Она бойко заговорила, улыбаясь:

— Ну, и темно на палубе! Точно мы по морскому дну идем! Я даже боялась идти к тебе. А ты, дорогой, все на работе?

Она положила ему руку на плечо и хотела поцеловать.

Он грубо оттолкнул ее. За все время знакомства с ним впервые прозвучал его голос так холодно:

— Отойди!

Таня в испуге отступила от него. Руки взметнулись к вискам. На глазах навернулись слезы обиды.

— Гриша, что с тобой?

С тревогой ждала ответа, готовая рухнуть на качающуюся палубу. А он молчал, чужой и непонятный. Карандаш прыгал в его руке, занося что-то на бланке. Для Островзорова в этот момент не существовало больше Тани. Другое входило в голову, переворачивая мозг. Все радиостанции молчали, прислушивались к одной, кричавшей о погибающем корабле. Это оказалось английское наливное судно «Строллер». Последний держал курс к своим берегам, имея в трюмах горючий груз — полмиллиона пудов нефти. Произошел пожар. Принимают все меры потушить его. Но положение создалось отчаянное. И снова, сообщив, под какой широтой и долготой обрушилось на людей бедствие, начали повторять то же самое.

Островзоров, оторвавшись от стола, вскочил.

— Английское судно гибнет!

Таня вздрогнула.

— Как гибнет?

Она выскочила из радиорубки вслед за радистом, побежавшим на мостик.

Вскоре в темноте послышался громкий голос первого штурмана:

— Вахтенный! Немедленно попросите на мостик капитана! Вызвать на палубу всех, кто не занят вахтой.

Через несколько минут весь экипаж был на ногах.

В рубке первый штурман с циркулем в руках определял расстояние. Потом повернул голову к капитану.

— До «Строллера» семь-восемь миль. Это, вероятно, то самое судно, которое недавно встретилось с нами.

— Хорошо,— спокойно ответил капитан Абрикосов.— Мы, значит, придем к нему на помощь скорее других.

Он нахмурил брови и почему-то часто одергивал темно-синюю тужурку.

«Октябрь», переваливаясь с борта на борт, уверенно резал мертвую зыбь. Исключая тех, что были заняты в машинном отделении и кочегарке, все люди находились на мостике и на рострах. Стояли молча, охваченные то-

скливым ожиданием. Глаза напрасно ощупывали тьму — она была непроницаема, как черный бархат. Кто-то сказал:

— Темно, как в брюхе акулы.

И вдруг разом крикнуло несколько человек:

— Вон! Смотрите! Смотрите!

Впереди показалось небольшое зарево. Оно постепенно росло, ширилось, раздирало мрак. Качаясь, рыжим столбом подымался дым. Вершина его, расползаясь, обрастала вьющимися клубами. Скоро обозначился и силуэт судна. Вокруг него, словно прозрачные крылья исполинских стрекоз, трепетали тени.

Капитан Абрикосов, приткнувшись к переговорной трубке, крикнул в машину:

— Увеличьте число оборотов до отказа!

«Октябрь» торопился на выручку англичан. Люди с него смотрели вперед, вытянув шеи, застыв на месте. В воображении громоздился ужас. Ночной воздух будто стал холоднее, проникал в тело зябкой дрожью.

Капитан Абрикосов продолжал распоряжаться:

— Приготовить шланги!

Несколько человек ринулось с мостика вниз, стуча каблуками по ступенькам трапа.

Потом обратился ко второму штурману:

— Поликарп Михайлович! Узнайте, в порядке ли помпы. Затем поручаю вам следить за работой пожарных матросов.

Островзоров опять сидел за аппаратом, выслушивая мольбы погибающих. Между мостиком и радиорубкой бегал третий штурман в качестве передатчика. Капитану все время докладывалось, в каком положении находится «Строллер». Последнее сообщение гласило, что пожар не удалось потушить. «Скоро загорится нефть. Спускаем шлюпки. До свидания, а может быть — прощайте навсегда. Радист Баркер».

На этом сообщение со «Строллером» оборвалось.

Скоро увидели на нем огненные языки. Они показались на средине палубы и, кривляясь, начали расползаться по всему судну. Пламя поднималось все выше, превращая ночь в предрассветный день. Мертвая зыбь, красновато поблескивая, ожила, заиграла огненными отражениями.

— Эх, опоздали мы! — вздохнул кто-то из матросов.

— Теперь не спасти,— добавил другой.

Около борта «Строллера» заметили спасательную шлюпку. В нее спускались по концу последние два человека.

— Какого же черта они медлят! — проворчал первый штурман.

Капитан Абрикосов стоял на мостике, привалившись грудью на поручни. Через стекла длинного бинокля он наблюдал за спасательной шлюпкой. Багрянец играл на его седоусом лице. Он басисто крикнул:

— Шторм-трап спустить!

— Есть! — ответили с палубы.

Спасательная шлюпка отвалила от борта «Строллера». Матросы, по-видимому, торопились, наваливаясь на весла изо всех сил, но казалось, что она уходит от своего судна чрезвычайно медленно. Раскачиваемая зыбью, она была похожа на белое десятиногое насекомое, тихо ползущее по песчаным дюнам. В это время увидели вторую шлюпку, находившуюся по другую сторону пылающего судна. Она уходила вдаль, не замечая приближения помощи.

«Октябрь» повернулся наперерез первой шлюпке. Расстояние между ними быстро уменьшалось.

— Приготовьте конец! — распорядился первый штурман.

Пламя на «Строллере» увеличивалось. Казалось, он обрастал огненной гривой и сейчас, как сказочное чудовище, понесется по морю, разбрасывая золотые искры. Над ним, шатаясь, повис огромнейший опрокинутый конус из темно-бурого дыма. Пылающее судно покачивалось, и две его мачты, как два указательных пальца великана, лениво грозили небу.

Под рукой Абрикосова металлом простонал машинный телеграф, передвинув стрелку на «стоп». Спасательная шлюпка была уже близко. «Октябрь» повернулся к ней бортом. С палубы крикнули англичанам:

— Лови конец!

А когда шлюпка подтянулась к шторм-трапу, англичане начали подниматься на борт спасающего судна. Плотник Хилков и Максим Бородкин, помогая им, подхватывали их под руки. Иностранцы, скопляясь на па-

лубе, держались отдельной кучкой. Тут были администраторы и матросы. Некоторых из них пожар поднял прямо с постели: они были в одном нижнем белье, босые, с обнаженными головами. Лица возбужденно покраснели, покрылись потом, смывающим грязь. Дико озирались, точно не верили, что попали на русский пароход.

Капитан Абрикосов хотел дать малый ход, надеясь, что это не помешает остальным людям подниматься на палубу. «Октябрь» должен был направиться ко второй шлюпке, но случилось другое.

Произошло что-то нелепое. Не сразу поняли, почему «Октябрь» обдало горячим воздухом и почему люди на нем так рванулись с места. Одни, сделав какое-то сумасшедшее движение, устояли на ногах, а другие полетели кубарем. Каждому показалось — всхрапнула сама бездна, всхрапнула чудовищно, сотрясая море, и что-то с гулом покатилось в беспредельность. От слепящего блеска далеко шарахнулась тьма. Оглянулись на то место, где стоял «Строллер» — вместо судна увидели золотые космы пламени, вздыбившиеся до черных туч. Вокруг низвергались огненные фонтаны. Загорелось море, облитое нефтью, и пламя быстро распространялось вширь по зыбучей поверхности воды.

«Октябрь» очутился в кругу огня. Прозвякал машинный телеграф, давая знать вниз, что нужно развивать самый полный ход. Раздался властный голос капитана:

— Право на борт!

— Есть право на борт! — высокой нотой ответил рулевой.

«Октябрь» начал медленно разворачиваться, забирая вправо.

Ход понемногу увеличивался. Затем снова прозвучала команда:

— Одерживай!

— Есть одерживай!

— Из-за борта, где была причалена спасательная лодка, неслись дикие вопли оставшихся там людей. На палубе все молчали. То, что случилось, давило мозг, не укладывалось в сознание. Безумие выпирало глаза на лоб, большие, выпуклые, как дно опрокинутого стакана. В жутком изумлении оглядывали пылающее море. Черным дымом клубилась высь. Простор гудел разгулом

огня, дышал жаром, обжигая тело, наполняя легкие едким чадом. Казалось, наступил момент мировой катастрофы.

— Какого же дьявола вы стоите истуканами? По местам все! Помпы пустить! К шлангам!

Это, надрываясь, кричал капитан Абрикосов. Теперь голос его звучал громко, точно выходил из рупора, и жесты были повелительны. Он продолжал стоять на мостике, багровея в отблесках огня. Во всей его фигуре было что-то гневно-величественное, как у морского пирата, готового разбить череп тому, кто не подчинится его воле.

Командные слова отрезвляли подчиненных. На судне уже не было мертвящего оцепенения. Каждый опрометью бросался к исполнению своих обязанностей, сознавая, что нужна самая решительная борьба за жизнь. Англичане сбились кучкой под мостиком. Радист сидел у своего аппарата и бросал в пространство крик «Октября», плывущего по огненному морю.

С мостика падали короткие и властные распоряжения:

— Поливать все верхние части судна!

— Есть! — неслось с палубы в ответ капитану.

— Поливать друг друга!

— Есть!

— Задраить все иллюминаторы!

Заработали помпы. Матросы, повертываясь, направляли шланги в разные стороны. Поливались ростры, шлюпки, брезенты на люках, рубки. Напор воды настолько был силен, что она вылетала из парусиновых рукавов с шипящим хрипом, с треском. Хрустальные струи, пронизывая освещенный воздух, разбивались в разноцветно-сверкающие брызги. Те из людей, которых окатывали водой, ежились, крутились, прятали лицо, фыркали. Все это было похоже на то, как будто весь экипаж занялся детской игрой.

Боцман стоял на полуюте, несуразно растопырившись, оскаливая широкий рот на лошадином лице. Он повторял каждую команду капитана и, стараясь подбодрить матросов, прибавлял свое:

— Крой все на свете, пока не лопнула требуха!

«Октябрь», разворачивая пылающее море, рвал пространство с настойчивостью разъяренного чудовища.

Желтые остроконечные языки липли к железному корпусу и, шелуша масляную краску, ползли вверх до фальшборта. С палубы на них направляли шланги. Пожар привлек приток воздуха, зашумел резвый ветер. Зарево судорожно колебалось. По зыбучей поверхности извивно плясали огни, уменьшаясь в провалах и взмывая на водных холмах мятущимся пламенем. Получалось впечатление, что корабль окружен миллионами огненных драконов,— они шныряли в разные стороны, опрокидываясь, становились на дыбы, угрожая забраться на палубу. «Октябрь» неумолимо давил их своей железной громадой. За кормой, в бурлящих потоках воды, нефть переливала мгновенными вспышками, искрилась звездами. А дальше, там, где стоял «Строллер», уперся в небо огненный смерч, разбрасывая оранжевые полотнища шелка. Тучи над ним накалились докрасна, и казалось, что сейчас они рухнут вниз, громыхая обломками, словно крыша горящего здания.

Выйдет ли «Октябрь» в целости из этого ада?

Люди изнемогали от жары. Угарный чад царапал легкие, разъедал до слез глаза, мутил голову. Дрожали колени. Нужно было напрягать все силы, чтобы продолжать борьбу с огнем.

На борту, забравшись по шторм-трапу, показался еще один англичанин. Он пробился сквозь пламя. Это был высокий человек, сухопарый, в одних кальсонах и нижней рубашке. Когда он очутился на палубе, его белье все еще продолжало гореть. Англичанин громко ахал, прыгал и кружился на одном месте, размахивал руками, как одержимый безумной болезнью. Весь в ожогах, с распухшим лицом, с голым, словно скальпированным, черепом, он казался жутким морским привидением.

Из кучки англичан, стоявших под мостиком, раздался возглас:

— Наш главный механик!

Боцман, спохватившись, заорал:

— Водой окатите его, водой!

Сильная струя, ударив в лицо, сбила механика с ног. Он закувыркался на палубе, точно акробат, и опять поднялся. Двое англичан подхватили его под руки и повели как слепого. С распухшего лица сползла кожа, свисая грязными тряпками.

Буфетчица, стоявшая на полуюте около трапа, вдруг пронзительно закричала, показывая за корму:

— Шлюпка оторвалась!

Все оглянулись.

Английская спасательная шлюпка попала в кипящие буруны, отбрасываемые мощными лопастями винта. Быстро удаляясь, она завертелась, как сумасшедшая, охваченная со всех сторон пламенем. Огонь, обуглив борта, лез внутрь нее, поджаривая копошившихся на дне людей. Один из них встрепанно вскочил и почему-то помахал в воздухе веслом, точно угрожая уходящему «Октябрю». Он тут же свалился за борт, головою вниз, описав ногами дугу.

В одну секунду шлюпка исчезла в пламени.

«Октябрь» теперь находился вне опасности. Он огибал широкий огненный круг, держась от него в двух кабельтовых. С мостика в несколько биноклей следили за освещенным морем. Это разыскивали вторую спасательную шлюпку, разыскивали без всякой надежды на успех.

Выступая из мрака, начали появляться другие корабли, пришедшие на призыв «Строллера».

Тем временем на «Октябре» в кают-компании занялись спасенными англичанами. Третий штурман при помощи других обматывал бинтами обгоревшее тело главного механика, а он стонал и скрежетал зубами. Матросы и персонал снабжали своим добром раздетых иностранцев. Появился здесь и Максим Бородкин. Он принес свой лучший костюм, застенчиво сунул его одному англичанину, как грошовую и ненужную больше вещь, и торопливо ушел. Таня, бледная и расстроенная, хлопотала у стола, чтобы напоить чаем неожиданных гостей. Англичане пожимали руки своим спасителям, благодарно улыбались, делились впечатлениями о пережитых ужасах.

Пожар, ослабевая, разрывался на части. Отдельные клубы пламени разбрелись по водной степи, как стадо огненных быков. Зыбь продолжала дробить их. Напоследок море замигало проблесками, точно по нем резвились золотые рыбы, взметывая над поверхностью светящимися хвостами, и все погасло. Только «Строллер» продолжал гореть, как жертвенник. Вокруг собралась

целая флотилия разных кораблей. Тут были суда французские, английские, норвежские, голландские, немецкие. Все они опоздали и ничем уже не могли помочь своему погибающему собрату.

К борту «Октября» пристала шлюпка, вызванная с одного английского парохода. На палубу поднялся офицер, отрекомендовавшийся первым штурманом. Это был толстый человек среднего роста, в парадном морском костюме с золотыми позументами. Приняв спасенных людей, он обратился к капитану Абрикосову:

— Сколько должны вам заплатить?

— «Октябрь» за спасение людей ничего не берет,— с достоинством ответил Абрикосов.

Офицер обиженно дернул плечами:

— До свидания.

— Всего доброго.

«Октябрь», развертываясь, чтобы лечь на прежний курс, победным ревом всколыхнул ночь, набухшую заревом пожара. Увеличивая ход, он пронесся мимо иностранцев, смотревших на него с мостиков и бортов, и утонул в безграничном мраке.

Большинство из людей, не занятых вахтой, разбрелось по своим койкам.

Таня сидела в радиорубке, ожидая, когда друг ее освободится от работы. Чувствовала себя разбитой, угасшей, золотистые глаза затуманились печалью. Островзоров, не обращая на нее внимания, вызывал свой порт. Нервно визжала динамо-машина. Радиоаппарат напрягал все силы, чтобы перебросить весть через тысячемильную даль, в Союз Советских Республик, весть о жуткой трагедии.

А в это время Максим Бородкин стоял на баке, привалившись спиной к брашпилю. Он смотрел вперед, в глухую и непроглядную темень. В сравнении с тем, что он видел и сам испытал во время пожара, прежнее его горе казалось ничтожным. Чувство ревности остыло. Не хотелось больше думать ни о Тане, ни о сопернике: пусть будут счастливы, если только есть на свете счастье. Скорее бы попасть в свой порт. Он немедленно переведется на другое судно, чтобы опять скитаться по далеким морям и опять искать свою долю.

За бортами «Октября» загадочно вздыхала бездна.

ЕРАЛАШНЫЙ РЕЙС

I

Пароходик «Дельфин», готовясь в рейс, стоял в гавани у деревянной стенки одного небольшого портового города. На корме его развевался красный флаг с серпом и молотом. Из черной трубы клубился густой дым.

Машинист Самохин, сменившись с вахты, стоял на баке в синей блузе и в таких же синих штанах. Он курил трубку и сквозь зубы циркал за борт. Лицо его, толстомясое и щетинистое, затененное большим козырьком надвинутой на глаза кепки, выражало полное безразличие ко всему, что делается на пароходе. На «Дельфин» он поступил недавно и то лишь потому, что до этого около двух месяцев был без работы. А раньше плавал на больших пароходах, бороздил далекие моря и океаны, побывал в холодных и жарких странах. Поэтому к новому своему судну и к его экипажу относился с некоторым презрением. Сзади него работали матросы, но ему не было никакого дела до них. Недавно в трактире он подрался с ними, жестоко исколотив трех человек, за что чуть не лишился должности. Недалеко от «Дельфина», на зависть машинисту, стоял другой пароход — «Подпольный», принадлежащий тому же пароходству. Больших размеров, прочный, он нагружался русским зерном для заграничных портов. Чтобы не раздражать себя, Самохин старался не смотреть на него. Серые глаза его устремились в сторону моря, в прозрачно-синюю даль. Оттуда дул теплый ветерок. В уши вливался привычный шум гавани.

На мостике прохаживался капитан Огрызкин, хилый и забитый жизнью старичок. Как всегда, он и на этот раз ковырял в своих пожелтевших зубах спичкой, потом нюхал эту спичку, морща маленький, как у ребенка, нос. Временами узколобая голова его откидывалась назад, осматривая небо с редкими облаками, морской горизонт. Не было никаких признаков к перемене погоды. Но капитан досадливо морщил угрястое лицо с рыжими ползучими усиками и облизывал сухие губы. Он не любил моря, а свежая погода вызывала в нем чувство отвращения. А тут предстояло отправиться за сто с лишком миль в порт N, чтобы привести оттуда две баржи. Такой рейс для «Дельфина» считался большим. Суденышко было неважное, с малым ходом и довольно потрепанное. Весь экипаж его вместе с капитаном состоял из восьми человек. Вдруг застигнет в пути шторм? Тогда капитану опять придется заглушать свой страх водкой, спрятанной в каюте, а потом, притворившись больным, вручить командование судном рулевому.

Капитан, отбросив спичку, повернулся к берегу и с тревогой посмотрел на метеорологическую станцию. На мачте ее никаких сигналов, предупреждающих о буре, не было, но почему же чувство беспокойства не покидало его? Перевел взгляд на город. Начинался он гаванью, сухим доком, красно-бурыми корпусами казенных складов и мастерских. Потом, плотно прижимаясь друг к другу, загибаясь подковой, шли частные постройки, в большинстве невысокие, с кривыми путаными улицами и переулками. Постепенно поднимаясь вверх по отлогому плоскогорью, дома редели и прятались в зелени деревьев. А дальше на отлете от других зданий, в квадрате высокой ограды, стояла большая тюрьма. Она как будто оторвалась от города, взбежала на гору, на самое видное место, и остановилась, чтобы царить над остальным населением. Твердокаменные стены, когда-то яркобелые, теперь облупились, стали грязно-серыми, точно обросли коростой. Одинокая и молчаливая, она, как неусыпный страж, угрюмо смотрела на всю окрестность маленькими мутными глазами многочисленных окон, постоянно напоминая людям о своем мрачном величии. Каждый раз при взгляде на нее у капитана в душе за-

рождался страх, точно она только для того и стоит, чтобы подстерегать его.

Огрызкин, отвернувшись, достал из кармана новую спичку, аккуратно заострил ее перочинным ножом и снова принялся ковырять в зубах.

Машинист Самохин, взглянув на него, перегнулся через фальшборт и громко сплюнул:

— Тьфу, черт возьми!

Капитан оглянулся.

— Ты что это, Самохин, так сердито плюешь?

— Зубы болят, а подлечить нечем.

— Полощи рот соленым раствором.

— Спасибо, капитан, за добрый совет. Только это не поможет. У меня всегда зубы ноют перед плохой погодой.

Капитан, рассердившись, замахал рукой.

— Зажми, Самохин, свой поганый язык зубами, чтобы не болтал зря.

К судну, гремя по камням, подкатил легковой извозчик. С повозки слезла дама в сером костюме, в голубой шляпке со страусовым пером.

Капитан, сорвавшись с места, быстро сбежал вниз и в одно мгновение очутился на стенке. Навстречу ему, неся в руке маленький кожаный чемодан, шла легкой походкой полногрудая брюнетка. Это была жена его, Елизавета Николаевна, почти в два раза моложе своего мужа. Он услужливо взял от нее чемодан и, виновато улыбаясь, провел ее по сходням на судно.

— Ты что, Лизочка, проводить нас вздумала?

Лицо женщины, слегка напудренное, в черных завитых локонах, ласково заулыбалось.

— Нет, я просто хочу прокатиться на «Дельфине». И знаешь что, Петушок? Мне эта идея сразу пришла в голову, совершенно неожиданно. Я собралась в каких-нибудь пять минут. Ужасно боялась, как бы не опоздать...

Капитан остановился, испуганно глядя на жену.

— Но, Лизочка, мы ведь идем в большой рейс...

Она перебила его:

— Тем лучше. Мне ужасно надоело дома сидеть. Хочется освежиться и подышать морским воздухом.

Капитан знал, что жена его неумолима в своих кап-

ризах, но все-таки попробовал еще раз осторожно возразить, боясь расстроить ее:

— Не забывай, Лизочка, что сентябрь на дворе. А в эту пору погода часто меняется.

— То есть?

— Может буря разыграться.

— Ах, буря! Ты не можешь себе представить, Петушок, как мне хочется видеть бурю! Я безумно люблю большие волны!

Она всплеснула руками и звонко рассмеялась.

Капитан, сдаваясь, растерянно забормотал:

— Судно наше маленькое, слабое. Избави бог, если нас застигнет в пути шторм.

Елизавета Николаевна вдруг сдвинула брови.

— Молчи, несчастный! Другой бы муж обрадовался, что с ним жена едет, а ты только можешь расстраивать меня. Кончено! Я остаюсь при своем решении.

Гордо держа голову, она направилась в капитанскую каюту.

Огрызкин, вздохнув, нерешительно поплелся за нею.

Матросы на баке переглянулись, прыснули от смеха.

— Не баба, а динама.

— Теперь она ему устроит баню градусов на семьдесят.

— Начинает уж поддавать пар.

Из капитанской каюты в продолжение нескольких минут доносился повышенный голос Елизаветы Николаевны.

Наконец Огрызкин появился на мостике с таким видом, точно его оттрепали за уши.

Он справился по переговорной трубке, как обстоит дело в машине, а затем, взглянув на сияющий крест собора, как бы ища в нем поддержки, огорченно крикнул матросам:

— Отдать швартовы!

Машинист Самохин смотрел на него, сложив губы в брезгливую гримасу.

II

К вечеру «Дельфин» находился уже далеко в море. Берег, оставшись позади, исчез совсем. Солнце, спускаясь к горизонту, светило в правый борт, а с левого бор-

та, на прозрачно-зеленой воде, двигалась тень судна. Слабый зюйд-вест дул порывами, с передышкой, исчезая и снова появляясь. Море слегка лишь морщилось, лучисто сверкая бликами, точно по нем водили невидимым гребнем.

«Дельфин» исполнял свои обязанности довольно добросовестно, двигаясь вперед ровным пятиузловым ходом. Это почти все, что он мог дать. Со средины корабля, из глубины открытых люков с остекленными крышками, доносились ритмические вздохи машины. Под кормою, где вращались лопасти винта, глухо рокотала пенистая струя. От носа лился звенящий шум воды, выворачиваемой форштевнем.

Впереди, в двух-трех милях, дымя, ползло какое-то судно. «Дельфин» догонял его.

На мостике находились трое: капитан, его жена и рулевой.

Елизавета Николаевна стояла без жакета, в белой прозрачной кофточке, дразняще открывавшей упругие груди. На голове вместо шляпки был повязан тонкий шелковый шарф желтого цвета. Ветер играл концами этого шарфа, и казалось, что вокруг зардевшегося лица вьется пламя. Восторженная, она улыбалась морскому простору, залитому солнцем, и матросам, сидевшим на баке.

— Ах, какой прелестный воздух! Даже легкие щекочет.

Пробовала управлять рулем. Но «Дельфин», почувствовав слабость женской руки, начинал рыскать вправо и влево. Матрос Квашин, крепкий малый, с засученными рукавами, хватался за ручку штурвала, помогая поставить судно на курс. Она возбужденно смеялась.

— Если бы мне поучиться с недельку, я бы вполне могла управлять рулем. Как, по-твоему, Петушок?

— Хитрости тут нет никакой,— ответил Огрызкин, улыбаясь.

Довольный хорошим настроением жены, он важно прогуливался по мостику, заложив назад руки и выпячивая впалую грудь.

На баке двое матросов, глядя на мостик, тихо рассуждали:

— Митька-то наш почти не смотрит на компас. Все время запускает глаза за пазуху капитанши.

— Чует, где жареным пахнет. Она, брат, тоже штучка. Очень глазами вскидчивая.

— Жену бы, Ваня, такую тебе. Эх, и хватил бы горя.

— Я?

— Да.

— Во-первых, я бы ее, эту двенадцатиблудную барыню, заставил родить каждый год. Во-вторых, я бы свою квартиру объявил на осадном положении, а себя диктатором.

— Ну, брат, не хвались. Не с того конца у тебя башка зарублена, чтобы такую женщину укротить.

Судно впереди подвигалось трехузловым ходом. «Дельфин» почти догнал его. Это оказался норвежский пароход, пузатый, низкобортый, с крытыми щеками у носа. Над трубой его вился белесый дым.

Капитанше казалось, что в сравнении с норвежцем она несется очень быстро.

— Мы сейчас обгоним этот пароход. Вот интересно! Петушок, нельзя ли подойти к нему поближе?

— Это для нас ничего не стоит.

Капитан повернулся к рулевому.

— Лево руля!

— Есть лево руля!

Скоро «Дельфин» поравнялся с норвежцем, некоторое время шел борт с бортом и начал обгонять его. Елизавета Николаевна с любопытством начала рассматривать капитана чужого судна, краснощекого толстяка в белом кителе, прогуливающегося по мостику. Он невозмутимо покуривал сигару и, казалось, не обращал никакого внимания на обгонявшее судно.

Елизавета Николаевна пришла в неистовый восторг, когда норвежец очутился за кормою. В этот момент невзрачный муж сразу вырос в ее глазах, показался героем. Лаская его взглядом черных глаз, она готова была броситься к нему на шею.

— Нет, наш «Дельфин» — восхитительный пароход! И ты у меня молодец, Петушок! Браво!

И самому капитану, ободренному молодой женой, верилось, что он настоящий моряк, для которого не страшны никакие циклоны. От радости сильнее заби-

лось сердце, а в голову хлынула кровь. Хотелось еще чем-нибудь удивить Лизу. Он бросился в рубку, схватил кусок веревки и показал норвежцу конец.

— Это что значит? — спросила Елизавета Николаевна, удивленно глядя на мужа.

— Злая морская шутка,— я даю знать тому капитану, что могу его черепаху взять на буксир.

Елизавета Николаевна, захлопав в ладоши, смеялась долго и закатисто.

Капитана норвежца, казалось, ничем нельзя было пронять: он продолжал спокойно прогуливаться по мостику.

— Ах, как я довольна своим путешествием! — восклицала Елизавета Николаевна.— И от солнца и от морского воздуха во мне теперь столько радостного настроения, что хватит его на целый год. А ты еще, глупый мой капитан, не хотел взять меня.

— Да нет, я ничего. Я рад, что ты со мною.

Она смотрела на море, так красиво горевшее в закатном огне, и ей самой хотелось расплескаться по воде солнечным лучом. Потом мечтательно подняла глаза на мужа.

— Знаешь что, дорогой?

— Что?

— Мне безумно хочется под тропики попасть.

— Когда-нибудь попадем.

Капитан, оглянувшись за корму, вдруг насторожился. Из трубы отставшего парохода повалил черный дым, а у тупорылого носа показалась пена. Скоро и Елизавета Николаевна заметила, что норвежец начинает догонять. Лицо ее сразу насупилось.

— Это как же так?

— Развивает ход,— сконфуженно ответил капитан.

Она жестко посмотрела ему в глаза.

— А ты?

— Попробую.

Он неуверенно, срывающимся голосом начал кричать по переговорной трубке в машину.

— Полный ход! Дайте самый полный ход!

Норвежец, догоняя, несся на всех парах. Низкий корпус его совсем зарылся в воду, показывая на поверхности одну лишь надстройку. За ним, клубами вывалива-

ясь из трубы, тянулось черное облако дыма. У тупорылого носа будто не пена вскипала, отбрасываясь в стороны, а развевались огромнейшие седые усы.

Матросы на баке с обидой следили за догоняющим судном.

— Узлов на десять жарит. Сейчас обставит нас.

— Ума нет у нашего общипанного Петушка. Нашел с кем связаться. Норвежцы — первые моряки в мире.

— Эх, теперь «Подпольного» бы сюда! На том пароходе можно бы и самому норвежцу нос утереть.

Капитанша злилась, крича на мужа, повысив голос, топая желтой туфелькой:

— Зачем же ты, хвастунишка, показывал конец тому? Мартышка несчастная! Противно смотреть на тебя!

Капитан удрученно молчал, облизывая сухие губы и пряча потускневшие глаза.

Когда норвежец, обогнав, сделал крутой поворот, Елизавета Николаевна даже испугалась. «Дельфин» закачался на разведенной волне. Она ухватилась за поручни мостика. Ей показалось, что сейчас что-нибудь случится.

Два раза норвежец обошел вокруг «Дельфина», два раза обрезал корму и нос и помчался дальше, показывая, в свою очередь, конец.

— Нет, этого нельзя терпеть!

Елизавета Николаевна сама бросилась к переговорной трубке и визгливо закричала в машину:

— Машинист! Дайте полный ход! Слышите? Самый полный ход!..

И вдруг отпрянула от трубки, точно отброшенная электрическим током. Лицо ее побледнело, глаза расширились, засверкали ненавистью. Она набросилась на капитана, по-гусиному вытягивая шею и шипя сквозь белые зубы:

— Этого еще не хватало! Всякий поганый машинист может так обращаться с женой капитана! Знаешь, куда он меня послал! Я даже не могу повторить его скверных слов. Такой позор! После этого — разве ты капитан? Сморчок паршивый! Не смей больше показываться мне на глаза!..

Она сбежала с мостика и направилась в каюту...

Капитан Опрызкин беспомощно ухватился за голову.

III

В порту N «Дельфин» простоял одну ночь. Рано утром он взял на буксир две железные баржи, предназначавшиеся для перевозки хлебных грузов, и тронулся в обратный путь. Баржи были пустые, но они тормозили ход судна почти наполовину. На каждой из них находилась своя команда, возглавляемая шкипером.

Капитан Огрызкин стоял на мостике и украдкой от жены облизывал сухие губы. Это означало, что в душе у него было неладно. Ему очень не хотелось выходить в море, не будучи уверенным в хорошей погоде. Но срочность дела заставила его торопиться. Там, на суше, в своем порту, в пароходной конторе, высокий человек с бритым лицом, сверкнув пенсне, строго распорядился:

— Баржи эти должны быть доставлены сюда немедленно.

Вспомнив теперь об этом, капитан хотел выругаться вслух, но рядом находилась жена.

Солнце выглядывало редко, небо обрастало облаками. Правда, зюйдовый ветер дул пока слабо. Но кто может поручиться, что к вечеру не разыграется шторм? Барометр, понемногу падая, показывал, что атмосфера начинает сгущаться.

Капитан робко покосился на жену. Что будет с нею, если налетит буря? Опять она набросится на него, будет называть его последними словами, никого не стесняясь. Даже плохую погоду поставит мужу в вину. Эх, жизнь!

Елизавета Николаевна злилась на мужа долго. Она знала, что только благодаря его глупости «Дельфин» был опозорен норвежским пароходом, только благодаря его слабости из машины, пролетев через переговорную трубу, больно ударили в ухо похабные слова и остро, как рыболовные крючки, застряли в мозгу. Прошлой ночью он ползал перед нею на коленях, вымаливая прощение и обещая, что при возвращении в свой порт немедленно уволит машиниста Самохина. И все-таки она ни за что не стала бы разговаривать с мужем, если бы можно было молчать. С кем же, кроме него, можно было делиться впечатлениями, выпиравшими из

нее, как разбухший горох из переполненной посудины? Она не выдержала и первая обратилась к мужу:

— Ты что такой грустный?

Капитан сделал скорбное лицо.

—Что-то нездоровится мне. Знобит.

— Аспирину прими.

— Да, я уже думал об этом.

Обе баржи, натягивая буксирный канат, тащились в кильватер «Дельфина». Капитанша часто оглядывалась на первую баржу. Там, на корме, ворочая тяжелым рулем, стоял вахтенный матрос, сутулый, с отвисшими плечами; у него была большая серая борода, а издали казалось, будто он держит в зубах пучок моченца, раздуваемого ветром. Это было смешно, но внимание капитанши привлекало другое. По палубе, от носа до кормы, прогуливался человек средних лет, в черном суконном бушлате, в черных брюках. Это был шкипер баржи. Она наводила на него бинокль, с любопытством рассматривая его высокую стройную фигуру, широкие плечи, крутую грудь, загорелое лицо с тяжелыми челюстями. В походке его было что-то твердое и упрямое, что бывает у людей, чрезвычайно уверенных в себе. Елизавета Николаевна невольно подумала: «Вот бы такому быть капитаном. Под его шагами, вероятно, вздрагивал бы мостик».

Шкипер, в свою очередь, поглядывал на капитаншу. За последнее время всякая молодая женщина пробуждала в нем мысли о личном счастье. Он задумался. Как вихревые метели, пронеслись бурные годы, годы мировой бойни и революционных бурь. Жестокое было время: гремели выстрелы, пылали пожары, голод и холод до нестерпимой боли скручивали жизнь, ползала, прилипая к телу, тифозная вошь, со стоном и проклятием падали люди. Разве тогда можно было думать о какой-то подруге?

Наконец все кончилось, наступило затишье. Новые зоревые горизонты открылись перед выздоравливающей Россией. И шкипера, налитого здоровым соком, с неудержимой силой потянуло к женщине. Чувство одиночества терзало мозг, разрасталось в нем, как лопух в саду, забивая другие интересы к жизни. Набрасывался на чтение книг — не помогало. И теперь, при виде капитан-

ши, закипело скрытое желание, горячей волной захлестнуло голову. В морской обстановке она казалась ему необыкновенно красивой. Сам того не сознавая, для нее он прогуливался по палубе, для нее он потом вытащил наверх своего любимца — кота. Мордастый, рыжий, в огненных кольцах поперек туловища, кот важно ходил вслед за хозяином, трубой подняв пушистый хвост.

— Кранец, служи молебен! — повернувшись, обратился к нему шкипер.

Кот становился на дыбы и протяжно мяукал.

— Кранец, проси подаяния!

Кот, кивая головой, вытягивал вперед передние лапы. Получив кусочек мяса, он с жадностью съедал его и опять продолжал следовать за хозяином.

— Кранец, гоп! — приказывал шкипер.

Огненным шаром отделялся от палубы кот, прыгая на грудь хозяина. Шкипер ласково гладил бархатную спину его, а тот, щурясь от удовольствия, спокойно смотрел на хмелеющий простор моря.

Швабробородый матрос, стоявший у руля, одобрительно отзывался:

— Ну, и кот у вас, Федор Павлович! Только что не говорит. А насчет понятия — точно академию кончил.

— Недаром я так берегу его,— ответил шкипер.

Капитанша не слышала ни разговора людей, ни мяуканья кота, но видела все. Восторженно улыбалась, даже помахала на баржу платочком. Потом обратилась к мужу:

— А почему же, Петушок, ты ничего не заведешь у себя на судне? Кота или собаку. В море это так интересно.

Капитану в этот момент хотелось сказать жене, чтобы на ее пустую голову обрушилась брамстеньга, но вместо этого он виновато улыбнулся.

— Мысль не приходила об этом...

После обеда погода начала портиться, а к вечеру совсем засвежело. Небо стало черным, как аспидная доска. Раздраженно загудел ветер, взрывая поверхность моря.

«Дельфин» начал качаться, обдаваемый брызгами.

Огрызкин нетерпеливо посматривал на барометр: не-

уклонно падала стрелка, падало и капитанское сердце, наполняясь зловещей тоской.

Хотелось вдребезги разбить этот круглый никелированный прибор.

Елизавета Николаевна, оглядывая запенившееся море, восторгалась:

— Все вокруг в движении, все бурлит. А сколько силы и страсти в буре! Больше всего на свете я люблю все страстное, кипучее.

Взглянув на мужа, рассердилась:

— А ты все кислый ходишь!

Капитан, хватаясь за голову, жаловался:

— Я совсем заболел.

— Почему же аспирину не принял? Какой ты, право, непослушный. Сейчас же иди вниз.

Капитан сбегал в свою каюту, где хватил три рюмки спирту. Пришлось закусить луком, а потом пожевать щепотку сухого чая, чтобы не пахло водкой.

На «Дельфине» зажгли отличительные и топовые огни.

Надвигалась угрюмая ночь. Ветер усиливался. Волны захлестывали через фальшборт, разливались по палубе. Брызги достигали до мостика.

Капитан еще раза два спускался вниз, глотал спирт, теряя захмелевшую голову и нервничая. Ему все время казалось, что пароход сносит от курса влево. Он покрикивал удивленному рулевому:

— Право руля!

И ежился под тяжестью страха.

Жена его перестала восторгаться. Широко открыв глаза, она напряженно всматривалась в воющую тьму.

IV

Кочегарка и машинное отделение, в противоположность большим судам, здесь представляли собою одно помещение. Поэтому машинист Самохин и кочегар Втулкин работали вместе при свете специальных морских ламп. Вступили они на вахту с восьми вечера. Один шуровал в топке, следил за манометром и водомерным стеклом, другой управлял двигателем и смазывал отдельные его части.

В борта били волны. Сверху доносились хрипящие взмывы и вой ветра. «Дельфин», содрогаясь от ударов, пьяно качался, сердито гудел топкой и настойчиво шмыгал поршнями.

— Начинает, брат, поддавать,— повернувшись к машинисту, сказал Втулкин.

Самохин посмотрел на суетливого человека: лицо у него клинообразное, худое, глаза беспокойные, приплюснутый нос робко уткнулся в щетинистые усы.

— Это, по-твоему, поддает?

— А по-твоему? — спросил, в свою очередь, кочегар.

— Мне, сказать правду, смешно даже слушать. Поплавал бы ты по океанам и другим морям. Вот там иногда можно попасть в переделку. И то нипочем было, если судно подходящее и капитан знает дело. А тут что? Не море, а лужа. И разве это пароход? Плавучий клоповник. А капитан ваш что такое? Маринованный лангуст. Тошно глядеть на все...

— А ты, брат, с ядом.

— Лучше быть с ядом, чем с лимонадом,— напиток для матросов никудышный.

Помолчав немного, Самохин заговорил о другом:

— Плавал я когда-то на севере, за Полярным кругом. Правду сказать, пароход у нас был надежный, с сильными машинами. Я тогда служил на нем за матроса. И вот однажды попали мы в ледяной шторм. Ночью было дело, в беспросветную темень. Эх, и закрутило! Казалось, весь свет с ума сошел. А холод какой был? Брызги на лету мерзли, щелкали по судну, как пулями. Того и гляди, без глаз останешься. Судно все во льду, нельзя по палубе пройти — скользко. И сам весь в ледяной коре закоченеешь. Сменишься с вахты, а в тебе пудов семь весу. Эх, никогда мне не забыть той ноченьки темной! Продлись такая буря еще немного — не стоять бы мне теперь с тобой на вахте.

— И не простуживался? — спросил кочегар, недоверчиво глядя на машиниста.

— Матросу только дай чарку водки — сам дьявол его не возьмет.

Качка усиливалась. В машину обрушилась волна.

— Чувствуешь, что затевается? — обратился кочегар к машинисту.

— А что?

— Это тебе не шутка, Машутка.

Машинист распорядился:

— Закрой световые люки.

Втулкин сбегал наверх, выполнил данное ему поручение. Вернувшись, остановился около машиниста, ежась и вздрагивая от холода.

— Насквозь промочило. Кажись, шквал приближается. Вот будет...

Кочегар не окончил: в этот момент «Дельфин» обо что-то ударился днищем и сразу остановился.

Машинист, падая, рванулся вперед с такой силой, что сбил с ног и Втулкина. Перевернувшись на железной настилке, они вскочили одновременно, глянули друг на друга непонимающими глазами. Обоих охватила жуть. Звякнул машинный телеграф. Самохин опомнился первым и застопорил машину. Под ногами раздавался грохот. Это пароход бился о подводные камни. Содрогался весь корпус и вся машина. Втулкин в ужасе кинулся бежать, но машинист вовремя схватил его за грудь и повелительно рявкнул:

— Стой! Куда?

— Наверх.

— Не было команды, чтобы уходить с вахты!

Кочегар остановился, оглушаемый грохотом и скрежетом разбивающегося судна. Он оцепенело смотрел на машиниста, выкатив глаза, точно рыба, вытягиваемая удочкой из воды. В следующий момент, придя в себя, начал вырываться.

— Ты что — начальник надо мною?

— Да, начальник. И могу твою сопатку искровянить, если будешь вырываться.

Самохин говорил уже спокойно, но в то же время властно. А сам, не обращая внимания на мольбы укротившегося кочегара, посматривал на циферблат телеграфа, ожидая сигнала дать ход назад. Никакого распоряжения с мостика не было. Только глухо доносился с палубы топот ног, и смутно слышались голоса людей, из которых ничего нельзя было разобрать. Наконец Самохин отпустил кочегара, строго наказав ему:

— Узнай, в чем дело, и сейчас же обратно!

— Ладно,— примиренно бросил на бегу Втулкин, поднимаясь по железному трапу.

Машинист остался один, мысленно ругая капитана. Он начал заглядывать под настилку, поднимая одну плиту за другой. Проломов нигде не было. Вдруг грохот прекратился, и «Дельфин» снова свободно закачался. Мелькнула догадка: очевидно, большая волна, приподняв, сняла его с камней.

Самохин облегченно вздохнул. Почувствовалась усталость в ногах. Он сел на железную табуретку, прикрепленную к борту, и закурил трубку. Глаза невольно скользили по настилке, ожидая появления воды. Но пароход, по-видимому, отделался только вмятинами. Это окончательно успокоило машиниста. Сидел он так долго, ожидая распоряжения с мостика. Давно уже прекратился на палубе топот ног, не было слышно ни одного человеческого голоса. А больше всего его удивляло, что не возвращался кочегар.

— Куда же еще этот черноспинник пропал?

Самохин не выдержал, бросился к переговорной трубке, дунул в нее, чтобы дать свисток на мостик. Ответного свистка не было. Разозлившись, он начал кричать в трубку:

— Эй, на мостике! Кто там! На всю жизнь, что ли, остановили судно?

С мостика молчали.

Самохин удивленно поднял брови.

— Что за чертовщина?

Он выбежал из машинного отделения наверх. Сразу обдало холодом. В непроглядной темени выл ветер. Волны, раскачивая судно, захлестывали через борт. На палубе никого не было. Почти бегом поднялся на мостик— ни одного человека. В душу закралось нехорошее предчувствие. Метнулся в матросский кубрик — от покинутого помещения повеяло тоской. Заглянул в капитанскую каюту — тоже пусто.

— Куда вы все исчезли, окаянные?

Машинист, обшаривая помещение, метался из одного места в другое до тех пор, пока не убедился, что на всем судне он остался один. Злобно заорал во все горло:

— Капита-а-ан!

Ветер подхватил его голос, унес в черную тьму. Волны прошипели на палубе, ударили в ноги, обдали брызгами лицо.

Самохин, ломая голову, терялся в догадках. Волны не так сильны, чтобы могли смыть весь экипаж. Единственная спасательная шлюпка осталась на своем месте. Что же случилось? Или все это только во сне ему представляется?

Посмотрел за корму, напрягая зрение,— обе баржи исчезли. Не поверил своим глазам, схватил буксирный канат, свободно болтавшийся в воде. Теперь никаких сомнений не было.

— Сбежали, дьяволы!

Самохин торопливо начал выбирать канат на палубу. Ощупью убедился, что конец его оказался перерезанным. Да, но это могла сделать и команда с баржи, чтобы скорее удалиться от гибельного места. Куда же всетаки пропали люди с «Дельфина»? А если они попали на баржу, то каким образом им удалось переправиться туда?

Мысли в голове путались и прыгали, как блохи, не разрешая вопроса.

Самохин отошел к машинному кожуху, привалился к нему и безнадежно начал вглядываться в бушующий мрак. Кругом не было ни одного огонька. Чувствовалась враждебность в хлябающем море и завывающем ветре. Судно, обдаваемое волнами, сносило в темную неизвестность. Стало жутко даже для отчаянного машиниста. Он ждал нового удара о камни, и по спине его пробегала мелкая дрожь.

Вспомнил об одной капитанской слабости.

— Ладно! Если придется погибнуть, то погибну с треском!

Машинист крепко выругался и решительно пошагал к капитанской каюте.

V

В небольшой капитанской каюте было светло и уютно. Самохин сидел в круглом трехногом кресле, привинченном к палубе. Перед ним, на столе, были расставлены закуски: кильки, колбаса, сыр, сардины, даже мар-

мелад. Но больше всего привлекала его внимание железная коробка с горлышком, так называемая «литровка», наполненная спиртом. Все это вытащил машинист на свет из потаенных уголков шкафа. Выпивал он медленно, не торопясь, ел со вкусом. По всему телу, приятно обжигая, разливались огненные струи. Голова постепенно хмелела, а вместе с тем поднималось хорошее настроение. Он теперь чувствовал себя полным хозяином выпивки и закусок, главным лицом на всем судне.

Машинист, поднявшись, стал перед зеркалом. В одной руке он держал стакан со спиртом, а другой, свободной, грозился на свое отражение, точно на постороннего человека, говоря:

— Все исчезли с парохода. Исчез и сам капитан. Остался только ты один, Григорий Савельич. Молодец, пермяк — соленые уши! Пью за твое здоровье.

Снова сел, закусил кильками. Разбирало от избытка энергии, захотелось веселиться. Он запел речитативом:

Матрос идет — спотыкается,
На клеш наступил — в бога лается.

Опускался и поднимался пароход, встряхиваясь на гребнях. За пределами каюты шумела тьма, с палубы доносились взмывы волн. Это море угрожало машинисту, разверзая свою утробу. О, сколько раз в своей скитальческой жизни он слышал такие угрозы. Вспоминалось плавание за Полярным кругом. Это было давно. Он служил на ледоколе «Неустрашимый». Славный был пароход, прочный, силу имел дьявольскую. И все-таки однажды затерло его льдами. Ледяные глыбы полезли на палубу с обоих бортов. Под их тяжестью трещал весь железный корпус. Жуткая была картина. Даже теперь страшно вспомнить о ней. Потом «Неустрашимый» вместе с ледяным полем попал в дрейф. Его понесло к Северному полюсу на сотни миль. Разве тогда кто-нибудь думал остаться живым? А это оказалось — только шутка со стороны моря. Таким же манером судно понесло обратно к югу и несло до тех пор, пока не расступились льды.

Надо отдать справедливость капитану — отличный был моряк. Одна наружность чего стоила: высокий, плечистый, лицо — полуведерный самовар из красной меди,

усами можно семафорить. Бывало, сидит у себя в каюте, а все знает, что делается у него на корабле. По ходу судна мог определить, какой матрос стоит на руле. И теперь он командует самым лучшим пароходом. Надо будет опять к нему поступить.

— Да, были и есть капитаны — орлы морские.

Из рамы над столом, привинченной к борту, выглядывал знакомый портрет лысого человека: глаза его, будто вглядываясь в затуманенную морскую даль, напряженно сощурились, как у хорошего капитана, ведущего свой корабль среди опасностей. Самохин, взглянув на него, заговорил громко:

— Видишь? Пью. Что же мне другое делать в моем положении? А было время, когда я командовал матросским отрядом. Поработали тогда на славу. Всю старую Россию разворочали, как муравьиную кучу. Три года вырывали контру с корнями. Эх, угарно было! Матросы лезли в драку, как черти. Нас дырявили пулеметами и рубили саблями, точно капусту. До сих пор не могу понять, как это уцелела моя непутевая головушка. Четыре раза был ранен, а вот живу — хоть бы что. Зато и мы кое-кому столько всыпали перцу, что поди, небо с овчинку показалось. Одним словом... как бы это сказать. Свергли контру, переломали ей хребет. Одна беда — не могу поладить со многими своими товарищами. Нрав, видишь, у меня крутой и сердцем горяч. А больше всего пропадаю через свой язык. Другому товарищу резанешь всю правду — он и закрутит носом, точно от нашатырного спирта. Да, вот как... Выпью еще...

Машинист опрокинул стакан в рот, пожевал кусок сыру. О стены каюты с шумом ударилась волна, накренив пароход. Самохин качнулся и подумал о другом.

— Скажем, примерно, сейчас я погибну. Спрашивается — куда денусь? Черт матроса не возьмет, а богу он не нужен. Ха-ха! Вот положение!

Самохин поднялся, вышел, пошатываясь, из каюты и сразу окунулся в тьму, точно в безмерную банку с чернилами. Ветер рвал блузу, трепал волосы и, надрываясь, нескладно выл в самое ухо. Море шумело, наваливалось на судно волнами и плевалось прямо в лицо машиниста. Самохин обиделся и тоже начал плеваться, стуча себя в грудь железным кулаком:

— Не покорюсь! По колено в крови буду стоять, а не покорюсь! Тьфу, горлопан!

Делая зигзаги, он прошелся по палубе, осмотрел отличительные огни. Все было в порядке. Потом, воображая себя капитаном, заорал:

— Эй, на мостике! Лево руля! Еще на пять румбов влево! Либо к черту в котел попадем, либо ад разрушим.

Вернулся в каюту. Вспомнилась Анюта, что осталась на берегу,— у нее веселые губы, а в глазах весеннее небо. Приласкаться бы к ней, почувствовать близость женского сердца, расплескаться в любви, как волна на горячем песке, а она так далеко от него.

— Эх, жизнь моряка!

Стало тоскливо.

Машинист подошел к дивану, накрытому простыней и одеялом, присел на край его и запел:

Голова ль ты моя удалая,
Долго ль буду тебя я носить...
А судьба ль ты моя роковая,
Долго ль буду с тобою я жить...

Крепкие мускулы размякли и стали расплываться, как тесто. Он начал валиться на один бок и никак не мог выпрямиться. Все зыбилось перед глазами, кружилось: и стены каюты, и стол, и умывальник. Потом ему показалось, что он уже не на судне, а летит на ковре-самолете, летит выше облаков бродячих — к звездам.

VI

Вот что случилось с остальным экипажем.

Как только «Дельфин» сел на подводные рифы, капитан растерялся. Казалось, что пароход, громыхая о камни, разваливается на части. Предстояло погибнуть в темных бурлящих волнах вместе с обломками судна. Что нужно предпринять, чтобы избежать катастрофы? Капитан не мог найти решения и, спотыкаясь, побежал с мостика в каюту, где находилась его жена, только что отправившаяся туда отдохнуть. Но она сама выскочила на шканцы, встрепанная и недоумевающая. Ветер облил

тело холодом, забил дыхание. Во мраке, далеко и совсем близко, все хлябало, всхлипывало, рычало, точно кто-то кого-то хотел задушить. Встретилась с мужем, не сразу узнала его. Шатаясь, он согнулся и растопырил руки, точно намеревался схватить ее в охапку.

— Что случилось? — испуганно заговорила она.— Я слетела с дивана, расшиблась. Что означает этот треск?

Капитан, задыхаясь, ответил каким-то харкающим голосом:

— Погибаем... Спасаться нужно...

Не давая жене опомниться, он подхватил ее под руку и потащил к корме, сопровождаемый кучкою матросов. Там в это время, приткнувшись к ахтерштевню парохода, билась бортом баржа. Перепрыгнуть на нее ничего не стоило.

В один момент капитан и его жена очутились на палубе баржи. Матросы последовали его примеру. У кого-то нашелся острый нож. Толстый пеньковый канат быстро был перерезан.

Елизавета Николаевна, увлекаемая мужем и еще одним матросом дальше, к носовому кубрику, не сопротивлялась и только визгливо выкрикивала:

— Что же это такое? Боже мой! Куда вы меня?..

Когда кочегар Втулкин выскочил наверх, баржа уже начала отходить от судна.

— Прыгай скорее к нам! — крикнули ему свои матросы.

Кочегар в страхе застыл на борту, не рискуя броситься на призыв товарищей. Баржа была от «Дельфина» почти на сажень, и между ними, пенясь, клокотали волны. Как перемахнуть такое расстояние? Оставаться же на судне, разбивающемся о камни и уже покинутом капитаном, означало обречь себя на смерть. Море вдруг разверзлось, и баржа провалилась вниз. Это решило судьбу кочегара. Согнувшись, напружинив мускулы, он сделал отчаянный прыжок в бушующий мрак. Все это произошло в одно мгновение, короткое, как электрическая вспышка. Ноги попали на самый край баржи и уже готовы были сорваться в бездну, но он сделал какое-то невероятное конвульсивное движение в воздухе и упал на палубу. Торопливо пополз по ней на средину.

Сначала обе баржи, удаляясь от парохода, держались вместе, соединенные пеньковым канатом. Но дальше так не могло продолжаться: швыряемые волнами, они ударялись одна о другую, угрожая новой аварией. Пришлось разъединиться, перерезав еще раз канат. После этого каждая баржа, гонимая ветром, понеслась своим путем в черную даль.

В помещении матросов было тесно и душно. Нар для всех не хватало, некоторым, скорчившись, пришлось сидеть на палубе. Качалась подвешенная керосинка, слабо освещая убогую утварь и хмурые лица людей. Снаружи шумела тьма. Под широким плоским днищем будто ворочалось что-то живое, кряхтело, задыхалось, встряхивая баржу, точно силясь куда-то ее сбросить. Люди, прислушиваясь к звукам, смотрели друг на друга широко открытыми глазами и ждали удара о подводные рифы. Притихла и Елизавета Николаевна, сидя на нарах рядом с мужем. Ей казалось, что начался какой-то нелепый бред. Капитан весь съежился, ошеломленный только что происшедшим событием.

В кубрик спустился шкипер. Это был сильный мужчина лет тридцати пяти, туго налитый кровью. Черный суконный бушлат на нем весь был обрызган и сверкал каплями, как хрустальными бусами. Фуражка с большим светлым козырьком съехала на затылок, обнажив крутой лоб. Мокрое лицо раскраснелось и сыто лоснилось. Он распорядился, обращаясь к своим матросам:

— На вахте стоять по два часа и хорошенько смотреть за морем.

Команда его состояла из трех человек. Это были пожилые матросы, когда-то плававшие на больших судах. А теперь они стали почти инвалидами.

— А для чего это нужно? — спросил один из них, Демьян Сухоруков, повернув к шкиперу изношенное морщинистое лицо.

— Стало быть, нужно, раз я приказываю. И если кто заметит проходящее судно, немедленно доложить мне.

— Все равно ничего из этого не выйдет. Не можем мы управлять этой дурацкой посудиной.

— Зато можно будет просемафорить фонарем и просить помощи.

— Команда с «Дельфина» тоже пусть стоит на вахте,— хмуро проворчал другой матрос, Васька Бабай, разбитый ревматизмом толстяк.

— Дойдет очередь и до нее.

Шкипер повернулся к Елизавете Николаевне и, бросив на нее оценивающий взгляд барышника, чуть улыбнулся сочными губами.

— Итак, значит, среди нас появилась морская фея.

От его мощной фигуры веяло силой и отвагой, в тяжелых челюстях чувствовался упрямый характер. В другое время можно было бы залюбоваться им. А теперь, когда кругом все бурлило, когда баржа неслась в неизвестность, шутка его показалась обидной. Капитанша подчеркнуто отвернулась от него.

Шкиперу это не понравилось. Он враждебно покосился на Огрызкина.

— Расскажите-ка, капитан, как это все случилось?

Огрызкин поднял голову, оглянулся. Ни в одной паре глаз, сурово уставившихся на него, не встретил сочувствия к себе. Даже родная жена, сидящая рядом в зловещем молчании, стала чужой и далекой. Он заговорил виновато и робко, точно перед судом:

— Двадцать с лишним лет плавал. Первый раз такой случай. Заболел сильно. Едва мог стоять. До самого последнего момента не сходил с мостика...

— А потом скорее других бросились спасаться,— ядовито вставил шкипер.— В какое же положение вы нас поставили? На смерть обрекли?

Капитан, не отвечая, согнулся, готовый превратиться в пылинку, лишь бы быть незаметным.

А шкипер, повысив голос, загремел:

— Нужно иметь куриный мозг, чтобы в таком море посадить судно на камни! Хотя бы сильная буря была, а то только свежая погода. Подобных капитанов следует за борт выбрасывать...

— Правильно! — подхватили другие голоса.— За что гибнем? А у нас семьи остались.

Все громко загалдели, сжимая кулаки, оскаливая зубы, впиваясь в капитана злыми глазами.

— Точно на свадьбу, гадина, поехал: жену с собой прихватил.

Васька Бабай залез на табуретку и с нее, точно с трибуны, закрутив головой на короткой шее, начал орать пуще всех:

— Из капитана душу надо вытряхнуть, как вытряхивают картошку из мешка! Разве он не супостат?..

Елизавета Николаевна, до сих пор пугливо озиравшаяся, теперь уставилась на Бабая, отмечая особенности его нескладного лица: выпуклые щеки, точно за каждой он держал кашу, которую не успел проглотить, вздернутый нос с перебитой переносицей, под нижней губой клочок седых волос, похожий на малярную кисточку, припухшие трахомные веки и в них мутно слезящиеся глаза. Капитанша, слушая, сжалась вся от страха. Казалось, что муж ее сейчас будет выброшен в море, а она останется, окруженная врагами, обреченная, может быть, на позор и гибель.

— Довольно, товарищи, авралить! — повелительно закричал шкипер.— Мы еще посчитаемся с капитаном.

Понемногу гомон начал затихать.

Капитанша с благодарностью взглянула на шкипера.

Он ушел в свою каюту, расположенную в корме баржи.

Кочегар Втулкин заговорил примиряюще, оглядывая насупленные лица матросов:

— Если, братцы, по правде рассудить, то на «Дельфине» нельзя было оставаться ни одной минуты. Все знают: я последний выскочил из машинного отделения. И я прямо скажу: судно проломилось. В машину хлынула вода. Теперь, поди, от судна только обломки остались и на дне моря лежат.

Сообщение кочегара понравилось матросам с «Дельфина»: оно оправдывало их бегство с судна, оправдывало каждого и перед командою баржи и перед самим собою.

— Да, тут одно осталось: спасайся,— охотно согласились другие.

Только теперь вспомнили о машинисте.

— Где же Самохин?

Кочегар Втулкин пояснил:

— Звал я его, тащил за рукав, а он не захотел. Команды, говорит, не было, чтобы с вахты уходить. Что можно было с ним поделать? Знаете, какой он бузотер?

Злой, как турецкий перец. Чуть по морде мне не заехал. Так и остался в машине. А мне что — не погибать же через него.

Другой кочегар, слушая, вздохнул:

— Пропал, значит, парень зря.

Замолкая, прислушивались к шуму моря.

Баржа, укутанная мраком, неслась неизвестно куда.

Ночь проходила в тягостном ожидании катастрофы.

VII

Проснувшись, машинист Самохин удивился, что он продолжает лежать в то время, когда давно бы нужно быть на вахте. Через круглые стекла иллюминаторов вливался дневной свет. Судно качалось, а за бортами слышался гул. Для моряка все это было настолько привычно, что не вызывало никаких сомнений. Он привстал, посмотрел на постель: ноги, обутые в грязные сапоги, оказались на подушке, а под головою ничего не было. Как он попал в каюту капитана и почему спал на его диване? Голова с похмелья трещала, мысли путались, как обрывки снастей во время ветра.

Он быстро выскочил и выбежал на палубу. Ветер ударил в лицо солеными брызгами и косым дождем, смахнув с глаз последнюю сонливость. На судне не было ни одного человека. Это сразу его отрезвило. Только теперь вспомнил, что́ случилось ночью. Охватил гнев, взбудоражил кровь.

— Куда же они все исчезли, дуроплясы? Не по морям им плавать, а сидеть бы дома, как тараканы в щели.

Машинист, прищурившись, оглядел мутный горизонт, задернутый густой сетью дождя,— ни берега, ни одного дымка, ни паруса. Ветер налетал шквалами, то ослабевая, то усиливаясь, словно испытывая рост своих невидимых крыльев. Взъерошенная поверхность моря зыбилась, лохматилась пеной, покрывалась пузырями, точно пораженная оспой. Торопливо плыли тучи, потрясая, как нищие лохмотьями. И среди этой угрюмой пустыни беспомощно качался одинокий «Дельфин», лишенный силы и воли, ставший игрушкой волн.

Самохин вздохнул. Стало невыразимо тоскливо.

Он вернулся в каюту, опохмелился, закусил остатками вчерашней пищи. В голове стало яснее.

Спустился в машинное отделение, ни о чем не думая. Скорее по привычке, чем сознательно, осмотрелся кругом. Водомерная трубка была пустая, стрелка манометра, падая в течение ночи, теперь показывала всего лишь три фунта давления. Приложив ладонь к котлу, подержал ее некоторое время, с грустью ощущая уходящее, как жизнь из умирающего человека, тепло. Заглянул в топку — огонь, главный источник энергии, давно погас. В мертвой неподвижности застыла машина. Пахло смазочным маслом и ржавой сыростью.

Самохин закурил трубку и, несколько раз затянувшись, крепко задумался. Что он должен делать? Для него ничего не осталось, как только ждать счастливого случая. Может быть, приблизится какое-нибудь другое судно и выручит его из бедственного положения. Хуже будет, если «Дельфин» сам прибьется к тому или другому берегу. В таком случае можно рассчитывать на спасение только при хорошей погоде.

Он стоял без движения, придерживаясь одной рукой за машинную колонку. И в лице и во всей немного согнутой фигуре его была какая-то обреченность. Уныло склонилась голова, готовая принять последний удар. Все звуки, глухо доносившиеся до него, теперь воспринимались не так, как раньше, в другое время, когда исправно работала машина. Казалось, что море, ударяя в борта, заваливало судно волнами, как могильщик заваливает гроб землею, а в вентиляторах скучно завывал ветер, точно отпевал панихиду.

Машинист резко сплюнул и произнес с мрачной безнадежностью:

— Да, положение создалось дьявольски скверное!

Он еще раз покосился на паровой котел, на топку. Вдруг из глубины души всплыла мысль спастись другим путем,— всплыла маленькой искоркой и, разгораясь, ослепила солнцем. Серые глаза заблестели решимостью, толстомясое лицо просветлело. Он вздрогнул от радости. Правда, то, что пришло ему в голову, осуществить было невероятно трудно, но другого выхода не предвиделось. А всякая борьба, увлекая, пробуждала в нем настойчивость.

У Самохина сложился план точный и ясный. Спрятав в карман трубку, он бросился к топке, точно к давнему другу. Сначала нужно было выгрести из поддувала золу, а из топки — шлак. Все это он проделал в несколько минут. На судне не было дров, чтобы разжечь уголь. Чем их можно заменить? Подумав немного, машинист побежал в матросский кубрик. Под ударами топора две койки превратились в куски и щепы. Быстро зарядил топку. Осталось напитать котел, что можно было достигнуть только при помощи ручного насоса, находившегося тут же, в машинном отделении. Ухватившись за рычаг его, он с яростью принялся за новую работу. Целых полчаса пришлось напрягать мускульную силу и обливаться потом, пока в водомерной трубке не показалась вода. С радостью поджег дрова. Топка загудела огнем. Самохин работал дальше, охваченный приливом бешенства: заливал маслом подшипники, подтаскивал бункерный уголь ближе к топке, ощупывал механизмы. Брови его упрямо сломались, две глубокие борозды пересекли лоб. Он с нетерпением поглядывал на стрелку манометра — она постепенно передвигалась с меньшей цифры на бо̀льшую, показывая давление пара. Вокруг разливалось тепло — признак пробуждающейся жизни в корабле. Теперь беспокоило лишь одно: будет ли действовать машина после вчерашнего сотрясения?

Прошло около трех часов. Стрелка на манометре котла, продолжая подниматься, дошла до семидесяти фунтов. Наступила пора прогреть машину. Самохин постепенно начал открывать стопорный клапан и регулятор. Пар, врываясь в цилиндры, производил заглушенный хрипящий свист, ласкавший теперь слух лучше всякой музыки. В некоторых частях машины, насыщавшихся энергией, почувствовалась напряженность. Из цилиндров, пробиваясь сквозь сальники, показалась вода и заструилась по отполированным штокам. Чтобы избавиться от нее, Самохин открыл продувательные краны, сильно зашипевшие. В дальнейшем для питания котлов уже не было нужды в ручном насосе. Его заменял инжектор, действовавший при помощи пара.

Спустя некоторое время, когда давление в котле еще увеличилось, Самохин начал давать пробные обороты.

Наступил самый решительный момент. Спасение теперь зависело от исправности машины. Человек знал об этом, в тревоге замирало сердце, но он верил в свой успех. На одеревеневшем лице не дрогнул ни один мускул. В сильных руках завертелся маховик, перебрасывая кулисы на задний ход. А сам он, вытянув шею, ожидающе впился глазами в гребной вал, в его коленчатый кривошип. Последний тронулся с места и остановился. То же самое случилось, когда кулисы были перекинуты на передний ход. Еще раза два дергался кривошип, не делая полного оборота. На мгновение у Самохина потемнело в глазах. Он открыл добавочный впуск пара, и перед ним совершилось чудо: гребной вал медленно, в судорожных усилиях, начал вращаться. Но каждый следующий оборот его совершался легче и быстрее. Задвигались поршни в цилиндрах и, тяжко вздыхая, заворочалась вся машина, точно человек этот влил в нее струю горячей крови, вдохнул душу.

— Ага! — вырвался торжествующий возглас из груди Самохина.

Он увеличил ход, прислушиваясь, нет ли каких-либо перебоев в работающих частях механизма. Все шло гладко. Затем, закрыв стопорный клапан, громко крикнул:

— Машина готова!

По прежней привычке бросился к машинному телеграфу и передвинул стрелку на соответствующую черту, забыв, что на мостике никого нет.

Предстояла тяжелая и трудная работа. А машинист уже чувствовал себя голодным. Он отправился в капитанскую каюту, возбужденно радостный и уверенный в своей победе. Наполнил стакан спиртом и, прежде чем опрокинуть его в горло, взглянул на свое отражение в зеркале.

— Попутного ветра, капитан Самохин!

Наскоро закусил.

Сойдя вниз, пустил машину на малый ход. Сам побежал на мостик.

Дождь прекратился, ветер немного ослабел. Из прорыва туч на короткое время глянуло солнце, залило блеском вспененную ширь и спряталось надолго.

Самохин, испытав руль, нашел его в полной ис-

правности. И будто не голосом, а всем существом своим крикнул:

— Идет дело на лад!

Курс ему был известен. Он поставил пароход на мысленную линию, ведущую в свой порт. Потом закрепил концом руль, чтобы он стоял прямо.

Самохин снова очутился внизу. Он подшуровал в топке, подбросил новую порцию угля. Неизвестно было, сколько ему придется пробыть в море. Поэтому, чтобы сберечь топливо, он пустил машину на экономический ход. Теперь можно не заглядывать сюда около получаса, уделяя главное внимание компасу.

За ночь, пока судно болталось в море мертвым грузом, его отнесло волнами и ветром в сторону от пути, в более широкую часть моря. Самохин принял это во внимание и внес поправку в намеченный им курс. Когда-то ему приходилось плавать рулевым. Опыт прошлого пригодился. Он разбирался в компасе не хуже, чем в машине, и уверенно стоял у штурвала, держась за ручки его, широко расставив ноги, как настоящий рулевой. «Дельфин» качался, вздрагивал, но шел вперед ровным ходом, послушный в твердых руках моряка, как добрый конь. Бортовой ветер, усиливаясь, разбрасывал по волнам сизые клочья дыма.

— Так держать! — весело командовал самому себе Самохин.

— Есть так держать! — сейчас же ответил на свою команду, повысив голос.

И радостно было сознавать, что он управляет судном один, соединяя в себе рулевого, кочегара, механика и даже самого капитана. Иногда, отрываясь от компаса, он бросал взгляд на морской простор, залохматившийся тучами и зыбью. Хотелось петь, кричать. Пусть ярится ветер, пусть, бушуя, хлещут волны — не страшно, лишь бы не остановилась машина. Против огромнейшей силы, растрачивающей свою энергию вслепую, действовал маленький, но расчетливый мозг,—победа останется за человеком.

Самохин провел день в напряженной работе. Часто приходилось спускаться вниз, чтобы заправить топку, добавить воды в котел, ощупать подшипники машины, смазать их. Это значительно тормозило дело. Пока он

возился в машинном отделении, судно всегда сбивалось с курса, несмотря на то, что закрепленный руль стоял прямо. Но это его мало беспокоило. Так или иначе — он двигался вперед, а не стоял на месте.

К вечеру погода засвежела еще больше. Начинался шторм. Ветер, меняя направление, перешел в крутой бейдевинд, дул почти в лоб, точно хотел отбросить судно дальше в море. Навстречу, как бесконечные белые гурты скота, неслись волны. Нос парохода окутывался в облако пены и брызг. «Дельфин», черпая бортами воду, продолжал свой путь с упрямой настойчивостью.

Самохин стоял у руля, подавшись туловищем вперед, без кепки, весь мокрый от соленых брызг. Он настолько был возбужден, что не чувствовал холода. Пытливо поглядывал на запад. Медно-красными тучами горел закат. Встрепанное небо снижалось. Воздух мутнел. В этом было что-то зловещее. Надвигающаяся ночь угрожала бурей.

Машинист, оглянувшись в другую сторону, вдруг просиял, точно неожиданно достался ему большой выигрыш, и победно рявкнул:

— Вот они! Как я их раньше не заметил!

С левого траверза на горизонте обозначались паруса нескольких судов. Они передвигались приблизительно в том же направлении, в каком шел и «Дельфин». Самохин повернул пароход наперерез им. Спустя некоторое время можно было видеть их уже хорошо. Это оказались рыбачьи парусные лайбы, торопившиеся, очевидно, в порт, чтобы укрыться от бурной ночи. Встречный ветер заставлял их подвигаться вперед галсами.

Машинист, закрепив на время руль, первым делом поднял флаги «О» и «В», означавшие, что пароход терпит бедствие и просит немедленной помощи.

— Теперь не имеют права оставить меня так. Должны помочь. А если откажутся, возьму суда их на таран.

Самохин сбегал вниз, добавил угля в топку, машину пустил на полный ход.

Взявшись снова за руль, он крикнул, обращаясь к «Дельфину», точно к лучшему другу.

— Ну, родной, не подгадь напоследок!

«Дельфин», казалось, понимал его и, зарываясь в зыбь, падая с борта на борт, напрягал все силы, что-

бы сблизиться с парусниками. Он дрожал мелкой дрожью, пульсировал каждой своей частицей, как живое тело.

Это означало, что машина работала исправно.

На одной из лайб подняли ответный сигнал: «Ясно вижу». Все пять парусников повернули на помощь к «Дельфину».

Машиниста охватил неистовый азарт. Сердце горело, сжигая грудь, точно кусок раскаленного антрацита. В этот момент он был похож на безумца.

Тысячеголосым зверем зарычало море, хищно вздыбив на своей широкой спине пенные космы.

VIII

День принес всем облегчение. Правда, ветер не прекращался, по-прежнему хлестали волны, но для баржи пока никакой опасности не было. Она продолжала нестись по прихоти ветра, заменявшего ей буксир. Это было бегство вслепую.

На средине палубы, как два огромнейших продолговатых ящика, возвышались два люка, через которые трюмы наполняются грузом. Оба люка были закрыты толстыми деревянными досками, так называемыми лючинами, и затянуты новыми брезентами. Всё это основательно закреплялось задраечными бимсами и железными полосами.

Шкипер, осмотрев люки, нашел их в порядке.

Позади, в двух-трех милях, отставая, качалась другая баржа. Матрос Бабай, за неимением флажков, взяв в каждую руку по фуражке, просемафорил ей, спрашивая, как дела. Вскоре получил ответ:

«Пересчитайте хорошенько, сколько у капитана Огрызкина ребер. Сообщите об этом нам».

— Следует,— проворчал Бабай, надевая одну фуражку на голову, а другую возвращая матросу по принадлежности.

Когда глянуло солнце, определили, что ветер уносит баржи дальше в море. Это отчасти огорчило всех.

Кто-то заметил на горизонте верхушку мачты. С надеждой смотрели на нее, ожидая приближения судна. Но она все удалялась, опускалась ниже, точно утопая

в море. Никто на барже и не подозревал, что это был «Дельфин».

В кубрике, однако, не было уныния. Матросы не теряли надежды, что за день встретятся еще пароходы. Слышался говор и смех. Некоторые попеременно спали на нарах, сильно всхрапывая. Капитан, забившись в угол, дремал сидя. Иногда он неожиданно вскакивал и, очумело озираясь, спрашивал:

— Где это мы? Куда держим курс?

Матросы отвечали ему с хохотом:

— Об этом спросите у ветра. Он даст вам точный ответ.

Капитан удрученно опускался на свое место.

Елизавета Николаевна никогда в жизни не попадала в такую обстановку. В помещении много курили, отравляя легкие махорочным дымом. Всюду виднелась грязь. На чугунной круглой печке, прикрепленной к палубе, варилась похлебка со свиным салом. Было жарко. Пахло протухшим тряпьем, человеческим потом. На нарах, застланных соломенными матрацами, ползали паразиты. Все это вызывало чувство омерзения. Голова отупела, плохо соображала. Обессиленная от пережитых волнений, женщина пробовала заснуть и не могла. От непривычки все тело невероятно чесалось. Казалось, на ней столько насекомых, что через два-три дня она сделается ноздреватой, как греческая губка.

Капитанша выходила на верхнюю палубу, чтобы подышать свежим воздухом. Обдавало брызгами. Она пряталась от них за будку, защищавшую вход в кубрик, и уныло смотрела на завихренное море, на занавешенный грязными тучами горизонт. Раздраженно завывал ветер, нагоняя едкую тоску. Вспоминались первые встречи с капитаном Огрызкиным. Это было год тому назад. Она тогда очень бедствовала, голодала. А он, несмотря на невзрачную внешность, казался в своей морской форме не совсем обычным человеком. Больше всего придавала ему вид лихого моряка его фуражка с большим светлым козырьком, с золотым вензелем. Что-то романтическое было в этом. И только теперь узнала, насколько она обманулась. Ничего в нем не оказалось, кроме гадливой трусости.

Продрогнув, она спускалась вниз. С мужем не могла разговаривать. При одном взгляде на него судорогой сводило лицо.

Обедали по очереди: сначала команда с баржи, потом дельфиновцы,— так как имелось в наличности всего лишь четыре ложки. Похлебку черпали прямо из котелка. Только для капитанши шкипер сделал исключение, предложив ей свою эмалированную миску.

— Попробуйте нашей пищи,— сказал он с вежливой улыбкой.

Проголодавшаяся капитанша тоже улыбнулась и, принимая миску, ласково ответила:

— Спасибо.

— Пожалуйста. Вас, кажется, Елизаветой Николаевной зовут?

— Да.

— Меня — Федором Павловичем. Будем знакомы.

Капитанша поправила локоны, осмотрела свой костюм. Черные глаза ее впервые оживились.

Похлебку ела с аппетитом.

Матросы стали относиться к капитанше лучше, добрее. Первый заговорил с нею, вытирая рукавом куртки мокрые усы, Демьян Сухоруков, человек с солидной лысиной, за что прозвали его другие Босой Череп.

— Не думали, поди, что попадете к нам на баржу?

— Да, для меня это случилось совершенно неожиданно. Что же будет с нами дальше?

— Без приключений не обойтись. Это уж как пить дать. Море — это не суша. Даже на корабле сломайся в бурю один только руль — вот и готово: начнутся такие события, что самому дьяволу в ноги поклонишься, копыта будешь лобызать, только бы спастись. На корабле хоть шлюпки есть. А на барже что? Ничего.

— Куда же все-таки мы приплывем? — снова спросила капитанша, почувствовав озноб в груди.

— Куда-нибудь причалим на своем дредноуте,— ответил на это другой матрос с баржи, швабробородый Гусаков.

— Скорее всего за границу попадем,— вставил дельфиновец.

Машинист, усмехаясь, добавил:

— Вот будет лафа, у кого деньги есть,— покупай для жен иностранные подарки. И сами гульнем.

Кочегар Втулкин мрачно бросил:

— Как бы в брюхо акулы не попасть.

На него рассердились.

— Зря каркаешь, грач! Не на дереве сидишь.

Васька Бабай, только что развалившийся на нарах, привстал и поглядел на всех.

— Нет, товарищи, наше путешествие окончится как нельзя лучше,— заговорил он, ощерив прокопченные зубы.

К нему повернулись матросы.

— С богом или с дьяволом беседовал?

— Сон видел, когда еще на берегу был.

— Излагай по пунктам, а мы послушаем и свою резолюцию вынесем.

Бабай, придвинувшись к краю нар, шумно высморкался и начал:

— Мы вышли в море в среду, а во вторник вечером я был у приятеля на крестинах. Грузчиком он работает в порту. Самогоном угостил. Сказывал: из каких-то трав настойку сделал. Выпил я стаканчик-другой, и у меня получился в голове такой кавардак, что я не мог бы яичницы от колокольни отличить. Насилу до своей хаты дополз. Лег спать. Вижу сон. Будто я плыву на большом пароходе по Атлантическому океану. Буря поднялась небывалая. Ночь, ничего не видно. Мотало, мотало, и вдруг пароход наш —кувырк вверх килем! Я вылетел за борт, как пушинка. Оглядываюсь в темноте. Вижу: маяк вспыхивает. Я к нему. И руками и ногами работаю что есть моченьки. А волны так и бьют в лицо. Прямо дышать нельзя. Маяк все ближе и ближе. А я совсем ослаб. Вот-вот на дно пойду. Маяк уже рядом. Собрал я последние силы и облапил его. Чувствую — мягкий он и вырывается. Я крепче стискиваю руки. И тут слышу знакомый голос: «Что ты делаешь? Пусти, старый черт!» Очнулся я — неловко стало. Подо мною все мокро. Жена ругается: «Пьянчуга ты этакий! Как тебе не стыдно? Под себя напустил, точно маленький».

Голос Бабая утонул в прорвавшемся хохоте матросов.

Смеялся и шкипер, сдержанно улыбалась капитанша.

Только один Огрызкин равнодушно относился ко всему, занятый своими мрачными думами. Он отказался даже от пищи.

— После этого я так и не мог заснуть,— продолжал Бабай с серьезным видом.— Все слушал проповедь своей старухи. А как говорится, волк собаки не боится, а лая не любит. На рассвете встал и прямо на баржу залился. Вот я теперь и смекаю: пусть хоть какая буря будет, а мы должны остаться живы.

— Да, такой сон должен быть на руку нам,— отозвался один из матросов.

— А ну-ка, Бабай, смени пластинку. Заведи что-нибудь из другой оперы.

Шутили и смеялись долго. В дальнейшем пришлось задуматься над своей судьбой. До вечера не видели ни одного судна, ни одного маяка, ни берега. А между тем ветер, усиливаясь, переходил в шторм. Волны чаще и шумнее захлестывали палубу. Чтобы лучше удержаться на ней, шкипер распорядился протянуть леер от носа до кормы. Качка становилась размашистее. Баржа дергалась, вздрагивала и скрипела.

В кубрике Демьян Сухоруков и кочегар с «Дельфина» Антон Миронов сражались на картах в дурачки.

— Ходи, Босой Череп,— обращался кочегар к Сухорукову.

— Держи, господин с мыльного завода,— отвечал другой, выбрасывая на стол карты.

Проигравший подставлял нос, а тот, кто выходил победителем, свирепо хлестал по нем картами, отсчитывая вслух удары. Оба были сосредоточенные и серьезные, точно занятые важным делом.

Матрос Бабай, глядя на них, ворчал:

— Вы все карты мои истреплете.

— Если на том свете торгуют картами, мы тебе новую колоду купим,— хмуро отвечал Босой Череп.

— Насчет того света не болтай зря. А карты денег стоят.

— А ты все еще думаешь на берег попасть?

Отвернувшись от Бабая, он бросил на стол козырного валета.

— Крой, господин с мыльного завода.

Заперли вход в кубрик, чтобы не захлестывала вода.

В помещении стало еще более душно. Капитанша в последний раз вышла на палубу. Смеркалось. Весь простор был полон гула. Волны вздымались выше бортов, по-кошачьи, круто выгибая пенные хребты. Встрепанными полотнищами, снижаясь и темнея, куда-то мчались тучи. Все вокруг было в напряженном движении. Это наступала вместе с мраком ночи лютая буря, заглядывая в душу косоглазием.

Елизавета Николаевна, густо окропленная солеными брызгами, вздрогнула и спустилась обратно в кубрик.

В это время Босой Череп хлестал картами по носу своего партнера, считая:

— Двенадцать, тринадцать...

Один борт баржи вдруг взмахнулся вверх.

У кочегара цокнули челюсти.

— Ты кулаком? — вскочив, взбешенно заорал Миронов неестественным голосом.

— Я невзначай...— успел ответить Босой Череп.

В колеблющемся полумраке замелькали кулаки, обрушившись глухими ударами.

Все матросы поднялись, загалдели, выбрасывая отъявленную ругань.

Капитанша вскочила на нары, в ужасе прижалась спиною к переборке, замерла. Баржа качалась, под плоским днищем рокотала бездна, а здесь, в тесном и душном помещении, два человека бились смертным боем. Противники наносили удары один другому по чем попало. Потом схватились за горло, рухнули на палубу, катались по ней хрипящим клубком. Женщине казалось это кошмаром, порождением больного мозга. Но она определенно видела, как Васька Бабай прошмыгнул мимо матросов и бегом поднялся по трапу. Скоро он вернулся уже не один, а вместе со шкипером.

— Что за безобразие такое! Стойте! — заревел шкипер, заглушая крики других.

Он схватил обоих сцепившихся матросов, встряхнул их и, словно малых ребят, отшвырнул того и другого в разные стороны.

— Если еще раз посмеете затеять драку, сокрушу на месте!

Шкипер, взволнованно дыша, обвел всех взглядом кречета, уверенный в своих железных мускулах. Все

притихли, словно прислушиваясь к рыкающим вздохам бури. Двое молча вытирали свои окровавленные лица. Он повернулся к капитанше.

— Вам, Елизавета Николаевна, тяжело находиться в такой обстановке. Не хотите ли переселиться в мою каюту?

Женщина сверкнула пугливой улыбкой и, не задумываясь, ответила:

— Спасибо. Я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью.

Шкипер взял ее под руку, помогая подняться по трапу.

До сих пор капитан мысленно проклинал жену, считая, что из-за нее он потерял свое судно. А теперь, когда увидел, что она пошла с чужим человеком в чужую каюту, испуганно поднял глаза. Он рванулся вперед, точно намереваясь догнать ее, вернуть обратно, но тут же, будто поняв свое бессилие, опять уселся в свой угол. А когда обе фигуры скрылись, он злобно плюнул и то место на палубе, куда попал плевок, долго растирал ногой, точно под подошвой у него находилось что-то живое и ядовитое.

IX

Когда шкипер и капитанша поднялись на палубу, наступила уже ночь. Ветер неистово заревел в уши. Ошалело шарахнулась тьма, скрывая небо и море. Только вокруг баржи, поднимаясь и мгновенно исчезая, смутно белели пенные гребни, взметывались снежными сугробами. Нужно было пробраться на корму. Баржа, по-видимому, неслась вперед носом. Шагая против ветра, шкипер держался за протянутый леер и в то же время поддерживал женщину, до боли сжимая руку выше локтя. Оба низко согнулись, сбиваемые бушующими потоками воздуха. Передвигались медленно, с усилием преодолевая каждый аршин расстояния, точно завоевывая неприятельскую территорию. Капитанша впервые испытывала такую бурю и, ожидая, что сейчас будет сброшена за борт, чувствовала себя подавленной.

Мрак, словно когтистыми лапами, колюче бил в лицо брызгами. Казалось, весь мир превратился в один кипящий котел, плотно закрытый чугунным куполом.

Наконец спустились в каюту, расположенную на дне баржи. После кромешной тьмы так радостно ударил свет в глаза. Рев бури сразу стал заглушеннее.

Оба уселись на табуретки за столик, приделанный к переборке.

Елизавета Николаевна вздрагивала, дышала взволнованно, бледная и растерянная. С юбки ее стекала вода. Широко открытые глаза, блуждая, осматривали помещение, чисто убранное, непохожее на матросский кубрик. Переборку против стола украшали дешевые картины. В одном углу была полка с книгами. Кровать, сделанная из простых досок, с небольшим бортом по краю, манила усталое тело чистым одеялом и белой подушкой.

Опомнившись, Елизавета Николаевна возбужденно заговорила:

— Как у вас здесь чисто и хорошо!

— Это от самого себя зависит,— ответил шкипер, пытливо взглянув на нее.

— А там, в матросском помещении,— ужас, ужас! И зачем они так дрались? Я думала, что кончится убийством.

— Другие ребята не допустили бы до этого. А мордобитие — это обычная история среди матросов. Но они зато скоро мирятся. Эти два врага, наверное, уже опять играют в карты.

— Я первый раз в жизни увидела драку так близко. Страшно показалось. И вообще там такая обстановка, что можно с ума сойти.

— Я давно хотел предложить вам переселиться в мою каюту.

— И что же?

— Думал, вы откажетесь.

— Наоборот. Я так благодарна вам.

Баржа качалась, валилась набок.

Женщина дергалась, придерживаясь за край стола. Черные глаза ее то наливались жутью, то ласково смотрели на здоровое лицо мужчины.

— Раньше я не представляла себе такую ужасную бурю. Это какой-то кошмар. Хорошо, что я не страдаю морской болезнью. Я бы давно умерла. Когда же это все кончится?

— Пока что буря только усиливается.

— Что же будет с нами дальше?

Шкипер нахмурился и ответил не сразу:

— Об этом ничего нельзя сказать. Может быть, баржа наша выбросится на мель, на ровную песчаную мель. Это будет хорошо. Но можем носиться в море несколько дней, пока не затихнет буря. Тогда какое-нибудь судно подберет нас. Это тоже будет неплохо. Но может и другое быть...

Капитанша смело взглянула ему в глаза.

— Не бойтесь меня испугать. Говорите откровенно.

— В море есть рифы, есть утесы, каменные берега. Это все враги наши. Да и без того нашей посудине трудно будет выдержать такую встряску.

Женщина храбрилась, но то, что она услышала, свинцовой тяжестью сдавило грудь. Несмолкаемый шум бури рождал безнадежность.

Шкипер добавил с озлоблением:

— Это все ваш муж натворил! Благодаря его глупости мы повисли над бездной.

Елизавета Николаевна вскочила, точно уколотая иглой. Шатаясь, она одной рукой держалась за стол, а другой ухватилась за лоб. Лицо побледнело, исказилось.

— Я прошу, умоляю вас, не говорите мне больше о муже.

— Почему? — недоумевая, сурово спросил шкипер.

Она раздраженно выкрикивала:

— Я не могу слышать о нем! Он мне противен! Я только теперь поняла, какое это безвольное, глупое и трусливое существо. Кончено! Если только останусь жива, он меня больше не увидит.

Тяжело опустилась на табуретку.

Оба долго молчали, слушая дикий рев беспредельных просторов.

Баржа металась, как сумасшедшая, взлетая на гребни, проваливаясь в пустоту. На палубу будто обрушивались горы. Борта вздрагивали от толчков. При каждом взмахе большой волны крепкая дверь, закрывавшая вход в каюту, трещала и готова была сорваться с петель. Сквозь щели ее внутрь помещения просачивалась вода, разливаясь по палубе.

— Ложитесь на мою кровать и отдохните,— предложил шкипер.

— Да, я так устала. А как же вы?

— Я посижу. А потом, когда вы выспитесь, я поваляюсь.

— Хорошо.

Она направилась к кровати, но в этот момент получился сильный крен. Капитанша, словно с крутой и скользкой горы, полетела в противоположную сторону, нелепо размахивая руками. Шкипер подхватил ее, подвел к постели и остановился, балансируя на крепких ногах. Сильная рука, обхватившая ее талию, вздрагивала. Женщина испуганно взглянула на него. Он дышал порывисто, точно ему не хватало воздуха. Лицо с тяжелыми челюстями налилось кровью, глаза помутились. Скорее инстинктом, чем разумом, она поняла его намерения.

— Вы что хотите?

Он ответил глухо:

— Все равно нам умирать...

Капитанша отшатнулась от него, но вырваться не могла. В момент обескровившееся лицо оскалилось, показывая белые, как фарфор, зубы. Заговорила металлически-холодным голосом:

— Я женщина. Я слабее вас. Вам, такому здоровому мужчине, ничего не стоит изнасиловать меня. Кстати, здесь никто не услышит, никто не придет на помощь ко мне. Вы ведь только за этим пригласили меня в каюту? Говорите правду...

Елизавета Николаевна, не сводя со шкипера сверлящего взгляда, оторвала от своего жакета пуговицу и зачем-то положила ее в карман. Потом принялась за другую. Проделывала она это с таким ожесточением, точно в пуговицах заключалось главное зло.

Он сразу остыл и, отпуская женщину, прохрипел:

— Нет, не за этим. Вас никто пальцем не тронет. Можете быть спокойны.

На жакете не осталось ни одной пуговицы.

Он отошел, остановился у стола, растерянный, с каменным лицом.

Капитанша, не сознавая, что делает, полезла на кровать, точно на свою собственную, уткнулась в подушку

и, не обращая внимания на присутствие мужчины, громко и мучительно застонала.

Шкипер надел плащ, убавил зачем-то свет в лампе и пошел в матросский кубрик.

X

Уже полночь прошла, а капитанша, истерзанная физически и духовно, продолжала спать мертвым сном, не слыша бури, не ощущая встряски баржи. Тело ее покачивалось в постели, как труп. Она давно бы свалилась на пол, если бы не удерживал ее борт кровати.

Нечто в рыжей пушистой шерсти, что спало под кроватью в особом ящике, вылезло из своего гнезда и вскочило на постель. Потом, приблизившись к подушке, начало всматриваться в незнакомое лицо женщины. По лицу ползали тени. Протянулась лохматая лапа, чтобы поймать тень.

Женщина вздрогнула, почувствовала, что по щеке ее царапнули. Подняла ресницы и ужаснулась. Близко, почти прикасаясь к ее лицу, обозначилась звериная морда, шевеля редкими усами. Черные круглые зрачки в зеленых ободках хищно впились в глаза капитанши, как будто хотели проникнуть в глубь души. За пределами качающегося помещения слышался рев, грохот, глухие удары. Все вздрагивало, словно от подземных толчков. Капитанша не могла пошевелиться. Хотела крикнуть, но легкие будто остались без воздуха, опустели. Она ничего не соображала. Что это за видение перед нею? Лев, тигр, пантера или другой какой зверь? А может быть, это только бред? Все это продолжалось несколько секунд, пока не рванулась с большой силой баржа. Мрачное видение исчезло. Капитанша крикнула не своим голосом.

Приподнялась на руках, дико озираясь. В ногах своих увидела знакомого рыжего кота. Откуда он взялся? Где он был раньше? Быстрым взглядом окинула всю каюту. На полу, передвигаясь, гремели свалившиеся табуретки и плескалась вода. Шкипера не было. Куда он исчез? Может быть, давно погиб, может быть, и все давно пропали и она осталась одна? Баржа, содрогаясь, неслась по безбрежному простору, неслась в бушующую беспредельность. Страх выжимал из тела холодный пот. Одиночество стало невыносимым. Захотелось взгля-

нуть, что делается наверху. Опираясь на переборку, она кое-как дошла до трапа и поднялась по ступеням. Дверь оказалась настолько крепко прихлопнутой, что пришлось колотить по ней коленом. И вдруг ветер вырвал из рук дверную скобу, с ревом ворвался в каюту, погасил огонь. Вслед за этим капитанша почувствовала удар холодной волны. Вместе с водой рухнула по трапу вниз, как в черную яму. Боли не было. Только в голове загуделo, точно над нею, громыхая, проносился курьерский поезд. Сознание терялось. Привстала и, откашливаясь от горечи, безнадежно оглянулась в ревущей тьме. Казалось, что проваливается вместе с баржей в бурлящую бездну и что над нею уже сомкнулось вздыбившееся море. Животный страх подавил рассудок. Осталась лишь одна короткая и четкая мысль, застрявшая в мозгу, как огненное жало,— смерть! Это она вырвала из груди женщины дикий вопль.

— Помогите... Помогите...

Новая волна с шумом вкатилась в каюту, обрушилась на голову стопудовой тяжестью, придавила все тело. Что-то ворвалось в легкие, оборвав крик. Капитанша хотела вскочить, но тут же куда-то покатилась, захлебываясь и барахтаясь в воде. Ударилась о переборку. Потом полетела обратно. Неистово шумела буря, жалобно мяукал кот, почувствовавший близость гибели, прерывисто кричала женщина, как только горло ее освобождалось от противной горько-соленой влаги:

— Погибаю... Спасите...

Голова помутилась. Казалось, будто разъяренная толпа людей набросилась на капитаншу, поднимала ее и бросала, швыряла ногами от одних к другим, как мяч, хрипя и задыхаясь в злобе. Ослепленная мраком, женщина, опрокидываясь, шарахалась из стороны в сторону вместе с табуретками, с рычащей водой до тех пор, пока не ухватилась за трап. Никто ей больше не поможет. Во что бы то ни стало нужно защищаться самой. В противном случае помещение наполнится водой и тогда — холодные объятия смерти. Собрав всю силу воли, капитанша, обдаваемая волнами, опять поднялась по трапу, чтобы закрыть вход в каюту. Долго не поддавалась дверь, вырываемая ветром. Но отчаяние сделало руки женщины необыкновенно сильными. Стиснув зубы,

она ухватилась за скобу и тянула ее на себя с таким упорством, что готова была порвать сухожилия. Наконец справилась со своей задачей: дверь захлопнулась. Капитанша спустилась вниз, постояла с минуту около трапа, держась за ступени его. Сознание едва работало. В стороне мяукал кот. Там должна быть кровать. С трудом добралась до кровати, залезла на нее, прижалась в угол и оцепенела. Кот, приблизившись к ней, перестал кричать. Если бы можно было зажечь огонь! Она не знала, где лежат спички. В каюте, разливаясь, зловеще плескалась вода. Наверху буйствовали волны. Иногда казалось, что баржа попала под водопад и уходила вглубь.

Каюта теперь напоминала закупоренный ящик, брошенный по чьей-то злой воле в морскую стихию. В абсолютной темноте, в реве осатанелых вод, в провалах и взлетах женщина ждала конца.

И вдруг в каюту ворвался шум, как будто открылась дверь. Это продолжалось несколько секунд. Опять звуки стали заглушенные. Еще через момент по воде зашлепали чьи-то ноги. Капитанша испуганно приподнялась и громко спросила:

— Это вы, Федор Павлович?

— Да, что случилось?

— Подите сюда! Скорее! Боже мой, какой кошмар!

Когда шкипер нащупал Елизавету Николаевну, вокруг его шеи крепко захлестнулись мокрые дрожащие руки. Она прижималась к нему и, обезумев, говорила:

— Федор Павлович! Не уходите от меня. Умоляю вас, дорогой, не уходите! Я, вероятно, с ума сошла. Вместе погибнем...

Шкипер понял ее слова, как призыв женщины. Дрогнули мускулы. Он схватил ее, смял в своих богатырских руках, своими губами впился в ее губы. Капитанша, ослабевшая, почти лишенная рассудка, не сопротивлялась, боясь лишь одного, чтобы опять не остаться в одиночестве. Все тело будто пронизало электрическим током. Стало душно и жарко. А он, распаленный и взбудораженный, распоряжался ее платьем, как хозяин.

Клокотала пучина, плясала баржа. В борта, захлебываясь и фыркая, бухали волны, точно оравы морских чудовищ лезли на палубу с лошадиным ржанием, со стоном, с бесшабашным уханьем.

XI

«Дельфин», вырвавшись из лохматых лап бури, вошел в свою гавань часов в десять утра. Качка прекратилась, сразу стало тихо. Словно обрадовавшись, что опасность миновала, пароход загудел высоким тенором. На руле стоял плотный конопатый рыбак в клеенчатой куртке — тот, что накануне с трудом перебрался сюда с парусника. А Самохин все время находился в машинном отделении. Какую энергию ему пришлось проявить, когда судно моталось на вспененных хребтах моря,— об этом знают только паровой котел и машина, железные помощники его.

Кое-как пристали к стенке, пришвартовались.

Машинист, поблескивая возбужденными глазами, пожал руку человека в клеенчатой куртке.

— Спасибо, товарищ, за помощь. Без тебя пришлось бы долго трепаться в море. Буря, кажется, хочет целую неделю куролесить. А теперь уважь еще одну просьбу: сбегай в пароходную контору и доложи там о прибытии судна.

— Это я враз наверну,— ответил рыбак и направился к сходням.

Самохин остался сторожить судовое имущество. Он был весь мокрый от пота, грязный и чувствовал себя усталым. Целые сутки ему пришлось провести без отдыха в напряженной работе. Хотелось скорее сдать «Дельфина», а затем отправиться домой, повидаться с Анютой и завалиться спать.

Над гаванью с воем проносился ветер, поворачивал пришвартованные к бочкам суда и трепал флаги. Якорные канаты скрежетали железом. Опрокидывались серые тучи, разрывались на части. Со стороны моря доносился такой шум, точно там, среди вздувающихся водяных холмов, галопом мчалась кавалерия, передвигались, громыхая, бесчисленные обозы.

Машинист уныло улыбался

— Крепок ты, «Дельфин», даром что маленький. Выдержал...

Через час на пароход нагрянули милиционеры, директор пароходства, инспектор, вернулся обратно и рыбак. Начальство было взволновано небывалым случаем.

Машиниста сразу взяли под подозрение и смотрели на него, таращa глаза, как на страшного преступника. Первый обратился к нему директор, сытый и гладко выбритый, придерживая от ветра одной рукой котелок на голове, а другой — пенсне перед глазами.

— Где капитан? Где остальная команда? Где баржи?

Говорил он торопливо и, казалось, ждал такого же торопливого ответа.

— Не знаю.

Директор пожал плечами.

— Что за нелепый ответ! Кто же тогда, по-вашему, знает?

— Никто, кроме бога, если только он на старости не ослеп.

— Вот это номер! — воскликнул директор и тяжело задышал.

— Тут, товарищ директор, не один, а несколько номеров.

Самохина позвали в капитанскую каюту на допрос. Давая показания, он ничего не скрывал, рассказал, как выругал капитаншу, как пьянствовал ночью, оставшись на судне один. Начальник милиции, составляя протокол, усердно скрипел самопишущим пером. Потом тщательно осматривали судно. Ни крови, никаких других следов преступления не нашли. Заметили только, что конец буксирного каната, по-видимому, отрезан ножом. Снова обратились к машинисту:

— Кто это сделал?

— Не знаю. А только думаю, что капитан и остальные люди пересели на баржу. Кто-нибудь из них и перерезал канат.

Допрашивали и рыбака. Он подтвердил только то, что уже было известно из показания машиниста: как парусник встретился с «Дельфином», как он пересел на последний и как трудно было управлять пароходом в такую скверную погоду. Ничего нового от него не узнали.

Начальство было в недоумении. Оставшись в каюте одни, долго совещались. А когда вышли на палубу, Самохин сказал:

— Товарищ директор! Разрешите мне домой пойти. А то я очень устал. Отдохнуть надо.

— Отдохните в матросском кубрике,— последовал ответ.— И чтобы вы могли спать спокойно, вас будут охранять два милиционера.

Самохину это не понравилось. Закипело в груди, с языка готовы были сорваться крепкие слова, но он удержался. Спросил только:

— Это, гражданин директор, за то, что я вам спас пароход? Так надо понимать?

— Об этом мы поговорим потом.

Машинист, оставшись на судне с охраной, встревожился: он не ожидал, что дело примет такой оборот.

В вентиляциях матросского кубрика тоскливо выл ветер.

XII

День был сумеречный, день был похож на вечер. Буря, сожрав солнце, продолжала неуемно буйствовать. Иногда на короткое время она будто затихала, чтобы сейчас же разразиться еще с большей силой. Воздух был настолько упругим, что сгибал человека в дугу и взрывал море словно огромнейшими железными заступами. Клокоча пеной, катились водяные глыбы величиною с трехэтажное здание. Гудела высь, клубясь тучами, похожими на кипящий клейстер, хрипло рычали, разверзаясь, пучины.

В одиночестве металась баржа, ставшая, как это ни странно, пленницей простора. Руль у нее оказался оторванным. Кто-нибудь из матросов выходил на палубу и, держась обеими руками за леер, оглядывал горизонт. Хотелось увидеть хоть что-нибудь обнадеживающее. Но кругом было пустынно и мрачно. Вторая баржа, которая еще накануне к вечеру отстала и чуть была видна, теперь исчезла совсем. Другие суда не попадались. Только раз вдали заметили какой-то пароход. Он то скрывался между волнами, точно проваливаясь в глубину, то взметывался на гребни, как будто его поднимали над морем горбатые спины чудовищ. С надеждой всматривались в него, семафорили, ожидая поворота к себе, но он все уменьшался, пока не скрылся за горизонтом.

Шкипер тоже показывался на палубе. Потом спускался вниз, в свою каюту, нахмурив лицо.

— Ну, что? — нетерпеливо спрашивала его Елизавета Николаевна, спасаясь от воды на кровати.

Он безнадежно отмахивался рукой.

— Ничего не видно.

Капитанша в отчаянии восклицала:

— Когда же конец будет этой проклятой буре!

— Да, осатанела совсем.

Шкипер, шлепая по воде, приближался к Елизавете Николаевне. Каждая минута грозила им катастрофой, и это толкало их в объятия друг друга. Опять начинались ненасытные поцелуи. Это все, что осталось для них в жизни, это все, чем могли заглушить предсмертную тоску. Загораясь близостью мужчины, она ласкалась и говорила:

— Только бы попасть на землю! Я не расстанусь с тобою.

Она возбуждала в нем необычайный интерес к себе не только своей свежей миловидностью, но еще и тем, что она была женой капитана и спустилась к нему, простому баржевому старшине, из другого мира, раньше недоступного. Прижимая ее к груди, он отвечал ей с некоторой театральностью:

— Никто, кроме смерти, не вырвет тебя из моих рук! Нас обвенчала буря, нас скрепила бездна!

При каждом крене баржи в каюте шумно переливалась вода. От нее нельзя было избавиться. Стоило только открыть дверь, новые волны захлестывали в помещение.

После обеда шкиперу доложили, что виден берег. Он поднялся на палубу и сквозь брызги долго всматривался в сторону, в чуть заметную полосу земли. Трудно было выяснить, острова это или материк. Баржа неслась вдоль берега. А дальше опять ничего не было видно, кроме взлохмаченного моря и падающих к горизонту скомканных туч. Шкипер распорядился отдать якорь, надеясь продержаться здесь, пока не затихнет буря, а потом как-нибудь добраться до суши. Пройдя на нос, он сам взялся за работу; ему помогали двое матросов. Море накрывало их волнами, угрожая смыть за борт. Людей спасало только то, что каждый из них был привязан концом веревки, закрепленной за кнехт. Возились

много, прежде чем якорь бухнулся в воду. Канат вытравили весь.

Баржа, гремя железной цепью, поднималась на дыбы, дергалась и рвалась, как одичалая кобылица на аркане.

Так продолжалось до вечера. Наступила тягостная тьма, усиливая безнадежность в душе. Небо и море исчезли. Мир казался раздробленным в брызги. Канат наконец не выдержал — с треском оборвался у самого шпиля. Баржа снова ринулась в бесконечность, окутанная хохочущим мраком.

XIII

Еще день пришел на смену ночи. Погода не улучшалась. Над баржей по-прежнему вздымались мутно-зеленые стены, обрушиваясь на палубу пенно-белыми обвалами, разливаясь бурлящими потоками.

В матросском кубрике воды было выше колен.

С глухим рокотом она переливалась из стороны в сторону. Люди спасались от нее на нарах и на ступенях трапа. Все промокли до последней нитки, все дрожали от стужи. Никто уже больше не думал о пище. Ночь, проведенная без сна, в постоянном ожидании гибели, измочалила нервы, притупила чувства. Смотрели друг на друга, как паралитики после припадка, словно не понимая, где они и куда, к каким безумствам несет их буря в этой грязной посудине. Иногда, обессилев, кто-нибудь срывался со ступенек трапа и падал вниз, в мутную воду, как мешок, набитый хлебом. Его подхватывали другие, спасали. Это смерть играла с людьми, терзая их длительной пыткой, страшно мучительной, не оставляющей никакой надежды на спасение. Только Васька Бабай, примостившийся на нарах, не падал духом. Он верил в свой спасительный сон и пробовал даже шутить:

— Ну и рейс достался нам! Кажись, прямо в кругосветное путешествие махнули.

Рядом с ним, прижавшись к стене, сидел капитан Огрызкин, представлявший теперь жалкое полуживое существо. Нижняя челюсть его отвисла, голова качалась,

точно неживая, угрястое лицо осунулось, стало мертвенно-сизым.

Васька Бабай, обращаясь к нему, язвил:

— Вот что ты сделал с людьми, якорной лапой тебя в печень! Эх ты, убогий капитан! Не мать, видно, тебя родила, а какая-нибудь тетка.

Огрызкин молчал.

Васька Бабай дернул его за рукав.

— Счастье твое, что шкипер жену у тебя отбил. А то бы из тебя все внутренности выпотрошили и чучело набили.

Капитан поднял голову, уставился на старого матроса долгим непонимающим взглядом, точно соображая что-то. Потом, заколотившись, стуча себя в грудь кулаком, заорал неестественным визгливым голосом:

— Что вы издеваетесь надо мной! Режьте меня, душите! Вот я! Разорвите меня на части! Слышите? Выбросьте меня за борт! Слышите?..

— На черта ты нам сдался! Ты и без того сдохнешь.

Ночью буря стала ослабевать.

Шкипер и капитанша, разговаривая, сидели на кровати, когда в каюту вдруг ворвался шум моря и сразу же заглох. На момент замигала лампа. По трапу спускались чьи-то шаги. Шкипер соскочил с кровати.

У стола остановились два матроса из команды «Дельфина»: рулевой и кочегар, два ночных призрака. Первый был бледен, точно вымокший в морской соленой воде, второй посинел, как удавленник, бессмысленно выпучив глаза. Балансируя, молча посмотрели на шкипера, потом на капитаншу, укутанную в непромокаемый плащ.

— В чем дело? — настораживаясь, спросил шкипер.

Матросы загадочно переглянулись между собою.

Шкипер повысил голос, точно перед ним стояли глухие.

— Я спрашиваю вас: в чем дело?

Капитанша почувствовала, что затевается что-то недоброе.

Рулевой первый заговорил прыгающими губами:

— Да мы так... У вас тут просторно. А в кубрике тесно. Да, вот оно как. А в общем, нам надоело ждать смерти.

Кочегар, набравшись, храбрости, заговорил смелее:

— Теперь, товарищ шкипер, все люди равные. Это не то, что раньше было: один человек завладеет всем — и шабаш. Не подходи к нему...

— Дальше! — сурово глядя на пришедших, подстегивал их шкипер.

Матросы, наглея, продолжали наперебой:

— Если по совести рассудить, вам бы следовало в кубрик пойти.

— Верно. А мы на часок-другой здесь останемся. Потом обратно вернетесь. Мы — чтобы без обиды...

У капитанши кожа на затылке стянулась, причиняя боль в корнях волос.

Шкипер неестественно усмехнулся и заговорил, как бы шутя:

— А-а! Вот в чем дело! Теперь я понимаю. Вам хочется остаться с моей женой?

Матросы опять переглянулись, хмыкнули, дернув плечами:

— С женой! Это можно назвать всякую...

Шкипер, подняв предупреждающе руку, рявкнул:

— Подождите!

Он подошел ближе к ним и заговорил редко, с расстановкой, точно диктовал телеграмму:

— Если кто из вас посмеет сказать в присутствии этой женщины хоть одно похабное слово, тому человеку я вырву язык и пришью к пятке. А теперь продолжайте.

Широко расставив ноги и пошатываясь в такт крена, шкипер стоял с сжатыми кулаками, готовый каждое мгновение вступить в бой. Стиснулись тяжелые челюсти, словно что-то хотели раздавить на зубах, а широкие ноздри вздрагивали. Матросы, почуяв несокрушимую силу противника, его решимость, застыли на месте. Капитанша испуганно втянула в плечи голову, пронизанную страшной мыслью о крови и насилии. У всех заострились зрачки, а на лицах было такое выражение, какое бывает у людей в ожидании выстрела из самой большой пушки. Положение создалось невыносимо тягостное: кто-то должен начать, и тогда в этом качающемся над бездной помещении, под грохот бури произойдет что-то нелепое и отвратительное. Только рыжий кот был спокоен. Вонзив для крепости когти в постель,

он равнодушно переводил взгляд с одного человека на другого и, может быть, мысленно посмеивался над их глупостью.

Кочегар, теряя равновесие на уходящей из-под ног палубе, вдруг рванулся вперед и налетел на шкипера. В ту же секунду ударом кулака в грудь, пущенным только вполсилы, без размаха, он был отброшен к стенке и шлепнулся в воду. Едва поднялся и, согнувшись, как тяжко больной, направился к трапу.

— Ну, а вам что угодно? — обратился шкипер к рулевому.

Тот, оглядываясь, попятился назад, залепетал:

— Мы ничего... Мы... я... Это все Яшка подбивал. В кубрике, говорит, тесно. Остальное меня не касается...

А когда поднялся по трапу, сверху уже крикнул:

— Мы придем к вам, товарищ шкипер, всей артелью!

— Милости просим! Я вас всех заставлю рылом воду бороздить!

Громко захлопнулась дверь.

— Что ж теперь будет? — с болью спросила капитанша.

— Ничего не будет.

Он подошел к кровати.

Женщина схватила его за руку и, словно ища в ней защиту, прижала к груди.

— Мне страшно, Федор Павлович! Я не могу понять — неужели это все действительность, а не бред? Ведь я отправилась на пароходе только прогуляться, подышать морским воздухом. А попала в какую-то нелепую карусель. Одна неожиданность ужаснее другой. Мне кажется, матросы опять придут, все придут. Разве ты не видел, что они уже близки к помешательству?..

Шкипер был спокоен, как вол после тяжелой работы.

— Не волнуйся. Никто не посмеет явиться сюда. И не все матросы такие.

Он погладил ее по лицу шершавой ладонью.

— Я когда-то охотился в Сибири,— заговорил он задушевным голосом, искренне, однако и на этот раз не мог обойтись без некоторой рисовки, ибо перед ним была красивая женщина.— Там водятся белые куропатки, любимая дичь для господского стола. Весною эти птицы постепенно меняют свой наряд в серый цвет. Только

у самки это происходит быстрее, чем у самца. На серой земле она сидит на яйцах, незаметная для других. А он в это время все еще продолжает оставаться в зимнем оперении. Поодаль сторожит свою подругу, белый, точно ком снега, и отвлекает от нее всех врагов. Таким образом, все удары судьбы принимает только на свою голову. Вот у кого нам, мужчинам, надо поучиться.

— Это удивительно красиво! — с восторгом отозвалась капитанша, глядя на шкипера.— Неужели это верно?

Шкипер ничего не ответил. Он молча пошарил под кроватью, в плескавшейся воде, достал большой колун и положил его под матрац.

У капитанши в жутком изумлении поднялись черные брови. В это время она не знала, что страшнее — бездна моря или бездна человеческой души?

В лохматой и ревущей тьме, в черных потоках воды и воздуха, продолжая содрогаться, мчалась баржа. Куда? Быть может, к медленному провалу, а может быть, к катастрофе, чтобы свой треск смешать с последним криком этих людей.

XIV

Самохин проспал в кубрике до позднего утра.

Буря свирепствовала с прежней силой. Суда в море не выходили, отстаиваясь в гавани. Весь простор затянулся мглой. По набережной летала пыль, кружился мусор, запорашивая людям глаза. Ветер дул теперь с моря. Громаднейшие волны лезли на деревянную преграду, точно хотели заглянуть внутрь гавани.

В обед на «Дельфин» явился следователь, держа под мышкой толстый, словно беременный, портфель. Это был высокий человек в черном трикотовом френче, в блестящих хромовых сапогах бутылками. Узкий в плечах, он ниже бедер неестественно топорщился штанами-галифе. Нежное, как у девушки, лицо румянилось, тонкие бритые губы улыбались.

— Фу, какая скверная погода!

В капитанской каюте, куда позвали машиниста, он, раскладывая на столе бумаги, заговорил мягко:

— Ну-с, товарищ Самохин, приступим к делу. Садитесь на диван, устраивайтесь поудобнее.

Потом началось обычное: где родился, когда, где служил раньше. Вся эта канитель раздражала Самохина, но он решил крепиться и, отвечая, лишь хмурил брови. В дальнейшем пришлось повторить то же самое, что уже рассказывал начальнику милиции.

Следователь, задавая вопросы, говорил тихо и ласково, не повышая голоса, но в круглых глазах его было что-то подстерегающее.

— Трудно допустить, дружище, чтобы вы не знали, куда исчезли с парохода люди.

— На вахте я был в машине. Как же я мог видеть, что делается на верхней палубе?

— Ну хоть крики какие слышали?

— Да, слышал. Только ничего не мог разобрать: погода была плохая, судно билось о камни, а притом еще световые люки над машинным отделением были закрыты.

Следователь не отставал:

— Скажите, товарищ Самохин, какое это у вас недоразумение произошло недавно в трактире с тремя матросами?

Машинист немного удивился, что ему задают такой вопрос.

— Никакого недоразумения не было: просто я им морды побил.

— За что?

— По пьяной лавочке. Они первые начали.

Следователь посмотрел на крепкую фигуру машиниста, на его длинные, как у обезьяны, руки с толстыми узловатыми пальцами. Мысленно он уже торжествовал, что сейчас поймает преступника.

— Значит, вы настолько сильный, что могли справиться один с тремя матросами?

Машинист, теряя терпение, в свою очередь, спросил:

— А для чего это вам нужно знать об этом? Разве борьбу хотите со мной устроить или на кулачки побиться?

Следователь сделал строгое лицо.

— Я бы вам советовал отвечать вежливее, а не прикидываться дурачком. И еще советую — принять во внимание, что суд бывает всегда милостив к тем, кто

чистосердечно раскаивается в своих преступлениях. Я полагаю, что вы все-таки раскроете мне тайну об исчезновении людей.

— Я все сказал. Могу прибавить насчет вашего совета.

Следователь насторожился.

— Я вас слушаю, гражданин Самохин.

Машинист заговорил сдавленным голосом:

— Бывали у нас на Руси всякие советники: титулярные, тайные, действительные тайные. А теперь, оказывается, мы и без них хорошо можем обходиться.

У следователя покраснели уши.

— Как видно, вы тертый калач.

— Да, и тертый, и мятый, и битый, и всеми собаками травленный.

— Мне с вами трудно разговаривать.

— Я бы на вашем месте давно бросил эту канитель. Какой толк? В четыре ноздри нюхайте и все равно никакого преступления с моей стороны не найдете.

Помолчали, подкарауливая один другого враждебными взглядами.

— Хорошо! — заволновался следователь.— В последний раз я с вами говорю. Допускаю, что судно село на камни и стало разбиваться, как явствует из вашего показания. Будь я на вашем месте...

Машинист наконец не выдержал и грубо перебил:

— Что? На моем месте? После этого вам пришлось бы дня три свои галифе полоскать.

Следователь закричал:

— Вы не только преступник, но и хам еще при этом!

— Тем же концом и вас, господин хороший!

Следователь, дрожа от ярости, быстро сложил бумаги в портфель и, словно от пожара, выскочил из каюты.

На палубе с ним встретился поджидавший его директор.

— Ну что? — спросил он.

— Невозможный человек! — загорячился следователь.— Наговорил мне дерзостей. Таких нахалов я еще ни разу не встречал в своей практике.

— Не признался?

— Подобные типы никогда не признаются. Самохин — хитрый и злой человек, способный совершить са-

мое чудовищное преступление, и я нисколько не сомневаюсь, что он является виновником в этом загадочном и темном деле, как исчезновение людей с парохода. Придется подвергнуть его предварительному заключению.

— Знаете что, товарищ следователь? Попробую я с ним еще поговорить. Я хорошо знаю матросскую психологию. Может быть, мне удастся кое-что узнать от него. А вы пока подождите меня в рулевой рубке. Меня ужасно интригует этот Самохин: или он герой, или разбойник. Я не могу спокойно заниматься другими делами.

Войдя в капитанскую каюту, директор ласково поздоровался с машинистом. Начал он издалека, ругнул следователя за его заносчивость и неумение ладить с людьми. Потом спросил:

— Скажите, товарищ Самохин, какого вы мнения о капитане Огрызкине?

— Настоящий морской волк, только зубы у него телячьи,— хмуро ответил машинист.

— Я вполне согласен с вашей характеристикой,— льстиво улыбаясь, заговорил директор.— Вы удивительно меткий человек! И знаете что? Между нами говоря, я держал Огрызкина на судне только из жалости к старику. И вообще я дорожу всеми, кто служит в нашем пароходстве. А за хорошего моряка я расшибусь, но не дам его в обиду. Вы это сами знаете. Когда на вас поступила жалоба, что вы избили трех человек,— уволил ли я вас? Нет! Потому что вы прекрасный машинист. И теперь заявляю: если только вы, товарищ Самохин, все расскажете мне откровенно, что случилось с людьми на пароходе, я приму все меры, чтобы всячески поддержать вас перед судебными властями.

Машинист, не спускавший с директора пристального взгляда, лениво процедил:

— Вы очень добрый человек, верю — вы хорошо поддержите, как поддерживает петля приговоренного к виселице.

Директор, смутившись, начал горячиться:

— Даю вам честное слово, что всеми мерами буду защищать вас!..

Машинист ехидно улыбнулся.

— Подождите, гражданин директор, давать честное слово. У человека все слова должны быть честными. А

вы для меня выделяете какое-то особенное честное слово. Значит, остальные слова у вас нечестные. А нечестные слова могут быть только у нечестного человека.

У директора задергались мускулы на щеках. Уходя, он заявил:

— С наглецами я не привык разговаривать.

— Ну и катитесь к кобыле под хвост чай пить!

К вечеру Самохина увели с парохода под винтовками. Оглядываясь назад, он крыл матом и директора и следователя. А про капитана говорил:

— Чтоб ему на том свете приставать без пристани!

XV

На четвертые сутки в шести-семи милях показался берег. Это было рано утром. От бури, истощившей свою энергию, остался свежий ветер, гнавший баржу в сторону земли. Небо очистилось от туч. Багрово пенилась заря, разливаясь по зыбучей шири малиновым соком. Спустя еще некоторое время над волнистой далью показался край лучезарного диска. Чайки, летая, приветствовали восход бодрыми криками, улыбались люди. Васька Бабай, восторгаясь, сказал:

— Солнце на вахту вышло!

За исключением капитана, мрачно сидевшего в кубрике, все находились на верхней палубе. При виде земли росло радостное настроение. В то же время было тревожно за баржу. Расшатанная бурей, она где-то протекала, наливаясь соленым раствором. Правда, четыре матроса старались помешать этому, с рвением работая на двух ручных насосах. То и дело раздавались подбадривающие выкрики:

— Навались, братва!

— Качай хлебным паром!

Уставших матросов сменяли другие.

Несмотря на все старания людей, баржа постепенно осаживалась вглубь. Теперь всех занимал вопрос: успеет ли она приблизиться к берегу, прежде чем наполнится водою?

Шкипер, давно следивший по часам за погружением баржи, сообщил:

— Мы сохраним плавучесть по крайней мере до обеда. А за это время можно три раза добраться до земли.

— Одним словом, кончается наша кадриль,— вставил Бабай весело.— Говорил я: плавание наше закончится благополучно. Так и случилось. Сон мой, значит, оправдался.

Прошлой ночью, потеряв равновесие, он ударился об угол стола. Ниже затылка, вокруг кровавой раны, у него образовалась большая опухоль. Он обмотал шею грязным полотенцем и теперь носил голову с такой осторожностью, точно это была чаша, наполненная жидкостью.

Баржа качалась. Иногда волны захлестывали на палубу. Но ужасная трепка, грозившая гибелью, осталась позади, как злая болезнь. Устало улыбались изможденные лица. Каждая пара глаз, загораясь надеждой, жадно смотрела на землю, а она вырисовывалась все отчетливее, вырастала, приближалась.

Кто-то вздохнул:

— Эх, хотя бы скорее на берегу поваляться!

Среди других находилась и Елизавета Николаевна. Она была не умыта, в мокром, измятом, как тряпка, платье, из-под шелкового шарфа в беспорядке выбивались пряди черных волос. Ничего прежнего, капризного и взбалмошного, не осталось в ней. Это была другая женщина, перерожденная бурей. Что-то новое появилось в ее счастливо улыбающемся лице, а глаза стали глубже и вдумчивее. Она с надеждой поглядывала на шкипера, глубоко веря, что с ним не пропадет.

Медленно приближались к берегу. Он оказался пустынным, поросшим сосновым лесом. Под напором ветра низкорослые деревья, встряхиваясь, сгибались в одну сторону, точно старались оторваться от каменной почвы и убежать дальше от морского рева. Внизу, вдоль земли, обозначилась широкая белая полоса. Над нею взметывались столбы пены и брызг. Получалось впечатление, как будто там, сбившись с пути, ошалело кружилась снежная пурга. Без слов все поняли, в чем дело, и чем ближе подплывали к берегу, тем суровее становились лица моряков. Те, что были поставлены на работу к насосам, перестали сгибать свои спины. Мокрые

от брызг, с воспаленными глазами от бессонных ночей, изнуренные до такой степени, точно вышли из застенка, люди напряженно всматривались вперед, стараясь определить, насколько велика опасность.

Один из матросов, показывая вперед рукою, крикнул:

— Смотрите! Что-то круглое плывет!

Все глянули по направлению вытянутой руки.

Шкипер когда-то плавал на военных тральщиках, очищая море от неприятельских минных заграждений. Это считается самой опасной службой. Недаром такие суда моряки называют «клубами самоубийц». Он постоянно видел смерть, увидел ее и теперь, впиваясь глазами в круглый, так хорошо знакомый предмет впереди. Лицо его побелело, рот искривился. Он первый прохрипел:

— Мина!

Он произнес это слово тихо, но в ушах остальных людей оно прозвучало набатным ударом, взорвав последнюю надежду на спасение.

Впереди, саженях в пятидесяти, грозно качалась на волнах шаровидная мина. На ней, словно рога, торчали во все стороны свинцовые колпаки. Военные моряки величают ее «чертовой головой». Она действительно была похожа на рогатую голову. Только вместо мозга заключала в себе около десяти пудов тротила, самого сильного взрывчатого вещества. Кто ставил ее: свои или неприятель? Одно было несомненно: она осталась от войны, простояла под водой в скрытом виде несколько лет, ожидая жертвы, а теперь, сорванная бурей с якоря, медленно плыла к берегу, в грохот бурлящего прибоя.

Баржа неслась боком, имея направление прямо на качающийся шар. Борт ее, возвышаясь над водою, служил опорой для ветра и как бы заменял собой парус. Имея такое преимущество, баржа двигалась быстрее, чем мина, и постепенно догоняла ее.

Никто из людей не тронулся с места, точно сразу все окоченели. Всякий ужас, как и бездна, пугает человека и притягивает. То же самое случилось и здесь. Жутко было смотреть на рогатый шар и в то же время нельзя было оторвать от него глаз. Все устремили взгляд в одну точку, как зачарованные. С каждой минутой приближались к гибели. Никакими силами нельзя было

свернуть баржу в сторону, дать ей другое направление, чтобы избежать катастрофы. Эта беспомощная посудина неслась по прихоти ветра и волн. Предстояло провалиться в пучину под заманчивой синевой распахнувшегося неба, при игривых лучах зовущего к жизни солнца, на виду желанного и так долго ожидаемого берега.

Кто-то, не выдержав напряжения, трагически выдохнул:

— Пропали мы!

Среди людей началось смятение. Раздавались выкрики:

— Надо за борт бросаться!

— У нас нет спасательных средств!

— Все равно погибать!

— Нужно разобрать лючины от люка!

Несуразный галдеж продолжался.

Некоторые метались по палубе, точно тараканы на подогреваемой сковороде, охваченной со всех сторон огнем. Куда бежать?

В это время шкипер обернулся. Глаза его встретились с глазами единственной женщины на барже. Она стояла в лучах утреннего солнца, скрестив на груди руки, бледная и потрясенная. Тоскующим взглядом и дрогнувшей на губах улыбкой она будто прощалась со своим другом — и прощалась навсегда. Шкипер налился весь жгучей болью. Что-то протестующее вихрем поднялось из глубины души. Захотелось рискнуть, броситься на отчаянную попытку спасти людей. Но как это выполнить? С молниеносной быстротой заработал мозг: можно бы бросить якорь, но он давно остался на дне моря; можно бы расстрелять мину, но в его распоряжении не имелось ни одной винтовки. Возникали и другие планы, но в ту же секунду отвергались как негодные. И вдруг, вспомнив что-то, шкипер посмотрел на люк. В свободное время он любил заниматься рыбной ловлей, пользуясь для этого длинным и крепким шестом, заменявшим ему удилище. Теперь этот шест должен послужить для другой цели. Увидев его принайтовленным к люку, шкипер сразу будто вырос, стал еще могучее. Обращаясь к людям, охваченным паникой, он заорал во всю силу здоровенных легких:

— Стойте, товарищи! Не все еще потеряно! Есть возможность спастись!

Головы людей, словно по команде, повернулись к нему.

— Как?

— Что?

— Кто спасет нас?

Шкипер, не отвечая на расспросы, распорядился:

— Приготовьте конец!

А сам, выхватив из кармана нож, бросился к люку.

Васька Бабай при появлении мины растерялся не меньше других, но потом взял себя в руки. Он закурил трубку и, стараясь улыбнуться, сказал:

— Ничего, братцы, бог не без милости, и Федор Павлович тоже имеет смекалку. Скоро будем на берегу отдыхать.

Шкипер, опоясав себя веревкой, бросил конец Бабаю.

— Держи крепче, чтобы мне не свалиться за борт!

Он подошел ближе к борту и начал ждать, держа наготове шест, конец которого обвязал портянкой.

Большой черный шар, похожий на рогатую голову чудовища, медленно качался на волнах. Между ним и людьми расстояние все уменьшалось. Смерть ждали молча, точно у каждого отсох язык, исчез голос. Во рту ощущалась противная кислота. Ужас, словно ледяными иголками, покалывал затылок и позвоночник, заставляя вздрагивать тело. В эти последние минуты для обреченных ничего в мире не осталось, кроме черного шара, постепенно догоняемого баржей, и того человека, который против страшной опасности поставил свою железную силу воли.

Шкипер левую ногу выдвинул вперед, согнув ее в колене, а правую откинул назад. Он держал шест, точно воин копье, приготовившись поразить противника, и зорко следил за каждым движением «чертовой головы». Страх был заглушен напряжением воли, как заглушают огонь, закупоривая его герметической крышкой. В мозгу змеилась лишь одна мысль — не промахнуться бы. Он знал, что за ним следят черные глаза женщины, взгляд их ощущал на своей широкой спине. Это придавало ему силу, двигало на безумный подвиг.

Капитан, наполовину высунувшись из матросского кубрика, смотрел на шкипера и Елизавету Николаевну. Он понял все. Жена стала ему чужой. Она покинула его в то время, когда он, потеряв судно, переживал мучительную трагедию, когда издерганная и ослабевшая душа его больше всего нуждалась в поддержке. Несмотря на жуткий момент, злоба искривила угрястое лицо. Казалось, жизнь не стоит и одной ломаной копейки. Хотелось взорваться вместе со шкипером и этой ненавистной женщиной.

Пятирогий шар, очутившись ближе к борту, почти перестал качаться и плыл теперь ровнее. Баржа, налитая проникавшей внутрь ее водой, сама отяжелела и догоняла его медленно. Она должна столкнуться с ним носовой частью, левой скулой. Будь этот шар еще немного в стороне, правее на одну лишь сажень, могли бы пройти мимо него благополучно.

Шкипер опустил конец шеста за борт.

Жизнь стала исчисляться секундами.

Шест удачно уперся между колпаками, против центра шара. Скорость последнего увеличивалась, сравнялась со скоростью баржи. Портянка, которой был обвязан конец шеста, не позволяла ему скользить по железу мины. Таким образом, первая часть задачи удалась блестяще. Но самое трудное осталось впереди. Шкипер, изгибаясь от усилия, начал осторожно отводить шар в сторону, чтобы пропустить его за баржу. Одновременно и сам он, натягивая веревку между собою и старым Бабаем, медленно передвигался вдоль борта к носу. Это был отчаянный маневр против страшной силы, способной одним ударом раздробить любую гранитную скалу. Теперь достаточно было малейшей ошибки, неправильного движения рук, незначительного толчка в свинцовый колпак, чтобы взлететь в голубую высь вместе с дымом и железными осколками, разбрызгаться по волнам рваным мясом, ломаными костьми, горячей кровью.

Люди знали об этом и дошли до того предела ужаса, за которым начинается небытие: в мучительной тревоге замирает сердце, перестают дышать легкие, стынет, останавливаясь, кровь, как ручьи в мороз. Открыв рты, они смотрели на шкипера неподвижными, как у трупа, глазами. Все это было похоже на то, как будто этот человек

стоял у роковой урны и, запустив внутрь ее руку, долго рылся в ней, выбирая жребий. Из десяти таких жребиев только на одном написано — жизнь, а на остальных девяти — смерть.

А шкипер, до отказа напрягая мускулы, продолжал передвигаться к носу. Как и раньше, не было страха, но вместе с тем ощущалось, что все кровеносные сосуды его чрезвычайно сузились. Чтобы протолкнуть по ним кровь, сердце делало неимоверные усилия и стучало по грудной клетке, как молотом. В ушах звенело. Осталось преодолеть какой-нибудь аршин расстояния — и опасность останется позади. Но в этот момент его внимание было привлечено русской надписью, расположенной полукругом между верхними боковыми колпаками. По темному фону «чертовой головы» каждая буква была четко нарисована белой краской. Шкипер прочитал: «Братьям во Христе». Это, вероятно, сделал какой-нибудь матрос, вздумавший посмеяться над благословляемой попами войной. Пока эти слова входили в шкиперский мозг, укладываясь в нем злой иронией, руки его, задрожав, потеряли центр опоры. «Чертова голова», словно поняв, что ее отводят в сторону от баржи, вдруг вывернулась из-под шеста.

— А-а-а, стерва! — не своим голосом заревел шкипер.

Ахнули остальные люди. Некоторые присели на колени. Кто-то грохнулся на палубу. Сравнительно спокойным остался Бабай, продолжая покуривать трубку.

Шкипер попробовал еще раз упереть шест в мину, но она снова вывернулась. Тогда он оттолкнул ее, и нос баржи прошел мимо, едва не задев за свинцовый колпак.

Шкипер, подняв шест, обернулся. Его трудно было узнать: сжались тяжелые челюсти, посеревшее лицо окаменело, глаза блуждали, как у безумца. Пошатываясь, он пошел на середину баржи и устало сел на люк.

Матросы бросились к нему, загалдели:

— Спасены!

— Выручил!

— Молодец, браток!

— Спасибо, товарищ!

Шкипера трепали, пожимали ему руки, хвалили на все лады, прибавляя при этом крепкие слова. Кто-то проклинал войну. Матрос один торопился рассказать:

— Месяц тому назад английский пароход налетел на мину. Ночью было дело. Вдребезги разнесло его. Только два человека остались в живых. Утром подобрали их...

Радости не было пределов. Продолжалось это до тех пор, пока кто-то не крикнул:

— Мина за нами плывет!

— Черт с ней! Пусть плывет,— прохрипел шкипер пересохшим ртом.

Матросы оглянулись назад. «Чертова голова», понемногу отставая, продолжала плыть за ними. Казалось, она преследует их и никуда не уйти от нее. Она не торопилась, точно была уверена, что там, около камней, догонит баржу и оправдает свое назначение.

Опять над людьми навис тяжелый страх, погасив говор. До белой полосы оставалось недалеко. Там грохотал прибой, кипели буруны. Из пены и брызг, как фантастические химеры, мрачно показывались глыбы серого гранита.

Обитатели баржи очутились между двумя опасностями.

Впереди смерть яростно рычала, оскаливаясь каменными клыками, выбрасывая кипящие плевки.

Позади она двигалась молча, зловеще поднимая и опуская черную рогатую голову.

Напрасно люди оглядывались, ища выхода. Безнадежность сдавливала грудь.

Когда приблизились к первому камню, шкипер громко крикнул:

— Держись за леер!

Баржа ударилась не серединой, а только одним концом — левой носовой скулой. Это спасло ее от разлома. Движение уменьшилось. Нос, задерживаясь за камень, заскрежетал, и корма начала заходить вперед, описывая дугу вокруг камня. Таким образом баржа повернулась к ветру другим бортом и вместе с тем передвинулась вправо, на линию, по которой плыл страшный шар. Еще раздался удар, а вслед за ним другой. Два гранит-

ных выступа, как два чудовищных кулака, поднимаясь над водою, преградили дальнейший путь. Баржа, раскачиваясь, начала биться о них бортом.

С другой стороны надвигалась мина.

До суши оставалось саженей пятьдесят. Это расстояние предстояло проплыть между камней, среди бешеных взмывов, в грохоте вздыбившихся вод. Но тут сама баржа в последний раз пришла людям на помощь. Остановившись, она представляла собою остров, принимая на себя весь натиск волн. С подветренной стороны ее, на небольшом расстоянии, поверхность моря сравнительно затихла.

Больше нельзя было медлить ни одной минуты.

Шкипер скомандовал:

— Бросайся за борт!

Все загалдели, заглушая страх.

— Торопись, братва!

— Эх, пришло, видно, время черту душу отдавать!

— Ерунда! Выберемся!

— Кто сделает почин?

Рулевой с «Дельфина» произнес:

— Ладно, чему быть, того не миновать!

И первым бросился в море.

Капитан в нерешительности остановился на краю баржи, лязгая зубами, дико озираясь.

К нему обратился шкипер:

— А вы еще чего ждете? Для вас особая команда, что ли, будет?

Елизавета Николаевна ахнула, когда шкипер швырнул ее мужа за борт, как щенка.

Потом повернулся к ней и строго, словно господин своей прислуге, приказал:

— Будешь держаться за мои плечи. Только за шею не хватайся. Запомни это хорошенько, если хочешь еще пожить на свете.

Вдруг вспомнил про кота.

— Чуть было друга своего не оставил на барже.

Мигом слетал в свою каюту.

Кот, выброшенный в море, ни за что не хотел плыть к берегу. Жалобно мяукая, он все пытался забраться обратно на баржу. Ошалело округлились его зеленые глаза: под ним не было твердой опоры, чтобы сделать

прыжок, а передние лапы, выпустив когти, только напрасно царапали по железному борту.

Шкипер, наметив себе взглядом путь, осторожно спустил женщину за борт, а потом прыгнул сам. Она недурно плавала и первое время обходилась без помощи мужчины. Федор Павлович оглянулся и, увидев кота, продолжающего делать попытки забраться на баржу, громко крикнул:

— Кранец, за мною!

Только после этого кот направился за хозяином, постепенно его догоняя.

По мере того как удалялись от баржи, море становилось все яростнее. Капитанша ухватилась за плечи шкипера. Волны хлестали в затылок, в уши, в лицо, забивая дыхание. Вода, взметываясь, обрушивалась на голову кипящей массой. Иногда капитанша опрокидывалась вверх турманом, погружаясь вглубь и захлебываясь горько-зеленой влагой. Но каждый раз сильная рука подхватывала ее и выбрасывала на поверхность. В довершение всего она почувствовала невыносимую боль около шеи. Это рыжий кот догнал ее, забрался на плечо и, спасаясь от смерти, вонзил в тело острые когти. Ошеломленная, теряющая рассудок, женщина воспринимала теперь впечатления в искаженном виде. Не волны буйствовали кругом. Нет. Она попала со своим другом в осатанелое стадо белых полярных медведей. Эти звери с неистовым ревом совершали нелепый танец, кружась, прыгая, шарахаясь из стороны в сторону, приседая, поднимаясь на дыбы, потрясая лохматыми лапами. И сама она закружилась в этой звериной оргии, едва удерживаясь за могучие плечи своего друга.

Шкипер, очутившись вплотную с опасностью, почти перестал воспринимать ужас. Он весь был сосредоточен на одной лишь мысли — спасти себя и дорогую ему женщину. Главная задача заключалась в том, чтобы не разбиться о камни. Постоянно нужно было лавировать между ними, проделывая это в бешеной толчее воды. Но вот вместе с капитаншей он высоко поднялся на гребне. А впереди, как тулуп от ветра, распахнулось море, обнажив круглую гранитную глыбу, похожую на огромнейшую бородавку. Не успела волна сбросить их вниз, как бородавка провалилась и два сцепившихся человека вме-

сте с котом пронеслись над нею, не получив даже царапины. Но тут же всплыл перед глазами другой каменный выступ. Снизу он весь оброс скользким зеленым мхом, точно шерстью, а верхняя часть его, возвышаясь над водою, была голая и напоминала безобразное лицо урода, серое, безглазое, изглоданное болячками, распухшее вширь. Около него, кувыркаясь, бился человек, окутанный в пену. Шкипер пустил в ход всю свою львиную силу, выгребая вправо, чтобы миновать грозный выступ, но было уже поздно. Вместе с женщиной он летел на крутом горбу волны, точно на мотоциклете,— летел к смерти. В этот момент бившийся у камня матрос, словно желая предупредить пловцов о страшной опасности, взметнулся вверх головою. Шкипер в короткий миг заметил знакомое полотенце вокруг шеи и разбитый череп, зиявший пустотой,— волны, словно языком, вылизали из него мозг. В уме, как тень, пронеслась мрачная мысль: то же самое будет и с ним. Верхнюю часть своего туловища он невольно отбросил назад, а нижнюю выкинул вперед, охватив при этом одной рукой капитаншу. Удар был обезврежен ногами, способными пружиниться. Только глубже погрузился в клокочущую массу. Оттолкнулся в сторону. А когда три головы — две человеческие и одна звериная — показались на поверхности, каменный выступ был уже позади.

Шкипер почувствовал под собою дно. С каждым шагом становилось все мельче. Одной рукой он выгребал, а другой поддерживал обессиленную женщину, не давая ей окончательно захлебнуться. Волна еще раз свалила его, а может быть, он сам поскользнулся, нырнув головою. Ударился лбом обо что-то твердое и острое, точно полоснули его ножом. Показавшееся из воды лицо обагрилось кровью. Голова закружилась, ноги задрожали. Воздух наполнился красным туманом. Собрав последние силы, оглушенный шкипер с звериной настойчивостью побрел к прыгающему берегу, волоча за собой капитаншу.

По сторонам и впереди копошились изувеченные фигуры матросов. Некоторые ползли на четвереньках, выбираясь на сушу, точно крабы.

До берега оставалось две-три сажени, когда позади раздался страшный взрыв. Вздрогнула вся окрест-

ность, закачался берег. Люди опрокинулись, сбитые упругим толчком воздуха. Что-то со свистом и воем пронеслось над головою. Не успели подняться, как на них обрушилась огромнейшая тяжесть. Это, взметнувшись, накрыл всех водяной вал.

XVI

Поезд, подкатывая к станции портового города, затормозил ход. Паровоз зашипел, окутываясь в клубы пара и дыма, в последний раз громыхнул буферами и сцепами и остановился. На платформу вместе с другими пассажирами сошел человек с подвязанной щекой. Опираясь на костыль, он направился к выходу. На него удивленно оглядывались, считая его помешанным. Это был капитан Огрызкин. Некоторые из обитателей злополучной баржи возвращались в свой порт на пароходе. Поэтому капитан опередил их. Выбравшись на улицу, он взял извозчика и покатил прямо домой.

Ярко светило солнце, в безветренном воздухе разливалось тепло, а капитан, вздрагивая, зябко ежился. Стучало в висках, горькие, больные думы, как мыши, грызли мозг. Жена осталась в чужом порту, поселившись вместе со шкипером в морской гостинице. Зачем же, собственно, он, Огрызкин, едет домой? Неужели только затем, чтобы почувствовать пустоту своей квартиры и весь ужас своего одинокого существования? Он не выдержит этого и окончательно сойдет с ума.

Неожиданно крикнул в спину бородатого извозчика:

— Сворачивай на Гороховую улицу! Мне нужно в пароходную контору заехать.

Извозчик, обернувшись, подозрительно взглянул на капитана и забормотал:

— Для меня все едино. Куда прикажете, туда и свезу. Хоть на тот свет. Только деньги платите.

Потом хлестнул кнутом свою кобылу, нескладно-большую, в шершавой серой шерсти, с отвисшим животом.

— Ну, шевелись, графиня заморская!

Замирало сердце, рябило в глазах, когда Огрызкин входил в пароходную контору. Он в раздумье остановился в дверях и готов был уже повернуть обратно, но

в этот момент, направляясь к выходу, столкнулся с ним сам директор.

— Как! Капитан Огрызкин? Откуда взялись? С того света?

— Почти с того света. Сам-то я прибыл, но должен огорчить вас.

— Чем?

Огрызкин вздохнул и с болью, словно вырывал глубокую занозу из своего тела, промолвил:

— «Дельфин»... погиб...

Директор, сообразив что-то, попросил Огрызкина к себе в кабинет, а затем для чего-то пригласил несколько человек служащих.

— Садитесь, капитан, и расскажите все, что случилось с нашим пароходом. Пожалуйста, не волнуйтесь. Несчастные случаи могут быть со всяким человеком. Дайте для капитана стакан воды!

Огрызкин утонул в большом мягком кресле и робко осмотрелся. Кабинет был просторный, в темно-строгих обоях, с тяжелой мебелью, обшитой кожей. В одном углу, на отдельном столе, в стеклянном футляре, поблескивая эмалевой краской, стояла модель пассажирского парохода. Стены были увешаны картограммами сделанных судами рейсов и перевезенных грузов за последние годы, фотографическими снимками разных кораблей, морскими картами. Здесь имелись даже такие инструменты, как барометр и хронометр. Все это было знакомо капитану и все это, внушая некоторую боязнь, увеличивало значение человека с бритым, сухо-деловым лицом, что уселся по другую сторону большого письменного стола. Но ласковый тон и заботливость директора приободрили Огрызкина, пробудив смутную надежду. Докладывая о гибели «Дельфина», он больше всего ссылался на свою болезнь: головная боль сбила его с курса.

Отхлебнув воды из стакана, капитан продолжал:

— Подводная часть парохода была, вероятно, проржавлена и поэтому оказалась слабой. Как только мы сели на камни, днище сразу проломалось. В машину хлынула вода. Об этом может засвидетельствовать кочегар Втулкин, находившийся в то время на вахте. Поэтому моей первой заботой было — это спасти

людей. Мы пересели на баржу и перерезали буксирный канат. На судне остался только машинист Самохин, по-видимому, он не успел выскочить и погиб вместе с судном.

Директор фальшиво ахал, удивлялся, делая большие глаза.

Капитан, облизывая сухие губы, рассказывал дальше: как мотались на барже, как избавились от мины, как пришлось спасаться, когда волнами прибило их к берегу.

Директор сухо спросил:

— Что стало с баржей?

— Миной взорвало ее.

— А сколько жертв?

— Несчастные случаи постигли нас в то время, когда мы оставили баржу и пустились вплавь к берегу. Два человека расшиблись насмерть о камни: старик с баржи и матрос из моей команды. Некоторые оказались изувеченными: у кого сломана рука, у кого нога, другие отделались ушибами.

Директор, ядовито улыбнувшись, снова обратился к Огрызкину:

— Скажите, капитан, домой вы еще не заезжали? Наверное, ваша супруга страшно беспокоится о вас?

Огрызкин, смутившись, слабо пробормотал:

— Нет, я со станции прямо в контору направился.

— Вы хорошо сделали, капитан, что заехали прямо к нам и все так откровенно рассказали. Должен вас порадовать: мы приобрели новое судно, которое ни в чем не уступит «Дельфину». Я полагаю, что вы не откажетесь поплавать на нем?

Капитан не верил своим ушам.

— Я, конечно, очень устал после таких переживаний. Вы сами понимаете это. Но если вам угодно, я не прочь еще послужить вам.

— Вот и отлично. Сейчас мы посмотрим новое судно.

Через несколько минут два извозчика катили в гавань. На переднем сидели капитан и директор, позади ехали двое служащих.

Приближаясь к набережной, капитан широко открыл глаза. У стенки стоял пароход, поразительно схо-

жий с «Дельфином», и на нем среди незнакомых матросов прохаживался молодой капитан, дальний родственник его, некий Ларин. Огрызкин протер глаза и снова посмотрел вперед. Сомнений никаких не было. Все тело покрылось холодным потом, точно оно было снеговое и таяло под горячим солнцем. Не заметил, как остановился извозчик, как слез директор, оставив на повозке капитана одного. В душе было пусто, и в эту пустоту, раздражая нервы, ворвался насмешливый голос стоявшего рядом человека:

— Ну, как вам, капитан, нравится наш новый пароход? Чем он хуже «Дельфина»?

Огрызкину хотелось убежать куда-нибудь, провалиться сквозь землю или с грузом железа броситься в море. Но он продолжал оставаться на повозке, почти ничего не соображая, точно его пришпилили к месту, как сам он когда-то, будучи мальчиком, пришпиливал булавкой какое-нибудь насекомое к коробке. Воздух будто наполнился туманом, желтым и противным, точно гной, и трудно было прочитать прыгающие буквы, составлявшие название парохода. Повернул голову. Рядом увидел лицо, расколотое злобным смехом, и сверкающие стекла пенсне, точно глаза удава. В душе Огрызкина что-то прорвалось, закипело пеной обиды. Первый раз в жизни он крикнул смело и дерзко:

— Стервятник четырехглазый!

И с размаху ударил по стеклам пенсне.

Капитана схватили, смяли, и ему, ослепшему от потери сознания, казалось, что его стараются протащить через канатный клюз парохода, вытягивая все туловище, ломая кости.

XVII

На шестой день одиночного заключения машинист Самохин переживал особенную тоску. Душа, привыкшая к морским просторам, рвалась из этих давящих стен. Вспоминалось прежнее плавание. Кочуя по водным степям, в каких только странах он не побывал, в каких портах не останавливался. И хлестало в лицо лютыми ветрами севера, и обжигало нестерпимым зноем тропиче-

ского солнца. Повидал столько людей, разноплеменных и разноязычных. Проносился мимо грозных скал, заглядывал в кольцеобразные лагуны коралловых островов, поросших пальмами. Встречался с кораблями, пенящими моря под флагами других наций. Спорил, как пьяный, с циклонами, выдерживая чудовищный натиск воздуха и зыбей. Отдыхал на широкой груди заштилевших вод, растворяясь в ласковой синеве, в солнечном блеске, в трепете золотых струй, жадно воспринимая все разнообразие жизни, как воспринимает море вливающиеся в него ручьи и реки. А теперь должен сидеть в узкой камере, прислушиваясь к мертвой тишине. За что?

Машинист вскочил и, точно зверь в клетке, быстро начал ходить: по диагонали от одного угла к другому. Вспомнив о следователе, сердито сплюнул и заговорил вслух:

— Ах ты, вылощенный хлыщ в галифе! Засадил! Попробуй еще раз вызвать меня на допрос. Я тебе сделаю такую прическу, какую не сделают в самом Париже.

Сами собой сжались здоровенные кулаки.

Сзади загремел засов.

Машинист оглянулся. В квадрате открывшихся дверей остановился пожилой надзиратель.

— Собирайтесь, товарищ!

— Куда?

— На свободу.

Машинист сделал шаг вперед и сквозь зубы спросил:

— Шутишь или смеешься?

— Верно говорю. Поздравляю.

Самохин чуть не задохнулся от внезапной радости.

В тюремной канцелярии он встретился с человеком, которого считал погибшим,— на стуле сидел капитан Огрызкин, настолько осунувшийся и постаревший, что трудно было его узнать. Одна щека у него была перевязана, а глаза смотрели в одну точку, неподвижные и мутные, как у замороженного судака.

Машинист в изумлении остановился, точно увидел перед собою привидение. Потом перевел взгляд на старшего надзирателя, а тот, кивнув на капитана головой, равнодушно пояснил:

— Этот гражданин пойдет на ваше место.

Около каменной ограды стояла пролетка, на которой сидел служащий из пароходной конторы, кого-то поджидая. Самохин, выйдя за ворота, не обратил на него внимания. Взгляд его устремился за угол тюрьмы, в ясную даль — туда, где словно синее крыло птицы затрепетало море. Ветер ласково пахнул в лицо.

— Пожалуйте, товарищ Самохин, в контору.

Машинист повернулся к служащему, насторожился.

— Зачем?

— Директор хочет с вами повидаться.

— Ах, вот как! Лучше скажите, откуда появился наш капитан? И что случилось с остальными нашими матросами?

Выслушав краткое сообщение, машинист решительно заявил:

— В контору я не поеду. И скажите своему директору — я с ним хочу встретиться в райкомводе. Там поговорим обо всем. Пусть на всякий случай запасется какими-нибудь каплями от нервного расстройства.

Служащий начал упрашивать:

— Подождите! Напрасно вы горячитесь. Директор хочет наградить вас деньгами. Вы герой, вы спасли пароход...

Машинист резко оборвал его:

— Не желаю я никакой награды! К черту! Пусть на эти деньги купит для своей жены панталоны или еще там что. Так и передайте этому хамаидолу. Это я так говорю, машинист Самохин! До свидания!

Самохин твердой походкой направился в город, оставив за собой служащего с открытым ртом. В кармане у него имелось около двух рублей. Но этих денег пока будет достаточно, чтобы зайти в ресторан, что стоит около гавани под заманчивой вывеской: «Отдай якорь». Там всегда можно встретиться с матросами разных кораблей, иностранных и русских, и поговорить с ними по душам.

Машинист, ощущая застоявшуюся силу в мускулах, шел легко и бодро, словно парил на крыльях. Он ни разу не оглянулся назад. Будь оно трижды проклято, это

трехэтажное каменное здание с железными решетками, с крепкими запорами! Впереди, по отлогому скату горы, скучиваясь и редея, дома спускались к набережной рыжими и зелеными волнами железных крыш. Кое-где поднимались деревья — осень обрызгала их листву цветистыми красками. А дальше за городской мутью, висевшей в воздухе, немного направо от дымящейся гавани, размахнулась сияющая ширь. Оттуда налетел ветер, слабый, как дыхание человека, и, казалось, приносил запах моря, шептал что-то в ухо о новых чудесных странах, вызывая дрожь в крови. Против солнца водная равнина трепетно искрилась, точно подмигивая машинисту золотыми ресницами. А он, шагая, ликующе улыбался в ответ, доверчивый и простой, как ребенок. В этот момент ему хотелось иметь крылья альбатроса, чтобы взвиться и утонуть в голубом просторе.

Соленая купель

РОМАН

I

Долговязый человек, записанный в судовой роли под именем Себастьяна Лутатини, проснулся. Ему еще мерещилось, будто хвостатые люди, похожие на обезьян, несколько раз поднимали его на скалу и сбрасывали в кипящую бездну моря. Он летел, замирая, а они неистово рычали, хохотали, помахивая хвостами.

— Где же это я? — раздирая слипающиеся веки, спросил он самого себя и стал тупо оглядываться.

Голос прозвучал одиноко и хрипло, не вызывая ответа,— чужой голос.

Глаза его, кровавые и осовелые, смотрели как сквозь туман. Голова распухла до невероятных размеров, отяжелела,— не поднять ее. Смутно, как полуслепой, заметил, что помещение было пусто. Пусты были койки,— такие же, как у него, узкие, с бортами, похожие на гробы. Расположены они были вдоль стен в два яруса. Он лежал на нижней койке ногами к двери. За стеной, совсем близко, около самой головы, раздавались глухие удары и всплески. Иногда вся эта несуразная комната, которую он видел первый раз в жизни, быстро приподнималась, вся вздрагивая, и падала в пропасть; тогда круглые окна в стенах наливались мутно-зеленой влагой.

— Пречистая дева Мария! Что за привидение? — в страхе прошептал Себастьян Лутатини и перекрестился.

Помещение повалилось набок, а голова Лутатини взвилась вверх. Еще момент — и ноги задрались так, точно невидимый шутник хотел поставить его на голову.

Лутатини ухватился за край койки. Качалась лампа, прикрепленная к потолку, шатались стены с висевшей на них одеждой, ерзали по полу деревянные ботинки, гремел, передвигаясь, большой медный чайник.

— Я, вероятно, с ума сошел.

И опять голос его прозвучал хрипло и одиноко.

Лутатини только теперь заметил, что он лежит нераздетым и что новенький коричневый костюм на нем испачкан так, как будто вывалялся в мусорной яме.

Он хотел приподняться, но тут же свалился на койку, ударившись теменем о борт.

В кубрик вошел боцман.

— Ты что же это, долговязый дьявол, продолжаешь валяться? Или думаешь плавать пассажиром?

Лутатини увидел перед собой странного человека. Одет он был в клетчатую непромокаемую куртку, на голове грибом сидела желтая широкополая зюйдвестка, прикрывая избитое до синяков лицо. Балансируя, он приседал то на одно колено, то на другое, будто исполнял в своих огромнейших резиновых сапогах какой-то нелепый танец.

— Да сокрушит тебя всевышний творец, если только ты привидение, а не человек,— прохрипел Лутатини, мрачно оглядывая боцмана.

— Ни всевышний творец, ни всенижний дьявол ничего не могут поделать с хорошим судном. Скажи-ка — за тебя мальчики будут работать?

— Прежде всего, если только ты действительно человек, объясни мне, где это я нахожусь?

Боцман оборвал его:

— Брось комедию ломать!

Лутатини давно уже чувствовал мерзкую тошноту. Голова его свесилась, разжались челюсти, глаза полезли на лоб; казалось, что вместе с пищей вывернутся и внутренности.

— Э, черт не нашего бога! — махнув рукой, проворчал боцман.— Тебе пресное молоко пить, а не водку.

И полез по трапу на верхнюю палубу.

Лутатини, оставшись один, с ужасом начал догадываться, что он находится на корабле. Но как он попал сюда? Зачем и куда держит путь? Рылся в памяти, как в куче перепутанных записок. Вчера утром, после зав-

трака, он по обыкновению был в своем кабинете. Было тихо и уютно. В зеркальные стекла окна заглядывало мартовское солнце. Старинные и новейшие книги в громадных шкафах возбуждали мысль и располагали к работе. Усаживаясь за письменный стол, в кожаное кресло, он мельком взглянул в передний угол, задрапированный малиновым бархатом: на треугольном столике четко выделялась мраморная фигура любимого святого — Франциска Ассизского. Выше, сияя золотой оправой, висела икона: молящийся Христос в Гефсиманском саду. С киота спускался сиреневый шелк с вышитыми изречениями из священного писания. Пахло ладаном. Горничная Алиса принесла пачку свежих газет на итальянском и испанском языках. Лутатини хотел их просмотреть на скорую руку, так как была спешная работа — приготовить проповедь. Но его чрезвычайно взволновала сенсационная новость: в России произошла революция, царское правительство арестовано. В статьях на разные лады трактовалось это событие. Как оно отразится на мировой войне? Захочет ли народ, свергнувший старую власть, продолжать войну против немцев? Газеты высказывали утешительные предположения: если почему-либо революционная Россия выйдет из строя, то на смену ей вступит еще более сильная страна — Северо-Американские Соединенные Штаты. Прерванные ею дипломатические отношения с немцами до сих пор не возобновляются. Все говорило за то, что она готовится примкнуть к Англии и Франции. В этот день Лутатини так и не мог сочинить нужной проповеди. После обеда он вышел прогуляться по улицам Буэнос-Айреса. С Калле Сан-Мартин, где находился его дом и где была сосредоточена вся финансовая аристократия, он попал на Калле Ривадавиа. На Плацо-Майо с удовольствием разглядывал правительственный дворец, собор из белого мрамора, с портиком из двенадцати коринфских колонн, здание конгресса, архиепископский дворец. Здесь все ему было знакомо. Потом зачем-то его потянуло в район Бока, где крепко обосновались портовые вертепы. Завернул в кабачок «Радость моряка». Там было много матросов. Ему, молодому и окрыленному мечтателю, давно хотелось попасть к ним, чтобы развернуть перед ними весь ужас их жизни

и показать им другой путь,— путь, ведущий к небу. Ребята, дошибая последние деньги, встретили его хорошо, весело, чего он никак не ожидал. Они не прочь были послушать беседу о религии, но предварительно начали угощать его с таким радушием, что трудно было отказаться от выпивки. Это сразу расположило его к ним. Лутатини не мог не выпить с ними рюмку-другую ликера. В этом не было никакого греха. Сам Христос пил в Кане Галилейской. А дальше что? Не помнит. В сознании его наступил какой-то провал. Да, но при чем же тут этот корабль? И куда он несется по волнам?

Послышались голоса: в кубрик спускались матросы. Лутатини увидел знакомые лица — это были те же, с которыми он вчера пил ликер. Теперь, с пустым желудком, он чувствовал себя легче, хотя качка еще более усилилась.

— Куда это мы направляемся?

— Официально — в Барселону. А на самом деле — черт его знает! А вам, собственно, куда больше улыбается?

Лутатини встал, уселся на койке, придерживаясь за край ее.

— Мне хотелось бы остаться в Буэнос-Айресе. А меня везут бог знает куда. И я никак не могу понять — как это все случилось?

Матросы громко рассмеялись.

— Да вы сами назвались охотником. Захотели поплавать матросом. И первый подписали контракт.

Лутатини очумело таращил глаза.

— Где? Когда?

— Вчера, в кабаке.

— С кем я мог заключить контракт?

— С шанхаером.

Что-то знакомое прозвучало в этом слове. Но где он слышал о «шанхаерах» — не мог вспомнить.

— А это кто же такой?

— Представитель сухопутных акул.

— Ничего не понимаю.

— После поймете. Времени впереди много. Рейс большой — в Европу идем. Может быть, встретимся с немецкими субмаринами — они всем нам прочистят мозги.

При последних словах у Лутатини перекосилось лицо.

Он скорее почувствовал, чем понял, что попал в какую-то скверную историю. Но как это могло случиться, что он, католический священник, вдруг стал матросом какого-то неведомого корабля? При мысли, что он плывет в Европу, потрясаемую войной, его охватило отчаяние. Он возбужденно закричал:

— Этого не может быть, чтобы я стал плавать матросом! Я сейчас же хочу обратно, в Буэнос-Айрес.

Один из матросов крепко выругался и сказал:

— Мне хочется быть президентом или папой римским, а я вот плаваю матросом. Ну?

Другой матрос, обращаясь к Лутатини, посоветовал:

— А вы заявите об этом «старику». Как видно, человек он добрый. Для вас он, наверное, сделает исключение и немедленно отправит на берег. Что ему стоит уважить вас?

— Это кто же такой «старик»?

— На кораблях каждого капитана называют «стариком», хотя бы он был совсем молодым.

Расстроенный, с больной головой, Лутатини не заметил в словах последнего матроса скрытой иронии.

II

В салоне, расположенном на палубе под капитанским мостиком и штурманской рубкой, сидел капитан Кент и его первый помощник Саймонс. Помещение было облицовано красным деревом, с портьерами на дверях, с камином в бронзовой инкрустации, с электрическими лампочками в белых абажурах. Четыре больших круглых иллюминатора давали много света. Широкий диван и вращающиеся кресла вокруг стола зеленели бархатом. Пол украшали линолеум и ковровая дорожка. Качало, и в зеркалах, через отраженные иллюминаторы, на мгновение показывались вспененные воды океана. С правой стороны к салону примыкала капитанская каюта; в открытую дверь виднелся письменный стол. Другая дверь, в задней переборке, вела в ванную и буфет.

Только что кончился обед. На столе, застланном белой скатертью, в специально приспособленных на время качки гнездах, стояли недопитые бутылки с разными ви-

нами, рюмки из тонкого хрусталя, вазы с фруктами. Капитан, толстяк на кривых ногах, с бритым лицом бульдога, в круглых роговых очках, откинувшись на спинку кресла, курил сигару. Он был в одной рубашке с засученными рукавами, обнажавшими здоровые мускулы. Старший штурман Сайменс, одетый в полную морскую форму, с золотыми позументами, посасывал коротенькую трубку. На его помятом лице с тупым подбородком, с короткими седеющими усами, не было того выражения заискивающей почтительности к старшему, какое обыкновенно бывает у штурманов. Наоборот, он смотрел на своего патрона сурово, как бы прощупывая его своими тусклыми и много знающими глазами. В душе он ненавидел капитана. Сайменс уже два года плавал на «Орионе» старшим помощником, и когда уволился прежний капитан, он должен был бы занять его пост. Но пароходная компания решила по-иному: в самый последний момент назначила командиром судна Кента. И теперь он, Сайменс, может сидеть за этим столом только по приглашению капитана.

— Нам лишь бы проскочить через Гибралтар,— заговорил капитан, глядя выпуклыми глазами на помощника.— А там мы наверняка пройдем благополучно в Марсель. И даже не встретимся ни с одной субмариной.

— Это меня мало беспокоит, сэр. Если и встретимся, так что же из этого? Мы идем под нейтральным флагом. В вахтенном журнале у нас официальный курс — в Барселону. И вообще все документы в порядке.

Капитан Кент возразил:

— Все-таки лучше будет, если мы этих бошей совсем минуем.

Затем он покосился на прикрепленный к переборке барометр, стрелка которого перестала падать.

— Завтра должна быть хорошая погода.

Помощник кивнул головой и растянул губы в кривую улыбку.

Капитан помолчал, пыхнув сигарой, и снова заговорил:

— Да, мистер Сайменс. Вы сами отлично понимаете, что у каждого капитана есть свои привычки. Есть они и у меня. И я прошу вас с ними считаться. Я, например, не люблю торчать на мостике. Это занятие я предостав-

лю вам с полной свободой действий. Но вы каждое утро, после завтрака, должны являться ко мне с подробным докладом. Конечно, и вечером — после вашей вахты. Приносите с собою астрономические вычисления. Затем в круг вашего доклада должна входить вся судовая жизнь до настроения команды включительно. Кстати, как у вас боцман — надежный человек?

Саймeнс, сощурившись, внимательно посмотрел на капитана. У него сложилось впечатление, что начальник его недалекий человек и любит, очевидно, повластвовать. Он перевел взгляд на безымянный палец левой руки, как будто впервые увидел свой золотой перстень с драгоценным изумрудом. А капитану ответил машинально:

— Вполне, сэр.

— Тем лучше. Пусть он присматривает за матросами. Нам важно знать, кто чем дышит, ибо рейс у нас слишком серьезный.

Постучали в дверь.

— Войдите! — крикнул капитан Кент.

Через порог неслышно переступил стюард, крупный чернокожий человек, и, почтительно поклонившись, обратился к капитану:

— Простите, сэр. С вами хочет поговорить один матрос.

— О чем?

— Не могу знать. Но что-то хочет сообщить важное, и только вам одному.

Капитан, бросив властный взгляд на Саймeнса, словно желая этим подчеркнуть свое величие, крикнул:

— К черту! Если нужно что, пусть разговаривают с моим помощником!

— Есть, сэр! — ответил стюард и, повернувшись, хотел было уйти.

— А впрочем, какую новость может сообщить мне матрос? Скажи, стюард,—пусть войдет.

— Есть, сэр!

В салон вошел долговязый человек и уныло остановился около двери. Широко расставленные ноги его неуклюже переступали, словно из-под них выдергивали палубу. Чтобы не упасть от толчков, он ухватился за мраморную полку камина. Капитан, сверкая очками, по-

смотрел на него долгим упрямым взглядом выпуклых глаз.

— Чем могу служить? — насмешливо спросил он.

— Сэр, я по недоразумению попал к вам матросом. Я католический священник.

— Вы такой же священник, как я зулусский король.

— Я вам серьезно говорю, сэр, и могу свой документ показать.

— Лучше мы вам покажем. Мистер Сайменс! Будьте любезны, достаньте судовую роль. Посмотрим, в чем тут дело.

Сайменс, не торопясь, подошел к шкафу из красного дерева, выдвинул ящик, порылся в бумагах и через полминуты положил на стол перед капитаном документы.

— Как ваша фамилия? — спросил капитан.

— Себастьян Лутатини.

— Так. Здесь приложен и контракт с вашей подписью. Вы нанялись из расчета сорок долларов в месяц. Для такого нелепого матроса, который не умеет как следует стоять, цена эта слишком высокая. Что еще вам нужно?

— Не в цене дело, сэр. А я вам заявляю, что не могу плавать, и прошу высадить меня на берег.

— Зачем же подписывали контракт?

— Я находился в состоянии невменяемости. Это произошло в кабаке.

Капитан густо рассмеялся:

— Понимаю. Вы из таких священников, которые шляются по вертепам и доходят до состояния невменяемости,— не так ли?

Лутатини почувствовал себя уязвленным.

— Я зашел в кабак, как проповедник, чтобы спасти своих братьев от нравственного падения.

Капитан перебил его:

— И сами бухнулись в омут разврата, как якорь на морское дно. Впрочем, разговоры наши окончены. Можете идти и выполнять обязанности матроса.

Лутатини едва удерживался от качки. Ноги его дрожали, а бледное и растерянное лицо выражало отчаяние. Он повысил голос:

— Я требую, сэр, чтобы вы немедленно отправили

меня на берег! Я не хочу оставаться на вашем судне ни одной минуты!

Капитан встал. Полнотелое туловище его закачалось на коротких, кривых ногах. Он заговорил строго, скосив на матроса выпуклые глаза:

— Когда ты сядешь на мое место, а я буду стоять у порога в такой же вот дурацкой позе, как стоишь ты, только тогда что-либо ты можешь требовать от меня. А теперь в продолжение шести месяцев буду требовать от тебя я. Запомни это правило, как «Отче наш». Сейчас же становись на работу.

— В продолжение шести месяцев! — выкрикнул Лутатини рыдающим голосом.— Я заявлю аргентинскому консулу. Найдутся и против вас законы. Я не раб, чтобы меня могли держать на судне против моего желания.

— Если бы ты заявил даже самому президенту, все равно это нисколько не поможет тебе.

Капитан сделал шаг вперед, сжав здоровенные кулаки, разъяренный и страшный.

Лутатини испуганно моргнул.

Старший штурман Сайменс сразу насторожился.

— Впрочем... Стюард! —рявкнул капитан громовым голосом.

А когда вбежал, как очумелый, чернокожий человек, капитан, показывая на свои кулаки, прогремел:

— Я боюсь за них: они могут раздробить человеческий череп. Стюард, покажи этому джентльмену выход!

— Есть, сэр!

Лутатини съежился, словно от холода... На бледном лице туго изогнулись черные брови. Он почувствовал на себе тяжелую руку, ухватившую его за ворот костюма. На мгновение в зеркалах увидел свою жалкую фигуру и чернокожего великана, который бесцеремонно тащил его, как, вероятно, тащит сам дьявол грешные души в ад. А когда очутился за дверью, а потом — за другой, получил поочередно два удара: один — между плеч, а другой — ниже поясницы. Он полетел вдоль палубы, неуклюже кувыркаясь. И не сознавал, сам ли ударился обо что-то твердое, или его ударили по голове. Он был оглушен не сразу. Поднялся. Он пошел по палубе, пошатываясь и дико озираясь, словно ища защиты.

— Пресвятая дева Мария, что со мной делают? — простонал Лутатини, хватаясь за планшир фальшборта.

Свистело в ушах. И не волны, а злые духи, наряженные в белые плащи, с гулом и шипением вкатывались на палубу. Он не понимал, море ли, бушуя, поднималось вверх, или грязные тучи, клубясь, обрушивались вниз.

Вдруг нос парохода погрузился в море. Лутатини остановился. В следующий момент по ногам ударила волна, свалила его. Он сразу задохнулся, словно ему перехватили горло. Опомнившись, он кое-как добрался до входа в кубрик. Судно рвануло́сь — он вскрикнул и покатился вниз по трапу.

Над ним, смеясь, склонялись лица матросов. Слова их едва доходили до его сознания.

III

На второй день погода улучшилась. Ветер, не успев как следует разгуляться, затих. Поверхность Атлантического океана равномерно колебалась от мертвой зыби. Медленно покачивался «Орион», держа курс на восток. На корме развевался аргентинский флаг: две голубые полосы по краям и белая — посредине. Это полотнище, как знак нейтральной страны, должно было служить главной защитой судна от враждующих государств.

Лутатини лежал на койке. От ушиба болела голова.

Два дня назад он пользовался правами гражданина Аргентинской республики. Он мог передвигаться куда угодно, мог, не опасаясь, спорить с другими. И вдруг случилось так, что он, словно преступник, очутился в положении арестанта. Вспомнился родной дом в Буэнос-Айресе. Он родился и вырос в нем, овеянный тишиной, ласковым и заботливым вниманием со стороны родителей. Отец, содержатель собственной нотариальной конторы, всегда строгий и деловой, относился к нему холодно. Ему хотелось сделать из сына коммерсанта. Но мать, религиозная женщина, взяла верх: Себастьян кончил духовную семинарию и стал священником. Мать мечтала увидеть своего сына в облачении епископа. Восхищалась им и сестра, которая была моложе его на два

года. Она знала, с каким успехом, несмотря на молодость, он выступал как проповедник среди верующих католиков, приводя их в умиление, и придавала этому большое значение. Каждое утро она, молодая, солнечно-радостная, с лучистыми черными глазами, встречала его с той милой улыбкой, от которой невольно возникали у него грешные мысли о женщинах. И теперь их Себастьян исчез, пропал без вести. Какой переполох, вероятно, поднялся в доме! Сколько слез прольют о нем! И не подозревают, что он попал в неволю, в замаскированное рабство двадцатого века.

Лутатини оглянулся и увидел двух матросов, лежавших напротив на своих койках: один — на верхней, другой — на нижней. Оба не спали.

— Скажите, неужели капитан обладает такой властью, что может удержать меня на корабле?

Они посмотрели на него с досадой, как на человека, задавшего нелепый вопрос.

— Капитан на судне — что король на суше,— ответил один из них.

— Или что папа римский в Ватикане,— добавил другой.

Боцман, войдя в кубрик, повернулся прямо к Лутатини.

— Надеюсь, что ты теперь проспался?

Лутатини оглядел знакомого человека с ног до головы. Боцман был в синем рабочем платье, в серой кепке, сдвинутой на затылок. Шея у него была короткая, почти незаметная и, казалось, крепколобая голова его вдавлена в широкие и круто приподнятые плечи. С угловатого лица, огрубевшего от морских ветров, жестко смотрели желтые глаза, настойчиво требующие повиновения.

— Да, я проснулся. Ну, и что же из этого? — спросил Лутатини и насторожился.

— Пора стать на работу.

Лутатини решил оказать сопротивление.

— А если я не пойду? Меня обманом взяли на корабль.

Боцман придвинулся и, ощерив рот с поломанными зубами, загремел:

— Что? Не пойдешь? Я тебя разукрашу, как бог черепаху!

Словно железными клещами, он схватил Лутатини за руку и дернул его с такой силой, что тот в одно мгновение очутился на койке в сидячем положении.

— Через пять минут я вернусь,— сердито бросил боцман, уходя из кубрика.

Лутатини не ожидал, что боцман может так грубо с ним обращаться. Это сразу лишило его силы воли. Он поднялся и покорно, как запуганный школьник, начал одеваться.

Один из матросов посоветовал ему:

— Вы бы, друг, поберегли свой костюм. Он еще пригодится вам. Да и неудобно в нем работать.

— А во что же я оденусь?

— Возьмите у стюарда донгери. Потом вычтут из жалованья. Правда, раза в два дороже, но иначе не обойтись.

Через несколько минут, не глядя на чернокожего человека, Лутатини расписывался в ведомости. Переодевался он торопливо. В голове звенела фраза: «Я тебя разукрашу, как бог черепаху!» Было стыдно перед матросами, горечью оскорбления наполнилась душа; он готов был кричать и бесноваться, но старался смириться. Вероятно, так угодно богу, чтобы его пастырь подвергся тяжкому испытанию...

Поднявшись на верхнюю палубу, Лутатини растерянно огляделся. От вчерашней непогоды ничего не осталось. Широко раскинулся Атлантический океан. Голубел простор, залитый солнцем. Ленивая зыбь гладко поблескивала, точно покрытая олифой. Медленно покачивался с борта на борт «Орион», двигаясь в лучистую даль восьмиузловым ходом. По мостику прохаживался третий штурман Рит, похожий на юношу в своем новеньком белом кителе, в фуражке с блестящим золотым вензелем. Несколько человек из команды чистили медные части на иллюминаторах офицерских кают. Боцман находился на корме, занимаясь исправлением механического лота. Лутатини, стуча деревянными башмаками, прошел туда. Он в нерешительности потоптался на месте, потом, сделав усилие над собою и опустив глаза, спросил:

— Что прикажете делать?

— Подожди.

Пока боцман занимался своим делом, Лутатини смот-

рел за корму. И ничего не видел, кроме изогнутого небосклона, скрывшего его родную землю надолго,— быть может, навсегда. Под широким подзором бурно шумели лопасти винта, двигая вперед огромнейший корпус судна с грузом в шесть тысяч тонн. О, если бы можно было повернуть корабль в обратную сторону! Бывший священник, а теперь — матрос в таком платье, в котором не узнала бы его родная мать... (Черные блестящие глаза его стали влажными.)

— Идем! — сказал наконец боцман.

Лутатини покорно пошел за ним к машинному кожуху. Боцман, просунув голову в отверстие вентилятора, крикнул в кочегарку:

— Домбер!

На палубу поднялся старший кочегар. Это был здоровенный датчанин, напоминающий каменную глыбу. Расстегнутая рубаха обнажала крутую грудь, заросшую волосами. Длинные и мускулистые руки, согнутые в локтях, были похожи на два стальных рычага. Он твердо стоял, раздвинув ноги, толстые и крепкие, словно кнехты. Во всей его фигуре, нескладной, покрытой копотью, было что-то от пещерного жителя.

— По распоряжению первого помощника и с согласия чифа этот господин назначен к вам в преисподнюю в качестве угольщика.

Домбер обвел Лутатини угрюмым взглядом бегемота, сморщив низкий лоб в крупные складки, и прохрипел ободранной глоткой:

— Помощи от него будет мало.

— Ты своими кулаками мертвого научишь работать.

Лутатини, спускаясь по железным трапам в машинное отделение, думал, что он отдан на съедение этому нескладному человеку. Боясь сорваться, он медленно и осторожно переставлял ноги с одной ступеньки на другую. Над ним смеялся машинист:

— Вот этот поработает!..

В кочегарке, отделенной от машины железной переборкой, было жарко. Работали здесь трое, включая сюда и Домбера, по одному человеку у каждого котла. Без лишних слов старший кочегар рассказал Лутатини о его обязанностях. Нужно было наполнять тачку углем и подвозить ее ближе к топкам. Работа была проста,

но и она требовала сноровки. В непривычных руках железная лопата не входила в уголь, с грохотом скользя по неровной его поверхности и забирая лишь два-три куска.

— Нужно поддевать по настилке, тогда вы зачерпнете полную лопату,— мрачно посоветовал ему Домбер.

После этого с насыпкой угля пошло быстрее. Хуже обстояло дело с тачкой. Она вертелась в руках, валилась набок, а при малейшем крене судна катилась не туда, куда следует, часто ударяясь в переборку и опрокидываясь. А топки, как ненасытные пасти, поглощали невероятное количество угля. Кочегары время от времени покрикивали:

— Давай, Лутатини, давай!

Лутатини лез из кожи, чтобы не отстать в работе. Все тело его покрылось обильным потом и едкой пылью. От знойной духоты мутилась голова. В желудке что-то сжималось и разбухало, ворочалось, подкатывало к горлу. Начиналась рвота. Он, согнувшись, громко рычал, широко открывая рот. Желудок уже был пуст, а отвратительная тошнота, на минуту затихнув, снова возобновлялась. Хрипя, он отплевывался тягучей и горькой желчью.

Кочегар, китаец Чин-Ха, без рубашки, с плоским чумазым лицом, скосил на Лутатини свои узкие черные глаза.

— Твоя умереть может.

Домбер посоветовал:

— Надо принять меры.

— Какие меры? — простонал Лутатини.

— Пейте больше воды — прополощите желудок, а потом чем-нибудь крепко подтяните живот.

Несколько раз Лутатини принимался пить воду, но желудок сейчас же выбрасывал ее обратно.

Низкорослый и широкоплечий кочегар, бразилец, туго перетянул ему живот полотенцем, словно корсетом. Стало легче.

Чтобы хорошенько горел уголь, куски его не должны были превышать величины человеческого кулака. А между тем попадались пудовые комья. Лутатини дробил их тяжелым молотом. Ныли руки, ноги, спина, а на ладонях появились мозоли. Работая, он думал, что нужно

быть не человеком, а животным, чтобы выполнять труд угольщика.

Кочегары покрикивали:

— Живее поворачивайся, Лутатини!

После смены он едва поднялся на верхнюю палубу, шатаясь, как больной.

Обед состоял из бобового супа и жареного мяса с рисом. В другое время такая пища показалась бы невкусной, но теперь он набросился на нее с жадностью. Изнуренные руки дрожали, расплескивая из ложки суп.

В продолжение восьми часов Лутатини был свободен. Он лег на свою койку, которую теперь отвели для него во второй половине кубрика, где жили кочегары, и не успел сомкнуть глаз, как начал, словно на лифте, приятно проваливаться в какую-то тьму,— впервые без тревоги и мыслей. Ему показалось, что это длилось всего лишь две-три минуты. А между тем прошло более четырех часов. Чьи-то руки приподнимали его, трясли. Слышался надоедливый голос:

— Вставайте, святой человек, ужинать.

Полусонный, он уничтожил две котлеты с картофелем, выпил кружку чая со сгущенным молоком и опять завалился спать.

За четверть часа до следующей вахты китаец Чин-Ха дергал его за ногу, выкрикивая взвизгивающим голосом:

— Да ну же,— проснись! Твоя на вахту пора! Слышишь? Башка твоя плохой!

Лутатини заспанными глазами долго всматривался в желтое лицо китайца, не понимая, в чем дело. А когда очнулся, болезненно скривил лицо. Он отдал бы полжизни, только бы не идти на постылую вахту.

IV

Наступила вторая неделя, как «Орион» отвалил от берегов Аргентины. Курс продолжали держать прежний — на восток. Было ясно, что капитан не без цели уклоняется от обычного пути вправо. В редких случаях здесь могли встретиться коммерческие корабли, а для парохода, имеющего в своих трюмах контрабандный груз, важно было пройти втихомолку. Кроме того, в

этих водах совсем отсутствовали немецкие субмарины. Опасность должна наступить после, когда, не доходя до Африки, «Орион» пересечет экватор и направится к Гибралтарскому проливу.

Погода стояла хорошая. Иногда налетал слабый ветер, бесшумно скользил по светлой поверхности. Океан, оживая на короткое время, поблескивал серебристой рябью и опять погружался в ленивую дрему, замкнутый в широкий круг горизонта. Появлялись облака, белопенными островками висели между двумя безднами и медленно таяли.

Какая-то поломка произошла в холодильнике. Пока механики и машинисты производили починку, на целую неделю пришлось застопорить машину. Капитан злился, спускался в машинное отделение и гремел там, угрожая отдать механиков под суд. А кочегары радовались: для них наступили блаженные дни — спи, сколько влезет.

Отдыхал и Лутатини.

От матросов он теперь достаточно узнал о шанхаерах. Раньше он и не подозревал, что этот отвратительный промысел существует во всех портах Старого и Нового Света, а больше всего процветает у него на родине — в Буэнос-Айресе. Беглым матросам, нарушившим по тем или другим причинам контракты, некуда было деться. Скрываясь от своего начальства и от полиции, голодные и бесправные, они доходили до такого состояния, что готовы были поступить куда угодно и на каких угодно условиях. Вот здесь-то и являлись на помощь ловкие люди, которые устраивали их на другие суда. Так из этого родились мощные организации шанхаеров.

В Буэнос-Айресе главным шанхаером считался Томми Мур, наживший огромнейший капитал на заработках моряков. Имя его хорошо знакомо всем морякам, кто хоть раз побывал на берегах Ла-Платы. Он встречал сам каждое вновь прибывшее в порт судно и старался заманить команду в свой пансион в Калле ля Мадрид. В стенах пансиона, чтобы обобрать матросов, не стеснялись никакими средствами, пуская в ход и спиртные напитки и продажных женщин. Редко кто мог избежать соблазна. Наверняка можно было сказать, что они, пожив у Томми Мура, спустят не только деньги, но и вещи. А

когда у них ничего не оставалось, кроме мускулов, прикрытых жалким тряпьем, их устраивали на то или другое судно. Томми Мур снабжал их небольшой суммой денег, рабочим платьем, табаком и даже отпускал по бутылке виски на брата. Но за такое удовольствие каждый моряк должен был подписать «адванснот». А это означало, что месячное или двухмесячное жалованье моряка получал шанхаер после того, как его клиент уходил в море.

Сверх того шанхаер занимался и другим делом. На плохие корабли с рискованным рейсом трудно было набирать дешевую команду. Каждый матрос, сколько-нибудь обеспеченный, избегал службы на подобных судах. В таких случаях пароходные компании или сами капитаны обращались к содействию шанхаера. Томми Мур всегда был готов к их услугам. В его распоряжении находился штат агентов. Мало того, в этом деле ему помогали представители Армии спасения. Он раскидывал агентов по всем портовым кабакам, как рыболовные сети в море. И всегда у него был удачный улов. За каждую завербованную голову он получал двойное вознаграждение — и с моряка и с пароходной компании.

Так случилось и в тот вечер, когда попал в кабачок Лутатини. У матросов вышли все деньги, чтобы продолжать веселье в «Радости моряка». В это время подоспел человек, бритый, вертлявый, как фокстерьер, в котелке, лихо сдвинутом на затылок. Окинув наметанным взглядом пьяную компанию, он бойко заговорил:

— Ребята! Моряк без корабля, да еще без денег — все равно, что рыба без воды. Спешно нужна команда.

— Куда? — обратились к нему разом несколько человек.

— На «Орион». Пароход великолепный — громадина! Идет в Барселону, в нейтральный порт, под нейтральным флагом Аргентинской республики. Следовательно, опасности от войны ровно никакой нет. Кому сейчас же нужны деньги, не зевайте. Спешите подписать контракт.

Матросы, распаленные вином, заорали:

— Правильно! Нечего на берегу околачиваться!

— Согласны!

— Гони монету!..

И вокруг человека в котелке образовалась очередь, возглавляемая охмелевшим и ничего не соображающим Лутатини.

Пьянство еще некоторое время продолжалось. А потом всех, кто подписал контракт, начали грузить на моторный катер. Некоторые из них находились в полумертвом состоянии. С этими легче было справиться. А те, что были потрезвее, буянили, но против них выставили полицию.

Лутатини, слушая разговоры о шанхаерах, искренне возмущался этой чудовищной системой несправедливости. Трудно было поверить в это, если бы он сам не был завербован на судно таким же способом.

Как-то, сидя на баке, он спросил у матросов:

— Как же власть терпит таких разбойников?

Матросы захохотали:

— Да вы, сеньор Лутатини, точно с неба свалились на землю.

— Притворяется непонимающим ребенком, долговязый черт!

— Он, божья чумичка, не знает, из кого состоит власть!

— Шанхаер — это узаконенный жулик. Запомните это навсегда, сеньор Лутатини.

Старый рулевой Гимбо, с крупным синим носом, похожим на паяльник, похлопал Лутатини по плечу и промолвил:

— Вот, дружище, как обстоит дело: обирают нашего брата и не велят «караул» кричать.

Бразилец Сольма мечтал вслух:

— Хорошо бы такого шанхаера в кочегарку заманить. Ломом разок-другой стукнуть и — в топку.

Домбер прохрипел, оскалив зубы:

— А мне хоть бы на берегу встретиться с тем субъектом, который продал нас! Я из его мяса трос скручу.

После вахты Лутатини мылся в бане. За обедом или ужином приходилось ходить самому с эмалированной миской и металлической ложкой. Ели тут же, около камбуза. Порции выдавал поваренок Луиджи, красивый и кроткий юноша. В глазах его с зеленоватым оттенком было что-то наивно-восторженное. Нежный и застенчивый, он, казалось, для того только и существовал на

корабле, чтобы подчеркнуть грубость других. Над ним властвовал старший повар, сорокалетний толстяк с тройным подбородком, с рыхло вздутыми щеками. Правое ухо у него плотно прилегало к голове, а левое оттопыривалось. Он ходил во всем белом, начиная с колпака и кончая брюками. Команда, чтобы сильнее задеть религиозное чувство Лутатини, прозвала повара «Прелатом». Повар не обижался на это и даже старался подражать священнику, словно он находился не в камбузе, а в алтаре. На все остроты матросов и их отъявленную ругань он отвечал грохочущим хохотом, словно его щекотали под мышками.

Около камбуза, за едой, Лутатини слушал разговоры команды.

— Говорят, что идем в Барселону. Это чистейшая ложь. Какой дурак будет что-либо отправлять в Испанию, когда воюющие страны платят за все в пять раз дороже. Во Францию мы держим курс — вот куда!

— Факт в квадрате.

Никто не знал, что скрывается в трюмах, и только делали на этот счет разные предположения:

— Вернее всего, военный груз.

— Да, шесть тысяч тонн.

— Может быть, оружие?

— А возможно, что и динамит.

— В Аргентине как будто нет динамитных заводов.

— Могли привезти из Соединенных Штатов, чтобы затем отправить под нейтральным флагом.

— Вот если напоремся на немецкую субмарину...

— Хо, тогда прямо в рай полетим вместе с нашим духовным отцом.

— Сеньор Лутатини окажет нам протекцию перед богом, чтобы для нас досталось местечко потеплее.

Лутатини досадливо хмурил брови.

— Напрасно вы смеетесь над такими вещами.

Он пробовал возражать, но всегда попадал в нелепое положение. Его оглушали грубой руганью. Матросы как будто нарочно старались показать себя перед ним с самой скверной стороны, издеваясь над всем, что для него было дорого и свято. Что это за люди? У них не было привязанности ни к богу, ни к семье, ни к отечеству... Они были бездомны, как птицы, и блуждали по

всем морям и океанам, от одного порта к другому, как обломки человеческого рода. Казалось, все интересы их сводились только к кабаку и продажной любви. О женщинах они отзывались так скверно, что Лутатини сгорал от стыда. Он никогда не представлял себе, что существует на свете такой разврат. А он еще хотел наставлять их на путь истины! Нужно быть сумасшедшим, чтобы взяться за такое дело!

В особенности доставалось ему от одного рулевого. Это был финн Карнер, худой человек с признаками чахотки. Когда-то он плавал кочегаром, но потом перешел в верхнепалубные матросы. Топки вытянули из него соки, иссушили легкие, согнули спину, и к сорока годам его скуластое лицо пожухло, завяло. Когда он вступал в разговор с Лутатини, его злые глаза сверкали нездоровым блеском. Он часто задавал коварные вопросы.

— Вы, сеньор Лутатини, постоянно упираете на бога. Без воли божьей ни один волос с головы не упадет... А скажите, пожалуйста, на что он допускает войну? Ведь такой международной бойни ни один дьявол не придумает...

— Испытание посылает человечеству...— бросал готовый ответ Лутатини, стараясь быть спокойным.

Карнер махал руками.

— Застопорьте язык свой, чтобы он не выдавал всей вашей глупости! По вашему же писанию выходит, что бог ваш — всеведущий, всезнающий... Зачем же ему испытывать людей? Я не бог, а простой смертный человек, да и то знаю, что если на вас навалить три тонны угля, то вы лопнете под такой тяжестью, как таракан под каблуком...

— С вами трудно вести беседу,— заявлял Лутатини.

Карнер шипел на это:

—Да, вам удобнее разговаривать с набожными стариками и старушками, чем со мною.

Во время таких споров выходил из камбуза Прелат. Он становился около Лутатини и неистово хохотал. Он всегда жевал табак, и, когда смеялся, по крупному подбородку стекала бурая жижица. Маленькие и водянистые глаза наполнялись слезами.

— Кроши всех богов, всех святых и чертей на придачу — получится винегрет!

И снова разражался хохотом.

Словно от угара, мутью заволакивался мозг Лутатини. И ему начинало казаться, что его окружают не люди, которым он искренне хотел помочь, а василиски и аспиды, изрыгающие ужасную хулу на святого духа.

V

По мере того как опустошались бункера, хранящие запасы топлива, все меньше высыпался в кочегарку уголь самотеком. Чтобы увеличить его приток, применяли особые меры.

Лутатини лез в бункер, железной лопатой передвигал уголь от задних стен ближе к шахте и ссыпал его на плиты кочегарного отделения. Он постепенно начал втягиваться в этот тяжелый и грязный труд. Руки и ноги стали обрастать мускулами, крепла спина. Но тягостное настроение не покидало его. В помещении, похожем на подземную пещеру, было мрачно и черно. Поднимая густую пыль, он работал, как отверженный, в тусклом освещении переносной электрической лампочки. Иногда он настолько уставал, что стоило ему чуть присесть на уголь, как сейчас же у него в изнеможении закрывались глаза. Тогда около него вырастал кто-нибудь из кочегаров и, толкая его пинком, словно галерного каторжника, разражался неистовой бранью:

— Ваше преподобие! Дьявол тонконогий! Все богослужение проспали!..

Лутатини вскакивал, как встрепанный, и начинал греметь лопатой по углю.

Но случалось, что кочегар вырывал у него лопату и старался на скорую руку ему помочь.

Покончив с делами в бункерах, Лутатини опять спускался в кочегарку, в душный зной, к гудящим топкам.

С первых дней китаец Чин-Ха работал во время своей вахты в одних брюках, по пояс голый, а потом, несмотря на прежнюю жару в кочегарке, почему-то начал надевать синюю рабочую рубаху. В голосе у него послышалась нехорошая сипота. Веселый от природы, постоянно улыбающийся, относившийся к этому рискованному рейсу спокойнее других, он вдруг стал угрюмым. Узкие раскосые глаза его налились тревогой, плоское ли-

цо приняло выражение постоянной сосредоточенности. Он мало ел, хирел с каждым днем и, обессиленный, плохо выполнял свои обязанности. Только не уменьшалась жажда: работая у топок, он вместе с другими кочегарами часто прикладывался к дудочке большого чайника. Кроме того, у него появилось желание мыться в бане после всех — в одиночестве.

Как-то утром, после завтрака, на одной из вахт, когда только что спустились в кочегарку, Домбер обратился к китайцу:

— Что с тобою, Чин-Ха?

От неожиданного вопроса китаец вздрогнул, как будто его застигли врасплох во время преступления. Он вскинул на Домбера пугливый взгляд. А тот стоял рядом, огромный и неуклюжий, как вздыбившийся зверь, и сурово сверху вниз смотрел на него, ожидая ответа.

Китаец растерянно пролепетал:

— Моя мало-мало заболел.

— Чем?

— Моя не знает.

— Врешь! Скрываешь свою болезнь!

Китаец упорно настаивал на своем:

— Моя не знает.

Домбер повелительно гаркнул:

— Раздевайся!

У китайца испуганно заметались глаза. Он попятился к выходу из кочегарки, но Домбер схватил его за грудь.

— Стой!

И, приподняв на воздух, тряхнул, как пустой угольный мешок.

Чин-Ха пронзительно взвизгнул и, выбрасывая ругань на своем языке, начал раздеваться.

Вся спина и весь живот оказались у него в мелких красных прыщах.

Домбер, словно врач, осмотрел все части его тела, заглянул ему в рот, а потом свирепо заявил:

— Пьешь воду вместе с нами, гадина! Если успел кого заразить, я из тебя утробу вырву. Запомни это, Чин-Ха! А пока одевайся.

Бразилец Сольма, горячий и порывистый, с руганью бросился на китайца. Здоровенным кулаком он нанес ему такой удар в подбородок, что тот сразу свалился.

Домбер не позволил больше драться. Чин-Ха, поднявшись, заплакал, сплевывая кровь.

Лутатини ужаснулся: все это было для него нелепо и дико. А еще больше встревожило его то, что и сам он очутился под угрозой заразы страшной болезнью. Взволнованный, он вместе с кочегарами поднялся на палубу, предчувствуя, что затевается что-то недоброе.

Весть о болезни китайца взбудоражила весь кубрик. Для матросов и кочегаров, обманом взятых в рискованный рейс, нашелся предлог вылить свою накипевшую злобу. С руганью, с угрожающими выкриками все повалили на палубу. Столпившись на шканцах около офицерских кают, потребовали капитана. Вместо него вышел на крик первый штурман, мистер Сайменс. Твердым взглядом он окинул разъяренные лица команды, а потом, опустив правую руку в карман широких брюк, спокойно спросил:

— В чем дело?

Все разом загалдели:

— Мы не можем плавать и работать вместе с сифилитиком!

— Долой китайца!.. У нас провалятся носы!..

Чин-Ха стоял здесь же, робко оглядываясь на выкрики людей.

Старший штурман, уверенный в своей силе, смотрел на всех бесстрастным взглядом. Только углы его губ опустились в презрительной гримасе. Он поднял левую руку:

— Не шумите! Здесь не бар, а судно. Я не привык слушать всех сразу. Говорите кто-нибудь один.

Домбер выдвинулся вперед.

— Команда хочет, чтобы убрали китайца. Он сифилитик.

— Хорошо. Доложу об этом капитану.

Старший штурман скрылся в кают-компании, но минут через десять опять явился перед командой. Все притихли, слушая его властный голос:

— Китаец будет от вас удален. Пусть он сейчас же забирает свои вещи из кубрика и останется пока на палубе; капитан сам предварительно осмотрит его, а вы продолжайте работать.

В бортовом проходе, около каюты главного механика, стояло несколько человек из администрации. У каж-

дого из них правая рука была опущена в карман брюк, каждый настороженно следил за командой. Распоряжение капитана успокоило всех. Матросы расходились по местам неохотно, с таким видом, точно вдребезги пропились. Нетрудно было догадаться, что враждебное настроение их вызвано не одним только китайцем.

Капитан Кент считал себя знатоком медицины. Несколько минут он осматривал перепуганного китайца, расспрашивал его, когда он в последний раз сходился с женщиной и что это была за женщина. Потом, удалившись в свою каюту, заглянул в судовой лечебник.

После этого в носовой половине парохода под палубой в твиндеке застучал топор плотника.

С разрешения главного механика Сотильо Лутатини заменил китайца. Домбер, которому почему-то захотелось сделать из него кочегара, добродушно подбадривал его:

— Ничего, друг, привыкнете. Хитрости тут не много. Все-таки будете специалистом. И жалованье вам увеличат. А угольщик на судне — это самое последнее дело.

В эту ночь, несмотря на усталость, Лутатини почти совсем не спал. С раздражением он вспомнил, что пил воду из чайника сейчас же после китайца. Быть может, в крови его уже размножаются спирохеты. Что будет, если у него через неделю или две появится подозрительная сыпь на теле! Представляя в воображении себя с провалившимся носом, он ворочался с боку на бок на жесткой койке и до боли кусал губы. Потная рубашка прилипала к спине.

На другой день в твиндеке было готово небольшое помещение, крепко сколоченное из толстых досок. Оно напоминало карцер с тесовой кроватью, со слабым светом, проникавшим туда через раструб вентилятора, с затхлым и тяжелым воздухом. В него поставили анкерок с пресной водою и старое ведро, которое должно было заменять собою ночной горшок. В это помещение и водворили китайца. Он не сопротивлялся и шел за боцманом со всеми своими скудными вещами, уныло повесив голову, словно обреченный. Матросы молча провожали его глазами. За ним захлопнулась дверь и щелкнул большой висячий замок.

VI

Вахтенные часы той группы кочегаров, в которой был Лутатини, переместились: теперь кочегары работали с четырех до восьми и с шестнадцати до двадцати часов. Такой порядок был установлен на целую неделю. Потом они снова передвинутся на четыре часа вперед. Это уравнивало труд людей.

Одну треть суток, утром и вечером, Лутатини проводил в кочегарке, превратившейся для него в место невыносимых пыток. Он не мог бы простоять здесь и одного часа, если бы предварительно не поработал на судне угольщиком. Помимо смекалки, здесь еще требовались здоровые мускулы, ловкость, навык. На каждого кочегара приходилось по три топки: одна, средняя,— внизу под котлом, а остальные две — по сторонам его, на высоте человеческой груди. За две вахты они поглощали до пяти тонн угля. Такое количество угля требовалось не только забросать в топки, но и раскидать его по колосниковой решетке ровным пластом. А сколько сверх этого нужно было еще затратить мускульного труда, чтобы поддерживать пар в котле на уровне определенного давления! Лутатини работал в рукавицах, в деревянных сабо, по пояс голый, весь запудренный черной пылью. Домбер все время поучал его:

— Топливо нужно держать как можно ровнее. Толщина слоя — от четырех до шести дюймов. Большие куски ни в коем случае не должны попадать в топку. Следите, чтобы не засорялась колосниковая решетка, а главное — чаще поглядывайте на манометр. Давление пара — сто пятьдесят фунтов. Ни больше, ни меньше. Стрелка постоянно должна быть на красной черте. И вообще хорошенько запомните: для кочегара стрелка на манометре — это то же самое, что божий перст для верующего священника....

И терпеливо показывал, как нужно забрасывать уголь в топки.

Лутатини выбивался из сил. В особенности трудно было питать углем верхние топки, расположенные слишком высоко. Товарищи его справлялись с этим делом сравнительно легко, но у них были буграстые руки, а на спине, когда приходилось напрягаться, вздувались шиш-

ки. У него же в передней части топки срывался с лопаты уголь, и редко удавалось закинуть его дальше. И только при помощи гребка он разравнивал топливо по всей колосниковой решетке. Иногда лопата ударялась о топочную раму. Домбер бросал на него суровый взгляд, предупреждая:

— Осторожнее, друг! А то придется вам расплачиваться собственным жалованьем.

Уголь давал длинное крутящееся пламя с копотью. Колосниковая решетка часто забивалась шлаком и золой, задерживая приток свежего воздуха,— горение замедлялось, жар уменьшался. Тогда Лутатини брал резак, похожий на кочергу, и очищал им промежутки колосников. В поддувало ослепительным золотом сыпались мелкие раскаленные угольки.

На судне теперь остались только два угольщика. За прибавочное жалованье они работали на две вахты, по двенадцати часов в сутки. Один из них, белобрысый, с лицом преступника, по фамилии Вранер, почему-то возненавидел Лутатини: может быть, за то, что сам метил попасть в кочегары.

— Благодари бога, что не я старший кочегар. У меня бы ты, длинная глиста, завертелся перед топками, как черт перед крестом!

Лутатини лишь в редких случаях робко возражал:

— Вот таким озлобленным субъектам бог и не дает ни малейшей власти.

— Иди-ка ты со своим богом... знаешь, куда?

Вранер произносил страшные слова, от которых у Лутатини поднимались волосы дыбом.

Гудели топки пламенным вихрем, дрожали котлы, прогоняя по трубам пар к цилиндрам, вздыхающим поршнями. Слышно было, как за переборкой, вращая гребной вал, размеренно взмахивали мотыли. А наверху были люди. Там, под присмотром штурмана, верная рука рулевого твердо лежала на штурвале, направляя «Орион» к определенной цели. Никто, кроме капитана, не мог изменить курса, остановить судно и уменьшить ход. Домбер то и дело бросал взгляд на манометры. Малейший уклон стрелки в левую сторону вызывал в нем раздражение. Он кричал:

— Лутатини, пар падает!

Вранер тоже вставлял слово:

— Это тебе, длинная глиста, не в алтаре комедию ломать. Там что? Прошелся с дароносицей, помахал крестом, с богом пошептался — и кончено. А тут, брат, шевелись!

На Вранера набрасывался Домбер:

— Кто бы говорил, а ты бы молчал, чужеядная тварь!

— Это почему же?

— Потому что от тебя пользы, как от худого ведра: почерпнешь полное, а вытащишь — в нем пригоршня воды. Наработаешь на десять центов, а нагремишь на два доллара. Отправляйся лучше в бункер и давай угля, пока я тебе бляху не припаял.

Вранер с ворчливой руганью удалялся из кочегарки.

Лутатини удивлялся: нашелся человек, который относился к нему с завистью. Чему бы завидовать? Разве кочегарное отделение не напоминало преисподнюю? Тускло горели запыленные электрические лампочки. В зное, в сорок с лишним градусов по Реомюру, носилась едкая пыль. Она разъедала кожу, забивала поры, хрустела на зубах, пробиралась в легкие. И люди здесь, черные, исполосованные струями пота, со сверкающими белками глаз, не были похожи на тех, с которыми Лутатини встречался на берегу. Когда открывали дверцы топок, на мрачных стенах трепетали багровые отблески.

В то время, как Лутатини суетился за работой, двое его товарищей успевали справиться с делом и даже помогали ему. Они пили воду и становились под виндзейль — под длинную парусиновую кишку, нагоняющую в кочегарку влажный ветер, крошечные частицы морских просторов. Сольма курил трубку, а Домбер жевал табак, сплевывая бурую жижицу. Он мечтал:

— Добраться бы до родины. Три года не был... Если попадем в нейтральный порт, сбегу с судна.

— А у тебя большая семья? — спрашивал Сольма.

— Жена с двумя детьми и отец-старик.

— А для меня все равно, где бы ни бросили якорь. Лишь бы были женщины и выпивка. Однажды я попал на китобойное судно. Целый год проболтался в Южном Ледовитом океане. Негде было пропить ни одного шил-

линга. Зато когда вернулся на берег — деньгами завались. Три дня я был хозяином жизни. Эх, и кутнул!..

И снова принимались за шуровку.

Домбер командовал:

— Возьмите, Лутатини, карандаш и начинайте расписываться.

Лутатини открывал ревущую топку и брал в руки двухпудовый лом. Засунув его заостренным концом в огненное жерло, он наваливался изо всей силы на другой конец и взламывал скипевшийся слой угля. Извиваясь, он, как бык, наклонял голову и, зажмурившись, пробивал лом в новое место под сверкающий слой топлива. Запекались и трескались губы, широко раздувались ноздри, вдыхая раскаленный воздух. Сердце делало перебои, кровь стучала в висках. У него начинали дрожать руки и ноги. Тогда подходил к нему кто-нибудь из товарищей и, отстраняя, говорил:

— Отдохните!

Лутатини опрометью бросался к большому чайнику и не думая уже, что можно заразиться, жадно пил из дудочки воду. Потом садился на деревянную скамеечку под виндзейлем, весь мокрый от пота, и жаловался:

— Это ад плавучий, а не корабль.

— На этот раз вы правильно сказали,— подхватывал Домбер.— Но ничего не поделаешь: вы же, духовенство, придумали для нас, чтобы мы добывали хлеб в поте лица. И нигде не прольешь столько пота, как в кочегарке. А почему-то никто из нашего брата не попадает в святые.

Лутатини мрачно отмалчивался.

Сольма, подбрасывая в топку новую порцию угля, говорил:

— Если на том свете дадут мне должность кочегара, я с удовольствием буду поджаривать на огне всех царей, князей, судовладельцев и шанхаеров.

Домбер добавлял:

— Насчет того света нам ничего не известно. А вот теперь бы засадить в котел самого папу римского, чтобы не морочил людям голову...

Лутатини страдал. Вот они кощунствуют, говорят мерзости, но ведь только они, эти простые ребята, были человечны к нему. Они работали за него бескорыст-

но, давая ему возможность отдохнуть. Мог ли так поступить кто-либо из администрации? Он вспоминал, как отнесся к нему сам капитан, и кровь бросалась в голову.

Угольщик Вранер, попадая из бункеров в кочегарку, издевался над Лутатини и рассказывал ужасы:

— Однажды я плавал на одном судне. Второй механик у нас был паскудина первой статьи. Решили кочегары малость проучить его. Ребята все дружные были — один к одному на подбор. Пропал второй механик без вести... сгинул. Хоть бы одну косточку нашли от него. Ничего.

— Куда же он исчез? — спрашивал Сольма.

— Про то знали немногие. А для остальных он исчез, как дым из трубы.

Вранер снова начинал:

— А то вот еще случай.

Лутатини надоело слушать Вранера, и он сказал ему:

— Послушай, Вранер, для чего это ты рассказываешь?

— Для твоего размышления. Когда ляжешь на койку, подумай: какой, мол, угольщик Вранер подлый человек и какой я в сравнении с ним благородный! А может быть, с доносом побежишь к капитану?

Домбер обрывал его:

— Ты и без доноса когда-нибудь попадешь на виселицу.

Перед концом вахты очищались топки: быстро удаляли гребком весь шлак и золу и дочиста очищали колосниковую решетку. Чистый жар разгребали по колосникам и подбрасывали свежего угля. Выброшенный шлак раскаленными слитками валялся тут же, у ног, на железных плитах. От этого жара становилась невыносимой. Из поддувал выгребался мусор — зола и мелкий уголь. Все это заливалось водою. По всей преисподней бурым облаком носились пыль и горячий пар. Из запорошенных глаз катились слезы, а легкие отхаркивали черные сгустки.

Судовой колокол отбивал восемь склянок, и Лутатини направлялся в баню, устало согнувшись, едва передвигая ноги. Руки у него висели, словно парализованные.

Вымывшись под душем, он боязливо оглядывал свое тело и вспоминал китайца. Малейшее красное пятнышко на коже вызывало страшное беспокойство.

VII

«Орион», изменив курс, шел теперь на север. Вступили в область пассатных ветров. С каждым днем становилось теплее.

В кубрике донимали клопы. Они сопровождали моряков во всех скитаниях. На них не действовали ни тропический зной, ни полярный холод. Сколько раз на «Орионе» команда принималась за уничтожение их: вытаскивали из помещения все свои вещи, а потом начинали ошпаривать кипятком все койки и пол, мыли стены. И все-таки через некоторое время постылые насекомые снова появлялись. Наконец, чтобы избавиться от них, матросы сами выселились из кубрика на палубу.

Над люком переднего трюма был развешен тент. Матросы и кочегары все свободное время проводили здесь, располагаясь прямо на лючинах, затянутых брезентом. Ложились поперек судна, в два ряда, голова к голове: с левого борта кочегары, а с правого — верхнепалубные матросы. Здесь же вместе с кочегарами, между Сольма и Домбером, устроился и Лутатини, страдавший от клопов больше всех.

Лутатини считал себя человеком потерянным. Для него ничего не оставалось в жизни, кроме грязного и непосильного труда и животного существования раба. Глядя на него, никто бы не мог узнать в нем прежнего щеголеватого священника с нежным румянцем на щеках. Он огрубел, ссутулился, ходил расхлябанной походкой. Лицо обрастало черной кудрявой бородой, под глазами, как и у его товарищей по профессии, появились несмываемые синие круги от въевшейся угольной пыли.

Иногда, проснувшись, он продолжал лежать на своем жестком матраце, вслушиваясь в говор команды. Ему хотелось понять этих людей. Эти люди были полны противоречий, и в их поступках трудно было разобраться. Взять хоть бы отношение команды к китайцу Чин-Ха. Матросы, как узнали о его болезни, готовы были

разорвать его на части, а теперь вспоминали о нем с откровенной жалостью, как о близком родственнике.

— Говорят, у Чин-Ха семья есть...

— Ну, как теперь вернуться домой?..

— Пропала жизнь...

— Если бы в больницу отправили, мог бы подлечиться. А тут где же... Сгниет парень...

По вентиляторной трубе, привязав к шкерту миску, спускали китайцу пищу. Так же вытаскивали от него ведро с нечистотами. И все это проделывали сами матросы, не дожидаясь распоряжения начальства. Многие снабжали его табаком. А старший повар, этот пустой и смешливый человек, урывал от офицерского стола лучшие куски мяса и посылал их через Луиджи больному.

Вспоминая о китайце, матросы ругали женщин: только от них и зло на свете, моряки страдают больше всего от них. Но Лутатини уже знал, что почти у каждого матроса вытатуирована на теле женщина. У старого рулевого Гимбо на груди — парусник с волнами у бортов, с надувшимися парусами: сбоку — женщина; она взмахнула платочком и смотрит на судно печально. У некоторых матросов были разрисованы руки: то женщина держится за штурвал, внутри которого, в перспективе виден маленький корабль, то она поднимается по вантам с раздуваемым подолом юбки. Лучше всех была татуировка у Домбера: на груди — сердце, а в нем, как в раме,— голый бюст красавицы; лицо ее в густых локонах, с манящей улыбкой; внизу бюст заканчивался змеями; вытянувшись наружу через острие сердца, они снова впивались в него, чтобы причинить невыносимые муки. Только рулевой Карнер представлял исключение: у него на груди — земной шар; по океану, дымя, плывет пароход; путь его далек — к солнцу, внутри которого надпись: «Всемирный союз моряков».

Здесь, на переднем люке, у Лутатини часто происходили столкновения с рулевым Карнером. Однажды неугомонный финн, заметив, что Лутатини проснулся, заговорил с ним притворно-дружеским тоном:

— Я вижу, что вы устали, сеньор Лутатини. Ну, ничего! Зато на том свете получите вознаграждение. Старенький ваш бог посадит вас на мягкое кресло, похлопает по плечу и скажет: «Молодчина, братишка! По-

работал ты в кочегарке на славу. Хозяева твои хорошо нажились на контрабандном грузе. Недаром свечи ставили и молебны служили. Теперь отдыхай во веки веков и блаженствуй в моих чертогах». И закажет для вас хор из архангелов...

Другие матросы подхватили:

— Жаль, что он не мусульманской религии. Там в награду дают еще женщин — лучших красавиц. Любую выбирай.

— И, говорят, ни одной заразной. Все девственницы.

— Эх, при этом бы кровать хорошую!..

— Можно и на лужайке...

Глаза Лутатини засверкали гневом. Но он сдержал себя и заговорил тихо:

— Вы все отрицаете, Карнер, и надо всем смеетесь. Для вас не существует бога. А между тем величайшие умы человечества не отрицают высшего разума. Мне кажется, объясняется это тем, что вы никогда не задумывались над мудрыми явлениями природы. Возьмем простой пример. Вы когда-нибудь рассматривали в микроскоп инфузорий или микробов?

Матросы насторожились, а Карнер подошел ближе:

— Нет, не имел такого счастья, но по книгам кое-что знаю и об инфузориях и о другой подобной нечисти.

— Так. Она, инфузория, настолько мала, что ее можно увидеть только вооруженным глазом. Насколько же малы ее органы! И все-таки она живет по известным законам. Теперь бросьте свой взгляд в недоступную высь. Каждая звезда представляет собой огромнейшее солнце. И каждое такое светило, плавая в пространстве, тоже живет по определенным законам. Неужели после этого вы будете отрицать то, что существует какая-то всемогущая разумная сила, которая управляет миром?

Карнер впервые на минуту задумался, не зная, что сказать, но тут же в свою очередь задал вопрос:

— А где это ваш мировой разум находится? На каком месте он сидит? Почему его никто не видит?

— Если даже бога никто не видит, то это еще не значит, что его не существует. Зато мы видим его проявления в окружающей нас природе. Здесь невольно напрашивается аналогия: сколько ни копайся в человеческом мозгу, мы не увидим его разума. Следует ли отсюда, что

разума не существует у человека? Проявления его в виде творческой мысли настолько очевидны, что только сумасшедший может спорить против такой истины.

Карнер, воспламенившись, готов был вцепиться в горло своего противника:

— Бросьте, сеньор Лутатини! Аналогия — не доказательство. Об этом я уже знал, когда еще в гимназии учился. Я подойду к вашему богу с другой стороны. Прежде всего он никуда не годный юрист. Устами пророков он возвещает: око за око и зуб за зуб. Потом, как увидел, что из этого вышла только склока, сейчас же посылает сына на землю. А сын — нет, говорит, если кто ударит вас по правой щеке, то подставьте левую. Из этого тоже ничего путного не получилось. Доказательство — мировая война. Чего только ваш бог не придумывал? И голод и мор посылал на землю. Серой сжег Содом и Гоморру, провалил то место, где стояли эти города. Мало того — устроил всемирный потоп. Настолько рассвирепел, что даже невинных птиц и зверей уничтожил. Только одних морских животных оставил. Кому было горе, а тем пожива: обжирайся любым мясом, до человеческого включительно. И все это проделывал только для того, чтобы после потопа более слабые существа опять попали в зубы сильных, чтобы Хам сейчас же начал хамствовать над своим отцом...

Чем грубее были доводы Карнера, тем сильнее они били по религиозному мировоззрению Лутатини. Ничего подобного он не слышал в духовной семинарии. Там учителя и наставники лепили из его души великолепное здание с изумительными архитектурными украшениями. Он поверил в прочность его. А теперь, в чуждой морской обстановке, бомбардируемое злым финном и другими матросами, оно дрожало, как от потрясающих ударов.

Загалдели матросы, пересыпая слова крепкой бранью:

— Разделывай, Карнер, поповского бога под красное дерево!..

— Пусть Лутатини обратится с проповедью к тем, кто затеял войну...

— Дайте слово Лутатини — пусть потешит команду. Хо-хо-хо!..

Угольщик Вранер, покосившись на Лутатини, загадочно промолвил:

— Когда-нибудь на этом судне одному человеку я поставлю на морде антихристову печать. Никакой святой водой ее не смоет...

Его оборвал Карнер:

— Если только ты посмеешь это сделать, мы тебе, рвань корабельная, все ребра переломаем.

Когда Лутатини становилось тошно от матросских разговоров, он уходил на полуют. Там, в одиночестве, отдавался горестным размышлениям. Ушел он и теперь, вспомнив изречение из «Послания к римлянам»: «Гортань их — открытый гроб, яд аспидов на устах их». Он уселся на опрокинутом ящике. Над срединой парохода огромнейшей колонной возвышалась труба, поддерживаемая восемью стальными бакштагами. За кормою уверенно бурил гребной винт. О, если бы не война, если бы плыть при других условиях! Хорошо погрузиться в голубой простор и слушать тихие всплески, напоминающие детский лепет.

На полуюте в три яруса стояли большие низкие клетки. В них, как обреченные узники, томились гуси. Перед ними в изобилии находилась пища, но им было тесно и жарко. Открыв янтарно-желтые клювы, они смотрели на бесконечные воды океана и тихо гоготали. Поплавать, поплескаться бы в холодных струях! И фиолетовые глаза их в золотистых ободках наливались тоскою. Один из них, может быть, самый старший, подал голосом какой-то сигнал. Тогда около трех десятков гусей, вытягивая длинные шеи, подняли отчаянный крик. Лутатини зажал уши. Ему казалось, что он слышит не гоготанье, а вопль этих птиц, потерявших всякую надежду вырваться на свободу.

Пришел на полуют поваренок Луиджи. Бросив на Лутатини невинный взгляд, он достал из клетки одного гуся и, придавив ему башмаком шею, одним взмахом кухонного ножа отхватил птичью голову. Гусь закувыркался на одном месте, нелепо размахивая крыльями и разбрызгивая кровь. Остальные птицы, замолкнув, забились к задней стенке клетки и с ужасом смотрели на умирающего своего собрата.

Лутатини, брезгливо поморщившись, спросил:

— Не жалко?

Мальчик залился краскою стыда.

— Мне приказывают. Как я могу ослушаться?

И, подхватив мертвого гуся, направился к камбузу.

Капитан Кент, страдавший хроническим запором, находил, что гусиное мясо служит великолепным слабительным средством. Поэтому, по его распоряжению, для офицерского стола почти каждый день резали по одному гусю. И поваренок Луиджи будет продолжать делать это до тех пор, пока не опустеют клетки.

На полуюте появился радиотелеграфист.

— Отдыхаете, Лутатини?

Лутатини понравилось его лицо — спокойное, уверенное, с большими серыми глазами. Что-то располагающее было и в его манере держаться, и в чистом голосе, и в откровенной улыбке.

— Я не ошибся? Вас, кажется, величают — сеньор Лутатини?

— А вас!?

— Викмонд. Я норвежец, но очень долго жил в Аргентине, в Розарио, полюбил эту страну и принял ее подданство. А вы, как я слышал, священник из Буэнос-Айреса и как будто бы попали к нам не по своему желанию? Верно это или нет?

— К сожалению, так.

Из командного состава это был первый человек, который заговорил с ним так, по-хорошему, просто. Это сразу тронуло Лутатини. Но в то же время он почувствовал неловкость за свой грязный рабочий костюм и неряшливый вид. Ему хотелось говорить умнее, изысканнее, но мысли его путались. Он с трудом рассказал о себе: как он жил раньше, как попал на судно и как теперь ему тяжело здесь. Заметив сочувствие в лице своего собеседника, Лутатини спросил:

— Команде я плохо верю. Все ко мне относятся насмешливо. Скажите хоть вы откровенно, мистер Викмонд: неужели нет выхода из моего положения?

Радист пожал плечами.

— Поэтому-то и заключили с вами контракт.

Лутатини сделал правой рукой такой жест, словно потрясал в ней неприемлемый документ, и воскликнул:

— Но ведь нас обманом взяли! Мы подписали эту дурацкую бумажку не в конторе, а в кабаке!

— Хотя бы в публичном доме — документ все равно сохраняет свою силу.

— И теперь я должен буду плавать все шесть месяцев?

Викмонд оглянулся назад, на мостик парохода.

— Иногда матросы убегают с судна. Но это случается только тогда, когда попадают в подходящий для этого порт и когда администрация в отношении команды принимает недостаточные меры. А по океану никто и никуда не поскачет.

Лутатини замолчал. Тонкие губы его вздрагивали. Наклонив голову, согнувшись, он стоял на полуюте, словно живой вопросительный знак. Он потирал лоб, словно хотел разгладить трагическую складку, сломавшую его черные брови. Хотелось еще что-то сказать — самое важное, но мысль ускользнула, как рыба в глубину воды. Почему-то начал прислушиваться к гоготу гусей. Они переговаривались тихо, бесстрастно, будто обсуждали только что слышанный разговор этих двух людей.

— Вы не очень сокрушайтесь, сеньор Лутатини. Я думаю, что вам не придется так долго плавать.

Голова у Лутатини качнулась, как буек на волне.

— Почему вы так думаете, мистер Викмонд?

Радист как будто не слышал вопроса.

— Мне пора на дежурство. Как-нибудь еще поговорим. До свиданья.

Лутатини растерянно посмотрел в спину уходящего человека, унесшего с собою недосказанную мысль.

Ни командный состав, ни матросы на «Орионе» не знали, что накануне отхода корабля из Буэнос-Айреса, в тот самый вечер, когда шанхаер так ловко обставил в кабаке матросов, Викмонд находился в другом, более богатом кабаке, под названием «Зюйд-Вест». С ним был рыжеволосый и толстогубый господин в сером костюме и серой кепке. Ярко освещенный зал сверкал зеркалами, люстрами, разноцветными бутылками на буфетных полках, шумел музыкой и разноязычным говором моряков всех стран. Кружились танцующие пары, женщины и мужчины, обмениваясь взглядами, вызывающе смеялись. Возбуждение росло, глаза загорались. И только

два человека были лишними в этом пьяном и сладострастном угаре — Викмонд и его рыжеволосый компаньон. Правда, по временам и они громко смеялись, пили вино, болтая о любовных приключениях. Сидели они, наклонясь друг к другу, и говорили вполголоса и даже шепотом.

— Только вчера узнал, что около Гибралтара у нас обстоит дело хорошо,— тихо сообщил рыжеволосый господин.

— А как с позывными? — так же тихо спросил Викмонд.

— Все сделано. Даже в Средиземном море будут переданы.

— Это хорошо. Если в одном месте не удастся, то в другом вознаградим себя.

Вставая, рыжеволосый господин сказал:

— Значит, длина основной радиоволны — шестьсот метров?

— Совершенно верно. Запомнить легко.

Выходя из кабака, оба пошатывались, а когда очутились на просторе улицы, трезво распрощались, пожелав друг другу успеха, и разошлись каждый своей стороной.

Капитан Кент мог уверенно вести свой корабль к берегам Европы. Машина на нем больше не ломалась и работала исправно, работали и люди. На корме развевался нейтральный флаг. Все говорило за то, что он благополучно достигнет конечной цели. Одного лишь он не знал, что его радиотелеграфист мистер Викмонд имел на этот счет свои особые планы.

VIII

Лутатини, как человек наблюдательный, новую свою профессию усвоил довольно хорошо. Благодаря постоянным указаниям Домбера он имел ясное представление об устройстве котлов. Ему приходилось принимать участие в банении дымогарных трубок. Он познакомился со всеми клапанами, кранами, питательными помпами, водомерными стеклами и умел обращаться с ними. Его тело огрубело, но вместе с тем оно стало выносливее к жаре и приобрело упругость. Короче говоря, он был си-

лен своей молодостью и мог уже стоять на вахте без посторонней помощи, держа пар на должной высоте.

Но так продолжалось только до тех пор, пока «Орион», направляясь из южного полушария в северное, пересекал умеренную полосу. Дальше предстояло перейти экватор. По мере того как приближались к нему тропиками, солнце поднималось все выше, расточая жгучие ливни света. Пассатный ветер слабел. Железная палуба, накаляясь, обдавала жаром. Скрывались под тентами. Но в машинном и кочегарном отделениях синий столбик спирта на термометре вырастал с каждым днем, переваливая за пятьдесят градусов. Вахтенные часы наполовину уменьшили, зато машинисты и кочегары должны были теперь спускаться вниз четыре раза в сутки. Стало как будто легче, но когда еще больше усилилась жара, уже истощала и двухчасовая вахта. Ветрогонки почти не действовали. В топках, лишенных притока воздуха, плохо горел уголь, трудно было держать пар в котлах. Стрелки на манометрах стояли ниже красной черты. В кочегарку прибегал второй механик, испанец Фаустино, и, потрясая костлявыми кулаками, ошалело кричал:

— Дрянь вы ананасная, а не кочегары! Кухарки могли бы здесь справиться лучше, чем вы!

Большая голова его покачивалась на длинной и тонкой шее, как на стебле, и казалось, что вот-вот она оторвется совсем.

Домбер повертывался к нему и мрачно заявлял:

— Совершенно нет тяги, господин механик.

— Надо чаще подрезать, чаще шуровать в топках!

— Все делаем, господин механик!

— Неправда! Только бездельничаете здесь!

— Покажите нам, как можно лучше работать.

Дальше Домбер и Сольма, теряя терпение, начинали бунтарски возражать. Они хлопали дверцами топок и угрожающе размахивали ломом и гребком. Поднимался бестолковый шум.

— Вас, разбойников, нужно в кандалы заковать! — выкрикивал второй механик и с руганью вылетал из кочегарки.

Опять для Лутатини наступило время жестоких мук. Если привычные кочегары уставали, то с ним тво-

рилось что-то невероятное: он быстро начал худеть, слабнуть, теряя силы с каждой вахтой. Озлобляясь, он доходил до того, что оправдывал грубую ругань кочегаров: здесь, в этом раскаленном плавучем аду, не только они, но и сами ангелы могли бы взбеситься. И сейчас же пугался своих кощунственных мыслей. Чье проклятие он носит в себе?

Температура в кочегарке приближалась к шестидесяти градусам.

Лутатини уныло обращался к старшему кочегару:

— Когда же прохладнее будет?

Домбер угрюмо отвечал:

— Пустяки. Поменьше обращайте внимания наградусник и больше работайте. Помните одно: есть люди, которые хуже нашего живут. Безработные смотрят на нас с завистью.

Лутатини безнадежно поник головою.

А на верхней палубе не переставал издеваться над ним рулевой Карнер. Он постоянно преследовал его, как гончий пес зайца. Казалось, что он задался исключительной целью — при всяком удобном случае ужалить, уязвить Лутатини как можно больнее.

— Духовенство нас пугает чертями. А черти эти — пустое воображение, и вреда от них — ровно никакого. Я исколесил все моря, всю нашу землю и ни одного человека не встречал, кто бы пострадал от поповского черта. А есть на земле действительные дьяволы. О них духовенство почему-то молчит. Вот от этих дьяволов и страдает человечество. Что вы скажете на это, сеньор Лутатини?

— Я хотел бы, чтобы вы раз навсегда оставили меня в покое,— досадливо отмахивался Лутатини.

К неугомонному Карнеру, чтобы сильнее подзадорить его, обращались другие матросы:

— Это кто же, по-твоему, действительные дьяволы?

Чахоточный Карнер воспламенялся, как порох. Бледные губы его дрожали, глаза наливались гневом.

— Кто действительные дьяволы? Это содержатели кабаков и домов терпимости, хозяева фабрик и заводов, духовенство всех религий. Это они, сами обогащаясь, заставляют людей умирать с голоду, это они устроили мировую бойню. Эти дьяволы самого сеньора Лутати-

ни загнали в преисподнюю. Пусть он попробует вырваться!..

Матросы заражались ненавистью Карнера, и на власть и богачей сыпались проклятия и угрозы:

— Подожди — обломаем им рога!

— Сделаем их комолыми!

— В России уже свергли этих дьяволов с теплых мест!

При этом часто присутствовал Прелат. Его жирное тело колыхалось от хохота, и он захлебывался табачной жижей. Если Карнер причинял боль, как острые шипы терновника, то старший повар вызывал отвращение, как падаль.

После таких разговоров Лутатини чувствовал себя отравленным. Он нигде не находил себе покоя. Ночью, лежа на жестком матраце, усталый, он мысленно обращался к богу, к мадонне, ко всем святым. Но и в молитвах не находил себе облегчения. И гасла вера, как забытый в поле костер.

Наступил день, когда «Орион» пересек экватор. Полоса затишья и жары передвинулась в северное полушарие. В кочегарке с утра термометр показывал шестьдесят градусов. Синий столбик спирта все поднимался. Мрачное помещение с багровыми отсветами превратилось в пекло. Ни к чему нельзя было прикоснуться голыми руками — все обжигало: и переборки, и резаки, и гребки. Даже привычные кочегары задыхались и, сверкая белками воспаленных глаз, ловили воздух открытым ртом. Пили кипяченую воду, разбавленную овсяной мукой. Такое пойло будто бы лучше утоляло жажду.

Лутатини, надрываясь, растрачивал последние остатки силы. Сердце билось учащенно, внутренности горели. С дрожью в коленях и руках он шуровал в топке. Казалось, каждая клетка его организма стонала от боли и усталости. Иногда, словно из глубокого колодца, он поднимал глаза вверх — там сквозь железную решетку сочной синью сверкал кусочек неба. Ах, забраться бы на палубу, вдохнуть полной грудью свежего воздуха!.. В отупевшей голове тяжело ворочалась мысль: он когда-то клеймил преступления, но он же оправдывал законы, установленные земными властями, а теперь на основа-

нии этих законов его самого засадили в пекло. Где же тут правда? Гудели топки, сверкал развороченный шлак, ослепляя, как солнечные осколки. С потрескавшимися губами, с пересохшими легкими Лутатини, как и его товарищи, бросался к пузатому чайнику, чтобы залить огонь в груди. Пойло было теплое и отвратительное, как щелок, но он выпивал его за одну вахту столько, сколько не выпьет ни одна лошадь за целые сутки. И сейчас же все это выступало обильным потом, словно тело его было обтянуто не кожей, а кисеей. Жажда не переставала мучить, полыхала кровь в жилах. Он и другие кочегары то и дело становились под шланг, проведенный в кочегарку, и окатывались забортной водою.

Лутатини кое-как дотянул вахту. Поднялся на верхнюю палубу и тут же, против машинного кожуха, подойдя к борту, ухватился за планшир. Ноги подгибались. Вздохи были короткие и торопливые, и в такт им дергались плечи и голова, как у больного, доживающего последние минуты. Сощурившись, недоуменно огляделся, теряя взор в безграничном сиянии. Было десять часов утра. Солнце поднялось высоко. Кругом не было ни облачка, ни дымка, ни одного предмета, ни птицы — ничего, за что можно было бы зацепиться глазами. Голубая пустота тропического неба пылала зноем, а устоявшиеся воды океана отливали густо-синим блеском. Поражала убийственная тишина. Хоть бы один порыв ветра всколыхнул мертвый штиль.

Лутатини был похож на человека, не успевшего проснуться от тяжелого сна. Не отдавая себе отчета, спустился в матросский кубрик. В нем никого не было, кроме старого рулевого Гимбо, рывшегося в своих вещах. Лутатини, нагнувшись, тупо уставился в пол, стараясь что-то вспомнить. Зачем он пришел сюда? Безотчетно повернул голову, заглянул в большое зеркало на переборке. Глаза его испуганно расширились, словно встретились с ночным привидением. Трудно было поверить, что на него смотрело его собственное отражение: чумазое лицо, искривленное гримасой ужаса, с провалившимися щеками, с открытым ртом, с седой бородой и с такими же седыми, всклокоченными волосами на голове.

Лутатини попятился назад, выставив вперед руки, словно для защиты. И тот, страшно знакомый, но вме-

сте с тем чужой человек, похожий на мертвеца, вставшего из гроба, повторил его движения.

— Пресвятая дева Мария! — воскликнул Лутатини, отвернувшись и хватаясь руками за голову.

— Что с вами, дружище? — обратился к нему рулевой Гимбо.

— Старик...

— Какой старик?

— Я не узнал себя.

Гимбо, догадавшись, в чем дело, рассмеялся.

— Умойтесь хорошенько пресной водой — и сразу помолодеете. Это соль осела на волосах. Вот мне уже больше ничего не поможет. Растратил свою молодость.

Лутатини в этот день не обедал. Не было никакого желания есть, может быть, оттого, что вместе с водою он наглотался овсяной муки. И сон его был тревожный, с бредовыми видениями.

А когда судовой колокол, оглашая тишину тропиков, пробил четыре склянки, Лутатини снова спустился в кочегарку.

Он посмотрел на термометр.

— Шестьдесят пять градусов!

Голос его прозвучал высокой нотой, испуганно, словно хотел предупредить других о приблизившейся опасности.

Но ни Домбер, ни Сольма ничего на это не ответили. Все молча и угрюмо взялись за работу. Только угольщик Вранер проворчал:

— Скучно что-то. Хоть бы драку какую устроить!

И полез в угольные ямы.

В кочегарке черным густым туманом носилась угольная пыль, сквозь которую едва просвечивали красноватыми звездами электрические лампочки. Открывались дверцы топок, трепетали в полумраке отблески огня. Под ногами дрожала настилка. За переборкой, позади котлов, словно усталое могучее животное, вздыхала машина. Духота увеличивалась с каждой минутой. Казалось, что скоро вся кочегарка накалится докрасна, и тогда от него и от его товарищей, как в крематории, останется лишь кучка пепла.

Стрелка на манометре его котла начала падать. Подстегивали окрики прибегавшего механика. Превозмогая немочь, Лутатини открыл топку и стал подламывать скипевшийся уголь. Лом показался непомерной тяжестью. В лицо полыхало горячей волной, обжигая и ослепляя. Разламывалась голова, замирало сердце. Лутатини, стиснув зубы, продолжал вонзать железо в огненную пасть топки. Вдруг вся судовая утроба завертелась, словно карусель, и начала опрокидываться.

— Братцы! — пронизал кочегарку резкий вопль и сразу же оборвался, а вслед за этим что-то грохнуло.

Оба кочегара оглянулись — Лутатини пластом лежал на платформе, широко раскинув руки.

— Обморок,— испуганно сказал один.

— Тепловой удар,— мрачно поправил другой.

Домбер подхватил на руки неподвижное тело и помчался с ним на палубу. Наверху прогремел его корявый и тревожный голос:

— Воды!

На судне не было льда для компресса. Пустили пожарные помпы. Боцман направил сильную струю прямо в лицо Лутатини. Неподвижное тело вдруг заворочалось.

Матросы, молча наблюдавшие за этой сценой, посоветовали боцману:

— Довольно! Может захлебнуться...

Лутатини, очнувшись, обвел глазами матросов и боцмана, стоявшего тут же со шлангом в руках.

— Что со мною? — слабо спросил он.

Матросы ответили на этот раз серьезно:

— Хорошо, что ожил. Мы думали — конец вам.

Его отнесли под тент отдохнуть. А через четверть часа к нему подкатил второй механик.

— Марш в кочегарку!

Не отдавая себе отчета, Лутатини поднялся, как автомат, и, по-стариковски сгорбившись, пошатываясь, направился к машинному кожуху, словно на виселицу.

В этот вечер Лутатини, понурив голову, сидел на полуюте один, залитый лучами заходящего солнца. Перед ним встал грозный вопрос о жизни и смерти, но он устал,— он слишком устал физически и духовно, чтобы правильно соображать. Сколько времени прошло с тех

пор, как он оставил родные берега? Он потерял счет этим кошмарным дням. Грязный и непривычный труд, тяжесть которого, живя в своем роскошном доме, он даже и не мог себе представить, изувечил его, а насмешки матросов, грубость начальства, словно насосом, выкачивали из него душу. А что предстоит ему в дальнейшем? Желанная прохлада наступит еще не скоро. Он чувствовал, что смерть стережет его. Еще несколько таких вахт, и все будет кончено. Уйти из жизни раздавленным, куда-то провалиться, когда его вера высыхала, как ручей под жарким небом...

Лутатини встал и поднял голову. Солнце только что скрылось за горизонтом. Темнело небо, и на нем выступали звезды. На западе осталась только красная полоса. Казалось, сейчас, как в величайшем храме, польются дивные звуки органа, а потом торжественно подхватят голоса неземного хора, восхваляя славу всевышнего творца. На минуту Лутатини почувствовал в душе созвучие с этой непостижимой глубиной вселенной, мерцающей разноцветными оттенками светил. И опять, как некогда, молитвенно сложив на груди руки, он мысленно со всею страстностью истерзанной души обратился к богу, прося избавления от непомерных мук. Глаза его, оросившись горячими слезами, блуждали, словно искали знамения на небе. Взгляд его случайно упал на мостик: туда поднималась по трапу знакомая толстая фигура на кривых ногах. Лутатини дернулся, словно от ожога. Мысли спутались. В сознании будто прорвался давно набухший нарыв. Охватило безумие. Он глядел на небо и, стуча в грудь кулаком, извергал вслух самую ужасную брань, какую слышал от матросов; он словно бросал дерзкий вызов тому, кому до сих пор поклонялся. И сразу же опомнился — согнулся, зажмурился, боязливо втянул голову в плечи. Вдруг разверзнется небо, зарычит неслыханными громами, заполыхает молниями... И не только он, жалкий Себастьян Лутатини, но и все судно провалится в бездну, как провалились когда-то Содом и Гоморра. Но высь молчала. Он открыл глаза и поднял голову, боясь вздохнуть. Звезды были на своем месте: вот Южный крест, а вот, как две жгучие слезы, дрожат Альфа и Бета в созвездии Центавра. Кругом по-прежнему был разлит великий покой. Пароход пенил по-

темневшие воды океана. С мостика в тишину ночи врезался уверенный голос второго штурмана:

— Вахтенный! Сколько на лаге?

Кто-то откликнулся внизу:

— Есть!

И сейчас же по палубе раздался топот бежавшего к корме матроса.

Усталой походкой Лутатини направился к носовой части судна; он увидел на люке лежащего человека, но не узнал его. Это был поваренок Луиджи. Он в этот вечер сообщил кое-кому из команды новость:

— Эх, что выделывает на полуюте наш духовный отец! Крыл все на свете! О, что было!..

Он больше восклицал, чем рассказывал, но матросы поняли его.

На следующий день все тот же терпеливый и могучий Домбер опять вынес Лутатини на палубу, и опять окатывали его из шланга забортной водой. На этот раз он пролежал в обмороке очень долго. А когда очнулся, то услышал нечто, чему трудно было поверить: Карнер, этот злой гений и заклятый его враг, защищая его, спорил со вторым механиком Фаустино.

— Вы видите, что человек совершенно больной. Как же можно посылать такого на работу?

Механик сурово возразил:

— Он не пассажир, чтобы без дела кататься на судне.

— Да, не пассажир, но и не преступник, приговоренный к смерти.

Карнера поддержали и другие матросы. Все они окружили механика, сжимая кулаки. На лице Фаустино появилась неуверенность. Он глухо спросил:

— Кто же за него полезет в кочегарку?

Карнер сделал правой рукой резкий жест.

— Я!

— Вот как! — удивился механик.

— Да, я полезу за него. Я несколько лет плавал кочегаром. Сговоритесь насчет этого с первым штурманом и чифом. А Лутатини вместо меня пусть поработает на верхней палубе. Только нужно ему отдохнуть денек-другой. Что нужно сделать, за него исполнят ребята.

— Правильно, Карнер! — поддакнули матросы.

Спустя некоторое время чахоточный Карнер полез в раскаленную кочегарку.

Глаза Лутатини наполнились слезами.

IX

Отношение к Лутатини со стороны команды резко изменилось к лучшему. Прекратились издевательства, все стали внимательны к нему. За него работали другие, а он только отдыхал, лежа на первом люке под тентом. Некоторые даже приносили ему пищу и чай, ухаживали за ним и утешали:

— На верхней палубе живо поправитесь...

— Воздух — чистый, а работа — пустяковая.

— Не робейте — в обиду не дадим...

Через два дня Лутатини поднялся и стал на работу. Первое время он выполнял более простые обязанности: мыл палубу, протирал шваброй мостик, начищал кирпичным порошком медь, отбивал молотком ржавчину с железных частей. На это, по заведенному судовому порядку, уходило у него каждый день десять часов. Остальное время он мог быть свободным. Но ему было не до отдыха. Первым делом он решил познать искусство рулевого. Матросы охотно помогали ему в этом. Чтобы упростить ученье, старый Гимбо вырезал из картона кораблик и к плоскости его палубы приколол горизонтально бумажный круг, разбитый на румбы и градусы. Круг этот должен представлять собою картушку компаса. Показывая, как управлять рулем, Гимбо одной рукой придерживал компас на месте, а другой поворачивал судно в ту или другую сторону. Черточка, проведенная вдоль палубы, на середине ее показывала отсчет градусов. Такое наглядное обучение воспринималось легко. Через несколько часов Лутатини, обладая хорошей памятью, уже знал наизусть все тридцать два румба и мог сам поставить игрушечное судно на любой курс. Оставалось заняться этим делом практически. Каждый вечер, после ужина, он становился у штурвала и под руководством какого-нибудь матроса начинал править рулем. Безветренная погода благоприятствовала его учению. К удив-

лению своих товарищей, он и здесь проявил большие способности. Они подбадривали его:

— Да, Лутатини, из вас выйдет толк...

— Главное — глаз верный и голова на своем месте.

Наконец ему самостоятельно пришлось стать на вахту в рулевой рубке. Никогда в жизни он не переживал такой радости, как на этот раз, когда впервые доверили ему стать одному перед нактоузом, на котором был укреплен компас. Держась за медные рукоятки штурвала, он немного согнулся, сосредоточенный и взволнованный, как будто совершал какое-то священное таинство. И не было границ его удивлению: огромнейший корабль с грузом в шесть тысяч тонн стал в его руках послушным, как хороший ребенок. Даже компас, раньше загадочный и непонятный, теперь засиял перед ним, как вифлеемская путеводная звезда перед волхвами. Иногда Лутатини бросал взгляд вперед, в сияющий простор, на заштилевшие синие воды тропиков, на острый, как нож, круг горизонта. И думал про себя: пусть там, за этим небосклоном, ожидают его горчайшие события — все равно, а пока он счастлив. Когда вахтенный штурман спрашивал его, как на румбе, Лутатини выкрикивал ответ громко, высокой нотой, словно провозглашая о спасении всего человечества:

— Норд-ост тридцать два!

Биение сердца сливалось с ритмом движущихся железных частей. Хотя каждый был занят только своим делом, но ему казалось, что все смотрят на него. До сих пор он был никчемным человеком. А теперь вдруг вырос в собственных глазах, приобрел значительность и, опьяненный этим, гордо стоял на руле, словно взял на себя всю ответственность и за судно и за всех его обитателей. Ведь это он, Себастьян Лутатини, направляет корабль в солнечно-голубую безбрежность, взбудораженный, с горящими глазами, с вдохновенным лицом.

Лутатини шел дальше в познании обязанностей палубного матроса. Он научился завязывать морские узлы, сплеснивать концы, стропы, швартовы, делать мягкие кранцы. Каждый матрос должен быть маляром. И Лутатини умел не только красить, но разводить краски, смешивая в известной пропорции сурик или белила с вареным льняным маслом. Он так старался, что даже

боцман, косясь на него желтым глазом, одобрительно ухмылялся. А между тем у Лутатини были свои соображения: он до смерти боялся, как бы его опять не послали в кочегарку, в это анафемское пекло. Он работал сверх установленного времени. Но это не изнуряло его. С каждым днем он наливался здоровьем, бодростью. Тело его покрывалось хорошим загаром.

Матросы теперь предстали перед ним совершенно в другом свете. Насколько они показались ему подлыми и мерзкими вначале, настолько же стали за последнее время хорошими товарищами. Да и ругаться как будто стали меньше, а может быть, слух его, привыкнув, перестал замечать сквернословие.

Беспокоило только то, что чахоточный Карнер работал за него в кочегарке. Положение Лутатини облегчилось, а тот поднимался из преисподней на палубу с таким видом, как будто его варили в самом котле. Он облокачивался на фальшборт и несколько секунд стоял, сгорбив спину и устало вздыхая остатками пораженных легких. Казалось, вот он грохнется на палубу, чтобы никогда уже больше не подняться. Но Карнер шел под душ мыться. А потом, отдохнув после еды, находил в себе еще силы заняться своим учеником Лутатини,— рассказать ему о том или другом случае из морской практики.

Однажды вечером они встретились у брашпиля. Поблизости никого не было. Лутатини смущенно спросил:

— Послушайте, Карнер. Я давно хотел с вами поговорить. Один вопрос чрезвычайно меня волнует...

— Пожалуйста,— ответил Карнер и ласково улыбнулся.

— Раньше вы относились ко мне с такой неприязнью, точно я был вашим заклятым врагом. Я никогда вам ничего плохого не делал и не собирался делать. И вдруг такая перемена: вы, туберкулезный, полезли за меня в кочегарку. Вы спасли меня от гибели, но себя подвергаете серьезной опасности. В чем тут дело? Я никак не могу разобраться.

Карнер сразу стал серьезным. В блеске вечернего солнца неприятно сузились зрачки его серых глаз, глубоко запавших в орбиты. Он четко заговорил, рассекая воздух указательным пальцем:

— Обо мне вы не беспокойтесь, товарищ Лутатини. Моя жизнь конченая. У меня сейчас единственная мечта — это попасть в Россию. По газетным сообщениям, какие мы прочли в последний раз в Буэнос-Айресе, на родине у меня, по-видимому, происходит настоящая революция. Это подтверждают и депеши, получаемые по радио нашим судном. Хочется самому посмотреть на те события, какие происходят в России. Кстати, повидаюсь и с родителями, если только их не повесили на фонарных столбах...

Оба собеседника на момент отвлеклись поднявшейся стаей летучей рыбы. Серебристо сверкая, рыбешки запланировали над океаном, как игрушечные аэропланы. Метров через сто, постепенно опускаясь, они снова скрылись в воде, оставив на ее поверхности кружочки, расплывающиеся в трепетном сиянии.

— Для нас это красивое зрелище, а для этих рыбешек, вероятно, страшная трагедия,— грустно промолвил Карнер.

— Почему трагедия?

— Спасаются от хищников. Везде одно и то же — и на земле и в воде. Бросят тебя в мир среди тысячи различных врагов — как сумеешь, так и изворачивайся, если не хочешь быть раздавленным. Впрочем, смысл жизни заключается главным образом в борьбе. На вашем смирении далеко не уедешь.

Чтобы не раздражать Карнера, Лутатини промолчал.

— Когда-нибудь, товарищ Лутатини, поймете, почему я так относился к вам. А пока скажу, что в вашем лице я преследовал священника. Но как человека мне, конечно, было жаль вас. Вы сами попали в гнуснейшее положение.

— Но почему вы так ненавидите духовенство? — с болью спросил Лутатини.

— Без причины, как вам известно, ничего не бывает. Были таковые и у меня.

Они присели на правый якорь. Карнер снял с ноги деревянное сабо, вытряхнул из него мелкие кусочки угля и опять надел. Солнце скатывалось к горизонту, жара спадала. Под ласковый звон воды, разворачиваемой форштевнем, Лутатини внимательно слушал печальную историю.

Карнер был родом из Гельсингфорса. Его семья жила небогато, но и особой нужды не видела. Отец Карнера был человеком строгих правил и по вечерам читал своим домочадцам библию. Но это не мешало ему служить в охранном отделении, продавая политически неблагонадежных финнов русскому правительству. Мальчик в это время учился в гимназии. Но горячая любознательность погубила его. Он никак не мог примириться с некоторыми положениями религии. Так, открывая библию, он на первой странице читал, что в первый день бог отделил свет от тьмы; свет назвал днем, а тьму — ночью. А между тем, как видно из дальнейшего, все светила небесные были созданы только на четвертый день. Как согласовать такое противоречие? Юношу это смутило. Отец вместо разъяснения дал сыну потасовку, чтобы в следующий раз он не лез с такими вопросами. Тогда юноша обратился за разъяснением к своему наставнику. Это был православный протоиерей. Он бросил на ученика недовольный взгляд, сверкнул очками. Несмотря на близорукость, он казался красавцем: шелковистые вьющиеся русые волосы, ясный лоб, правильно очерченный профиль со светлой окладистой бородой, придававшей ему вид благообразного человека. Его объяснения не удовлетворили Карнера. Он начал спорить.

— Дурак! — во всеуслышание произнес отец Рафаил и поставил своему ученику кол.

С той поры и началась между наставником и учеником глухая и непримиримая вражда. Карнер нарочно стал рыться в библии и выискивать такие места, которые шли наперекор всякой здравой логике. Так продолжалось до весны. Был солнечный, теплый день. В раскрытые окна вместе с птичьим гомоном вливался аромат распустившихся деревьев.

Вызванный к столу, Карнер отчеканил свой урок без запинки. А потом, как обычно, начал расспрашивать своего наставника о сомнительных местах священного писания. Речь шла о предопределении. Он привел текст из «Нового завета», где говорится, что судьба Иуды была предрешена еще задолго до его рождения.

— В таком случае, чем был виноват Иуда?

Весь класс насторожился.

Отец Рафаил налился кровью и злобно зарычал:

— Пошел вон из класса, поганый еретик! Ты мне надоел!

Карнера взорвало. В тот момент, когда наставник нагнулся, чтобы поставить отрицательную отметку в книге, он схватил его за бороду. Как это случилось — трудно теперь рассказать. Точно не он, а кто-то другой выкинул за него такую дерзость. Ярко запечатлелось лишь одно: под шум и суматоху он выскочил из гимназии с такой быстротой, словно вылетел на крыльях. Нечего было и думать о возвращении домой. До ночи он ходил в поле и в роще, как помешанный. Он раскаивался, плакал и опять бесновался. Потом вернулся в город и пробрался в порт. Его давно манило море. У стенки стоял норвежский пароход с такой низкой осадкой, что ничего не стоило бы прямо с набережной забраться на его борт. Но по верхней палубе прохаживался вахтенный матрос. Только около полуночи, когда вахтенный вошел в уборную, Карнер забрался на пароход и на цыпочках скрылся под полуют. Там стояли какие-то бочки, ведра. В одном углу он нащупал брезенты. Он завернулся в брезент и твердо решил: либо умрет с голоду, если пароход долго простоит в гавани, либо будет в море. На следующий день, к величайшей радости беглеца, пароход тронулся в путь. Еще одна ночь прошла. А утром Карнер, терзаемый голодом, вышел на палубу. Кругом было только море да небо. Ликующим восторгом наполнилось юное сердце. Карнера заметили и повели к капитану. Тот шумливо ругался, а юноша молчал, радостно улыбался. В море не выбросишь человека за борт — так он стал матросом.

— С тех пор прошло более двадцати лет. Да, товарищ Лутатини, более двадцати лет,— закончил Карнер и угрюмо замолчал.

Лутатини нервно теребил свою черную бородку.

— Переписывались вы со своими родителями?

— Нет, вернее, почти нет. Только матери раза два писал. Просил ее не тревожиться за меня. Мать я очень любил.

— Допустим, что ваш протоиерей поступил с вами нехорошо,— задумчиво заговорил Лутатини,— но почему же вы питаете такую непримиримую ненависть ко всему духовенству всех религий?

Карнер встрепенулся, глаза стали колючими.

— Все одинаковы. Все торгуют именем божьим и спекулируют святыней. Вас нужно презирать уже за одно то, что вы оправдываете несуразный порядок жизни: кому — вожжи и бич в руки, а кому — хомут на шею.

Поднявшись, он быстро направился к машинному кожуху.

X

Капитан Кент имел в своем распоряжении просторный салон, а для всех остальных офицеров было отведено под кают-компанию небольшое помещение, расположенное с правого борта, против камбуза. Здесь столовались семь человек: три штурмана, три механика и радиотелеграфист. Здесь же и проводили свободное время за шахматной игрой или просто в беседах. Прислуживал им поваренок Луиджи, жадно прислушиваясь к их разговорам. А говорили они о войне, обсуждали депеши, получаемые судном по радиоаппарату. Иногда спорили по поводу того, на чьей стороне из воюющих государств останется победа. Яростнее всех спорил радист Викмонд, доказывая, что Германия будет разбита.

— Так именно и следует с нею поступить! — выкрикивал он, сверкая глазами.— Это самая воинственная и самая империалистическая страна. Что будет с человечеством, если Германия выиграет войну? Она покорит Европу, но не остановится на этом. К ней перейдут колонии, принадлежащие Англии, Франции, Италии. А это значит, что в ее владениях окажется бóльшая часть земного шара. А потом она занесет свой вооруженный кулак и над Америкой...

Его поддерживал в спорах второй штурман Капуан, крупный человек, с резкими чертами лица, украшенного пышными темно-русыми усами. Он воинственно сжимал волосатые кулаки, как будто сейчас же намеревался вступить в сражение со своим противником.

— Если бы только Аргентина объявила войну Германии, я бы добровольцем записался в армию.

Против Германии также были настроены второй и третий механики.

Им всем бесстрастно возражал первый штурман Сайменс:

— А разве Англия менее империалистическая страна? Она в своих объятиях — милых и ласковых, как щупальца спрута,— держит Канаду, большинство колоний в Африке, Индию с народонаселением в триста миллионов, Австралию и Новую Зеландию. Она захватила Гибралтар, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив. Все морские угольные станции, все лучшие стоянки для судов находятся также в ее распоряжении. А ее военно-морской бюджет — разве он ниже, чем в Германии? Тут — математика.

Грузный и неподвижный чиф держался нейтралитета. Он любил выпить и хорошо закусить. Для него ничего не стоило согласиться с любым мнением, лишь бы только ни с кем не спорить. Но иногда он удивлял собеседников своими взглядами на войну:

— Я не понимаю, зачем это люди дерутся? Идут друг против друга целыми нациями. Глупейшая скотина — и та не прибегает к такому способу разрешать недоразумения. Мы можем наблюдать среди них лишь в отдельных случаях драку. Но ни я и никто из вас не видел, чтобы целое стадо свиней, баранов, быков пошло против другого однородного стада. Нет этого даже и среди диких животных. Если и бывает схватка одиночек, то больше всего из-за обладания самкой. А культурное человечество, достигшее таких высот умственного развития, кажется, помешалось на кровопролитии. В чем суть дела?

Сайменс одобрительно похлопывал его по плечу:

— Это очень интересно, сеньор Сотильо. Продолжайте дальше.

Чиф сам же отвечал на поставленный им вопрос:

— Все это, мне кажется, происходит оттого, что среди животных нет ни царей, ни королей, ни парламентов. Заведи они у себя правительства и высокие учреждения, так сейчас же и у них начнется всеобщая потасовка. Хорошим примером тому могут служить муравьи. В каждой муравьиной кучке, которая представляет собою отдельное государство, есть царица. Этого достаточно, чтобы они повторяли ту же глупость, какую проделывает теперь человечество. У них так же государство сражает-

ся с другим государством, так же убивают своих противников. Сходство с человечеством идет еще дальше: муравьиное государство своих пленников превращает в рабов...

Однажды старший штурман спросил:

— Откуда это у вас, сеньор Сотильо, такие анархические взгляды?

Чиф испуганно посмотрел на Сайменса.

— Что вы, господь с вами! Я и понятия-то не имею об анархистах. Просто по глупости так рассуждаю.

— Впрочем, вы высказали много правды. Спросите любое из воюющих государств: Англию, Францию, Германию — почему они сражаются? Неизбежно последует ответ, что они защищают свое отечество. От кого же защищают они свое отечество? Где же нападающие? Об этом знает только правительство со своими дипломатическими кухнями.

— Вот-вот, это я и хотел сказать...— поддакивал Сотильо.

Сайменс облокотился на стол, положив голову на руки, и промолвил:

— А остальное население — это стадная треска, дешевая сельдь. Миллионы ее гибнут — неважно: новые миллионы народятся.

Лутатини слушал, сидя на люке трюма, рядом с камбузом.

Однажды ему удалось узнать, как относится администрация к своему капитану. Лутатини красил камбуз. Дверь в кают-компанию была открыта. Офицеры только что кончили завтрак и не расходились. Лутатини не только слышал их разговор, но и видел их лица.

Старший штурман спросил у поваренка Луиджи:

— Что сегодня на второе?

— Жареный гусь,— ответил тот.

— Опять то же самое! — воскликнул раздраженно Сайменс.— «Старик», вероятно, хочет всех нас в гроб вогнать. Пусть он чудачествует как хочет, но зачем же нас пичкать гусиным мясом почти каждый день?

Загалдели другие офицеры:

— Мы скоро с ума сойдем от такой пищи.

— У меня редкая ночь проходит, чтобы я не видел во сне гусей.

— Я их возненавидел на всю жизнь.

— Я на ночь уши затыкаю, чтобы не слышать гусиного крика.

Сайменс продолжал:

— Сидит, как идол, в своем салоне и воображает себя доктором. Недавно мне целую лекцию прочитал о лечении водою. Потом начал хвалиться, что главное его призвание — быть медиком. Он будто бы и сейчас любого врача забьет. А если бы, говорит, мне пойти по этой линии, я давно бы занимал кафедру на медицинском факультете. У меня бы, говорит, могли быть ученые труды и разные открытия в области медицины. И тут же гордо заявил, что до него никто не додумался лечить запоры гусиным мясом. Провались ты, думаю я, со всеми своими гусями!

Все громко рассмеялись.

— Как это такой человек в капитаны попал? — спросил радист Викмонд.

— Очень просто — пайщиком состоит в пароходной компании,— сообщил Сайменс.— Он раньше командовал «Зарей». Всем известно, что он два раза это судно сажал на мель. Целый год сушился на берегу, а теперь опять вздумал плавать.

— Он начинает больных матросов угощать гусиным мясом,— вставил второй штурман Капуан.— За последнее время у нас на судне каждый день обязательно больные. Один или два матроса освобождаются от работы. Со «стариком» что-то неладное...

Никто из администрации не подозревал, какую штуку выкинули матросы над капитаном. Ему доставляло большое удовольствие лечить людей. Он мог с самым серьезным видом возиться с больным, расспрашивая его о признаках болезни, о наследственности, о прошлых недомоганиях. И его чрезвычайно радовало, если поставленный пациенту диагноз сходился с судовым лечебником. Тогда бульдожье лицо его расплывалось в широкую улыбку, а круглые глаза добродушно щурились. Он слегка похлопывал матроса по плечу и освобождал его на сутки от работы. Тут же призывал стюарда и отдавал распоряжение:

— Выдай больному матросу бутылку мадеры. Пусть парень подкрепится.

Если у больного оказывался при этом запор, то он получал еще порцию жареного гуся.

Но плохо было тем, болезнь которых не поддавалась определению. Капитан сразу ощетинивался, на лбу вздувались жилы, и роскошный салон содрогался от его хрипло громыхающего голоса:

— Симулянт! От работы вздумал увильнуть? Капитана надуть? Не удастся это тебе, мошенник! Я каждую клетку твоего организма вижу, как сквозь стекло! Вон отсюда, шарлатан!

Матрос вылетал из салона с такой поспешностью, точно за ним гналась злая дворняжка.

Рулевой Гимбо первый решил, что можно извлечь из этого выгоду. Он уговорил Прелата достать через стюарда из капитанской каюты судовой лечебник. Просьба его была уважена. Воспользовавшись свободным временем, он спустился в кубрик, уселся за стол и углубился в чтение книги. А когда выбрал для себя подходящую болезнь и выучил наизусть симптомы ее, он с благодарностью вернул лечебник обратно. На второй день, побывав у капитана, он на зависть другим выпивал портвейн и закусывал жареным гусем. Через день об этом знала вся команда. Тем же путем добывали себе лечебник, и каждый подробно выписывал признаки той или другой болезни. Чтобы некоторые не злоупотребляли этим, матросы и кочегары установили между собою очередь, по жребию. К «старику» ходили по одному, по два человека в день. На его вопросы теперь любой из них отвечал без запинки, как хорошо заученный урок, причем каждый, помимо указанной болезни, неизбежно жаловался на запоры.

Лутатини не знал, что матросы и его включили в очередь «больных». Накануне вечером они встретили его на баке и, передавая ему судовой лечебник, объявили:

— Заучите, друг, какую-нибудь, болезнь. Завтра вам идти к «старику». Вы-то уж сумеете наговорить ему.

Лутатини смущенно посмотрел на лица товарищей.

— Нельзя ли меня избавить от этого?

Матросы обиженно заворчали:

— Вы, значит, не с нами?

Заданный вопрос испугал его.

— Напрасно так думаете, друзья. Я на вашей стороне. Но я не могу заниматься обманом.



«ЖЕНЩИНА В МОРЕ»



«ЖЕНЩИНА В МОРЕ»

— А вы, сеньор Лутатини, действуйте на основании священного писания: «Какой мерой мерите, возмерится и вам». Разве честно поступил с вами капитан? И вы отплатите ему тем же:

Лутатини возразил:

— Тем более мне было бы противно получить от капитана бутылку вина и кусок жареного гуся.

К нему, сурово нахмурив брови, обратился угольщик Вранер:

— Господин тонкодушный! Чтобы совесть ваша была чиста, сделайте это ради своего ближнего. То, что получите от «старика», передайте мне. Вам дорогие кушанья и вина, наверное, дома надоели, а мне...

Лутатини, притиснутый в угол, растерянно пролепетал:

— Так, пожалуй, можно.

Он боялся матросов. Ведь благодаря им он избавился от смерти и жизнь его на корабле стала более или менее сносной. А вдруг они перестанут к нему благоволить? Тогда ему опять придется погибать в кочегарке, которая теперь казалась ему страшнее всякой каторги.

Утром он вымылся, переоделся в чистое донгери и отправился к «старику». Переступая через порог в роскошный салон, откуда в начале плавания так грубо его выставили, он смутился, как будто его уже уличили во лжи. Зачем он послушался матросов? Казалось, что они нарочно хотят довести его до последней черты унижения и позора. Капитан, сидевший в кресле в конце стола, спросил его:

— Больной?

Лутатини, неожиданно для самого себя, смело ответил:

— Да, сэр.

Капитан Кент ласково позвал его:

— Подойдите сюда поближе и расскажите, в чем дело.

Как будто не Лутатини, а кто-то другой, давно привыкший к вранью, заговорил за него. Лицо его стало скорбным, в голосе звучало отчаяние. Смущение исчезло, словно он всю жизнь тем только и занимался, что лицемерил.

Глядя в глаза капитана, он убежденно рассказывал:

— Я давно уже, с месяц назад, начал ощущать боль в правом подреберье и под ложечкой. Какая-то тяжесть в этой области, особенно после работы. А теперь болезнь стала проявляться в более резких приступах, причем она начинается внезапно, во всякое время, чаще всего в вечерние часы. Иногда этому предшествует сильное волнение. Бывали случаи, когда приступы наступали ночью, среди сна. Боль сначала появляется тупая, но она быстро усиливается до такой степени, что невозможно без стона ее выносить, и сопровождается тошнотой и рвотой. Тогда что-то сжимается в верхней части живота, словно диафрагма охвачена спазмой...

Бульдожье лицо капитана озарилось догадкой.

— Я, кажется, начинаю понимать, каким недугом вы страдаете. У вас печень не в порядке. Подождите немного — я сейчас вернусь.

Капитан встал и скрылся в глубине каюты. Скоро оттуда послышался шелест перелистываемой книги.

Через несколько минут он вернулся с победоносным видом.

— У вас при коликах боли отдают в спину, в правое плечо или, вернее, в правую лопатку, а не вниз, не правда ли?

— Совершенно верно, сэр.

Капитан задал еще несколько вопросов и, получив удовлетворительные ответы, весь просиял.

— Знаю, голубчик, знаю, в чем тут дело. Хе-хе-хе! От меня ни одна болезнь не скроется — ни в кишечнике, ни в печенке, ни в селезенке. Хе-хе! Я ее найду в человеческом организме лучше, чем любой английский сыщик преступника в Лондоне. Вы страдаете желчнокаменной болезнью. К счастью, у вас пока еще не начался воспалительный процесс: приступы болезни не носят затяжного характера и не сопровождаются лихорадкой. Значит, мы можем надеяться на полное выздоровление.

Лутатини, слушая капитана, внутренне торжествовал над своим врагом. За все время пребывания на корабле он впервые испытывал такое веселое настроение. Ему с трудом удавалось сдерживать себя от смеха.

— А как у вас работает кишечник?

— О, сэр, неважно! — воскликнул Лутатини и начал рассказывать о своих наблюдениях над собою.

Признаки другой болезни настолько оказались характерными, что капитан не стал даже заглядывать в судовой лечебник.

— Нисколько не сомневаюсь, что вы страдаете еще атоническим запором. Но от этого избавиться ничего не стоит. У меня на этот счет имеется свой собственный метод лечения, совершенно еще не известный медицине. Вы три дня подряд будете получать от повара порцию жареного гуся.

Он настолько остался доволен своим пациентом, что сам сходил в буфет и, передавая Лутатини бутылку хереса, великодушно заговорил:

— Это нисколько не повредит вашим болезням. Выпивайте по рюмке перед едой. А теперь идите и выздоравливайте. Если почувствуете себя хуже, то приходите опять. Для больных я всегда доступен.

Он обнял Лутатини за плечи и проводил до выхода в коридор. А того в это время так и подмывало разоблачить «доктора». Что будет, если он сейчас расхохочется прямо в лицо и расскажет, как его околпачивают матросы? Это будет самый чувствительный удар по самолюбию капитана. Он всю жизнь будет помнить об этом. Лутатини почувствовал, как закипает в нем кровь, возбуждая дерзость. В коридоре он оглянулся, но вспомнилась проклятая кочегарка, и в одно мгновение представился весь ужас, какой может обрушиться на его голову. Встретившись с вопросительным взглядом капитана, он жалко пробормотал:

— Спасибо, сэр.

На палубе его уже поджидал угольщик Вранер.

— Вот за это одобряю,— получив бутылку хереса от Лутатини, заявил он и пожал ему руку.— А как обстоит дело насчет закусочки?

— Три дня будете получать от повара гусиное мясо.

Вранер от удовольствия даже крякнул.

В обед снова пришлось встретиться с ним на люке за камбузом. Угольщик выпивал херес и закусывал жареным гусиным мясом. Лутатини в это время думал о себе. Его самого удивляло, как под влиянием окружающей среды, несмотря на свое сопротивление, он постепенно

превращается в матроса. Поступки его мало чем отличаются от поступков других обитателей на корабле. Правда, он отказался от капитанских подарков, передав их угольщику, но этим только хотел прикрыть свой стыд перед командой. А сейчас, не удовлетворившись скудным обедом, он смотрел на Вранера с некоторой затаенной завистью.

— Посидите со мной, господин тонкодушный,— пригласил его угольщик, ухмыляясь и показывая редкие прокопченные зубы.— Не хотите ли выпить? Могу и жареным гусем поделиться. Нет? Ну, ладно. Житье богатым...

Из-под козырька рваной кепки насмешливо поглядывали серые глаза.

— Сижу вот, ем и думаю: сколько за одну минуту может народиться людей на всем земном шаре? Вероятно, много. А сколько умирает? Собрать бы их всех вместе, кому в эту минуту пришел конец жизни,— стариков, младенцев, молодых, среднего возраста. Одни умирают от болезни, других на войне убивают, кого разбойники режут, кто самоубийством кончает, а кто во время пожара гибнет. Всех их на одну площадь собрать. Одну только минуту посмотреть бы на них. Вот картина получится! Можно, пожалуй, с ума сойти. Как вы думаете, господин тонкодушный?

Лутатини, никогда раньше не думавший об этом, вздрогнул, словно впервые перед ним открылась страшная тайна жизни.

— Откуда это у вас такие дикие мысли?

Вранер ответил не сразу, задумчиво глядя на обширные воды океана.

— Если в сапогах окажутся бумажные подметки, то значит, поставил их сапожник. Плохой в часах механизм от мастера зависит, хороший — тоже от него. Ясно? Ваше здоровье!

Он приложился к бутылке, потягивая из горлышка херес.

XI

«Орион», продолжая вспахивать тропические воды, повернул на восток, к африканским островам.

К вечеру небо стало тускнеть, но облаков не было. Простор подернулся легкой пеленой мути. Солнце, исто-

щив энергию, потеряло яркость и начало чадить. В воздухе была удушливая тишина. Густые клубы дыма, вываливаясь из трубы, серыми лохмотьями расползались над океаном, прилипая к его неподвижной поверхности. За кормою, слегка волнуясь, вытянулась длинная дымчатая полоса.

Около камбуза ужинала команда. Ели рисовую кашу с солониной. Мясо отдавало тухлятиной, несмотря на то, что было основательно приправлено жареным луком. Матросы ворчали на повара:

— Ты, иоркширский боров, долго еще нас будешь кормить соленой кобылой?

Прелат в белом колпаке, выглядывая из окна камбуза, ответил с игривой усмешкой:

— Завтра консервы приготовлю.

— Сам он жрет с офицерского стола.

— Ему и гусятина достается.

— Если еще раз даст тухлятину, то вместе с пищей полетит за борт...

Прелат вышел из камбуза и начал оправдываться:

— Сами посудите, ребята: из чего я могу приготовить вам хорошее блюдо? На рынок в океане не пойдешь. Вот завернем в какой-нибудь порт, тогда посмотрите, что сотворю...

Лутатини, выбросив остаток своей порции за борт, вымыл горячей водой миску и ложку и уселся на люк. Сейчас его занимали не матросские разговоры, а странные явления в природе. Может быть, в связи с этим он ощущал головную боль и слабость в теле. Но с Гимбо он заговорил шутливо:

— Посмотрите, как падает дым из трубы. А за кормою ложится прямо на океан, как будто хочет прикрыть наш след. Очень интересно.

Старый Гимбо иронически покосился на Лутатини.

— Ночью будет еще интереснее.

— Что ж будет?

— А вот увидите...

Гимбо набил табаком трубку и закурил.

С мостика поступило распоряжение убрать все тенты. На палубу вышел из своей каюты боцман. Матросы, скатывая тенты, разговаривали мало, словно были не в духе. Все лишнее убрали с палубы. Клетки с гусями сне-

сли под полуют, вход в который задраили железными дверями. Команда, покидая свое дачное место, начала переселяться в кубрик со своими постелями.

Лутатини делал то же, что и другие, и удивлялся, почему это, несмотря на такую тишину в океане, предпринимают меры предосторожности.

Огромнейшим огненным шаром солнце приблизилось к черте горизонта. Оно не пылало и не сияло, как раньше, а угрюмо тлело, медно-красное, без блеска, без лучей. А когда погрузилось в воды океана, сразу стало темно.

Над мачтами обозначались редкие, еле уловимые красные точки звезд, словно и для них наступила минута угасания. Безжизненная тишина царила в неподвижном сумраке. Но всем почему-то казалось, что откуда-то приближается угроза.

Лутатини пораньше улегся на койке, зная, что скоро ему предстоит вахта. Овладевала тревога, как будто в эту ночь кто-то, неведомый и страшный, собирался призвать его к ответу за все содеянные им грехи. Скорее по привычке, чем сознательно, он начал было читать про себя вечернюю молитву, но не кончил ее и с досадой отвернулся к переборке. «Должно быть, нервы расшатались»,— подумал он и стал засыпать.

Когда его разбудили, он в первое мгновение почувствовал, что стремглав летит с какой-то огромной высоты. Он с испугом осмотрел кубрик, освещенный электрической лампочкой, и встретился глазами с рулевым Гимбо, с которым он собирался идти на вахту.

— Что же это такое?

Гимбо ничего не ответил.

Лутатини, поднимаясь по ускользавшему из-под ног трапу, часто повисал на поручнях. На палубе, задержавшись около двери, почувствовал себя слепым, словно попал в глубокую яму. Невольно пришло сравнение — египетская тьма! Горячечная и удушливая ночь скрыла небо, океан и самое судно. Хоть бы одна звезда показалась где-нибудь. Ничего, кроме непроницаемой тьмы, черной, как сажа. Два топовых огня на невидимых мачтах, казалось, висели в воздухе и, размахиваясь, строчили, как две сияющих иглы, бархат мрака. А больше всего удивляло то, что при полном безветрии была невыноси-

мая бортовая качка. Лутатини сделал несколько шагов и, потеряв равновесие, полетел к борту, словно его отшвырнули пинком. Он вскрикнул. К нему подскочил Гимбо.

— Что случилось?

— Я ничего не вижу и боюсь, как бы не очутиться за бортом.

— Ничего не будет до самой смерти.

Лутатини, шагая за старым рулевым, спросил:

— Почему это так: бури нет, а такая ужасная качка?

— Где-то происходит месиво. Дождемся и мы. А пока явилась только отраженная волна.

— А почему с вечера так дым расстилался по океану?

— Воздух разрежен в этих местах, как бы пустой колодец образовался. Вот теперь сюда и хлынут воздушные течения. Будет на что посмотреть.

Проходя мимо вентилятора, под которым сидел больной китаец, услышали стон.

— Эх, мученик! — искренне вздохнул Гимбо.— Засадили человека на погибель.

Он просунул в раструб голову и спросил:

— Что с тобой, Чин-Ха?

Раздался визгливый ответ, пропитанный жгучей ненавистью:

— Проклятие! Моя скоро задохнется в этой дыре! Ваша все не люди! Чтобы океан слопал ваша всех!..

Суеверный Гимбо начал упрашивать его:

— Не надо так, Чин-Ха. Скоро приедем в порт. А там подлечишься. Немного еще остается тебе потерпеть...

Загудел судовой колокол, отбивая восемь склянок. Гимбо заторопился на мостик. Но прежде чем подняться по трапу, он зашептал в ухо Лутатини:

— Китаец накличет на нас беду. Попомните мое слово.

Войдя в рулевую рубку, Лутатини сменил человека, стоявшего в свете нактоуза. И тот, передавая ему штурвал, сказал:

— Курс — норд-ост шестьдесят пять.

Лутатини повторил эту фразу.

За переборкой в штурманской рубке слышался разговор. Это третий штурман Рит сдавал свою вахту вто-

рому штурману Капуану. Последний тоскливым голосом опросил:

— Как барометр?

— Все время падает. Зыбь идет с левого борта. Вероятно, норд-вест скоро ударит.

— Придется, пожалуй, разбудить «старика».

— А уж это дело ваше.

Один человек вышел из рубки, а другой остался, вероятно, для того, чтобы сделать кое-какие записи.

Наступила мертвая тишина.

Лутатини, держась за ручку штурвала, прилип глазами к компасу. Он привык управлять рулем без волнения. Но теперь штуртрос скрежетал у него чаще, чем нужно.

Раздались шаги, открылась в рулевую рубку дверь.

— Курс?

— Норд-ост шестьдесят пять.

Удовлетворенный ответом, второй штурман удалился на середину мостика и там затих.

Лутатини изредка бросал взгляд налево в темноту, где, привалившись к переборке, попыхивал трубкой Гимбо. В другом месте и при других условиях предсказание его о какой-то беде показалось бы нелепостью и вызвало бы только улыбку. Но теперь была давящая ночь. Океан забился, глухо вздыхая, как будто за бортом ворочались допотопные великаны. Палуба проваливалась, уходила из-под ног. И все казалось ненадежным и неустойчивым.

Через некоторое время на руль стал Гимбо. На обязанности Лутатини теперь лежало выполнять поручения второго штурмана. Он отбивал склянки, бегал на корму посмотреть на лаг, следил с мостика, не появятся ли где огни другого корабля.

К концу вахты Лутатини, стоя на мостике, услышал отдаленный гул, приближавшийся со скоростью птичьей стаи. Это привело его в изумление. Не прошло и нескольких секунд, как напряженная тишина взорвалась, словно от вулканического извержения. Сначала рвануло в верхних частях мачт, а вслед за этим шквал зарылся в зыбучей поверхности океана, окатив мостик хлещущими брызгами. Молния, полыхнув, прорезала синеватым блеском беспредельность мрака, раздались звеняще-треску-

чие удары грома. И началось месиво из воды, ветра, туч и огня. Все смешалось в стремительном беге, в бешеной пляске, в клокочущей кутерьме. «Орион» делал невероятные усилия, чтобы продвигаться вперед среди яростно взвихренного мрака. Качаясь, он черпал бортами многочисленные тонны воды, разливавшейся по палубе бурлящими потоками. Временами, провалившись в пустоту, он на мгновение останавливался, содрогаясь каждой частицей своего железного корпуса, словно теряя прежнее мужество. Но проходили тягостные секунды,— он снова взбирался на высоту, потрясаемый от киля до клотика, или, как буйно помешанный, шел напролом, вонзаясь носом в кипящие горы воды. А на него все сильнее, все озлобленнее лезли волны, угрожая снести все верхние настройки. Было от чего смутиться человеческому разуму. И Лутатини, ухватившись за поручни мостика, находился в состоянии человека, почуявшего свою гибель. Платье промокло до последней нитки. От неимоверного напора воздуха легкие раздувались, как пузыри,— до боли в ребрах. Только отвернувшись от ветра, можно было сделать выдох. С каждым мгновением он ждал смерти и смятенным своим сознанием удивлялся, почему он еще торчит на мостике и почему пароход еще не перевернулся. Опомнившись, он, давно не молившийся, искренне перекрестился. Огненными извивами раскололся мрак, оглушительными взрывами загрохотала высь, словно чугунными обвалами рухнуло небо. В синеватом озарении молнии на мгновение вырисовывалось бледное и растерянное лицо второго помощника. Лутатини почувствовал на себе его руку, схватившую за плечи, словно тот хотел крепко обнять его, а затем услышал над самым ухом выкрики:

— Спустись в кают-компанию. Доложи «старику» — шторм от зюйд-веста... Угрожает опасность... Можно ли изменить курс?.. Поставить пароход против ветра... Понял?

Лутатини, повернувшись к Капуану, в свою очередь, прокричал во весь голос:

— Все понял, господин офицер.

Для Лутатини, чтобы сойти вниз, предстояло совершить героический подвиг. Спускаясь с мостика, он хватался не за поручни, а за ступеньки трапа, как бы спол-

зая по ним. Ветер дул прямо в бок с такой силой, словно намеревался швырнуть его в океан. Волны лезли через фальшборт, бушуя на палубе разливами. Обдавало брызгами. Он с трудом открыл дверь, ведущую в капитанские покои. Навстречу выскочил чернокожий человек в синей тужурке, в мягких туфлях. При свете электрической лампочки, стоя в коридоре, они обменялись враждебными взглядами.

— Что нужно?— спросил наконец стюард.

Лутатини, скосив глаза в сторону, передал поручение.

Открылась вторая дверь. В салоне было светло. Все иллюминаторы были плотно задернуты занавесками. Лутатини остановился у порога, чувствуя в душе непримиримую ненависть и к этому роскошному помещению и к его обладателю. Стюард тихо, по-кошачьи, приблизился к раскрытой каюте капитана и осторожно сказал:

— Сэр, к вам пришли.

В дверном прямоугольнике показался капитан Кент, упираясь руками в косяки. Он был в одной длинной полотняной рубахе. Упитанное туловище слегка покачивалось на голых кривых ногах, поросших волосами. За последнее время он слишком часто прибегал к выпивке, чтобы залить тоску своего одиночества, лицо его распухло, а помутившиеся глаза кругло выкатились, с недоумением разглядывая матроса. Он посопел вздернутым помидорным носом, раздувая широкие мохнатые ноздри, и спросил хрипящей октавой:

— В чем дело?

Лутатини слово в слово повторил то, что наказал ему второй штурман.

Судно сильно накренилось на правый борт. Капитан, откинув назад одну ногу, почти повис в двери. Может быть, поэтому бульдожье лицо его выразило досаду.

— Курса ни в коем случае не менять, хотя бы начался всемирный потоп.

Нижняя челюсть, выпячиваясь вперед, вдруг задрожала, багрово вспыхнули щеки. Что-то разбойничье показалось в его суровом взгляде. Под заглушенный грохот бури, свирепствовавшей за стенами салона, капитан зарычал:

— Никто не может мне указывать насчет изменения курса! Об этом я сам знаю лучше других. Передай моему помощнику, что он идиот во всех трех измерениях!

Лутатини показалось чудом, что он поднялся на мостик. Два раза его накрывало волной, и он захлебывался соленой водой. Его терзало и бросало в разные стороны. Когда второй штурман Капуан обратился к нему за ответом, он выпалил все, что сказал капитан. Кулак обрушился на его голову. Он покатился по мостику, как футбольный мяч, отраженный ударом ноги. Очумело вскочил и схватился за поручни. Загудело под черепом, ненавистью заполыхало сердце. Вспыхнула молния, и на момент встретились их сверлящие друг друга взгляды. Не обращая внимания на озлобленный рокот бури и взрывы грома, Лутатини выругался по-матросски, крепко, с солью, и негодующе заорал:

— Негодяй! Животное в мундире!

Но слова его, унесенные ветром в черную ревущую пустыню, не были услышаны вторым штурманом.

Новая смена пришла на вахту.

Лутатини кое-как добрался до кубрика и, переодевшись в сухое платье, лег на койку. Здесь он сразу забыл о втором штурмане. По всему телу разливалась усталость, но трудно было уснуть. В носовой части парохода качка ощущалась сильнее. В широких размахах волн кубрик, содрогаясь, падал и поднимался. То и дело нужно было придерживаться за край койки, чтобы не вылететь из нее. Лутатини было настолько жутко, что пропала тошнота. Снаружи свирепствовала буря. Трещал корпус, и где-то под деревянным настилом палубы скрежетало железо. По линолеуму плескалась вода, попадавшая через входную дверь. Не покидала мысль, что он, Лутатини, все время находится над разверстой могилой, мистически мрачной, как бредовые откровения святого Иоанна. Лишь тонкая железная обшивка отделяла его от зыбучей пропасти.

Никто из команды не спал. Многие курили и мало разговаривали. Старый Гимбо, вытянувшись на койке, жаловался:

— Эх, жизнь наша несуразная! По возрасту мне сидеть бы на берегу в тихой комнате да забавляться с внучатами. Сколько раз зарекался идти в море. Ничего

не выходит. Вот кручусь по белому свету, словно заведенный волчок. А для чего?

Вдруг помещение начало проваливаться — судно глубоко зарылось носом в океан. Над головою, на баке, сотрясая кубрик, забурлили потоки воды. Казалось, что наступил момент аварии. Некоторые матросы вскочили, уселись на койках, готовые прыгнуть на палубу, и бессмысленно переглянулись. Кто-то громко крикнул. Лутатини, уткнувшись лицом в подушку, съежился и тихо, сквозь зубы, простонал. Несколько секунд корабль, казалось, находился без движения, словно потерял всякую надежду выбраться из пучины. Но в следующий момент вся носовая часть его опять понеслась вверх. Команда закачала головами, извергая ругань, удивление, похвалы:

— Вот это трахнуло!

— Молодец «Орион»!

— Давай ходу, дружок!

Открылась входная дверь. В коридор кубрика, словно из опрокинутого чана, хлынула вода, с зловещим шумом скатываясь вниз по ступенькам трапа. Матросы повернули головы в сторону коридора, ожидающе вытянув шеи, но не успели ничего сказать, как сверху вместе с гулом бури раздался повелительный голос боцмана:

— Эй, подвахтенные, наверх!

Дверь захлопнулась, заглушив шум океана.

Трое, соскочив со своих коек, с ворчливой руганью начали одеваться.

С рассветом и остальных вызвали наверх. Ветер достиг степени урагана. Но «Орион» шел тем же курсом, размахиваясь с борта на борт до сорока градусов. Давно бы следовало поставить его против волны, чтобы уменьшить опасность перевернуться вверх килем, но капитан Кент молчал и не показывался на мостике. Что это — глупость или безрассудная храбрость? И штурманы и команда недовольно хмурили брови. Однако рассуждать было некогда. Люди защищали свое судно, как родной очаг. На трюмных люках туже завинчивали задраичные бимсы и вместо выбитых волнами клиньев, поддерживающих брезент, забивали новые. У задней мачты были выброшены из гнезд две стрелы. Их снова уложили на свое место и снова закрепили. Когда судно случайно повернулось влево, могучая волна, перевалив через

фальшборт, ухнула на палубу и покатилась по диагонали дальше. Раздался треск. Это в каюте первого помощника разломалась дверь. В помещение ворвалась вода, разбрасывая вещи. Плотник и один матрос бросились починять дверь.

Лутатини видел, с каким рвением, рискуя свалиться за борт, матросы выполняли работы, точно бились за свое собственное счастье. И сам он делал то же, несмотря на пронизывающий страх перед грозной стихией. Корабль, раньше постылый и ненавистный, теперь вдруг стал милым и дорогим, как самый близкий друг. Лутатини начинал понимать, что вся надежда возлагалась на судно. Только не поломалась бы машина, не оторвало бы руль, не лопнул бы штуртрос. В минуту небольшого затишья матросы шутили:

— Какие могут быть грехи за нашим братом?

— Да, все смоем в соленой купели.

Лутатини нисколько не сердился на них. Все они были славные ребята. Сейчас, перед лицом ревущей смерти, им нельзя было не стоять друг за друга. Каждая пара рук, вовремя пущенная в дело, могла спасти от гибели все судно.

Работая, он робко оглядывался. Какая неожиданная перемена произошла в его жизни! На берегу он привык к медлительным движениям, к задушевным молитвам, к сладчайшему пению под звуки органа. Вся его деятельность протекала тихо и безмятежно, как ручей по ровному руслу, и была направлена к тому, чтобы творить дела милосердия. Но кому это нужно было здесь, где все кругом кипело и бесновалось? Бесформенные пласты туч, извиваясь, загромоздили все небо, словно там прорвались чудовищные цилиндры, со свистом и ревом выбрасывая бесконечные клубы пара. Во мраке, клокоча пенными гребнями, зыбилась поверхность океана, развороченная на десятки футов глубины. Иногда сила ветра слабела, словно ураган хотел дать людям возможность хоть немножко отдохнуть, опомниться, прийти в себя. Тогда можно было видеть, как бесчисленные валы, потрясая истерзанными вершинами, катились стройными рядами. Потом, внося хаос и неразбериху, снова обрушивались шквалы, еще более свирепые и сокрушительные. Ветер как будто падал сверху вниз, комкая тучи,

снижая их до клотиков мачт. С другой стороны, словно рожденные распоротой утробой океана, внезапно возникали вихри, буйно кружились, дробя волны, поднимая столбы брызг и клочья пены. Лутатини неестественно пучил глаза, мокрый, усталый, придавленный ужасом. Сколько раз его накрывала волна, сбивая с ног, кружа в своем водовороте, сколько раз он ощущал близость гибели...

Во время короткого затишья боцман отсчитал трех человек, в том числе и Лутатини, сделал рукой широкий взмах и крикнул:

— На бак со мною!

Длина каждой волны, считая от гребня до гребня, доходила до пятисот футов, волны накатывали на судно через каждые пятнадцать — двадцать секунд. Боцман с матросами постоял под мостиком и, выждав удобный момент, бегом бросился с ними на бак, словно в атаку. Железный канат левого якоря ослаб от ударов волн. Нужно было его подтянуть и сильнее закрепить. Потом несколько минут провозились с брашпилем. А когда собрались уходить, ветер сорвал брезентовый чехол с вентилятора, спускающегося в матросский кубрик. Вентилятор сидел низко, и, хотя своим замкнутым раструбом был повернут в подветренную сторону, в него захлестывала вода, попадая в жилое помещение. Боцман приказал Лутатини:

— Займись вентилятором. А потом приходи в офицерский коридор.

Лутатини ничего не оставалось, как только ответить:

— Есть!

Он остался на баке один. Площадь палубы здесь была небольшая, суживающаяся к носу. Порывы урагана снова усилились. Он работал с тревогой в сердце. Больно хлестали брызги, словно по нем стреляли горохом. А когда лезла на него водяная глыба, окатывая его с ног до головы, он судорожно хватался за вентилятор, как за своего спасителя. Вдруг корабль рванулся, свалился в наветренную сторону, на левый борт. Лутатини оглянулся — над палубой, взметнувшись в мутную высь, выросла огромнейшая волна с седым, завернутым внутрь гребнем. Казалось, поднялся из бездны апокалипсический зверь и, колыхаясь, дрожа, яростно зашипел над

ним. Замерла грудь, остановилось дыхание. А дальше он почувствовал на себе непомерную тяжесть. Руки его легко оторвались от вентилятора. Кто-то могучий грубо схватил его лохматыми лапами, безжалостно смял, как маленького котенка, ревом разорвал уши и полетел с ним в пропасть.

Все произошло с быстротой промелькнувшей мысли. Голова его неожиданно вынырнула на поверхность воды. Отфыркиваясь, он даже не сразу понял, что очутился за левым бортом, в океане, в двух саженях от «Ориона». Волна стащила его в эту сторону потому, что была отражена наклонной палубой. Судно теперь неслось мимо него. Спохватившись, он заорал истошным голосом:

— Спасите!

Ярдах в ста на него катился следующий вал, увенчанный пеной. Лутатини отвернулся от него и умоляюще впился выпученными глазами в уходящий корабль. Промелькнул первый трюм, второй, поравнялся с капитанским мостиком, на котором стоял в своем длинном непромокаемом плаще с капюшоном на голове второй штурман. Последний, ухватившись за поручни, согнулся и глядел за правый борт, в подветренную сторону, не замечая погибающего человека. Лутатини закричал во всю силу своих легких:

— Капуан!.. Капуан!..

Второй штурман не пошевелился на этот зов.

В эти жуткие моменты зрение Лутатини настолько обострилось, что он одним коротким взглядом отмечал каждую мелочь. Приближался вал, потрясая разлохмаченной гривой. Гудела высь, ревел простор, а в разверстой глубине океана было спокойно и зловеще тихо, как в долине, защищенной от ветра горами. Словно из бездны, он продолжал кричать, взывая о помощи, но в то же время его терзала какая-то смутная и неуловимая мысль. Вот между машинным кожухом и капитанским помещением показался угольщик Вранер в рабочей куртке с расстегнутым воротом. Он направлялся на переднюю палубу. Он внезапно остановился, напрягая слух, и замахал обеими руками. Потом быстро повернулся и опрометью бросился в офицерский коридор. Затем Лутатини увидел за камбузом несколько человек. Одни оцепенело застыли

на месте, другие, как сумасшедшие, помчались на корму. Впереди всех был угольщик Вранер. Больше Лутатини ничего не видел — огромный вал накрыл его клокочущим гребнем. Слепой, задохнувшийся, с судорогой в груди, он завертелся в кипящих потоках, словно гребной винт.

И только в этот момент Лутатини вдруг вспомнил: почему он не оставил кому-нибудь из товарищей адреса своих родителей? Его раздавил страшный удар, и мысли оборвались, как тончайшие паутинки.

Пароход, не останавливаясь, продолжал идти дальше в крутящуюся мглу, к зыбучему горизонту, черный, грузный, упругий. Что-то настойчивое и упрямое было в его могучем железном корпусе.

XII

После ураганной встряски наступили тихие и безоблачные дни.

«Орион» шел в утреннюю зарю. Впереди виднелись острова, замеченные еще накануне вечером. К утру число их увеличилось, и они выросли, словно поднялись из воды. Издали казалось, что на пунцовом полотне небосклона художник набросал эскизы исполинских парусников. Серые очертания их ожили и медленно плыли навстречу, не вспенивая зардевшихся вод, не нарушая безмолвия розового утренника. Погасли последние звезды, бледнел, теряя блеск, ущербленный диск луны. Еле заметный бриз принес на палубу аромат земли. Брызнуло солнце по океану. Все празднично засверкало. Синий воздух прорезали крики чаек, реющих над кораблем.

На мостике, держась за поручни, застыл, как манекен, Сайменс. Он смотрел вперед, щурясь от буйного света. Помятое лицо его было мечтательно. Пожилой холостяк, он почти в каждом порту имел возлюбленную. Скоро он будет в Марселе и встретится с молодой веселой Жанной. Пароходная компания платит за рейс бешеные деньги. Стесняться в расходах не приходится. Он даже приведет свою Жанну на пароход, чтобы подразнить капитана. При воспоминании о капитане у него задрожали ноздри. У крокодила больше совести, чем у этого кривоногого человека, который так нагло захватил его место.

Радиотелеграфист, забравшись на мостик, подошел

к первому штурману и, держа в руке депешу, почтительно заговорил:

— Мистер Сайменс, поручение капитана исполнено.

Сайменс, оторвавшись от поручней, быстро оглянулся.

— Вам было уже сказано, что теперь на судне никаких «мистеров» нет. Это слово нужно изгнать из употребления. Вы и при немцах будете так обращаться ко мне?

— Простите, сеньор Сайменс,— забываюсь я. Надо бы с самого начала, когда мы вышли из Буэнос-Айреса, вменить это всем за правило.

— Говорите о деле.

— С острова Ожидания я наконец получил ответ. Уголь для нас будет приготовлен.

— Хорошо.

Викмонд передал радиодепешу и удалился с мостика.

В шесть часов, несмотря на предстоящую погрузку угля, команда начала мыть палубу, чтобы хоть на несколько минут блеснуть перед иностранцами чистотой и опрятностью судна.

Острова были вулканического происхождения. Когда-то подземные силы, бушующие огнем, взломали дно океана и выперли на поверхность воды горы с высоченными вершинами, с обрывистыми скалами. Только внизу, в долинах, пестрели кое-где небольшие клочки возделанной земли и сочились зеленью тропических растений. На краю острова, к которому направлялся корабль, на высоком холме приютился одинокий маяк. Около самого берега показались дома, похожие на игрушечные кубики.

На мостик поднялся капитан Кент в белом форменном костюме с золотым позументом, с вензелем на фуражке. Матросы рассматривали его с любопытством, как будто он впервые появился на судне. Бульдожье лицо его было чисто выбрито, освежено одеколоном. Обменявшись несколькими фразами со своим третьим помощником, молодым человеком, который почему-то излишне суетился перед ним и юношески краснел, он начал прохаживаться по мостику под развешанным тентом. Шаги его были медленные, словно ему трудно было носить собственное туловище на кривых ногах. По временам, останавливаясь, он бросал сквозь очки взгляд на океанскую ширь, на острова, на палубу своего судна.

На «Орионе» приготовились к погрузке угля и давно уж открыли бункерные люки. Матросские постели, чтобы не запылить их, снесли с первого трюма в кубрик. Все палубные работы были закончены. Матросы без дела толпились под капитанским мостиком, ожидающе поглядывая вперед. Некоторые из них уже раньше бывали на этих островах и теперь делились впечатлениями. Рулевой Кинче, рыжеволосый, с круглыми опущенными плечами, покачивая маленькой головой на толстой шее, рассказывал баском:

— Я однажды застрял здесь на берегу дольше, чем следует. Судно мое ушло. И опоздал-то на какой-нибудь час. Трехмесячное жалованье мое только улыбнулось мне — и осталось в руках капитана. Капитан из итальянцев был,— чтобы у него от моих денег растрескалось сердце, как земля от жары! Три недели проболтался, пока не подвернулась вакансия на другой коробке. Хватил я горя на этом острове. Сунулся в карманы — чисто. Пустил в оборот свой новенький костюм, а сам нарядился в лохмотья. Питался маисом и фруктами. Одно только утешение было — с мулатками развлекаться. Женщины угарные и до моряков большие охотницы. Вдребезги замучили меня.

— Эх, хоть бы денек покуролесить на острове! — воскликнул кочегар.

Кинче посоветовал:

— Запасайтесь, ребята, авансом. Главное, чтобы мелочь была. Торговки припрут на палубу с фруктами. Будет дело.

Все ухватились за эту мысль и двинулись к каюте первого штурмана. Сайменс, выглянув из дверей, спросил:

— Что скажете хорошего?

— Насчет аванса, сеньор Сайменс...

— По скольку?

— Немного — по десяти долларов на брата.

Сайменс почесал за ухом.

— Ого! Разыгрался у вас аппетит! И по два доллара некуда будет девать. Имейте в виду, что вы за целый месяц вперед забрали жалованье еще в Буэнос-Айресе.

Матросы злобно засверкали глазами.

— Шанхаера мы не забудем. При встрече отблагодарим: век будет помнить.

Долго спорили и сошлись на половине запрошенной суммы.

Домбер, получивший аванс, столкнулся с Лутатини.

— А вы что же, друг?..

— Ну, на что мне деньги?

— Да мало ли на что пригодятся. Лучше иметь их у себя в кармане, чем в шкатулке администрации.

Лутатини смущенно стал в затылок другим. А когда расписался в ведомости, вышел из каюты довольный. Это были первые деньги, заработанные им физическим трудом. Он бережно завязал серебряные и медные монеты в грязную тряпку — носовой платок. Он даже улыбнулся, как будто приобрел большое богатство. Но сейчас же загорелое лицо его стало озабоченным — волновала близость земли. Вспыхнула тоска по родине. Единственная мысль не давала покоя: нельзя ли отсюда послать телеграмму отцу? Может быть, там, в Буэнос-Айресе, примут какие-нибудь меры, чтобы избавить его от тяжести матросского труда и дальнейшего риска.

Никогда в жизни не забыть ему перенесенного урагана и смертельного ужаса, который он пережил в пучине океана...

Его вытащили из-под сектора запасного руля на корме, куда он был заброшен волною. Два матроса поволокли его неподвижное тело по палубе к камбузу. Он казался мертвым. В каюте Лутатини раздели догола и, освободив его желудок от воды, уложили на койку. Сначала тело его, по распоряжению Сайменса, растирали коньяком, а потом поднесли к носу флакон с нашатырным спиртом. Лутатини открыл глаза и недоумевающе уставился в лица присутствующих, никого не узнавая.

— Мои родители... Буэнос-Айрес... Улица... Дом сто двадцать четыре... Как моя улица?

Но так и не мог вспомнить нужного слова. Веки его тяжело сомкнулись. Сайменс сказал:

— Теперь будет жив. Накройте его потеплее.

Около Лутатини остался дежурить старый рулевой Гимбо.

Ураган начал сдавать. Небо прочищалось от туч, прояснились дали. Наступила ночь, тихая, сверкающая звездами. А на следующий день, когда Лутатини вышел на палубу, не было даже зыби. Разглаженной равниной

лежал океан, излучая жаркий синий блеск. Лутатини взглянул на левый борт. Трудно было поверить, что он, смытый волной, остался жив. Все это показалось бы бредом, если бы не боль от ушибов на голове и спине.

Потом матросы сообщили ему еще более страшную новость: угольщика Вранера, который первый бросился спасать Лутатини, смыло волною за борт. Оказать помощь угольщику, по словам товарищей, было нельзя. Может быть, он не умел плавать, а может быть, обо что-нибудь ударился, но он ни разу не показался на поверхности воды. Исчез моментально в волнах, словно к нему был привязан балласт.

Лутатини, узнав об этом, застонал и закрыл руками лицо.

С тех пор прошло несколько дней. Теперь он был совершенно здоров. Но угольщик не выходил у него из головы. А сегодня, когда матросы снесли свои постели в кубрик, особенно заныло сердце: койка угольщика оказалась пустой. На нее никто не положил ни матраца, ни подушки, ни одеяла. Ведь такой же пустой могла оказаться и его койка, Себастьяна Лутатини... Он считал Вранера преступником, страшным человеком, а тот первый бросился спасать его и сам поплатился жизнью. Мог ли он, служитель алтаря, так же рискнуть собою для другого человека, который не был ему ни родственником, ни другом?

«Орион» вошел в бухту. Застопорили машину. Не успели еще бросить якоря, а к бортам уже причалили баржи с углем. Шлюпочная флотилия окружила судно. Люди горланили на разных языках и лезли на «Орион», словно хотели взять его на абордаж. Первыми поднялись по штормтрапу на палубу начальствующие лица: полиция, таможенные и портовые чиновники. Возглавлял всех местный губернатор, смуглый португалец. Что-то карикатурное было в том, что на ногах у него вместо сапог желтели новенькие сандалии, а темно-синие панталоны едва доходили до колен. Держался он важно, по-индюшечьи надувая обрюзгшее лицо. Капитан Кент встретил их у борта, с каждым раскланиваясь, каждому улыбаясь, и повел всех в салон.

Затем на «Орионе» очутились шипсшандлеры — самые пронырливые во всех портах люди, поставляющие на су-

да любой товар: и продукты, и спиртные напитки, и платье, и корабельные принадлежности, и женщин. Нет такого языка, на котором нельзя было бы с ними сговориться. Они поймут каждого моряка раньше, чем он повернет языком, чтобы произнести слово. Увидев стюарда, они, разгоряченные и потные, опрометью бросились к нему и обступили его тесным кольцом. Каждый старался всучить ему свою визитную карточку, каждый расхваливал свой товар и свою неподкупную честность, понося в то же время других. Глядя на их проворные жесты, слушая их отчаянные выкрики, можно было подумать, что сейчас между ними начнется потасовка. Стюард сначала только растерянно оглядывался и крутил кудрявой головою, словно попал в плен к неприятелю, а потом, положив руку на плечо одному из шипсшандлеров, авторитетно заявил:

— Хорошо. Вы будете моим поставщиком.

И взял от него визитную карточку.

Остальные все сразу откачнулись от него, как от чумного. Они вихрем заметались по палубе:

— Есть костюмы, рабочее платье!.. Дешевые и добротные!..

Торговок и торговцев с фруктами пока не пускали на палубу.

А тем временем туземцы с угольных барж прикрепляли к бортам парохода сходни. По сходням вплоть до бункерных люков, зияющих черной пустотой, выстроилась живая цепь людей. На каждой барже по нескольку грузчиков, вооружившись железными лопатами, стали перед пустыми корзинами. Все ждали дальнейшего распоряжения. Среди мужчин находились и женщины. И те и другие были почти голые, в одних лишь широких матерчатых поясах, прикрывающих бедра; только у женщин над грудями свисали маленькие ракушечьи щитки. Взволнованные предстоящей работой, туземцы произносили непонятные слова с резкими выкриками и скалили белые зубы. Глянцевито-черные тела их блестели на солнце, словно смазанные жиром.

На «Орионе» все двери кают были закрыты, иллюминаторы задраены. Команда и офицеры нарядились в грязное платье. На полуюте и на баке выросло по одному полисмену.

Матрос, толкнув в бок Лутатини, проворчал, кивая головою на полисменов:

— Архангелов поставили, окаянные!

— Для чего?

— Чтобы никто из нас из этого рая не убежал.

Губернатор и все его подчиненные сошли на моторный катер. Вместе с ними спустился и капитан Кент. Катер, оторвавшись от борта, рассыпал по бухте дробный стук.

Началась погрузка. Корзины, наполненные углем, переходя из рук в руки, беспрерывными рядами поползли вверх, на палубу. Их опрокидывали над бункерными люками и пустыми бросали на ту или другую баржу, чтобы снова заполнить грузом. Негры работали дружно. Баржи, облегчаясь от тяжести, постепенно поднимались из воды. «Орион» окутался в облако черной пыли. Капитанский мостик, штурманская и рулевая рубки, офицерские каюты, раньше блестевшие белизной, потускнели — стали темно-серыми.

Бухта представляла собою важную судоходную станцию. Кроме «Ориона», в ней стояли на якорях и другие суда: штук пять местных парусников, легкий английский крейсер, португальский миноносец и несколько торговых транспортов с повисшими над кормою флагами — французским, итальянским, мексиканским. Некоторые пароходы тоже грузились углем.

Лутатини стоял на баке без дела. Взгляд его тоскливо был устремлен на остров. Там громадные вершины гор в серо-коричневой окраске, в причудливых извилинах и наклонах подпирали синюю чашу неба. А внизу, около самой бухты, полукругом разбросался небольшой городок. Справа, на набережной, громоздились склады, кучи угля, стопы ящиков, бочек, тюков. Налево шли европейские жилые здания и заканчивались жалкими лачугами туземцев. Против центра города виднелась каменная пристань для пассажирских пароходов. Здесь набережная заросла двумя рядами высоких и стройных пальм. Сейчас же за нею с зеленью тропических растений чередовались дома под рыжей черепицей крыш, с фасадами, окрашенными в самые разнообразные цвета — белые, синие, желтые, розовые. Весь берег, залитый знойными лучами, был похож на яркую мозаику.

Лутатини взглянул на истукана-полисмена.

— Отсюда можно будет послать телеграмму в Буэнос-Айрес?

Полисмен пошевелился, но не произнес ни одного слова.

Лутатини пробовал заговорить с ним по-итальянски, по-французски, по-английски. И опять не достиг результата. Блюститель порядка только подозрительно косился на него и отрицательно качал головою, словно лишился голоса.

— Португальская говядина! — выругался Лутатини и пошел от него прочь.

Он достал у одного машиниста конверт и бумагу и, спустившись в кубрик, принялся на скорую руку строчить письмо.

По окончании погрузки угля пустили в дело помпы. Засверкали на солнце струи воды. Не прошло и получаса, как все судно было вымыто. На него, с разрешения старшего штурмана, полезли торговки — негритянки и мулатки. Палуба огласилась веселым разноголосым шумом. Коверкая английские слова, женщины бесцеремонно хватали матросов за платье и, показывая на свои корзины, предлагали фрукты: золотистые апельсины, душистые бананы, янтарно-желтые и липкие, как мед, сушеные финики, кокосовые орехи в бурых волокнах. Каждый из экипажа не только сейчас же уничтожал фрукты, но и покупал их про запас. Незаметно для администрации некоторые матросы добывали у торговок пальмовое вино.

Лутатини долго присматривался к женщинам. Взгляд его остановился на одной мулатке. С удлиненным лицом кофейного цвета, с большими блестяще-черными глазами, обернутая через левое плечо куском оранжевой материи, она была красивее всех. Ему казалось, что только она может выполнить его поручение. Уловив удобный момент, когда из администрации никого поблизости не было, он подошел к ней и купил целую корзину с фруктами. Расплачиваясь за товар, он сунул ей вдобавок еще доллар и письмо. Мулатка, улыбаясь, кивнула утвердительно головой. Корзинку он снес в кубрик и поставил ее под свою койку. Он вышел на палубу с довольным видом, хитровато посмеиваясь. Ему никогда не приходи-

лось есть таких сочных и вкусных апельсинов. Фрукты он запивал приятным, чуть-чуть прохладным кокосовым молоком.

К судну причалил баркас с чернокожими людьми. Их было сорок человек, возглавляемых одним белым толстяком. Последний поднялся на палубу и передал первому помощнику записку от капитана. Саймене, читая ее, недовольно поморщился, а вслух сказал:

— Хорошо, приступайте к работе!

Это прибыла партия, чтобы очистить подводные части судна от присосавшихся ракушек, тормозящих ход «Ориона» на целую милю в час. При помощи боцмана и матросов негры протянули вокруг корпуса корабля канат на один фут выше ватерлинии. Для того, чтобы он держался на таком уровне, его перехватили многочисленными концами, перекинутыми через фальшборт. Когда все приготовления были закончены, каждый из туземцев вооружился маленьким треугольным скребком, перпендикулярно насаженным на деревянную ручку. Такой скребок петлей из шнура захлестывался на кисть правой руки, чтобы не потерять его. Все негры, находившиеся в баркасе, исключая только одного рулевого, встали — приготовились к дальнейшим действиям. Только теперь Лутатини рассмотрел их как следует. Это были отборные люди, грудастые, красиво и крепко сложенные, с тугими мускулами. Подняв головы, они ожидающе смотрели на правое крыло мостика, где стоял их белый подрядчик. Звонким голосом он произнес какую-то фразу и сделал рукой широкий горизонтальный жест. Вокруг баркаса раздались всплески. На нем остался только один человек, сидевший у руля, а остальные как будто невидимой силой были выброшены в воду. Подплывая к судну, они распределились вдоль правого борта в один ряд, с правильными промежутками друг от друга, точно каждый заранее знал свое место. Ждали следующей команды, держась за канат, протянутый вокруг корпуса.

Подрядчик, перегнувшись через поручни капитанского мостика, резко гаркнул:

— Гоп!

И Лутатини увидел, как все сорок чернокожих туземцев, выпустив из рук канат, дружно перевернулись в воде, словно дельфины. На момент показались белые по-

дошвы босых ног и скрылись в глубине. Наступила напряженная минута ожидания. Казалось — люди исчезли совсем. Он уже с беспокойством глядел за борт, вдоль корпуса судна, вытягивая шею и тараща глаза, как вдруг одна за другой начали показываться на поверхности черные кудрявые головы. Руки жадно хватались за канат. Все эти люди, пока у них были свежие силы, сперва взялись за очистку наиболее глубоко погруженных частей судового днища, отдирая от него своими железными скребками присосавшиеся ракушки. Только длительная тренировка дала им возможность работать на глубине в двадцать с лишком футов, под страшным давлением воды, без дыхания в продолжение около двух минут. Вот почему, держась за канат, они болезненно дергали запрокинутыми головами. Каждый хватал воздух, широко раскрыв рот, по-собачьи оскалив белые зубы. Ошалело пучились глаза и, вывертываясь белками из орбит, скосились на мостик — туда, где находился толстый подрядчик. А тот, дав немного отдохнуть людям, снова скомандовал:

— Гоп!

И опять исчезли с поверхности черные кудрявые головы. Лутатини думал про себя: нет, уж лучше быть матросом, даже кочегаром, чем работать в такой жуткой партии.

— Любуетесь, как добывают хлеб насущный?

Лутатини обернулся на голос. Около него стоял Карнер с ехидным взглядом в запавших глазах.

— Как только они выдерживают такой ужасный труд! — откровенно удивился Лутатини.

Карнер подхватил:

— И после этого будто бы на том свете им предстоят еще худшие муки? Вероятно, у одних будут вытягивать жилы, других заставят лизать раскаленное железо, третьих повесят за причинное место. Им, очевидно, не избежать таких пыток в застенке: ведь они не исповедуют католической религии... Вот она, наивысшая справедливость вашего бога!

Он рассыпался мелким злорадным смешком.

Лутатини досадливо отвернулся.

— Опять вы свое! Как мне надоело это выслушивать от вас!

— Ничего, мы больше слушали вашу болтовню. Я только задам вам еще один вопрос: какую религию, сеньор Лутатини, исповедовали бы вы, если бы родились на этом диком острове, в семье негров?

Не дожидаясь ответа, он похлопал Лутатини по плечу и промолвил уже ласково:

— Не сердитесь, друг. Это у меня так... сорвалось с языка. Лучше скажите: не были вы сейчас в кубрике?

— Нет.

— О, тогда пойдемте со мною! Вам представится картина, какую вы не видели и не увидите ни в одном кинематографе.

Когда они спустились в кубрик, Лутатини обалдело остановился. Правда, он ничего особенного не увидел, кроме спущенных с верхних коек одеял, заменяющих собою занавеси для нижних коек. Занавеси эти колебались, и за ними слышались поцелуи, женский смех, сладострастные стоны кочегаров. Пахнуло запахом портового притона. Лутатини, перейдя через коридор, заглянул в другую половину кубрика, где помещались матросы. То же было и здесь. И даже на его койке разместилась какая-то пара. Лутатини всего передернуло, словно он хватил отвратительной горечи. Бледный от потрясения, он двинулся было вперед, намереваясь сорвать одеяло и стащить за ноги со своей койки непрошеных гостей, но его вовремя ухватил за руку Карнер и, отводя к выходу, прошептал на ухо:

— Что вы делаете! Вас убьют! Вы младенец. Вы еще не знаете, что люди осатанели сейчас. Совсем другое увидите завтра: моряки будут тихие и смирные, как агнцы. Если начальство начнет из них маты плести — и то они не будут протестовать.

Поднявшись на палубу, Лутатини удивленно пробормотал:

— Что же это такое творится?

— Так, брат, наша жизнь устроена. Удивительная гармония! День и ночь мы должны славить наших воротил, земных и небесных.

Лутатини круто повернулся и, сверкнув черными глазами, раздраженно спросил:

— Да вы кто такой? Святой обличитель или дьявол, разлагающий души людей?

Карнер спокойно ответил:

— В духовной школе вам повредили мозги. Вам нужно скорее поправиться. Тогда вы по-иному будете смотреть на мир, на людей, на все...

Лутатини обиженно отвернулся от своего спутника и отошел на середину корабля. Он чувствовал себя скверно, точно сам выкупался в зловонном потоке. Торговки, предлагая фрукты, вызывающе смеялись ему в лицо, а он, опустив голову, старался не смотреть на них. К своему изумлению, он заметил, что и в каюты водили женщин: боцман, плотник, масленщики. Не представляли исключения и офицеры. Вон первый штурман Саймонс пошел к себе с молодой мулаткой,— с той самой, которой Лутатини передал письмо. Перешагнув вместе с женщиной через порог своей каюты, он захлопнул за собой дверь. Лутатини раскрыл рот, испуганный отчаянной мыслью о судьбе письма...

Из камбуза выглянул Прелат в белом колпаке и добродушно заговорил:

— Вы все ходите, сеньор Лутатини, а я уже успел на двух жениться. Если угодно, могу уступить для вас свою койку. Рекомендую мулаточку взять: насчет темперамента — очень горячие бабенки...

Рыхлое лицо его лоснилось от пота, глаза устало щурились, как у сытого кота.

— Отстань, блудливая тварь! — крикнул Лутатини.

Прелат обдал его самодовольным хохотом.

— Ему добра желают, а он сердится. Чудило церковное!

На судно явился новый угольщик, нанятый капитаном. Это был пожилой малаец, худой и нескладный, прихрамывающий на правую ногу. С большим потертым чемоданом он направился прямо в кубрик, где ему указали кочегары на пустую койку. Он спросил:

— А тот, кто раньше был здесь, сбежал, что ли?

Домбер ответил угрюмо:

— Да, сбежал. Теперь ему не нужно больше на вахту выходить.

— Понимаю...— буркнул малаец и прекратил расспросы.

Весь правый борт судна был очищен от ракушек. Негры настолько устали, что едва влезли на палубу. За-

кусили, поточили свои скребки, отдохнули. Предстояло повозиться с левым бортом. По команде белого подрядчика они прямо с палубы бултыхнулись в море.

Вечером, когда на судне никого из посторонних людей уже не осталось, Лутатини отозвал от других рулевого Гимбо и рассказал ему о случае с письмом. Старик, выслушав, укоризненно покачал головой:

— Эх, сеньор Лутатини, ничего вы не знаете, как в таких случаях поступать. Вы хоть бы со мной посоветовались. Ну, как можно вручать письмо какой-то женщине? Вы должны бы отдать его шипсшандлеру. Тот любое ваше поручение исполнил бы в точности. Даже могли телеграмму послать.

Ошибку уже нельзя было исправить, и Лутатини, поняв это, стоял на палубе с горестным видом, готовый разрыдаться.

Берег весело замерцал огнями.

XIII

В штурманской рубке на морской карте была проведена карандашом черта. Она начиналась от островов и шла ровной прямой линией к северо-востоку, упираясь в Гибралтарский пролив. Это был новый курс, которым теперь шел «Орион».

Офицерский персонал и команда сознавали, что вступают в полосу, где можно встретиться с немецкими субмаринами. С каждой пройденной милей опасность увеличивалась, несмотря на то, что на корме судна развевался нейтральный флаг Аргентинской республики. Ведь неизвестно, как отнесутся немцы к «Ориону». Судно может показаться им подозрительным. Радиоаппарат каждый день возвещал о гибели коммерческих кораблей, среди которых многие принадлежали нейтральным государствам. Усилили денные и ночные вахты. Но каждый понимал, что это было так же бесполезно, как бесполезно голодному жевать кусок дерева. Ну, увидят перископ той или другой субмарины, а дальше что? Какие меры можно будет предпринимать для защиты, не имея на борту никакого оружия, кроме револьверов?

Матросы и кочегары опять переселились со своими постелями на люк первого трюма, развесив над собою тент. Лутатини выбрал себе место рядом с Гимбо и был

очень доволен, что оставил опоганенный кубрик. Он старательно вымыл свое постельное белье и прокалил его под лучами тропического солнца. Больше всего на свете он боялся заразы, одна мысль о которой приводила его в трепет и вызывала чувство омерзения. А матросы как будто и не думали об этом, хотя вопли китайца в твиндеке не умолкали. Они с удовольствием вспоминали о недавних туземках и мечтали о новых встречах с женщинами.

Разговор перешел к военным событиям.

— Два метра вперед, три метра назад... Тьфу, черт возьми! Да так никогда не кончится война. А тут еще Америка впуталась...

— Скоро все государства сойдут с ума.

— Ну, тогда и нас мобилизуют.

Матрос Кинче, покачивая рыжей головой, говорил:

— Ловко придумали: за отечество!.. Да на кой черт оно мне сдалось, это отечество?.. Мои родители нищенствуют в Парагвае. Я тоже подыхал бы с голоду, если бы жил вместе с ними. И за такую благодать я должен платить жизнью? Пусть богачи и сражаются за это свое отечество. А для нас, пока мы здоровы,— вся земля отечество.

— Верно, Кинче! — поддакивали другие.

Карнер изрекал, закатывая злые глаза к небу и подражая проповедникам:

— Братия! Будьте мудры, как змеи, и зубасты, как тигры. Помните всегда, что нет на земле другого бога, кроме золотого мешка, и нет других пророков, кроме капиталистов. Болтать об этом боге так же бесполезно, как бесполезно топить в море акулу. Надо действовать...

Матросы поддерживали Карнера:

— Выматывай дальше, дружище!..

Карнер продолжал:

— Если в кубрике начать морить клопов по-настоящему, то нужно зажечь серу. Для современного бога и его пророков такой же вред может нанести Всемирный союз моряков. Пусть слышат это все, кто окончательно не оглох от морских бурь.

Он заражал команду своим темпераментом, своим непримиримым гневом. Его слова действовали на матросов возбуждающе, как спирт. Из маленького чахоточно-

го человека он вырастал в героя. К нему начинали прислушиваться, невольно подпадая под его влияние.

Лутатини больше всего занимала подводная война. Субмарины пугали воображение своей таинственностью. В Буэнос-Айресе он много читал, как гибнут от них корабли. Но тогда он был далек от катастроф, и это не волновало его. Другое дело теперь, когда он сам приближается к опасным широтам. Правда, многие из матросов в плавании во время войны уже не раз встречались с субмаринами и рассказывали об этом с шутками, словно речь шла о футбольной игре.

Однажды, покончив с обедом, матросы не расходились, продолжая сидеть около камбуза. Пароходная труба выбрасывала серые клубы дыма. За кормою трепетно колебался пенистый след. Океанская ширь была густо насыщена зноем. Радиоаппарат только что принес известие, что в Средиземном море взорван миной французский броненосец, погибло около шестисот человек. Команда оживленно обсуждала это событие. Значит, и там нет спасения от немецких субмарин.

Лутатини был встревожен больше других.

— Мы идем под нейтральным флагом. Неужели это не обеспечивает нас от нападения подводных лодок?

Лутатини вопросительно поднял тонкие черные брови.

— Ну, насчет нейтрального флага помолчим: это штука обманчивая и коварная.

В разговор ввязался Гимбо, попыхивая трубкой:

— Вот, сеньор Лутатини... Дело было летом в прошлом году. Поступил я в Ливерпуле на английское судно. Коробка в пять тысяч тонн. Груз состоял из военного снаряжения. Ладно. Снимаемся с якоря, и наше судно сразу превратилось в шведское. Флаг, надписи на корме, на носу, название порта — все шведское. В твиндеке у нас две пушки стоят, трехдюймовки, а в борту для них приспособлены откидные амбразуры. Еще одна пушка в корме — под полуютом. Несколько военных моряков с нами — все артиллеристы. В море уже капитан созывает всю команду и дает наказ, что мы должны выполнять, если встретимся с немецкой субмариной. Ну, думаю, влип я в историю — будет горячее дельце! Ночь прошла благополучно. Следим за морем во все глаза. Курс наш — Гавр. Перед обедом вступаем в Ла-Манш. Вдруг крики

по судну: «Перископ!» Заныло в груди: «Ну, сейчас, старый дурак, ванну тебе принимать». У нас на мачте взвились флаги. «Возвращаемся из Америки в Стокгольм». А субмарина тем временем выплывает на поверхность. На палубе появляются люди. Одни бросаются к пушке, берут нас на прицел, другие сигнализируют: «Остановиться. Капитану с документами явиться на субмарину». У нас застопорили машину. И сейчас же, согласно капитанской инструкции, мы начали разыгрывать комедию. Спасательные шлюпки спускаем так, что они одним концом летят в море и сразу же наполняются водой. Потом сами все захватываем спасательные круги и, якобы в панике, бросаемся за борт. Швед наш опустел. Мы отплываем от него подальше и орем благим матом. Немцы сбиты с толку. Субмарина подходит ближе, может быть, затем, чтобы спасать нас. Вот тут-то и напоролись они. Вдруг в твиндеке откидываются борта. Забухал наш фальшивый швед выстрелами. Не успел я и моргнуть, как началась паника на субмарине. Теперь там люди, как плоды с дерева, посыпались за борт. А через две-три минуты от разбитой субмарины только пузыри остались на воде. Нам тоже они влепили несколько снарядов. Забрались мы на своего шведа, подобрали плавающих немцев и пошли дальше. Половина из их команды погибла.

Гимбо достал из кармана спички, разжег погасшую трубку и, укоризненно глядя на Лутатини, словно тот был виноват в обмане немцев, добавил:

— Так-то, друг. А вы — нейтральный флаг!.. Да разве после этого они поверят вашей тряпке?

Старший кочегар Домбер был неразговорчив, но на этот раз развязал язык:

— Со мною произошла история в другом роде. Я также вот поступил на английское судно «Редпертир». В Нью-Кестле нагрузились углем. Тогда пароходы отправлялись пачками под охраной военных кораблей. Мы должны были идти в Шербург, разгрузиться там и через Гибралтар следовать в Египет. Вечером, в сумерках, вышли в Северное море. Собралось двенадцать пароходов. Выстроились в две кильватерные колонны. Нас конвоировали восемь миноносцев, замкнули в стальное кольцо. Получилась целая флотилия. Ветер дул резкий, прямо в лоб. По морю разгуливали пенистые волны. Ночь

была звездная. Силуэты ближайших кораблей отчетливо выделялись и без огней. А надо сказать вам, что, перед тем как сняться нам с якоря, военные власти дали коммерческим капитанам строжайший приказ: что бы в пути ни случилось, свое место в кильватерном строю не покидать; даже не останавливаться для спасения людей, если какой-нибудь пароход будет потоплен. Для власти человек — пустяк: новые люди народятся по очень дешевой цене. А судно — да еще в военное время — дорого стоит. Ну, известно, какие наши капитаны: для многих из них и буря нипочем, и Ледовитым океаном их не испугаешь, и на нож в кабаке могут полезть. Надо правду сказать — есть смелые «старики». А как только дело дойдет до войны — до артиллерии, до мин, — так у них начинают гайки слабнуть. На мостике, на том месте, где стоит капитан, в такое время без волны становится мокро. Ну-с, режем мы пространство девятиузловым ходом. Я работаю в кочегарке. Не прошли мы и четырех миль, как с нами произошло что-то бесподобное...

Домбер внезапно замолчал и начал вдруг всматриваться в блестящую поверхность океана. Лица матросов сразу приняли выражение беспокойства, хотя кругом, в жаркой тишине, ничего не было видно. Приставив руку ко лбу, бросал тревожный взор и Лутатини, чувствуя дрожь в коленях. Поваренок порывисто кинулся к фальшборту, потом вернулся и, восторженно глядя на старшего кочегара, спросил:

— Вы что-нибудь заметили, Домбер?

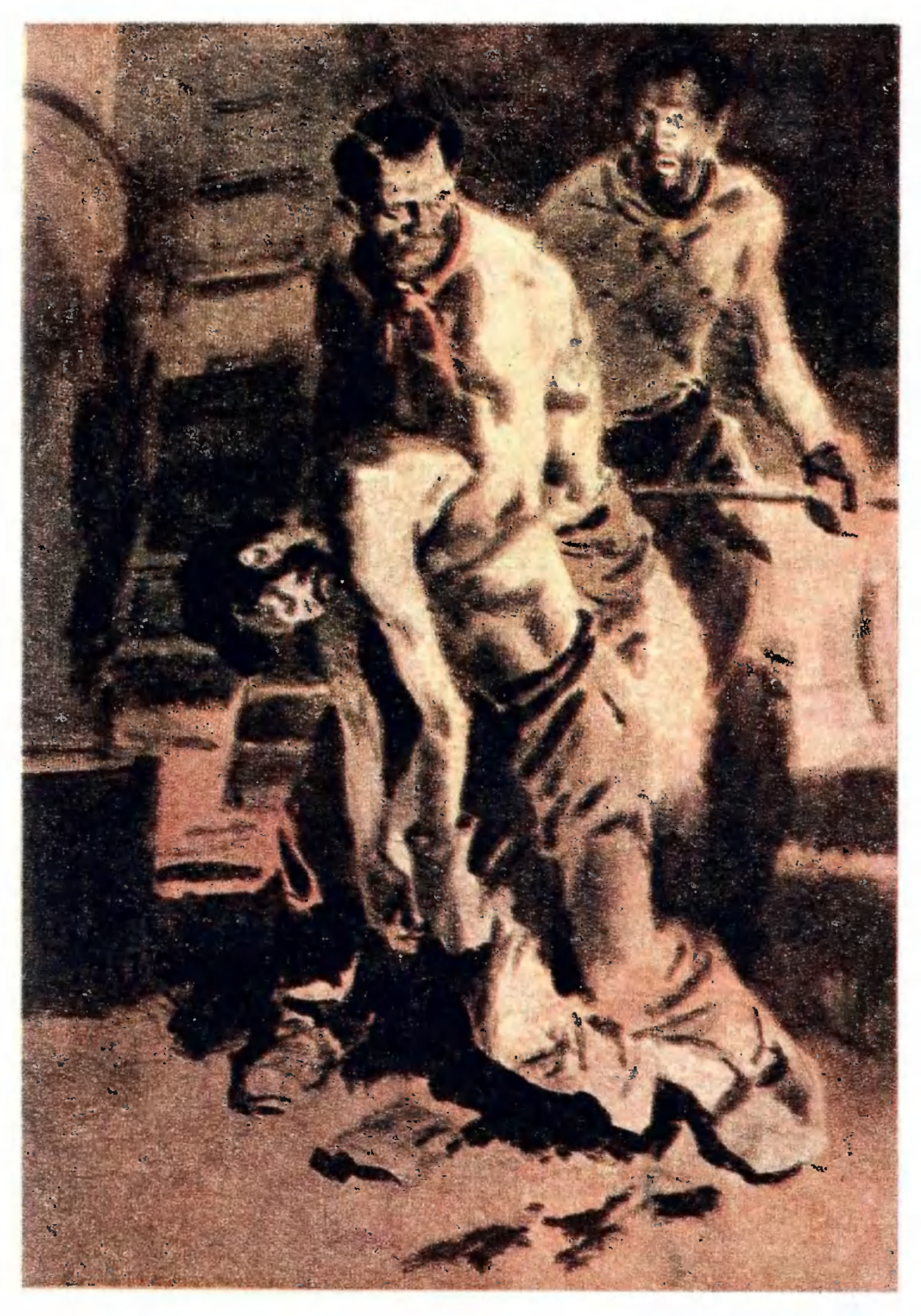
— Так... показалось мне. Вероятно, рыбешка прыгнула...

Кто-то крепко выругался.

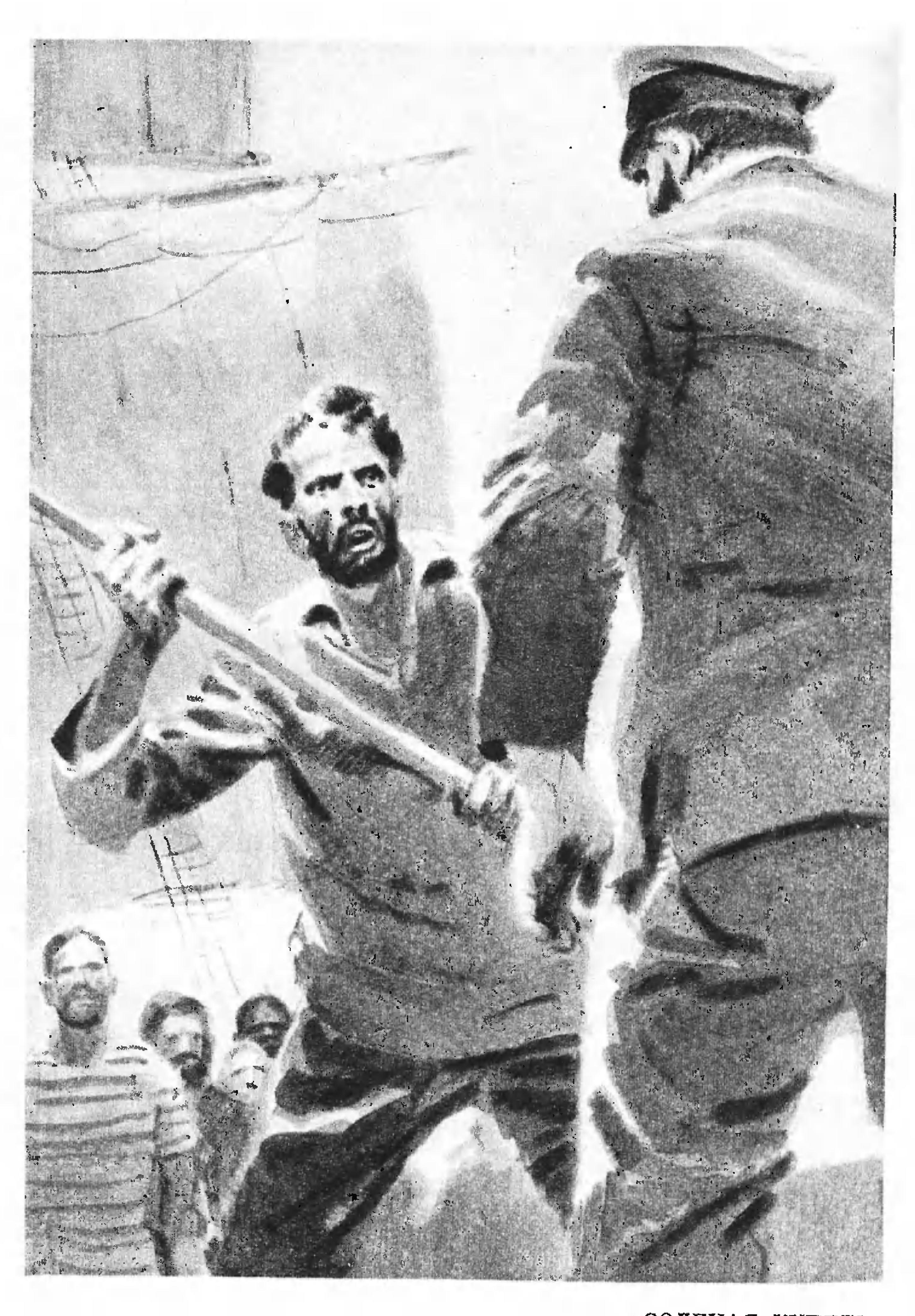
— Что же произошло с вами в Северном море? — обратился Лутатини к старшему кочегару.

Домбер потрогал пальцами истрепавшиеся на правом сабо ремни и ухмыльнулся:

— Придется починить. Да-с, так вот... Услышали мы тут страшный взрыв. Весь остов нашего судна задрожал и сейчас же закачался с борта на борт. На момент мелькнула мысль: мы летим в воздухе, как на цеппелине, и сейчас же ухнем на морское дно. Кочегары уставились на меня, а я — на них. Помню, я крикнул: «Ребята, оставайтесь на месте, а я сейчас узнаю, в чем дело!» — и по-



«СОЛЕНАЯ КУПЕЛЬ»



«СОЛЕНАЯ КУПЕЛЬ»

лез наверх, минуя машинное отделение. Пока поднимался по вертикальным трапам, сообразил, что это взорвалось другое судно, а не наш «Редпертир». И только это я выставил ногу из машинного кожуха, как затрещал правый борт. Что-то огромное и черное лезло на палубу и ломало ее. Я ухватился за железную раму выхода и примерз к ней. В следующий момент разглядел форштевень с двумя якорями. Это накатил на нас другой пароход, может быть, в два раза больше нашего. Он, как острый клин, вонзился в «Редпертир», распорол ему трюмы и почти разрезал пополам. С мостика, с бака, из машинного отделения неслись отчаянные крики. По сторонам раздавались пушечные выстрелы. Лучи прожекторов кромсали ночь. И в этой кутерьме какое-то странное чутье руководило мною. Я ухватился за якорь, подтянулся и забрался на чужой пароход,— на тот, что разнес наше судно. Почему-то никуда не побежал, а уселся на баке, словно для отдыха. Судно дало задний ход и с железным скрежетом оторвалось от «Редпертира». Тот моментально переломился на середине. Взмахнулись вверх корма и нос, как будто хотели сложиться вместе, и под вопли людей исчезли в пучине. Остальные пароходы смешались в одну беспорядочную кучу, как перепуганное стадо животных. Кругом носились миноносцы, разыскивая субмарины. И вот в стороне с ревом поднялся огненный столб до самых звезд. Я уже после узнал, что это взорвался один из наших миноносцев. Облака дыма окутали флотилию. Бестолковщина создалась ужасная. Кто мог тогда думать, что проживет до следующего дня? Потом кое-как образумились. Опять выстроились в кильватерные колонны и пошли дальше. А для спасения погибающих примчались портовые катера. Наша флотилия убавилась на три единицы. Ну, и рейс выпал! До самого Шербурга никто почти не спал. С «Редпертира», кроме меня, ни одной души больше не спаслось.

Домбер замолчал.

Кто-то вздохнул и промолвил грустно:

— Да, в эту войну много моряков погибло. Отъедаются морские рыбы нашим братом...

Лутатини, перебирая черную бородку, хмуро смотрел в сторону, на зеркальную гладь воды. Океан начинал ему казаться предательским. Что скрывается в его темных

недрах? Может быть, ничего и нет, а может быть, сейчас же сверкнет зеркало перископа.

Сольма сердито проворчал:

— А ну вас к лешему с такими рассказами! Дались вам эти субмарины! Неужели нельзя придумать что-нибудь повеселее?

Разговор перешел на другие темы. Матросы дурачились, рассказывали анекдоты и смеялись. Некоторые пели песни.

Ночью Лутатини долго прохаживался по палубе, а потом, остановившись у задней лебедки, задумался. Его удивляло, что после таких переживаний эти матросы опять поступают на корабли и продолжают плавать. Во имя чего они жертвуют собою? Сколько бы они ни старались, они не станут миллионерами, ни докторами, ни присяжными поверенными, ни генералами, ни епископами. Их доля — грязный каторжный труд и нищенский заработок. Они будут скитаться по морям и океанам до конца дней и найдут себе могилу в водной пучине, или хозяева выкинут их на сушу как непригодных инвалидов.

Раньше у Лутатини не возникали такие мысли. В то блаженное время, когда он был священником, после сна в чистой постели, после сытной и вкусной еды он шел в свой уютный кабинет. Сидя за письменным столом в мягком кресле, он читал толстые книги в кожаных переплетах — книги, написанные великими проповедниками религии. Они дышали мудростью, утоляя его духовную жажду. Вера его в незыблемость существующего строя была крепка. Во всем мире и в судьбах человечества он видел промысл божий. Лутатини не был похож на других пастырей, тайных развратников и стяжателей земных благ. Он умилялся Франциском Ассизским и мечтал о служении бедным. Хотелось хоть чем-нибудь помочь этим голодным и оборванным людям, погибающим в нравственном падении. И вот сейчас, после пережитых испытаний, когда жизнь потрясла его беспощадной правдой, он спрашивал себя: что он возвещал людям своими проповедями? Стыд и злоба давили его, и он сам выносил себе суровый приговор:

«Ты проповедовал, чтобы нищие вешали свои надежды на бога, как вешают на крючок свои грязные и вшивые лохмотья. Эх ты!..»

Лутатини, увидев проходящего по палубе поваренка, позвал его к себе.

— Ты что не спишь, Луиджи?

Поваренок бойко ответил:

— Успею выспаться. Вдруг субмарина покажется...

— Ну, как твои гуси?.. Всех пережарил?

— Пять штук осталось. Одного завтра утром зарежу.

Луиджи нравился ему. Этот кроткий мальчик не был еще испорчен морской жизнью. Удивляла и его постоянная готовность всем помочь, оказать какую-нибудь услугу. Он и теперь сердобольно заговорил:

— Этот бедный Чин-Ха... Днем и ночью лежит в темноте. У него все болит. Ему даже одеваться нельзя. Он сказал мне, что скоро умрет...

Лутатини и сам догадывался о безнадежном положении китайца. Раньше он кричал, вопил, кого-то проклинал, а за последние дни притих. Из раструба его вентилятора слышались только стоны и несло невыносимым смрадом. Матросы вытаскивали от него парашу не иначе как по распоряжению боцмана. Если бы не забота Луиджи, ему было бы еще хуже.

— У тебя есть родители?

— Только мать. Отец мой был рыбак и утонул в море. Я его плохо помню.

— Как же мать отпустила тебя на судно?

— А чем нам кормиться дома? Там еще остались братишка и сестренка. Те поменьше меня. А я уже третий год плаваю... Маме посылаю денег...

Луиджи, подумав, храбро заявил:

— Это матросы зря болтают, что у меня со страху печенка заболит. Вот увидите, сеньор Лутатини, я нисколько не испугаюсь немцев. Пусть я не выйду из этого океана, если только зря говорю...

Лутатини улыбнулся и ласково потрепал его по голове.

XIV

После того как «Орион» оставил острова, Викмонд начал нервничать. Он проводил почти целые ночи без сна, сидя за своим радиоаппаратом. Перед ним все время стоял вопрос: удастся ли ему осуществить свой план?

Он прекрасно понимал, что нельзя обойтись без риска, бросая шифрованную депешу в пространство. Вдруг поблизости окажется французский или английский военный корабль? Шифры союзников им известны, а тут впутывается чужой. Отсюда они легко сделают соответствующий вывод и сейчас же бросятся на поиски противника. Тогда вся затея его может кончиться провалом, и самому ему несдобровать. С другой стороны, известие о выступлении Америки ошарашило его, обожгло сердце, возбудило неукротимую жажду мести. Он только тогда получал некоторое удовлетворение, когда являлся к капитану с радиожурналом, куда заносились все радиотелеграммы.

— Как дела? — спрашивал капитан Кент, попыхивая сигарой.

— Особенного ничего нет, сеньор капитан. Западный фронт без перемен. В Месопотамии союзники потеснили турок. На русско-германском...

Капитан перебивал его:

— Это неинтересно. Как на морях?

Викмонд отвечал с напускным равнодушием:

— Продолжают топить коммерческие корабли.

— Кто?

— Морские пираты, именующие себя немцами.

Капитан Кент вскакивал с кресла и, багровея, начинал кричать:

— Разбойники! Для них не существует международного права! И откуда у них столько подводных лодок?

— Техника высоко поставлена, сеньор капитан.

Капитан выхватывал из рук радиста радиожурнал и, словно в нем заключалось главное зло, с досадой бросал на стол.

— Чтобы им провалиться с этой техникой! Где же тут совесть?..

— Совесть они на колбасе проели, сеньор капитан.

— Идите. Со стюардом верну журнал.

Викмонд поднимался в радиорубку, довольный своей игрой.

— Где, в каком месте находится у тебя совесть, кривоногий черт? — шептал он, ядовито ухмыляясь.— Хотел бы я знать, за какую награду согласился ты доставить контрабандный груз во Францию.

После обеда, сгорая от нетерпения, он два раза бросал в пространство позывные, зашифрованные в цифры, но ответа не получил. Сначала это обескуражило его. Не дальше как вчера он слышал вопли итальянского и французского судов, взывавших о помощи. Подумав, он пришел к успокоительному выводу: если субмарина в этих местах, то днем она, конечно, скрывается. Нет ничего удивительного, если она не может услышать его. Значит, нужно использовать для своей цели ночь. Но когда наступила темнота, явилось другое затруднение: прежде чем приступить к делу, требовалось предварительно узнать, в каком месте океана находится «Орион». Для этого ему пришлось бы подняться на мостик, некоторое время покалякать с вахтенным офицером, а потом уже войти в рубку и посмотреть на карту. На вахте как раз стоял третий штурман. С этим молокососом он недавно разругался, и тот при встречах подозрительно косится на него. Придется ждать до следующей смены.

Время тянулось медленно.

Викмонд обрадовался, когда вошел к нему матрос.

— А, сеньор Лутатини. Вот хорошо, что заглянули ко мне. Садитесь!

Викмонд любезно подставил ему табуретку.

— Ну, как самочувствие? Привыкаете к нашей морской обстановке?

Лутатини был мрачен.

— Раб тоже привыкает к своему положению.

— Это верно. Но вид у вас удовлетворительный. Вы поздоровели, окрепли физически.

Лутатини словно прорвало:

— Откровенно говоря, я был бы доволен, что попал в такую историю, если бы не угрожала опасность погибнуть, исчезнуть бесследно. Мой внутренний мир неизмеримо обогатился. До корабля я находился над поверхностью жизни, как бы витал в розовых облаках. Казалось, что на земле все в порядке, все прекрасно. Правда, резала глаза бедность людей, их преступления... Я был призван дать облегчение своей пастве, отвратить ее от зла. Я даже мирился с войной и выдумывал для нее какие-то оправдания. А теперь, когда я спустился в низины жизни, когда на себе испытал страшный физиче-

ский труд, издевательства и унижение, когда глубже заглянул в человеческое сердце,— все во мне перевернулось. Сколько же несуразной наивности во мне было! С тех пор, как пришлось оставить берега Ла-Платы, я много передумал. У меня явилось какое-то чувство мести к самому себе, к своему прошлому. Я, как жестокий садист, растерзал свою собственную душу...

Голос Лутатини задрожал, лицо болезненно передернулось.

— Впрочем, не будем говорить об этом. Меня беспокоит мысль о подводных лодках...

Викмонд, глядя на него холодными серыми глазами, улыбнулся и тихо промолвил:

— Да, кораблям много приходится терпеть бедствий от субмарин. Но нам нет основания бояться их: «Орион» защищен нейтральным флагом.

Лутатини даже вскричал, выбросив вперед руки:

— А трюмы полны контрабандного груза! Об этом говорят все матросы. И я, католический священник, принимаю участие в этом преступлении.

Оба некоторое время молчали.

— Все бы ничего, сеньор Лутатини, но одно обстоятельство меня волнует. Вам, вероятно, известно, что у нас, в Аргентине, всюду шныряют немецкие шпионы. Возможно, что они пронюхали, чем нагружен наш пароход и куда он держит курс. Их прямая обязанность сообщить об этом куда следует. Если немецкие субмарины получат о нас такие сведения, то, конечно, от них нечего ждать пощады.

Лутатини беспокойно заерзал на табуретке.

— Я так и знал! Вы сами не уверены, что мы благополучно достигнем суши. А Буэнос-Айрес, как я слышал, действительно кишит шпионами, не только немецкими, но и французскими, английскими, итальянскими. И что этим негодяям нужно от нейтральной страны?

Викмонд громко рассмеялся.

— Вы напрасно возмущаетесь, сеньор Лутатини. Во-первых, нейтральная страна в любое время может превратиться в воюющую страну, а, во-вторых, никакая война не может обойтись без осведомителей. Тут все основано на том, кто кого обманет. Разведка, контрразведка, всякие ночные вылазки, фальшивые наступления,

маскировка местности, чтобы заманить противника и покончить с ним,— все это вещи одного порядка. Разница лишь в названиях. А затем когда-то и в вашей религии шпионаж играл огромнейшую роль. Вспомните иезуитов. Я смотрю на это просто: шпион совершает подвиг не меньший, чем любой воин на фронте, и не меньше он подвергается опасности. Вопрос только в том: во имя чего? Одни — во имя бога, который совершенно не нуждается в их защите, другие — во имя своего государства.

Лутатини, изобразив на лице гримасу отвращения, энергично закрутил головою.

— Я не согласен с вами. Это безнадежные отбросы общества. Меня стошнило бы, если бы я только близко очутился около шпиона.

Викмонд, забавляясь этой игрой, переживал большое удовольствие. Серые глаза его лучились, лицо добродушно улыбалось. Он слегка возразил Лутатини, а потом перевел разговор на радиоаппарат:

— О, это замечательное изобретение! Я сижу в своей рубке и, несмотря на оторванность корабля от берегов, знаю все, что делается на белом свете. Если только депеши не зашифрованные, я как бы слышу голоса людей, словно они сидят со мною рядом и сообщают о разных событиях. Вот, извольте послушать.

Лутатини охотно надел на голову пару телефонных наушников. То же сделал и Викмонд. Привычно, не глядя на радиоприемник, он поймал ручку конденсатора, и кривой палец указателя, мутно блестя нейзильбером, пробежал по полукругу шкалы. Лутатини был изумлен: в его мозг вливались звуки — пискливые, квакающие, попоросячьи хрюкающие. Все это было для него загадочно, как магия. Викмонд кое-что перевел ему на человеческий язык. А потом, отложив телефонные трубки в сторону, начал рассказывать, что́ вообще приходится ему слушать:

— Мы, сеньор Лутатини, находимся накануне открытия радиотелефона и громкоговорителей. Техника развивается с поразительной быстротой. Теперь представьте себе, что у нас в рубке установлен громкоговоритель. Что вы могли бы услышать? Богослужение в берлинском кафедральном соборе, сведения о войне, музы-

ку, под которую где-нибудь в Нью-Йорке исполняют модный танец танго...

Лутатини, облокотившись на стол, тяжело опустил всклокоченную голову. Он не лишен был воображения. И ему ясно до болезненной реальности представилась вся та неразбериха, какая творится на земле. Как обиженный человек, он ко всему относился теперь придирчиво, и в его раздраженном мозгу все складывалось в мрачных комбинациях. Он мысленно повертывал ручку конденсатора, и воображаемый громкоговоритель возвещал ему о разных событиях. Лопнул такой-то банк. В Аргентине цена на пшеницу поднялась на сто пятьдесят процентов... Благодаря вмешательству Америки в войну акции такой-то нефтяной компании разлетелись прахом... В России революция углубляется, и династии Романовых угрожает гибель... Папа римский признал русское временное правительство... И Лутатини злорадно думал: «Его святейшество признал тех, которые свергли с престола божьего помазанника...» Сообщения с фронтов: за сутки столько-то убитых и отравленных газами, столько-то взятых в плен... И тут же — богослужение в берлинском кафедральном соборе, где тысячи мирян вместе со своим духовенством, подняв очи горе, молятся за христолюбивое воинство... Разве только в берлинском? Можно соединиться и с собором Парижской богоматери... Там тоже молятся за христолюбивое воинство. Потом архиепископ произнесет проповедь, в которой на основании текстов из священного писания докажет, почему французы вместе с англичанами, с итальянцами, с русскими, с чернокожими туземцами должны разгромить своих врагов — немцев, венгров, турок, болгар... Замечательно! А христолюбивое воинство с той и с другой стороны старается: пулеметы, проволочные заграждения, минные подкопы, бомбометы, пушки, стреляющие снарядами в тысячу килограммов весом, дредноуты, крейсера, подводные лодки, винтовки, штыки, ядовитые газы...— все пущено в ход, чтобы уничтожить противника, смешать с землей. Изумительная красота! Наивысший способ проявления справедливости среди современных цивилизованных народов!.. Но довольно пения в храмах... Надо еще повернуть ручку конденсатора, и сейчас же польется модная музыка танго, под которую

почти во всех частях света мужчины с полуголыми женщинами похабно извиваются в эротическом танце. А в эту анафемскую сумятицу время от времени врываются жуткие вопли: «SOS» — «Save our souls» («Спасите наши души»).

Лутатини зябко передернул плечами, съежился, словно приблизился к обрыву скалы. Перед внутренним взором его омраченной души развертывалась жизнь в своих чудовищных сплетениях. Казалось, что человечество, как развратный Вавилон, разлагается и обречено на гибель. Вспомнились злые слова Карнера, врезавшиеся в мозг, как ржавчина в железо: «Та правда, какую вы проповедуете вместе с властями, захватана кровавыми руками убийц...»

Он повернул голову. На него в упор смотрели холодные серые глаза,— те глаза, которые, вероятно, никогда не плакали и которые, казалось, ничем нельзя было разжалобить. Да, у Викмонда не было никаких сомнений. Он знал, что делает и что нужно делать. Этот человек мог бы служить образцом удивительного самообладания.

Послышался звон отбиваемых склянок.

Лутатини, смущенный ледяным взглядом радиста, поднялся.

— Пора спать.

— Подождите! — спохватился Викмонд.— Вам не с двенадцати на вахту?

— Нет. С четырех.

— Вот хорошо! Знаете, что я придумал? Я удивляюсь, как это раньше не приходила в голову такая мысль. Вы когда-то сообщили мне, что в Буэнос-Айресе живут ваши родители и сестра. Они теперь, вероятно, с ума сходят, не зная, куда вы пропали... А я ведь мог бы давно вам помочь.

— Говорите! — вскрикнул Лутатини.

— Тише.

Каменное лицо радиста сразу ожило, подобрело, озарилось грустной улыбкой, глаза засветились сочувствующей теплотой. Это был новый человек, отзывчивый к страданиям других. Ему нельзя было не поверить. Он выглянул за дверь, а потом, захлопнув ее, тихо заговорил:

— Только это останется, безусловно, между нами. Никому ни слова. Иначе я подвергаюсь большому риску. А теперь слушайте. Ровно в половине первого приходите сюда. Станьте около моей рубки и будете смотреть за палубой. Если только покажется кто-либо из командного состава, вы мне три раза стукнете в дверь. А я тем временем займусь... Знаете, чем?

Лутатини, таращa глаза, вытянулся, подался вперед.

— Чем?

— Я дам через сухопутные станции радиотелеграмму в Буэнос-Айрес. В ней сообщу вашим родителям, что вы плаваете на «Орионе», а они сами догадаются, какие нужно будет принять меры. Если и не смогут спасти, то будут знать, что вы живы.

Лутатини, схватив руку радиста, страстно зашептал:

— Вы... вы благороднейший человек... Когда мы стояли у острова Ожидание, я только и думал о том, чтобы как-нибудь известить своих родителей. И вдруг такое счастье.

— Имейте в виду, что я совершаю преступление против долга службы.

— Я понимаю... но ведь это ради спасения страдающего человека... Ах, боже мой! Вы так добры ко мне!.. Я не знаю, как выразить вам свою бесконечную благодарность...

Лутатини со слезами порывисто обнял радиста и поцеловал его в колючую щеку.

Когда он, оставив свой домашний адрес, ушел, Викмонд сухо сказал:

— Ничего... не стошнит... Ради тебя, значит, можно совершить и преступление?.. Спасибо за разрешение...

На вахту вступила следующая смена.

Викмонд вышел из рубки, огляделся. В лицо повеяло приятной прохладой ночи. Под ровным светом тропических звезд чуть-чуть поблескивал океан, похожий на черный отшлифованный мрамор. Кругом было тихо, безмятежно. В мягких туфлях, тихо шагая, радист приблизился к капитанским владениям и, заглядывая в иллюминаторы, прислушивался. Ни звука. Удовлетворенный тем, что «старик», по-видимому, спал, он поднялся на

мостик. Со вторым штурманом встретился по-приятельски, говорил о женщинах, что тому очень нравилось, и минут через десять вернулся к себе с нужными сведениями. Взгляд его, озирая радиорубку, остановился на двух иллюминаторах, они были плотно задернуты суконными занавесками.

Он уселся на стул за рабочий стол и набросил на голову телефонные наушники.

Десятка два станций, больших и малых, перебивая друг друга, зазвенели в темноте ночи. Где-то далеко рождались едва уловимые звуки.

— Ничего... Кажется, благополучно...

На стук в дверь Викмонд выглянул из рубки.

— Ага! Пришли? Помните, сеньор Лутатини, о нашем условии?

— Будьте спокойны...

Викмонд захлопнул дверь и на всякий случай заложил ее на крючок.

Словно приказ, прозвучало у него в мозгу:

«Пора!»

Он решительно подошел к передатчику и дал контакт рубильника. Глухо загудел заключенный в стальную решетку умформер, заискрились плохо притертые щетки, скользя по коллектору. Контрольная лампа на распределительной доске озолотила первым накалом матовое стекло тюльпана.

«Длина волны — шестьсот метров!» — вспомнилась фраза, условленная еще в кабаке в Буэнос-Айресе.

Он протянул руку к реостату. Синие молнии вольтовой дуги затрепетали под серебром контактов. Рубка наполнилась сухим, стрекочущим треском разрядника. На циферблате амперметра дрожащая стрелка дошла до красной черты, показывая полную нагрузку, а под ключом, прижатым рукой Викмонда, заверещали трескучие звуки позывных. Волны электромагнитных колебаний, расходясь радиусами, с молниеносной быстротой понеслись в ночное пространство.

Позывные даны.

Викмонд перевел ручку реостата на холостой контакт. Треск разрядника сразу оборвался. Радист опять надел на голову телефонные наушники и начал прислушиваться: ничего, кроме беспорядочных звуков, несу-

щихся от разбросанных вдали станций. Нужного отклика не было.

Что это значит? Неужели он проработает впустую! На обычно спокойном лице его появилась растерянность. Он закурил папиросу, жадно затягиваясь приторно душистым дымом кепстена.

Снова включил передатчик. Опять под рукой задрожал ключ, судорожно вскакивая от вспышек искры. Не перепутал ли он позывные? Нет. «БЦ-А-БЦ» отчетливо выколачивала рука. Потом вслушивался в тревожную ночь. Как и раньше, раздавались все те же бестолковые толкущиеся звуки ненужных станций, а нужная молчала. Рука поворачивала ручку конденсатора, на шкале самоиндукции перед стрелкой указателя побывали все градусы, а ночь продолжала хранить свою тайну. Не напрасно ли он рискует, не будучи уверен в том, что поблизости нет неприятельских военных кораблей? Этот вопрос загорался в мозгу, как грозное предупреждение. Он с настойчивостью продолжал бросать в пространство позывные. Наконец мембрана его телефона дрогнула по-новому,— не совсем обычно, и привычное ухо отчетливо восприняло условные знаки шифра, донесшиеся из какой-то точки океана. Викмонд чуть не вскрикнул от радости. Он даже привстал и, опираясь руками на стол, изогнулся уродливо, будто хотел удариться головой о переборку.

Вдруг раздался свисток из переговорной трубки, идущей с мостика.

Викмонд, вздрогнув, приложил ухо к переговорной трубке.

— Что вы там долго возитесь? — прогремел голос второго штурмана.— У вас черт знает сколько времени занят мотор! На судне огня мало.

— Экстренная работа. Скоро кончу.

Викмонд вытащил из кармана клочок бумаги, испещренный цифрами, и, отвернув клеенку с рабочего стола, положил его перед собою. Это была приготовленная депеша. Заработал отправитель. Рука четко выбивала цифровой шифр. Над простором океана понеслись слова, спрятанные в загадочные знаки. Депеша состояла из нескольких слов: на какой западной долготе и на какой северной широте находится в данный момент

«Орион», с какой скоростью идет судно и курс его. Для верности Викмонд еще раз повторил эти сведения.

В скором времени в телефонную раковину он услышал ответ:

— Ясно вижу.

Кончено. Сбросив наушники, он спрятал в карман клочок бумаги и удовлетворенно откинулся на спинку стула. Чувство мести, таившееся в душе, превращалось в действие.

Снаружи раздался условный стук.

Викмонд вскочил.

— Вы что здесь торчите? — послышался голос.

— Скучно мне, господин офицер,— ответил Лутатини.

— Идите спать.

Викмонд предупредительно распахнул дверь и, не дожидаясь вопросов от входящего второго штурмана, показал на журнал, в котором заранее написал вымышленные телеграммы.

— Вот извольте посмотреть, что проделывают эти изверги — немцы.

Голова его была выставлена вперед, шея напряглась, словно он поднял на плечи непомерную тяжесть. Лицо стало лживо неподвижным. Холодными немигающими глазами, как будто гипнотизируя, уставился на штурмана.

А тот, сбитый с толку, нагнулся над журналом. В телеграммах говорилось о гибели угольщика «Эдвинс», а потом о погружающемся в воду транспорте «Хильдтон», шедшем из Америки с мясом. При этом указывалось местонахождение этих судов. Впрочем, достаточно было увидеть три буквы «SOS», чтобы выйти из душевного равновесия.

— Душегубы! Они и нас могут так потопить! — выкрикнул штурман.

Викмонд, глядя в глаза штурману, подхватил:

— Конечно, могут. Эти варвары не стесняются никакими средствами. Совсем осатанели!..

Штурман, хлопнув дверью, побежал на мостик.

Викмонд, оставшись один, облегченно вздохнул. Он вынул из кармана клочок бумаги с депешей, прибавил к нему другой клочок с ключом к шифру и аккуратно

сжег на спичке. Эти вещи больше ему не потребуются. План его почти выполнен. В воображении представилось, как «U-23», эта стальная ныряющая рыбина, созданная человеческими руками, несется теперь на сближение с «Орионом». И никто здесь не подозревает, что над судном нависла угроза.

Услышав стук, радист приоткрыл немного дверь.

— Ну как, сеньор Викмонд? — раздался снаружи нервный, придушенный голос.

— Все сделано, сеньор Лутатини. Может быть, завтра получим ответ.

— Даже ответ?!.

— Да, да. Идите теперь к себе и спите спокойно.

Викмонд захлопнул дверь, оборвав слова благодарности. Он постоял немного, подумал, как бы собираясь с мыслями. Голова его кружилась, как у пьяного.

XV

Следующее утро на «Орионе» прошло так же, как оно проходило в предыдущие дни: окатили из шлангов палубу, вымыли мостик, штурманскую и рулевую рубки, подраили судовой колокол, почистили медяшку на компасе. На вахту вступил третий штурман. Он то и дело приставлял к глазам бинокль, оглядывая горизонт. К нему на помощь были назначены еще два матроса — следить за поверхностью океана.

Безоблачное небо начинало полыхать зноем весеннего дня.

Капитан Кент, в нижней рубашке с расстегнутым воротом, сидел у себя в салоне, выслушивая доклад первого штурмана Сайменса. Сам он завтракал, а своему помощнику не предложил даже сесть. Тайная вражда между ними усиливалась с каждым днем. Один, пользуясь властью, всячески третировал другого, а тот, не зная, чем отомстить своему противнику, только сгорал от бессильной злобы.

— Я слышал, сеньор Сайменс, что матросы много разговаривают о нашем рейсе и о грузе. Настроение у них довольно скверное. Многие даже выкрикивают угрозы по адресу администрации. Вам ничего не известно об этом?

— Нет! — отрезал штурман, соображая про себя, что доносчиком, вероятно, является стюард.

— А разве боцман заодно с матросами?

— Я по крайней мере каждый день допрашиваю боцмана. Ничего особенного он не сообщал мне о команде. Все какие-то пустяки... Это можно услышать на любом судне.

Капитан старался быть любезным, но под этой внешней любезностью чувствовались царапающие когти.

— Так, так. И все-таки мы должны быть постоянно начеку. Представьте себе, что на судно к нам заявится офицер с немецкой субмарины. Допросит нас, посмотрит судовые документы — все в порядке. Но вдруг он не удовлетворится этим и вздумает еще поговорить с матросами? А те и начнут ему выбалтывать свои предположения. Тогда что?

— Не знаю...— угрюмо ответил штурман.

— А пора бы вам знать, сеньор Сайменс. Вы много лет плаваете на судах. Насколько я могу предполагать, сами метите в капитаны. На вашем месте можно было бы кое-что предпринять, чтобы рассеять сомнения команды. А делается это очень просто. Приведу пример. Вы предварительно сговариваетесь со вторым или третьим моим помощником, а потом на мостике затеваете с ним фальшивый спор относительно того, когда мы придем в Барселону. Один из вас будет утверждать — через десять дней, а другой начнет возражать, прибавляя или убавляя дни,— это дело ваше. Можно еще коснуться того, сколько времени возьмет выгрузка с «Ориона» зерна. Именно зерна. Необходимо при этом указать, что в Барселоне нет, как в других портах, зерновых насосов. Одним словом, спорьте на этой почве как можно больше, чаще склоняйте по всем падежам такие слова, как Барселона и зерно. Недурно между собою помечтать вслух об испанках... Иногда стоит боцману крикнуть при всех: «Послушай-ка, мол, парень, когда придем в Барселону, напомни мне купить краски или новый брезент!» Если матросы услышат несколько раз подобные разговоры, могут ли у них возникнуть сомнения относительно нашего рейса и груза? Конечно, нет...

Штурман, выслушивая наставления, стоял молча. Уши у него налились кровью. Плавание с таким капи-

таном, который захватил чужую вакансию да еще упивается своею властью, ему надоело. Он даже будет рад, если судно напорется на немецкую субмарину.

Капитан Кент продолжал:

— Да, сеньор Сайменс, все, что я говорю, конечно, требует некоторого напряжения мозга. А вы как будто не хотите ни о чем думать. Ну, скажите, пожалуйста, куда мы везем этого больного китайца? Почему мы не оставили его на острове?

Сайменс возразил:

— С вашей стороны относительно него не было никакого распоряжения.

— Правильно, но вы могли бы проявить инициативу. Наконец могли бы мне напомнить об этом. Мне одному трудно за всем следить. Вы мой ближайший помощник.

И сразу оборвал свою речь обычной фразой:

— Впрочем, дорогой Сайменс, вы свободны.

В устах капитана слово «дорогой» звучало, как «паршивый» или что-нибудь в этом роде. Поэтому оно больше всего раздражало Сайменса. Он выскочил из салона с таким видом, будто у него вырвали по ошибке здоровый зуб.

На обязанность Лутатини выпало в этот день промаслить брезент с люка второго трюма. Он принес ведро с олифой и кистью и принялся за работу. Настроение у него было крайне возбужденное. Ночью, когда по поручению Викмонда ему пришлось сторожить у радиорубки, моментами он видел, как антенна на мачтах искрилась голубоватым свечением. Такое зрелище чрезвычайно радовало его. Казалось, что это вспыхивают слова, исторгнутые из его скорбного сердца, и невидимо пронизывают темное пространство, уносясь к далекой Аргентине. И теперь, промасливая кистью брезент, он дрожал при мысли, что его телеграмма, вероятно, дошла по назначению. Какое впечатление она произведет на родителей? Не может быть, чтобы ничего нельзя было поделать против дурацкого контракта. Отец его — законник, богатый человек, имеет обширные связи, приятель самому викарию. Он ни перед чем не остановится, чтобы выручить единственного сына из кабалы.

Лутатини, вскинув голову, посмотрел на антенну. От

фок- до грот-мачты горизонтально натянутые проволоки, как черные разграфленные линии, четко выделялись на голубом фоне неба. Больше он ничего не увидел. Вспомнилось, что сейчас в Аргентине ночь, что все учреждения еще закрыты. Следовательно, ответ можно ожидать только после обеда, к вечеру. Ему даже предвиделось, какого характера будет телеграмма. Вероятно, сам директор пароходной компании даст в ней строгий приказ: находящегося на «Орионе» Себастьяна Лутатини немедленно освободить от всех судовых работ, временно предоставить ему каюту и с первым же встречным пароходом отправить его обратно в Буэнос-Айрес. Разве так не может случиться? Вполне. И что будет с капитаном, когда он получит такое распоряжение?

Из радиорубки часто выходил Викмонд, выбритый, одетый в чистое платье. Быстрым взглядом окидывал горизонт, а потом, заговаривая с матросами, угощал их папиросами и держался уверенно, как хозяин корабля. Заметив Лутатини, он первый поклонился ему, улыбаясь, как хорошему другу.

Весеннее солнце, имея в этот период года северное склонение, приближалось к зениту и расточало нестерпимый зной. Было полное безветрие. Бескрайно распластался океан, отливающий блеском, без единой морщинки, словно покрылся тонкой, прозрачной слюдой.

На мостик поднялся Саймекс. Он взял из рубки секстант и приготовился взять высоту полуденного солнца, чтобы точно определить местонахождение судна в этом обширном водном пространстве. До двенадцати часов оставалось еще минут двадцать. Значит, он вышел слишком рано. Пришлось ждать, и он устремил в сияющую пустоту задумчиво-рассеянный взгляд.

Матросы бросали работу и шли на корму. Там был устроен душ. Некоторые, быстро раздевшись, сейчас же становились под сверкающие струи забортной воды, довольные, фыркали, смеялись, толкая друг друга.

Лутатини оставалось проолифить еще часть брезента в какой-нибудь квадратный метр. Он торопился, думая скорее присоединиться к купающимся. Но в это время подвернулся боцман. Понюхав воздух из вентилятора, под которым сидел китаец, он поморщился и сердито заговорил:

— Вот пакость развели на корабле. Такая вонь, что нос затыкай... Что это? Матросы опять забыли почистить ведро? Ну что за эфиопы такие!

Он повернулся к Лутатини.

— А ну-ка, парень, займись этим делом.

Лутатини, поставив ведро на палубу, на мгновение растерялся.

— Я не могу,— решительно заявил он.

Боцман подошел к нему вплотную.

— Почему?

— Стошнит.

— А как же других не тошнит?

— Не знаю... Привыкли.

— Вам тоже пора привыкнуть. Кстати, покажите свою святость на деле. Это будет лучше, чем языком трепать.

— Оставьте мою святость! Сказал: не могу!

Оба замолчали, как бы обдумывая, что еще сказать, и несколько секунд стояли друг против друга, взъерошенные и непримиримые, с остановившимися взглядами. Каждый почувствовал, что это не может пройти даром, ибо и приказ одного и неповиновение другого были слишком категоричны. Из раструба вентилятора всколыхнув тишину, донеслась сипящая ругань Чин-Ха.

— Значит, вы отказываетесь исполнить мое распоряжение? — спросил еще раз боцман, ощериваясь и показывая поломанные пожелтевшие зубы.

— Да! — окончательно отрубил Лутатини.

— В таком случае — закуси, церковная крыса!

Лутатини даже не понял, что вслед за этим произошло. Только цокнули челюсти и рванулась назад голова. Отступая, он закачался и опрокинул ведро с остатками олифы. В его черных глазах, сначала удивленно раскрытых, вдруг заплескались огоньки безумия. Он громко вскрикнул и, стуча деревянными башмаками, понесся по палубе в сторону кормы.

— Опять вздумал сопротивляться?—проворчал боцман.— Я из тебя выбью поповскую спесь.

С мостика, оторвав глаз от секстанта, глянул вниз первый штурман и спросил:

— Что случилось, боцман?

— Отказывается, ханжа, работать, сеньор Саймекс.

Он начал было подробно рассказывать о происшествии, как послышался приближающийся рев. Это мчался обратно Лутатини, угрожающе держа над собою тяжелый лом. Он был страшен в этот момент. Казалось, все звериное, что скрывалось в тайниках его души за искусственной преградой смирения, прорвалось в искаженных чертах лица. Ярости его не было границ. Не могло быть сомнения, что он раскроит череп своему противнику. Понял это и боцман. Побледнев, он в ужасе сорвался с места и заметался вокруг люка. Лутатини бросился за ним, заорав во все горло:

— Уничтожу, тварь продажная!

На шум прибежали матросы. Некоторые из них, только что вырвавшиеся из-под душа, были голые. Явились Прелат и поваренок Луиджи, задержались кочегары, собравшиеся было пойти на вахту. Все взволнованно смотрели на это столкновение двух человек, не зная еще, на что решиться самим.

С мостика раздался властный окрик Сайменса:

— Лутатини, стой! Ни с места больше! Убью!

Раздался выстрел. Пуля звякнула о железо у самых ног Лутатини. Он внезапно остановился, точно его дернули за плечи назад, и закрутил головою, растерянно оглядываясь. А когда увидел, что с мостика направлено прямо в него револьверное дуло, он сделал шаг назад и застыл на месте. Лом выпал из его рук и загромыхал по палубе. Перед немигающими глазами завертелись огненные круги, а в уши падали свинцовые слова:

— Ты у меня узнаешь корабельные законы...

Боцман хотел перейти в наступление, но, увидев свирепые взгляды матросов, тоже остановился.

Никогда раньше капитан Кент не взбегал на мостик с такой быстротой, как на этот раз. Он был без фуражки и без кителя. Белая ночная рубашка, расстегнувшись, обнажала волосатую грудь. Он набросился на первого штурмана:

— Что за стрельба здесь, сеньор Сайменс?

Штурман, опустив руку с револьвером, твердо сказал:

— Матрос драться полез с боцманом, хотел ломом его ударить.

— А разве без револьвера нельзя было обойтись?

— Я предупредил убийство...

Капитан Кент перебил его:

— И все-таки вы должны были доложить мне, а не пускать в ход самовольно огнестрельное оружие. Я здесь хозяин, и только я один за все отвечаю.

Команда не верила своим ушам, слыша, что капитан принимает сторону матроса.

Первый штурман заявил:

— Вы с самого начала нашего рейса предоставили мне свободу действия.

— Да, но не такую, чтобы стрелять в матросов.

Сайменс, поколебавшись, поспешно выхватил из кармана своего кителя письмо и подал его капитану.

— Если вы так говорите, то извольте прочесть.

— Что это значит? — недоумевая, спросил капитан.

— Здесь кое-что вы узнаете про себя. Написал это письмо тот самый матрос, в которого я стрелял.

Капитан, вытащив из конверта лист бумаги, впился в него сквозь пенсне глазами. По мере того как он прочитывал, бульдожье лицо его раздувалось, принимая фиолетовый оттенок. Наконец он поднял голову и театрально зашипел:

— Это он меня так? Это я, капитан Кент, разбойник и живодер? А мое судно называет пиратским кораблем? Подпись — «Себастьян Лутатини». Да где он, этот самый?..

Капитан Кент, задыхаясь, искал глазами виновника, а когда увидел его, остановил на нем тяжелый, сверлящий взгляд.

Лутатини низко опустил голову и, бледный, с дрожащими губами, стоял перед мостиком как страшный грешник перед алтарем, не смея даже думать о помиловании.

Матросы, столпившись, смотрели то на капитана, то на Лутатини. Из иллюминатора капитанского салона, вывернув крутые и маслянистые белки глаз, выглядывало чернокожее лицо стюарда. На ростры вышел Викмонд. В его планы не входило это непредвиденное событие, а потому ему предстояло решить вопрос: куда в случае чего примкнуть? Из машинного отделения прибежал кочегар и, ничего не подозревая, начал ругать своих товарищей:

— Какого же черта вы не идете на смену? По две вахты, что ли, мы должны стоять?

В этот момент с мостика обрушились громы. Капитан Кент, потрясая кулаками, рычал, словно одержимый:

— Арестовать Лутатини! В кандалы заковать мерзавца! В твиндек его! Запереть вместе с китайцем!..

Лутатини вздрогнул, объятый ужасом. Палуба, казалось, закачалась под его ногами. Вместо ожидаемой каюты его сейчас закуют в кандалы и посадят в тесное, вонючее помещение, где он будет ждать своей дальнейшей участи вместе с разлагающимся человеком. Все это промелькнуло в его голове и исчезло. Вытянув вперед руки, он подошел, точно слепой, к люку и осторожно уселся на промасленный брезент.

Из матросов никто не сдвинулся с места, чтобы исполнить приказ капитана. Только боцман сделал шаг вперед, но тут же в нерешительности остановился. Кто-то из матросов крикнул ему:

— Осторожнее, боцман! Побереги свою дурацкую башку. Другой на базаре не купишь.

Капитан Кент опешил. Он как будто стал меньше ростом и съежился, словно его окунули в холодную воду. Поворачиваясь то к одному своему помощнику, то к другому, он спрашивал сдавленным голосом:

— Это что? Это бунт?

Оба штурмана ничего не ответили.

Команда молчала.

Наступила та страшная пауза, какая бывает после молнии и перед взрывом грома. Но вместо потрясающих ударов все услышали радостные визгливые возгласы:

— Вот она — пришла! Я так и знал, что она будет! Я первый увидел ее.

Это кричал, показывая рукой на океан, поваренок Луиджи. Он оглядывался, подпрыгивал на месте. Молодое лицо его сияло таким торжеством, словно то, что он открыл, несло ему величайшее счастье. Но сейчас же раздался другой голос, необыкновенно четкий, озаривший сознание жестокой и неумолимой правдой:

— Справа по носу — перископ!

На разные лады повторили матросы:

— Перископ! Перископ!

Внимание всех было направлено на новое надвигающееся событие. Взоры устремились туда, где над бле-

стящей поверхностью океана торчало нечто, похожее на закругленный зеленовато-темный конец тонкого бревна.

Каждый с тревогой думал: чья субмарина, и пустит ли она мину без предупреждения? В смертельной тоске ждали взрыва.

Капитан Кент, продолжая держать в руке письмо, ошалело закрутился на мостике, выкрикивая:

— Где перископ? Вы что-нибудь видите, сеньор Сайменс?

— К сожалению, да, сеньор капитан,— сурово ответил первый штурман.

— Покажите мне.

— Смотрите по направлению моей руки.

Капитан, вскидывая к глазам бинокль, обшаривал поверхность океана и, ничего не найдя, опять взбалмошно обращался к помощнику:

— Почему я ничего не вижу?

У Сайменса мелькнуло подозрение, что «старик» очень близорук и что, может быть, поэтому он и сидел все время у себя в салоне, как истукан, желая скрыть свой недостаток.

— Я не виноват, что вы ослепли.

Про Лутатини забыли. Он продолжал сидеть на люке, ничего не соображая, точно из него вытряхнули всякое сознание. К нему подбежал Луиджи, который чувствовал себя героем, дернул его за плечо и, улыбаясь, промолвил:

— Явилась субмарина, а вы не смотрите!

Они оба стали на люк. Перископ в это время начал подниматься, так что заметить его было легко. Лутатини, приходя в себя, оживился. Вот откуда пришло ему избавление от позорной гибели! О дальнейшем он пока не думал.

Наконец и капитан, словно прозрев, заметил то, что давно уже видели другие.

— Лево на борт! — громко скомандовал он, повернувшись, как на пружинах, к рулевой рубке.

«Орион» начал круто поворачиваться влево, оставляя за кормою длинную дугу вспененного следа.

На мостике появился Викмонд. Правую руку он держал в кармане. На это никто не обратил внимания. А между тем он приготовился перейти в любой момент к

решительным действиям. Если бы вздумали взять субмарину на таран, что иногда проделывали некоторые пароходы, он бы не задумался разрядить все восемь зарядов своего браунинга в тех, кто находился на мостике. Но надобности в этом пока не было. И радист смотрел холодными серыми глазами то на всплывающую субмарину, то на беснующегося капитана. Его лицо было неподвижно, как маска, и только ноздри, побелев и вздрагивая, выдавали внутреннее волнение.

Между третьим и четвертым трюмными люками душ, никем не остановленный, продолжал лить на палубу сверкающие струи. Под ним никого не было. Матросы, одни голые, другие одетые, столпились впереди мостика, у борта, следили, как в стороне, теперь уже вправо на траверзе, вслед за перископом поднимается из воды рубка. Страх проходил. Если субмарина всплывала на поверхность, это означало, что сразу топить пароход не будут. И неизвестно еще было, какой нации она принадлежала. Хотелось скорее узнать об этом.

Капитан, звякнув машинным телеграфом, перевел стрелку на самый полный ход и начал кричать в переговорную трубку, угрожая уволить механиков, если число оборотов гребного винта не будет увеличено до отказа. Его выкрики были похожи на хриплый собачий лай.

— Прямо руль! — скомандовал он рулевому, когда субмарина очутилась почти за кормою.

Теперь она вся была наружу, длинная, изящная в своей зеленоватой окраске и грозная. Из рубочного люка выскакивали на палубу люди. Взвился на маленькой мачте флаг, означающий на международном языке — «остановиться». У носовой пушки засуетились два человека. Раздался выстрел. Над «Орионом», опережая его, пронесся снаряд,— пронесся так близко к мостику, что капитан Кент присел за рулевую рубку. На бульдожьем лице, под стеклами пенсне, налившись животным страхом, пучились круглые глаза. Всемогущий владыка сразу превратился в жалкого человека, завопившего срывающимся голосом:

— Разбойники! Зачем они стреляют! Стоп машина!

Саймeнс, стоя у телеграфного диска, передал команду в машину, а затем презрительно скосился на «старика», ожидая следующего распоряжения. Остальные два

штурмана и Викмонд, находившиеся на правом крыле мостика, многозначительно переглядывались. Поведение капитана, казавшегося за все время плавания неимоверным храбрецом, теперь всех удивило.

Еще раз нарушилась тишина океана, и впереди судна поднялся столб разноцветных брызг.

— Прямо на борт! Стоп! Ход назад! Стоп!

«Орион» наконец покорно остановился.

Никто уже не сомневался, что перед ними, поднявшись из глубины океана, стояла немецкая субмарина «U-23». Пушка на ней замолчала. С палубы спускали маленькую шлюпку.

Капитан Кент, опомнившись, вскочил. Вид у него был все еще встрепанный, как у пьяного. Но голос зазвучал ровно, отдавая распоряжения:

— Парадный трап спустить!

Боцман, сплюнув, промолвил:

— Попали в переделку!..

И с несколькими матросами пошел выполнять приказ капитана.

Некоторые из команды — те, что были голые,— бросились одеваться.

Стюард принес новенький китель и фуражку. Капитан торопливо облачился, одернулся и, сверкая на солнце золотыми галунами, сразу стал внушительнее. В пенсне, с задымившейся сигарой во рту, лицо его приняло выражение беспечности. Раза два солидно прошелся по мостику, бросая взгляд на немецкую шлюпку, направлявшуюся к пароходу. В ней сидели только два человека, и это служило хорошим признаком. Капитан сейчас же пришел к мысли, что судно его не будут обыскивать, ибо для этого пришлось бы захватить людей больше. Очевидно, особого подозрения у немцев не было. Потом он заметил, что продолжает держать в левой руке письмо, и очень удивился этому. Глаза его, кого-то разыскивая, начали шарить по лицам матросов.

— Лутатини! — вдруг крикнул он.

— Есть! — испуганно откликнулся тот из кучки матросов.

Капитан заговорил почти ласково:

— Я ничего не помню, что написано в этом письме. Поэтому уничтожаю его. Поняли?

Клочки бумаги полетели за борт.

— Понял, сеньор капитан. Спасибо.

Матросы, переглядываясь, улыбнулись.

А капитан Кент снова заговорил, обращаясь уже ко всем:

— Вам, вероятно, каждому известно, что мы идем в Барселону с зерном. Не так ли?

— Да, да, сеньор капитан,— хором ответили с палубы.— Идем в Барселону с зерном.

— Очень рад иметь в своем распоряжении таких сообразительных матросов.

Карнер поднял на мостик злые глаза.

— Хорошо, сеньор капитан, что вы напомнили об этом. Я все время думал, что мы идем в Марсель и что у нас в трюмах не зерно, а какой-нибудь военный груз.

Капитан Кент, округлив глаза, хотел было зарычать, но сию же секунду спохватился и, усмехаясь, игриво прищурился:

— Хе-хе-хе! Чудак нашелся. Память у него короче воробьиного носа.

Викмонд, торжествуя, едва сдерживал смех. Поваренок Луиджи, желая обратить на себя внимание, крутился среди команды. Прелат щелкнул его по носу. Матросы перебрасывались шутками. У Лутатини были свои думы: он ждал от отца телеграмму, которая должна была избавить его от страдания и унижения, но вместо этого все пошло шиворот-навыворот. И никто не мог бы сказать, куда судьба его повернется через пять минут. Обращаясь к товарищам, он спросил уныло:

— Что же теперь будет с нами?

Рыжеголовый Кинче ответил ему самым серьезным тоном:

— Вероятно, шампанским начнут нас угощать.

Когда шлюпка пристала к спущенному трапу, капитан бросился встретить непрошеных гостей. На палубу поднялись двое: офицер и матрос в военной форме, вооруженные револьверами. Матрос был высокого роста, с широкими плечами, на его сытом, немного туповатом лице лихо и воинственно закручивались усы. Начальник был худощав, с устало опущенными плечами и казался безобидным. Это подействовало на «старика» успокаи-

вающе. Он приложил правую руку к козырьку и гордо отрекомендовался:

— Капитан Кент.

В ответ ему последовало:

— Лейтенант германского флота Стименс.

Весь экипаж с напряжением следил за немцами.

Матрос-немец, заранее зная, что нужно делать, залез за штурманскую рубку, к главному компасу, и в черный длинный бинокль начал оглядывать горизонт. Лейтенант, спросив, где находится радиорубка, пошел туда в сопровождении Викмонда. Капитан сейчас же подумал, что он, вероятно, хочет сделать что-нибудь с радиоаппаратом, чтобы нельзя было «Ориону» немедленно снестись с противником Германии. А минуты через три лейтенант снова появился на палубе.

— Откуда и куда держите курс?

— В Барселону, господин лейтенант. Идем из Буэнос-Айреса с зерном,— услужливо ответил капитан Кент.

— Так, очень приятно. Простите, капитан, но я должен взглянуть на ваши официальные бумаги.

В капитанском салоне, сидя за столом, лейтенант на скорую руку просматривал вахтенный журнал, коносаменты и другие судовые документы, причем попутно задавал пустяковые вопросы. На получаемые ответы он удовлетворенно кивал головою, рассеивая последние опасения у капитана. Казалось, «Орион» не вызвал у немца никакого подозрения. Наконец он поднялся и заявил, улыбаясь, словно бросая шутку:

— Все в порядке, капитан. Поэтому немедленно забирайте свои вещи. Вы отправитесь на моей шлюпке вместе со мною на субмарину.

Капитан Кент не поверил своим ушам, но в то же время на него как будто нашло оцепенение. Раскрыв рот, он сидел в своем кресле, словно пришитый к нему гвоздями. И только тогда, когда немецкий офицер вышел из салона, он бросился за ним. На палубе, догнав его, он растерянно спросил:

— Господин лейтенант, зачем же я должен отправиться на субмарину?

— Поплаваете вместе с нами.

— Я надеюсь, что вы изволите шутить, господин лейтенант?

— Очень даже серьезно говорю вам. Передайте вашему экипажу, что я не хочу напрасно губить людей. Пусть скорее спускают спасательные шлюпки и усаживаются на них. Ваше судно сейчас будет потоплено.

Бритое лицо немецкого офицера стало непроницаемым.

— Я вас не понимаю, господин лейтенант.

— Разве я не ясно выражаюсь?

Матросы и командный состав, вслушиваясь в диалог, стояли неподвижно.

Капитан, оправившись и стараясь быть спокойным, запротестовал:

— Не в этом дело, господин лейтенант. Но вы не имеете права поступать так с нами. Вы нашли, что документы все в порядке. Пароход наш принадлежит нейтральной нации. Идем мы с мирным грузом в нейтральную страну. На каком же основании?..

Лейтенант перебил его, глядя ему в глаза:

— Так ли, капитан?

— И не может быть иначе.

— А если я сейчас докажу вам другое? Вам не стыдно будет?

Капитан на момент смутился. Оглядываясь, он увидел своих помощников и механиков: кроме Сайменса, который как будто был доволен его бедствием, остальные стояли с сокрушенным видом. Тут же находился и Викмонд с доверчивыми серыми глазами. Тогда капитан Кент возвысил негодующий голос:

— Во всем мире не найдется такого человека, который бы мог доказать обратное тому, что я вам заявил.

Лейтенант спокойно ответил на это:

— Напрасно, капитан, вы стараетесь переубедить меня. Вы держите курс в Марсель — в страну, враждующую с нами. Вы еще не вышли из Буэнос-Айреса, а мы уже знали об этом и давно вас поджидаем.

Капитан Кент сразу потерял уверенность. В голове закрутилось что-то непонятное, сбивчивое и неуловимое. Нервная дрожь тряхнула его колени, а лицо покрылось мелкими каплями пота.

— Пожалуйте, капитан, на мостик.

Грузное тело на кривых ногах с трудом поднималось по трапу.

В рубке, под штурманским столиком, лейтенант сдернул коврик, отвернул кусок линолеума. На палубе обозначилось нечто вроде маленького люка, закрытого деревянной крышкой. В несколько секунд все тайные документы, находившиеся там, были извлечены на свет.

Лейтенант Стименс, пристально взглянув на капитана, спросил:

— Что вы скажете на это?

Капитан Кент ничего не ответил. Бульдожье лицо его приняло бессмысленное выражение, как у новорожденного ребенка. Потом он несуразно тряхнул головою, словно хотел прогнать страшную мысль. Пенсне, сорвавшись с носа, повисло на черном шелковом шнурке. Он подхватил его и долго не мог посадить на прежнее место, приставляя обратной стороной. Он хотел что-то сообразить и не мог, смятый, раздавленный.

Лейтенант холодно сказал:

— Капитан, будьте любезны немедленно последовать за мною на шлюпку. Из-за вас я потратил несколько минут лишних.

Лейтенант и его матрос, захватив с судна кассу, настоящие и фальшивые документы, направились в шлюпку.

Капитан Кент удрученно зашагал за ними. Он даже забыл отдать распоряжение — спустить спасательные шлюпки. Машинально взял чемодан с вещами, который сунул ему в руки расторопный стюард. Капитан не мог объяснить себе, как немцы узнали о военном грузе корабля. И только у самого трапа, когда увидел, что и радист с чемоданом в руке хочет сесть в шлюпку, его вдруг осенила мысль. Он остановился и прохрипел:

— Викмонд, вы куда?

Радист тоже остановился, уравновешенный, спокойный.

— Я к себе домой, а вы куда?

Капитан Кент точно подавился, стараясь произнести какое-то слово. Зубы его щелкали, как ножницы в руках парикмахера. Наконец он выпалил с ненавистью, с презрением:

— Предатель!

Викмонд нисколько не смутился и, ухмыляясь, ответил:

— Такой же, как и вы. Сколько думали получить денег с французов? Однако нас зовут. На субмарине поговорим об этом подробнее.

Когда все четверо уже сидели в шлюпке, лейтенант крикнул на «Орион»:

— Поторопитесь оставить судно! Времени у вас осталось очень мало.

И отвалил от трапа.

Все понял Лутатини, когда услышал последние реплики, которыми обменялись между собою капитан и радист. Он помогал Викмонду совершить предательство, подвергая смертельной опасности товарищей, а потом, как идиот, дружески тряс за это военному шпиону руку и целовал его в колючую щеку. Жизнь запутывала его в темные дела, а он не мог ей сопротивляться. Было тошно и обидно. Хотелось завыть звериным воем, рвать волосы, биться головою о машинный кожух. Помогал в предательстве!.. А если откроется эта тайна? Ведь его видел второй штурман, когда он стоял у радиорубки. При этой мысли, заставившей забыть о морали и чести, Лутатини похолодел. Казалось, что все уже знают об этом, все смотрят на него и сейчас начнут его допрашивать. Робко он повернул в сторону людей свое лицо, бледное, с остекленевшими глазами. Никто не обратил на него внимания. И только поваренок Луиджи возбужденно заговорил:

— Ловко Викмонд провел всех за нос! Вот какой хитрый! А теперь у нас, сеньор Лутатини, начнутся приключения.

В это время трелью залилась дудка, а вслед за нею громко раздался голос первого штурмана:

— Спасательные шлюпки спустить!

Лутатини, обрадовавшись, бросился на помощь к своим товарищам.

На «Орионе», словно во время пожара, поднялась суматоха, послышались выкрики людей, топот ног.

В какие-нибудь три минуты обе шлюпки очутились на воде. Их спешно начали нагружать съестными припасами. Хотя на каждой шлюпке всегда находилось по два анкера с водою, на шлюпку № 2 успели прибавить еще один бочонок. Провизией и питьевой водой ведал Прелат. На обязанности штурманов лежало запастись мор-

скими картами, секстантами, хронометрами и другими необходимыми предметами, без чего трудно обойтись в океане. Потом каждый стремился хоть что-нибудь ухватить из своих пожитков. Вещи разрозненно и беспорядочно бросали с борта и в ту и в другую шлюпку—после разберутся в них. Несколько матросов кинулись в капитанские владения в надежде поживиться более ценным добром. Но там уже хозяйничал стюард. Раздавались крики, короткая свалка. Чернокожий выскочил из салона с кровью на лице. Люди, напоминая безумцев, шарахались по палубе взад и вперед, потные, разгоряченные, с лихорадочными глазами.

А с субмарины уже сигнализировали:

«Отваливайте».

Раньше тронулась в путь спасательная шлюпка № 2. На нее уселось человек пятнадцать команды и трое из администрации — два младших механика и второй штурман. На носу, как чугунное изваяние, возвышался чернокожий стюард. К нему прилип во всем белом Прелат.

Начали усаживаться на шлюпку № 1.

В это время поваренок Луиджи вздумал проявить геройство. Он захватил в камбузе топор и побежал на корму. Под ударами обуха клетка с оставшимися гусями разлетелась. Из трех пленников он пару успел выбросить за борт, и они, гогоча, поплыли прочь от судна, а один гусь остался на палубе. Поваренку некогда было с ним возиться. Он быстро спустился в твиндек, чтобы освободить еще одного пленника — китайца. Ничего не стоило сбить висячий замок. Луиджи действовал решительно и, распахнув дверь, крикнул:

— Скорее выходи, Чин-Ха!

В нос ударило таким отвратительным смрадом, что замутилась голова. И перед ним, в полусумраке, сипло застонав, предстало скорее страшное видение, чем человек. Луиджи, уронив топор, на мгновение замер, а затем, пронзительно взвизгнув, помчался наверх.

Люди на шлюпке № 1 были уже все в сборе. Саймен приказал отваливать. Гребцы разобрали весла, но тут кто-то спохватился:

— Поваренок остался на судне!

И несколько человек разом заорали:

— Луиджи!

В этот момент услышали истошные вопли, несущиеся с судна. Это кричал, показавшись из-за фальшборта, поваренок, обескровленный, выпучивший глаза. С быстротою молнии он спустился по трапу и, вместо того чтобы шагнуть на борт шлюпки, прыгнул прямо на головы людей. Пока с ним возились, награждая его руганью и шлепками, на трапе появился Чин-Ха. На шлюпке сразу все притихли, испуганно подняв вверх головы. На верхней площадке трапа стоял голый живой труп, вращая воспаленными глазами. Вырвавшись из полусумрака, он, вероятно, плохо видел, ослепленный солнечным блеском. Все тело его было в язвах, в багровых опухолях, в болячках, истекающих сукровицей и гноем. Лицо превратилось в ужасную маску, покрытую серыми корками, красными рубцами, с провалившимся носом, с распухшими губами. Он наполовину сгнил, но в нем все еще трепетала страдающая жизнь, и она, словно с того света, подала гнусавый и сиплый голос:

— Вы куда?

Все промолчали, придавленные страшным зрелищем.

Лутатини, сидя на носу шлюпки, дрожал и не мог оторвать глаз от этого заживо разлагающегося чудовища.

— Отваливай! — не своим голосом заорал сеньор Сайменс, когда китаец начал было спускаться вниз по ступенькам трапа.

Шлюпка качнулась, отделяясь от трапа. Послышались всплески воды. Кочегар Домбер слишком навалился на весло: оно переломилось пополам. Первый штурман по этому поводу разразился бранью. В такой момент это подействовало на всех ободряюще, как хорошая музыка.

Расстояние между судном и шлюпкой увеличивалось. Гребли торопливо. Все молчали. И только два гуся, белых, как свежий снег, почуяв себя на свободе, радостно кричали, отплывая от «Ориона» в сторону. От белизны их оперения океанская синева казалась гуще, темнее. В тревоге откликался им третий — тот, что остался на кормовом борту судна, не решаясь спрыгнуть в воду.

Китаец несколько раз то поднимался вверх по трапу, то спускался вниз и, не зная, что предпринять, посылал проклятия уходящей шлюпке. Наконец он исчез на палубе и некоторое время не появлялся совсем.

На горизонте со стороны Африки показался чуть заметный дымок. Это шло какое-то неизвестное судно, держа направление на юг. Немцы забеспокоились: моментально исчезли с палубы, закрыли за собой люки. Субмарина повернулась к пароходу носом и приняла позиционное положение, погрузившись до уровня воды и оставив в запасе лишь самую малую плавучесть. «Орион» стоял неподвижно, жидко дымя в ясное небо, покорный и унылый, с повисшим на корме флагом. Снова показался китаец, уже на капитанском мостике. Почему-то вдруг пришло ему в голову ухватиться за сигнальную веревку, соединяющуюся с гудком. Низкой октавой, с дрожью, как-то по-особенному тревожно, словно предчувствуя свою гибель, заревел пароход, выбрасывая из медной глотки молочно-белые клубы пара. Потом Чин-Ха выбежал на ростры и остановился у самого края с правого борта,— там, где еще недавно находилась в своем гнезде спасательная шлюпка. Он теперь был весь наружу, ярко освещенный лучами, голый, сплошь в язвах, с поднятыми руками. Не то он гневно угрожал тем, кто обрек его на смерть, не то безумно взывал к пылающему небу, как бы воплощая в себе страшный образ человеческих страданий. А в это время, выбрасывая сжатый воздух, оставляя на поверхности пузырчатый след, метнулась к судну торпеда.

Раздался сдвоенный взрыв с промежутком в одну какую-нибудь тысячную долю секунды. Черное облако взвилось с пламенем. Грохочущим гулом наполнился простор, словно по каменным уступам, сотрясая небо, солнце, воздух, шарахнулись гигантские чугунные тяжести. Со свистом и воем пронеслось что-то в воздухе.

Когда черное облако дыма, кудряво распухая, отделилось от воды, под ним ничего не оказалось, кроме плавающих обломков.

Немецкая субмарина погрузилась совсем и, чтобы не выдать своего направления, даже спрятала перископ.

Спасательные шлюпки, покачиваясь, стояли на одном месте. Люди бессмысленно смотрели туда, где только что находился «Орион». Там было пусто, и эта пустота, омраченная падающей от дыма тенью, давила мозг, опустошая мысли. Стало необычайно тихо в голубом, трепетно сияющем просторе. Только два оставшихся в

живых гуся, уплывая вдаль, оживляли безмолвие своим тревожным криком.

Наконец на шлюпке № 1 Саймен скомандовал:

— Весла на воду!

И, повернув руль, взял курс на норд-ост.

XVI

Океан, поколебавшись, опять стал неподвижным. И только две спасательные шлюпки, скользя одна за другой, ломали его зеркальную поверхность. За ними веером расходился след, дрожа и вспыхивая рябью. Прошел час, а моряки не переставали в тревоге оглядываться, словно ожидали еще увидеть что-то необыкновенное. Давно исчез показавшийся на горизонте дымок. Растаяло и черное облако, висевшее, как траур, над местом гибели корабля. Два гуся, как два белых пятнышка на синем шелке, едва были заметны. Солнце начало скатываться к западу.

Шлюпка № 1, где одно весло было сломано, подвигалась вперед под взмахом только четырех пар весел. Боцман проворчал, глядя на Домбера:

— Сломать такое крепкое дерево при тихой погоде! Наградит же господь силой несуразную голову!..

Старший кочегар огрызнулся угрюмо:

— А почему запасных весел не имеете? В Англии без этого вас из порта не выпустили бы.

— Скажите, пожалуйста, какой законник нашелся!

Шлюпка № 2, на которой гребли всеми пятью парами весел, невольно вынуждена была задерживаться. Саймен приказал второму штурману подойти ближе и отдал ему распоряжение:

— В такую весеннюю пору едва ли мы дождемся ветра, чтобы поставить паруса. А на веслах в сравнении с нами вы имеете преимущество в ходе на одну пятую часть. Поэтому я предлагаю вам отправиться вперед. Курс — норд-ост шестьдесят семь. Если благополучно достигнете Гибралтара, то похлопочите, чтобы немедленно выслали нам на помощь паровой катер или какую-нибудь другую посудину.

— Есть! — послушно ответил второй штурман, подбросив правую руку к козырьку фуражки.

Саймонс добавил:

— Посылая вас вперед, я имею в виду еще одно соображение. Чем вместе плыть, нам гораздо выгоднее находиться врозь, на большом расстоянии друг от друга. Мы ровно в два раза больше будем иметь шансов встретиться с каким-нибудь судном. Если одна шлюпка окажется подобранной, то легко будет найти и вторую, зная, каким курсом она идет. Я полагаю, вы поняли меня?

— Да, сеньор Саймонс, и совершенно с вами согласен.

— Итак, в добрый путь! Вся ответственность за шлюпку и за людей лежит на вас.

— Есть! До скорого свидания.

Все матросы мысленно одобрили такое решение.

Когда второй штурман начал удаляться на своей шлюпке, Лутатини облегченно вздохнул. Значит, либо тот забыл о встрече с ним ночью у радиорубки, либо не придал этому никакого значения. Он смелее начал смотреть в лица товарищей.

На корме сидела администрация: бесстрастный, с поблекшими глазами Саймонс, грузный и бесформенный механик Сотильо, быстроглазый, с большими торчащими ушами третий штурман Рит. В соседстве с ними находился боцман. На банках разместились восемь гребцов. Остальные шесть человек устроились по-разному: кто — на носу шлюпки, кто — под банками. Первое время настроение у всех было тягостное. Все молчали, усталые, погруженные в свои думы.

Кто-то вспомнил:

— Мы сегодня еще не обедали.

— Верно! — подхватили другие.

Остановили шлюпку. Жевали мясные консервы, грызли сухие и твердые, точно камень, галеты. Из анкера аккуратно разливали по кружкам кипяченую воду, теплую от солнца, отдающую неприятным запахом.

Поваренок Луиджи вздохнул:

— Эх, на судне жареный гусь остался! А для команды сегодня были битки из свежего мяса.

Матросы рассердились:

— Ты хоть бы не упоминал об этом, молокосос крученый! Вместо того, чтобы жареного гуся в шлюпку положить и битки присоединить, он живых гусей выбро-

сил за борт! Потом зачем-то китаец ему понадобился. Где, спрашивается, у тебя были в это время мозги?

— Ему уши следует нарвать.

Поваренок возразил:

— А Прелат чего смотрел?

— У твоего Прелата ума не больше, чем у любого барана. Мы еще погладим ему бока, когда встретимся на берегу,— и за воду и за пищу.

После скудного обеда закурили сигары, захваченные в капитанской каюте. К людям постепенно возвращалась бодрость. В сущности, не было основания сокрушаться. Находясь на судне с контрабандным грузом, каждый из экипажа считал себя до некоторой степени ответственным за это, а потому все время находился под угрозой быть утопленным в океане. Теперь положение их изменилось к лучшему: любой корабль, какой бы нации он ни принадлежал, встретившись с ними, должен будет на основании международного права оказать им помощь. Осталась лишь забота о себе — это добраться до берега.

Жалели китайца. Некоторые предполагали, что, может быть, он болел какой-нибудь другой болезнью, а не сифилисом. Насчет Викмонда решили, что он очень сообразительный парень, хотя и мошенник первой статьи: влез капитану в одно ухо, а вылез в другое, а тот, губошлеп, не заметил этого. Приводили примеры, когда шпионы действовали с другой воюющей стороны — французские, английские, итальянские.

А на носу шлюпки некоторые тихонько мечтали вслух:

— Только бы добраться до аргентинского консула! Будем с деньгами!

Карнер, улыбаясь, спросил:

— У тебя, Гимбо, на сколько пропало вещей?

Старый рулевой поднял голову и с самым серьезным видом начал перечислять:

— А вот считай: два кожаных чемодана, летнее пальто, драповое осеннее пальто, два новеньких костюма, сшитых по заказу в Нью-Йорке, две пары ботинок, белья и всякой мелочи — пропасть. Одним словом, в сто долларов не уложишь.

Машинист Пеко заявил:

— А у меня, кроме всего, пропали еще часы золотые.

Лутатини слушал и удивлялся, как фантазировали голодранцы.

— А у вас, сеньор Лутатини, что погибло на корабле?

— Ничего, кроме ненужной рвани,— ответил он, насупившись.

Все посмотрели на него недружелюбно.

— Неверно. Все знают, что вы явились на борт в новом костюме. И как будто чемоданы у вас были. А если у вас с испуга память не работает, то лучше всего молчать вам у консула. Мы за вас скажем.

К Лутатини обратился Карнер:

— Да вы что, дорогой друг, голову повесили?

— Тоскливо что-то.

— Кончился ваш контракт!

— Как? — спохватился Лутатини.

— Мокнет вместе с судном на дне океана.

— Значит, я свободен от обязательств?

— Свободен, как чайка, только крыльев нет.

Это обрадовало Лутатини, но тут же он почувствовал свое ничтожество. Какая-то сила бросала и крутила его, как ветер бросает и крутит клочок бумаги. Ему было бы противно сидеть рядом со шпионом, а он целовал его. Он думал, что участвует в посылке телеграммы на родину, а на самом деле помогал радисту совершить предательство. Он ждал отрадного ответа из Буэнос-Айреса, а тут вышло столкновение с боцманом. Он хотел убить боцмана, а его самого чуть не убили из револьвера. Капитан заступился за него, но тут же разразился гневом и вместо ожидаемой каюты хотел засадить его в твиндек к китайцу. А когда этот жестокий приговор должны были привести в исполнение, явилась субмарина, которая спасла его. Субмарина угрожала ему смертью, а вышло так, что он не только остался жив, но и освободился от проклятого контракта. Юридически стал свободным человеком, а фактически попал в другой плен — в плен этих бесконечных вод, позолоченных вечерним солнцем.

— Это какая-то авантюра...— сказал Лутатини, обращаясь к Карнеру.

— Что? — спросил тот.

— Да наше путешествие.

— Милый друг! Вся война — сплошь авантюра. И в этой сумасшедшей авантюре участвует почти все человечество.

Шлюпка № 2 ушла вперед мили на две. Она стала не больше альбатроса. А завтра она скроется совсем.

Заговорили о капитане:

— Как-то теперь чувствует себя наш «старик»?

— Наверное, хуже, чем пророки Илья и Енох. Те поднялись вверх, на небо, а этот опустился в бездну.

— Вот идол! Всем головы заморочил. Думали, герой, отваги непомерной. А как появилась субмарина, душонка у него оказалась трусливее, чем у кролика.

— Не дай бог с таким капитаном в море уходить.

Сайменс, слушая эти разговоры, чуть-чуть посмеивался.

— Вспомнил я про одно истинное происшествие,— сказал Гимбо.— Там только героем был не капитан, а первый штурман. Но это дела не меняет.

— Ну-ка, друг, заверни что-нибудь повеселее.

И Гимбо начал рассказывать анекдот, известный в разных вариантах среди моряков под всеми широтами и под всеми долготами мира.

В Нью-Йорке жил бедный портной. Вздумалось ему переправиться в Англию. Денег лишних не было. Хотелось подешевле прокатиться. Вспомнил он, что у него брат служит коком на двухмачтовом паруснике. Отправился к нему за советом. Кок угостил его горлодеркой и закуской от капитанского стола. А когда узнал, что нужно брату, сказал:

— Сшей себе офицерский морской костюм. Потом приходи к капитану. Нам как раз нужен помощник. Капитан наш трезвый не бывает. Он пьет ром и виски, как рыба воду. Ничего не разберет, кто ты есть на самом деле.

— А если начнет расспрашивать меня? — осведомился портной.

— Обдай его такой бранью, чтобы капитанские уши задрожали. Чем крепче завернешь, тем скорее примет. Любит отчаянных помощников.

Несколько дней подряд кок учил своего брата сильным выражениям.

Нарядился портной в офицерскую форму и явился на парусник.

Капитан настолько перегрузил спиртом свою утробушку, что на четвереньках ползал по кают-компании. И все орал, что он — всемирный капитан. Увидел портного, спрашивает:

— Хочешь помощником ко мне?

— Да,— отвечает тот.— Хочу вместе с вами почудить на белом свете.

— А раньше плавал на парусниках?

— Я не только на парусниках, а даже в лоханке два раза землю опоясал,— ответил портной и давай громыхать отборными словами, точно якорным канатом.

Обрадовался капитан — настоящий у него помощник.

Вышли в море, взяли курс на Ливерпуль.

Портной на вахте в качестве первого помощника. Шторм усиливается. А тот ходит себе по мостику, посасывает трубку и важничает, точно родной брат президента — ноль внимания на все. Видит боцман, что ветром может паруса вынести, подкатывается к помощнику — так и так, мол, надо бы брамселя убрать, чтобы несчастья какого не произошло. А помощник как зыкнет на него:

— Пусть остается все так. А ты, малосольный лосось, больше не указывай мне, как управлять кораблем! Кто здесь старший — ты или я?

Смылся боцман с мостика — и прямо в кубрик. Созвал матросов и сообщает им:

— Не помощник, а чудовище послал нам господь бог. Сам дьявол позавидует ему в смелости.

Шторм в бурю переходит. Мачты стонут. Судно несется с бешеной быстротой.

Боцман снова обращается к помощнику и осторожно намекает на то, что может случиться бедствие.

— Пусть каждый занимается своим делом! Вон отсюда, пресноводная дрянь, пока я из тебя не выбил все американские соединенные штаты!

Боцман беспокоится, места себе не находит. Носится по палубе, точно его укусила муха цеце, и все удивляется храбрости помощника. Буря сильнее ярится. По океану вздуваются горы. Судно уже не плывет, а прыгает с волны на волну, как блоха. Чувствуется, что конец приближается. Не выдержал боцман и в третий раз поднялся на мостик: хотел посоветовать помощнику убрать все паруса. Иначе снесет весь рангоут.

Помощник ухватился за поручни и со страху щелкает зубами. А все-таки держит фасон. Увидел боцмана — заорал:

— Я вижу, что все здесь не моряки, а шансонетки!

И как ругнет! Даже у боцмана в ушах засверлило. Тут он окончательно убедился, что судном управляет не помощник, а сам дьявол.

Не успел боцман до кубрика дойти, как трахнул ураган. Словно подрубленные, с треском повалились мачты. От парусов только лоскутки остались.

— Смерть пришла...

Хватились — нет помощника на мостике. Решили, что, вероятно, волной снесло за борт. Доложили об этом капитану. А тот, пьяный в дым и ваксу, покачал головою и сказал:

— Первый раз в жизни попался такой хороший помощник, да и тот пропал. Это был настоящий моряк.

И распорядился обрубить рангоуты, чтобы освободиться от мачт.

А на самом деле с портным случилось другое. Как только сломались мачты, он сейчас же в камбуз заявился к своему брату. Ни жив ни мертв. Еле лепечет непослушным языком:

— Пропал, брат, я теперь.

— Ерунда! — отвечает кок.— Прячься скорее под стол. Я тебя мешками прикрою.

Так и поступил портной.

А ночью кок отвел его в кладовую, где хранилась провизия.

Дня через два утихла буря. На судне устроили искусственные мачты. Кое-как оснастили их и поставили запасные паруса. Пошли потихоньку дальше.

Долго шли. Наконец стали приближаться к Ливерпулю. Капитан прогуливается по мостику и поглядывает через бинокль вперед. Ветерок слабый. Судно едва двигается.

Кок вывел из кладовки своего брата и спустил его тихонько за борт. И вот портной плавает в море и орет во все горло:

— Капитан! Черт глухой! Что же ты на своего помощника никакого внимания?

Услышал капитан знакомый голос, бросился к борту.

— В чем дело? — спрашивает.

А портной свое несет:

— Чтобы провалиться вам со всем вашим судном! Это не корабль, а дурацкая посудина! Вы двигаетесь вперед тише, чем любая медуза.

Капитан так и ахнул, как увидел своего помощника.

— Да каким же образом,— спрашивает,— ты здесь очутился?

— Я уже три дня плаваю здесь и вас поджидаю. Что же ты вылупил глаза на меня, жалкий, несчастный моряк? Скажи своим идиотам, чтобы шторм-трап спустили!

Поднялся он на палубу, стоит в офицерской форме, весь мокрый до ниточки, и разносит последними словами и судно и капитана.

Капитан давай его тут умолять:

— Не стоит горячиться. Пойдем лучше ко мне и виской позабавимся.

Угощает за столом своего помощника, а сам не может надивиться.

— Нет,— говорит,— такого моряка еще свет не видывал. Весь Атлантический океан перемахнул и на три дня раньше судна приплыл к месту назначения. Все Колумбы, Васко да Гама, Кук, одним словом, все знаменитые мореплаватели, против тебя — то же самое, что гнилой фал против манильского троса...

Слушая Гимбо, матросы смеялись и сами рассказывали разные анекдоты. Впереди не предвиделось никакой опасности. Все чувствовали себя весело и бодро в прохладе наступающего вечера. Когда стемнело, поставили на шлюпке мачту и подняли на ней красный фонарь в знак того, что терпят бедствие.

XVII

Работали круглые сутки, сменяя друг друга. На долю каждого приходилось двенадцать часов тяжелого труда. Никого не нужно было заставлять садиться на весла. Все сознавали, что от сокращения и вытягивания их мускулов зависит скорейшее приближение к цели.

Шлюпка № 1 теперь осталась одна на всем видимом пространстве. Она продолжала упорно скользить

в безветренную даль, поскрипывая железными уключинами и всплескивая лопастями звенящую воду. Океан поражал своею пустотой. Один только раз увидели за кормою дымок. Остановились, подождали. Но неизвестное судно, направлявшееся на юго-запад, проходило мимо так далеко, что не показало даже своих мачт.

Кто-то вздохнул:

— Эх, не везет нам!..

Другие подхватили:

— Если бы мы еще миль на пятнадцать находились позади, этот корабль обязательно увидел бы нас.

— Да, мог бы нас подобрать. И понеслись бы мы с ним опять в Южную Америку.

— И там встретились бы с нашим шанхаером. Хочется испробовать крепость его черепа.

Кое-кто еще пытался шутить, улыбаться, но уже в каждой паре глаз все заметнее отражалось беспокойство.

— Если так будет продолжаться, мы не встретимся ни с одним кораблем.

— Тогда придется целую неделю плыть.

— А разве выдержим мы неделю при такой жаре?

Из всех людей, находившихся на шлюпке № 1, только один человек был совершенно спокоен — это штурман Сайменс. Его поблекшее лицо с потускневшими глазами не выражало ни горя, ни радости, ни досады, ни восторга. Предоставляя управлять рулем третьему штурману или боцману, он сам сидел без дела, сложив руки на коленях, и только по временам бросал взгляд на шлюпочный компас — верно ли держат курс. Белый костюм предохранял его от жары. В полдень он вытащил из-под сиденья кормы хронометр в футляре из красного дерева, секстант и книги с таблицами. В отличие от других штурманов ему ничего не стоило вовремя и правильно взять высоту солнца, чтобы потом, сделав нужные вычисления, определить, на какой широте и на какой долготе в данный момент находится шлюпка. Лицо его на короткое время ожило, но скоро оно опять потускнело, как только все свои приборы и книги он убрал на место. Нахлобучив фуражку с большим козырьком поглубже на голову, он принял более удобную позу на корме и долго оставался так почти без движения, равнодушно поглядывал на онемевший океан и на своих подчиненных.

Его как будто ничто не интересовало. Такое безразличие ко всему вызывало у матросов смешанное чувство: и раздражало их и в то же время успокаивало.

Саймекс допустил одну ошибку, но и это не вывело его из душевного равновесия — кто не ошибается? В обоих бочонках, находившихся на шлюпке, содержалось сто двадцать литров пресной воды. При других условиях этого хватило бы почти на целую неделю. Но тут люди усиленно работали, сгорая от тропической жары и обильно истекая потом. Он не запрещал им утолять жажду, надеясь через день или, самое большое, через два встретиться с каким-нибудь судном. У него не было никаких сомнений на скорую помощь, так как шлюпка находилась на бойком пути. Но он не учел и не мог учесть одного: за последние дни немецкие субмарины в этих водах устроили настоящий погром кораблям и остановили почти все движение. Так или иначе, но через сутки с небольшим, несмотря на бережное отношение к воде самих матросов, один бочонок оказался опорожненным. Принялись за второй. Тогда только Саймекс распорядился:

— Воду надо экономить. Выдавать на каждого по одному литру в день.— Не глядя на боцмана, он добавил:— Боцман, поручаю вам следить за водою.

— Есть! — быстро ответил тот.

Достаточно было сделать такое распоряжение, как сразу у всех появилась жажда. Но каждый сознавал, что предпринятые меры были правильны. Только ниже опустились головы, насупились брови.

Следующие двое суток проходили в мучениях, возраставших, казалось, с каждым часом. Во время ночной прохлады можно еще было терпеть, но когда наступало безоблачное утро,— люди ждали восхода солнца, как приближения жестокого наказания. Установленная порция воды не могла пополнить убыль влаги в организме. Сухость в горле увеличивалась. Слабел аппетит. Во время завтрака или обеда каждый съедал по маленькому кусочку консервированного мяса или одну половинку галеты, размочив ее в воде. Таким ничтожным количеством пищи нельзя было бы накормить даже ребенка. Все начали быстро вянуть, как растения, вырванные из влажной почвы.

Ход шлюпки уменьшился в два раза.

Все это не мог не заметить первый штурман. Он помнил из медицины, которую проходил в мореходной школе, что если человек потеряет двадцать два процента влаги своего организма, наступает смерть, более страшная, чем от голода или от какой-либо болезни. Лишенный пищи организм еще может поддерживать себя собственными составными веществами, давая для этого весь нужный материал. Но чем заменить воду? Будущее рисовалось в самых мрачных красках. Ничего нельзя было придумать для спасения жизней. Разве только воспользоваться советом великого английского путешественника Джона Франклина: при недостаче необходимого запаса воды нужно чаще купаться в море. Это немного облегчало страдание моряков.

А сегодня, через трое суток после гибели «Ориона», когда в последнем бочонке осталось пресной воды каких-нибудь двадцать литров. Саймекс вынужден был сделать более суровое распоряжение:

— Убавить порции воды в два раза. Выдавать только днем. А ночью можно и без питья обойтись. В жаркое время, чтобы меньше одолевала жажда, отдыхать — с десяти до двух часов.

До сих пор матросы терпеливо относились к создавшемуся положению. Все еще была какая-то надежда на спасение. Но теперь она исчезла. И хотя первый штурман не виноват был в этом, хотя последний приказ его был вполне разумен, матросы не могли больше относиться к своему начальству без ненависти. От его слов повеяло ужасом. И все чаще начали прорываться раздраженные голоса:

— Другие попали в такое плавание из-за денег! А мы, спрашивается, за что погибаем?

— По своей глупости.

— Нас обманом взяли из кабака.

Карнер, работая веслом, дергался и ехидно скалил зубы:

— А вы поверили в благодать этих господ! Давно бы должны знать: честность их ни в один бинокль не увидишь.

Здоровенный Домбер навалился на весло добросовестнее всех, напоминая своей выносливостью верблю-

да. Сдвинув брови, он угрюмо молчал. Но во всей его фигуре, тяжелой и напряженной, в мутном взгляде исподлобья было что-то жуткое.

Старый Гимбо находился в носовой части шлюпки и, смачивая голову забортной водою, сокрушенно жаловался:

— Забавляться бы мне с внучатами у прохладного ручейка!.. Эх! Так нет же — пошел, старый дурак, в плавание!.. А все из-за чего? Нужда. Сколько я за свою жизнь добра перевозил, и все — для других! А в награду — вот оно что...

У ног его сидел поваренок Луиджи, испуганно озираясь. Он исхудал за эти дни, высох.. Красивое лицо его теперь побледнело, заострилось, на губах появился землистый налет.

Среди моряков очень распространен один прием: если почему-либо нельзя ругать своего противника, то для нападок нужно выбрать у него такой предмет, какого нет у других. В данном случае таким предметом у Саймэнса оказался на безымянном пальце левой руки золотой перстень с драгоценным изумрудом. Этим воспользовался рыжеголовый Кинче. Он осыпал перстень всяческими скверными словами, и все знали, что ругань относится к первому штурману. Знал это и сам Саймэнс и долго упорно молчал, как будто ничего не слышал. Наконец равнодушно, словно из любопытства, спросил:

— Какой это перстень не дает тебе покоя?

Кинче даже обрадовался, что вывел из терпения этого бездушного человека.

— На свете много разных перстней с драгоценными камнями. Между прочим, у меня дома осталось золотое кольцо с изумрудом. Оно мне и другим много зла причинило. Если доберусь до него, я с удовольствием утоплю его в этом океане.

— Следует! — поддакнули матросы.

Саймэнс замолчал, показывая вид, что он вполне удовлетворился таким объяснением. Но третий штурман, Рит, настороженно переглянулся со старшим механиком Сотильо, предчувствуя бунт. Боцман озабоченно покрутил головой, осматривая горизонт.

Лутатини чувствовал себя разбитым больше, чем

другие. Работа на веслах отзывалась тупой болью во всем теле. На ладонях горели саднящие кровавые раны. Сменившись с весла, он пробирался в носовую часть шлюпки и, облившись забортной водою, сидел там неподвижно, удрученный, осунувшийся, с искаженным от страдания лицом. В усталом мозгу копошились безотрадные мысли, а сердце наполнялось скорбью, как чаша горьким напитком. В эти последние три дня он измерил всю глубину своей души и своего отчаяния. Временами он как бы отрывался от самого себя и как бы со стороны рассматривал прежнего Себастьяна Лутатини, занятого там, на берегу, в столице Аргентины, возвышенными делами. И все то, во что тогда верил и что считал мудрым, священным: богослужение в храме, сияющем золотом, великие таинства, торжественные обряды, горячие проповеди о чудесах,— теперь, перед лицом надвигающейся смерти, казалось обидной фальшью. Куда девалась устремленность в заоблачную высь, в несуществующие чертоги рая?.. Все исчезло, как прекрасный мираж. Осталась страшная действительность. Громада океана с бесконечным голубым простором возбуждала только ненависть при мысли, что преодолеть такое расстояние на жалкой шлюпке невозможно. Даже солнце, лучезарное солнце, дарующее всему жизнь, превратилось в беспощадного инквизитора: оно палило, сжигало кожу, изнуряло тело, убивало душу. Неутолимая жажда все сильнее и сильнее потрясала организм. Бросал взгляд в раскаленное небо — ни одного облачка, хотя бы величиною с шапку, хотя бы слабая надежда на перемену погоды. Ничего! И в отчаянии липким языком облизывал потрескавшиеся губы.

Карнер и при таких условиях остался верен самому себе, хрипло заговорив:

— Молитесь, Лутатини. Может быть, для вас, по знакомству, милостивый всевышний творец сделает чудо и спасет нас всех. А мы вам за это свое месячное жалованье отдадим.

Лутатини, точно ничего не понимая, уставился в злое лицо Карнера.

— Молчишь, друг? Молчит и селедка, брошенная в бочку для соленья. Но ей и цена-то всего только один пенс,— издевался Карнер.

Рыжеголовый Кинче время от времени принимался ругать перстень с изумрудом.

Вдруг кто-то крикнул:

— Акула!

Шлюпка остановилась. Все поднялись на ноги и начали смотреть за борт. Перед ними действительно оказалась акула — акула-людоед, или, как ее иначе называют, голубая акула. Она напоминала собою сигару метра в четыре длиною. В сопровождении двух небольших рыбешек — лоцманов — она, виляя хвостом, мирно уплывала и снова возвращалась, то уходя вглубь, то поднимаясь к поверхности. Бросили за борт кусок консервированного мяса. И в прозрачной воде, как два сверкающих кинжала, метнулись к добыче лоцманы. Вслед за ними темным веретеном шарахнулась акула. Прежде чем поймать кусок мяса, она перевернулась на спину, показывая свое беломраморное брюхо. И тут только увидели, как она раскрыла свой страшный поперечный рот, унизанный несколькими рядами острых зубов. Еще раза два бросали ей мясо. Она обнаглела — близко приплыла к лодке и остановилась на глубине одного фута. Ее маленькие глаза с подвижными веками, жутко мигая, с жадностью смотрели на моряков.

Для Сайменса наступил удобный момент продемонстрировать свое преимущество перед матросами. Он вытащил револьвер и приказал то же самое сделать старшему механику и третьему помощнику. Все трое прицелились в акулу. Выстрелы для нее настолько были неожиданны, что она высоко взметнула свой гибкий хвост и, словно веслом, ударила им по воде, обдав шлюпку брызгами.

Акула скрылась.

Теперь внимание всех было сосредоточено на бочонке. Никто ни о чем не хотел думать — лишь бы скорее получить живительную влагу, чтобы смочить пылающий рот.

Зато думал за всех Сайменс, крепко думал. Перед ним стояла трудная задача: то, на что он решился, может немедленно вызвать катастрофу, но это же может и отодвинуть ее на целые сутки. Продолжая держать револьвер в правой руке, он криво усмехнулся запекшимися губами и, как бы вспомнив что-то, заговорил:

— Кинче!

— Есть!

— Тот перстень, который ты собирался утопить в океане, не похож ли он на мой, вот на этот?

Он приподнял левую руку и согнул пальцы, чтобы яснее видели все сверкающий изумруд. Команде был брошен вызов. Матросы знали, что первый штурман, несмотря на свою самую заурядную внешность, обладал непоколебимой волей и решимостью. Если нужно будет, он пустит в человека пулю, не дрогнув ни одним мускулом. Все зависело от ответа Кинче. А тот, не ожидавший такого вопроса, молчал, словно обдумывая, что сказать. В напряженной тишине проходили секунды ожидания. Домбер первый потянулся к веслу, некоторые матросы последовали его примеру. Остальные, откачнувшись от рыжеголового Кинче, сжались и не сводили глаз с револьвера. Лишь Лутатини весь подался вперед, вытянул шею, нахмурил лоб.

— Да, да, сеньор Сайменс, очень похож! — вдруг громко закричал Кинче и сразу осекся под тяжелым, тусклым взглядом первого штурмана.— Впрочем, не очень похож...— продолжал он уже слабым голосом.— Мой перстень совсем не такой...

Он нагнулся и, глянув на свои ладони, удивленно воскликнул:

— Черт возьми! Какие мозоли вздулись! Пока доберемся до берега, совсем руки изувечишь...

Все облегченно вздохнули. Сайменс внутренне торжествовал: дело закончилось без выстрела. Победа была на его стороне. Он уже хотел было спрятать в карман свой револьвер, но вдруг вскочил Лутатини и, глядя на первого штурмана, заговорил обрывающимся голосом:

— Вы хотели запугать нас? Мы не боимся!

Изможденное лицо его судорожно задергалось. Он тяжело дышал, сверкая черными провалившимися глазами. Быстро распахнул синюю рабочую куртку и, стуча кулаком в грудь, исступленно захрипел:

— Вы уже раз стреляли в меня! Не промахнитесь теперь! Вот мое сердце! Бейте!

На этот раз сам непоколебимый Сайменс смутился. Положение его оказалось критическим, он, балансируя, стоял на острие штыка. Малейшая ошибка в его по-

ступках — и все погибнет, все полетит прахом. Но так продолжалось только несколько мгновений. Стараясь сохранить хладнокровие, он сказал:

— Парень, вероятно, потерял рассудок.

Некоторые матросы сейчас же подхватили:

— Это верно. Лутатини с ума сошел.

Лутатини, шатаясь, пытался еще что-то кричать, но его, к удивлению всех, толкнул Карнер:

— Заткнись, друг, и сиди смирно!

Лутатини свалился на дно шлюпки. Вспышка его прошла.

Он беспомощно застонал, прося пить. Ему первому дали несколько глотков воды.

Потом другие потянулись к живительной влаге. Всем делили ее поровну — офицерам и матросам.

Каждый бережно получал свою порцию и выпивал медленно, маленькими глотками, чтобы дольше смачивать нестерпимую сухость во рту и в горле.

Волнение среди матросов на время прошло, сменившись необычайной усталостью.

Первый штурман, спрятав револьвер, заговорил просто и серьезно:

— Ребята! Сегодня утром мы видели еще одно судно впереди нас. Оно прошло от нас настолько близко, что с его мачты, если бы только сидел там человек, можно было заметить нашу шлюпку. Я верю, что мы будем подобраны каким-нибудь кораблем. Случится ли это завтра, сегодня или через час, не знаю. Кроме того, мы можем еще рассчитывать и на перемену погоды.

При последних словах зашевелились головы, оглядывая горизонт и пылающую высь. Небо было чистое и прозрачное.

Саименс продолжал:

— Да, да, сегодня полный штиль и нестерпимая жара, а завтра — кто может сказать, что будет завтра? Разве кто запретит подуть сильному ветру? Мы тогда поставим паруса и полетим к берегу, точно на крыльях. Наконец может пойти дождь, и мы будем пить свежую воду, сколько влезет. Разве так не может случиться?

Словно увлеченные красивым видением, матросы обрадованно крикнули, облизывая сухие губы:

— Может!

Сайменс с минуту помолчал, обводя всех потускневшим взглядом, и снова начал:

— У нас воды — десять литров. Только десять литров на двенадцать человек! Не выпить ли нам ее сейчас же всю сразу? Но тогда через каких-нибудь двенадцать часов, если только за это время мы не будем спасены, для многих начнется агония, самая ужасная, какую только можно себе представить. Или же вооружимся терпением и растянем этот жалкий остаток воды еще суток на двое? Правда, в последнем случае нам предстоят дьявольские пытки. Может быть, не все выдержат это, но зато мы в четыре раза больше будем иметь шансов на спасение. Что вы скажете на мое предложение?

Вопрос был поставлен ребром — жуткий вопрос. Матросы, понурив головы, молчали.

— Я жду ответа,— понукал штурман.

Нудно прохрипели два-три голоса:

— Не знаем. Решайте сами.

— Хорошо! — сейчас же подхватил Сайменс.— Воды выдавать на каждого по четверти литра в день!

На это никто ничего не сказал.

Из паруса устроили тент, прицепив его к мачте и подставив под него весла. Отдыхали в тени, вялые и полусонные. Им ничего не оставалось, как только ждать случайного счастья.

Снова появилась акула, но теперь она держалась более осторожно и близко к шлюпке не подплывала.

XVIII

Эта ночь ничем не отличалась от предыдущих ночей, но на людей она действовала уже более удручающе. Гребцы настолько были обессилены, что сменялись в работе через каждые полчаса. Слабели удары весел, рассыпая в воде зеленовато-синие искры ночесветок. Шлюпка № 1 точно отяжелела за эти дни — так медленно подвигалась вперед.

Как и другие, Лутатини, страдая от жажды, не мог заснуть. Лишь на короткое время, склонив голову, он забывался. И тогда представлялись ему бассейны с чистой водой, сверкающие фонтаны, журчащие ручьи. Стоит сделать только один шаг — он будет блаженствовать,

утоляя жажду. Он порывисто поднимал голову — и все исчезало. Вместо заманчивого видения перед ним расстилалась неподвижная океанская равнина, залитая лунным сиянием. Звезды теряли свою яркость, как будто уходили в глубь неизмеримого пространства. Кругом, насколько хватал глаз, не было ни одного признака жизни. Чтобы не мешать телу соприкасаться с влажным воздухом, матросы и администрация были раздеты догола. За исключением гребцов, одновременно сгибавших свои спины, остальные застыли в разных позах. Все молчали, напоминая собою призраки. Казалось, шлюпка плывет в бесконечность мертвого царства. И даже одинокая луна, совершая свой далекий путь, смотрела с тоскою, как сирота.

В довершение всего поваренок Луиджи начал бредить. Он вскакивал, кричал, порывался куда-то бежать, но его удерживали матросы. Ему сверх нормы дали рюмку пресной воды и окатили морской водою. Не помогло.

Он начал буйствовать. Ему связали руки и ноги и положили его на дно шлюпки.

Глядя на звезды, он вопил:

— Мама, зачем столько свечей? Мне жарко! Мама, потуши! Я горю!.. Ой, душно!..

Эти хрипящие стоны угасающего человека усиливали уныние других.

Акула продолжала преследовать шлюпку; когда переставали грести, она приближалась к борту, распространяя вокруг себя, словно электрические искры, фосфоресцирующее свечение. Это свечение гасло, как только она оставалась неподвижной. И тогда, словно из бездны, смотрели на шлюпку ее глаза, горевшие двумя зловещими огоньками.

— О гадина! — вскрикивал матрос и ударял веслом по воде.

Акула на время исчезала, чтобы потом появиться с другого борта. Она обладала редкой настойчивостью, как будто знала, что люди обречены на гибель и что рано или поздно для нее здесь будет добыча.

От этих горящих глаз у Лутатини сжималось сердце.

Невзирая ни на что, каждый следил за бочонком с оставшейся водою, боясь, как бы без него не выпили ее другие.

Поваренок то плакал, то смеялся, кусая губы и распухшим языком слизывая с них кровь. На заре у него началась агония. Лицо стало черным, как чугун. И в то время, когда Сайменс направил свой секстант на восходящее солнце, Луиджи вытянулся и затих. Прекрасные его глаза, так восторженно смотревшие на мир, закрылись навсегда.

Немая скорбь нависла над шлюпкой.

Сайменс, покончив с вычислениями, взял блокнот, заменявший ему вахтенный журнал, и отметил в нем первую жертву путешествия. Он только мельком взглянул на старого Гимбо, приподнявшего мертвое тело, но не сказал ни слова.

За бортом раздался всплеск.

— Прощай, молодой моряк!

Гимбо произнес это дрогнувшим голосом. Дряхлое лицо, обросшее седой щетиной, болезненно сморщилось. Он как будто хотел заплакать, но из сухих и воспаленных глаз нельзя было выдавить ни одной слезинки.

Лутатини, будучи еще подростком, много читал о путешествиях. Он знал, как в море, не имея пресной воды, люди сходили с ума. Теперь он видел это собственными глазами. Настанет час, когда его рассудок начнет меркнуть. Может случиться, что он акулу примет за папу римского и бросится к ней под благословение. А вместо благословения его кости захрустят в зубастой пасти этой прожорливой твари. Вспомнив о папе римском, он сейчас же с каким-то особенным озлоблением мысленно воскликнул:

«О наисвятейшее, непогрешимое двуногое существо! Хотел бы я видеть, как бы ты стал вести себя, очутившись в моем положении! Вместо льстивых молитв ты, наверное, изрыгнул бы, как рвоту, самую бесстыдную брань на своего милосердного бога...»

Мысли Лутатини вдруг приняли другое направление. Где находится мировой разум, управляющий всей вселенной? Гибель молодой и невинной жизни и в то же время торжество морского чудовища — это казалось нелепым. А чем, собственно говоря, воюющее человечество со всеми его субмаринами, ядовитыми газами, аэропланами и другими орудиями истребления лучше акул?

Дальше Лутатини запутался. Сознание его помутилось, как взбаламученная вода в болоте. Он работал веслом, с лопасти которого, как граненые бусы, падали брызги, жарко загораясь под лучами солнца. Оставалось только невыносимое ощущение сухости во рту, в горле, в легких. Несмотря на усиливающийся зной, его начинало лихорадить.

Саймене не мог не заметить, что после того, как выбросили за борт Луиджи, матросы все враждебнее стали смотреть на корму. Но он все принимал как неизбежное и, сам сгорая в безжалостных лучах, по-прежнему оставался спокойным. Если не подвернется счастливый случай, то как ему изменить течение судьбы, угрожающей разыграться бойней на маленьком пространстве шлюпки? Он распорядился:

— Боцман, выдать всем по рюмке воды!

Часов в восемь утра старший механик Сотильо, оглядывая в бинокль горизонт, сказал:

— Впереди, слева, судно.

Это сообщение радостью пронизало сердце. Небольшое судно, приближаясь, становилось видимым и для невооруженного глаза. Казалось, оно направлялось прямо на шлюпку. Последняя, в свою очередь, повернула на сближение. Гребцы сильнее навалились на весла. И вдруг — что такое случилось? Судно быстро начало уменьшаться в размерах, точно удалялось, скрываясь за горизонтом.

Первый штурман сказал:

— Странно, что совершенно нет дыма. Я полагаю, что это подводная лодка. Другого объяснения нельзя дать.

Судно исчезло совсем, как обманчивое видение.

Опять нудно заскрипели уключины. Гребцы слабо двигали веслами, в смутной надежде, что если это на самом деле была субмарина, то она может вынырнуть где-нибудь поблизости. И действительно, через некоторое время разом несколько голосов крикнули:

— Перископ! Перископ!

— Где?

— Вот, вот, за кормою!

Перископ, сверкая зеркальным глазом, торчал из воды на расстоянии каких-нибудь полутораста ярдов.

Какой из воюющих сторон принадлежит эта субмарина? Может быть, это была та самая, что потопила их пароход? Воды Атлантического океана скрывали эту тайну. Да это и неважно было. Под чьим бы флагом она ни находилась, она должна спасти людей от гибели.

Гребцы побросали свои весла в шлюпку. Администрация и матросы вскочили. На лицах появилось оживление. Волнуясь и протягивая к перископу руки, все заорали, словно субмарина могла их услышать:

— Спасите, спасите!

— Воды, воды!

— Какого же дьявола она медлит?..

А первый штурман жестами старался показать, что нужна вода.

Субмарина долго рассматривала шлюпку и сразу скрыла свой блестящий глаз.

Саймейс сделал правильное предположение: это была немецкая подводная лодка. Она не могла взять этих людей к себе, где помещение и воздух были строго рассчитаны на определенное количество экипажа. И нельзя ей было снабдить злополучную шлюпку водою, так как пришлось бы обнаружить свою национальность. Вот почему она просто скрылась и, чтобы не показать своего курса, ушла в глубину океана. Такие соображения первый штурман высказал вслух, обращаясь к старшему механику Сотильо.

Карнер вставил:

— Да, от войны не жди помощи... там, где ей невыгодно это.

Только что он произнес эту фразу, как с ним случилось что-то неладное. Чахоточное, костлявое, в сухих морщинах лицо его вдруг потемнело, словно от напряжения. Серые глаза ушли под брови, налились безумием. Ухватившись одной рукой за банку, на которой он сидел, а другой — за борт шлюпки, он запрокинул назад голову, как будто увидел в знойной глубине неба что-то страшное. В груди у него заклокотало. С усилием прохрипел:

— Проклятие!..

Вместе с этим словом на искривленных губах появилась густая кровь. Двумя темно-красными струями она липко потянулась по подбородку. Он внезапно склонил

голову вперед, приложил левую руку ко рту и, сейчас же откинув ее, недоверчиво уставился на обагренную свою ладонь. Зачем-то медленно и устало, сверху вниз, провел запачканной ладонью по лицу, словно хотел что-то смахнуть с него. В легких у него заклокотало сильнее. Он опять приложил ко рту ладонь, сложивши ее совочком, и начал звучно схлебывать с нее, жадно глотая собственную кровь.

Лутатини, как и другие, окаменело смотрел на это страшное зрелище.

Карнер хотел встать, но, обессиленный, свалился спиною на борт.

— Что с вами, дорогой товарищ? — спросил Лутатини, нагибаясь над ним и поддерживая его за плечи.

В мутных глазах умирающего на мгновение прояснилось сознание. Казалось, что он узнал Лутатини. Кровавые губы его зашевелились и прохрипели чуть слышно:

— Я напился, друг...

Кто-то крикнул:

— Воды ему!..

В шлюпке засуетились. Карнер задергался в предсмертных конвульсиях. Почему-то никто не решился выбросить труп за борт, а сунули его под банки. Он лежал на дне шлюпки, свернувшись калачиком, как будто отдыхал от непосильной работы.

Матросы разразились проклятиями и страшной руганью. Потом как-то сразу остыли и, рассаживаясь в шлюпке, зловеще замолчали. Исчезла последняя энергия. И уже никакими силами, никакими угрозами нельзя было бы заставить гребцов взяться за весла. Да никто и не пытался этого сделать. Всякое душевное волнение, которое могло бы убить ощущение голода, только усиливало жажду. А тут было от чего прийти людям в возбуждение. Словно обезумев, блуждающими глазами они оглядывали океан и ничего не видели, кроме пламенеющей синевы и обдающего зноем солнца. Во рту было сухо, как от горячей золы.

— Боцман, выдать по три рюмки воды! — приказал первый штурман.

Он вытащил из бокового кармана своего кителя блокнот и аккуратно записал в нем о встрече с субмариной, указав при этом время с точностью до одной минуты. От-

метил вторую жертву. Потом, немного подумав, он добавил:

«Пресной воды осталось не больше четырех-пяти литров. Управлять людьми стало трудно. К вечеру, вероятно, многие начнут сходить с ума. Командный состав все время находится под угрозой бунта».

Шлюпка простояла на одном месте до четырех часов.

В этот день люди быстрее начали угасать. Обливание морской водой больше не помогало. Словно внезапно потеряв свою молодость, все превратились в иссохших стариков с ввалившимися щеками, со сморщенной кожей. Посинели губы, у некоторых распухший язык заполнил весь рот. Под развешенным брезентом, в тени, одни сидели, другие лежали, учащенно дыша, убитые и безмолвные, словно их коснулось земное тление. И все-таки инстинкт самосохранения заставил людей снова взяться за весла и двигаться к цели. Жадно смотрели вперед, надеясь увидеть контуры африканских берегов или мрачный гранитный массив Гибралтара.

С этого момента в носовой части шлюпки началось оживление. Вокруг Кинче происходил таинственный шепот. Из отдельных слов Лутатини понял, что здесь затевается заговор против кормы. Ну что же! Он был на стороне команды, он давно заразился ее ненавистью. Только бы скорее прийти к какому-нибудь концу! Какой-то матрос, которого он даже не узнал, шепнул ему на ухо:

— Как вы, Себастьян, смотрите на это дело?

— На какое дело? — задыхаясь, переспросил Лутатини.

— Если начальство за машинку взять и за борт?

Лутатини, охваченный животной яростью, не задумываясь, ответил:

— Я первый начну.

Матрос возразил:

— Этого не нужно делать. Вы слишком слабы. Начнут без вас.

Лутатини подумал: «Спасательная шлюпка скоро превратится в шлюпку смерти». Это прозвучало в его мозгу страшной иронией. Раза два ему пришлось садиться на банку и грести, но потом он настолько ослаб, что не мог уже двигать веслом. Спина не сгибалась, руки и ноги дрожали. Его прогнали на самый нос шлюпки, что-

бы не мешал другим. Когда он уселся и привалился к борту, ему показалось, что он никогда уже больше не встанет. Голова отяжелела и так давила плечи, как будто он держал на них огромный жернов. Рот с почерневшими губами, с густой, словно клейстер, слюной раскрылся, хватая горячий воздух. Бешено прыгал пульс.

— Дайте воды...— время от времени хрипло повторял он, с трудом ворочая распухшим и прилипающим к нёбу языком.

Минуты проходили или часы, он не понимал. Всплески воды, доносившиеся из-за борта, разрывали мозг. Помутившимися глазами он смотрел на бочонок, ожидая своей порции. Кроме живительной влаги, для него теперь ничего не существовало: ни морали, ни чести, ни храмов, ни папы римского, ни совести, ни бога, ни мадонны. Все эти великие слова, когда-то приводившие в трепет его горячее сердце, здесь стали пустыми и ненужными. Другое всплывало из темных, как ночь, глубин души. Он прикидывал в уме: во время схватки могут погибнуть с той и с другой стороны человек десять и даже больше, а тогда, если только уцелеет, он с оставшимися матросами, шагая через трупы погибших, бросится прямо к бочонку, где хранится то, что сейчас стоит дороже всех драгоценностей в мире. И мысль об этом,— мысль уродливая, как поднявшийся со дна моря труп,— нисколько не испугала его.

Матросы выработали план нападения. Кинче и здоровенный Домбер пересядут на первую банку от кормы — ближе к начальству. Когда наступит удобный момент, один из них вскочит и заорет: «Акула!» Это послужит сигналом для остальных, чтобы броситься всем на корму. Домбер ударит веслом первого штурмана, а Кинче — третьего штурмана. А тогда легко будет разделаться со старшим механиком и боцманом.

Сайменс давно уже заметил, что среди матросов происходит какой-то сговор. Подозрительно было и то, что они совершенно перестали ругаться, точно примирились с ужасными муками и решили покорно ждать смертного часа. Но вместе с тем взгляды их становились все более резкими, загораясь моментами неукротимой ненавистью. Он устало оглядел пустой океан — никакой надежды на благополучный исход из создав-

шегося положения... Как продержаться хотя бы до вечера? Он приказал выдать всем по рюмке воды. А потом, когда с этим было покончено, он вытащил из кармана револьвер и спокойно, словно речь шла о кружке пива, заговорил:

— Нас все время преследует акула. А я слышал, что иногда она нападает на шлюпку. Надо на всякий случай приготовиться.

Сайменс обратился к старшему механику и третьему штурману:

— Советую и вам то же сделать. И если только наступит опасный момент, то стреляйте, не дожидаясь моего распоряжения. Зарядов хватит.

Штурман Рит послушно вытащил револьвер, но Сотильо даже не пошевелился.

На носу шлюпки сейчас же зашептали:

— Вот проклятые,— догадались!

— Все равно их головы скоро треснут, как пивные бутылки.

Старый Гимбо, обращаясь к корме, сказал вслух:

— Напрасно вы, джентльмены, приготовили револьверы. Я более тридцати лет плаваю на судах. При всяких обстоятельствах бывал. И этих акул перевидывал пропасть. Да чтобы какая-нибудь из них нападала на шлюпку — никогда не слыхал.

Сайменс бросил на него быстрый взгляд.

— Жаль, не спросили, старина, твоего глупого совета.

Гимбо не остался в долгу:

— До конца года еще далеко. Неизвестно, кто умнее окажется.

Между командным составом и подчиненными все сильнее закипала вражда, безмолвная и жуткая. Правда, та и другая стороны только предостерегающе переглядывались, но у многих глаза горели таким ожесточением, что о примирении не могло быть и речи. Тревога на шлюпке усилилась.

Старший штурман следил за командой, держа браунинг наготове. Он думал лишь о том, чтобы не пропустить момента опасности. Но для других его изнуренное лицо с потрескавшимися губами было по-прежнему непроницаемо, как морское дно. У третьего штурмана

дрожали колени. Его торчащие уши, казалось, еще больше выросли от худобы. Все предметы перед ним двоились. Он умрет раньше, чем обрушится удар весла на его голову. Старший механик Сотильо никогда не считал себя боевым человеком, а тут тем более, по его расчетам, было бесполезно вытаскивать оружие из кармана. Понурив голову, он мысленно прощался с женой и детьми, оставшимися в Буэнос-Айресе. Грузная его фигура, ослабев, еле удерживалась на сиденье кормы. Боцман растерянно оглядывался, прикидывая в уме, на чьей стороне будет перевес. Здесь, на корме, было огнестрельное оружие — дело серьезное, а там команда превышала своей численностью. Затем — если бы матросы находились на расстоянии ярдов двадцати, то ничего не стоило бы, пока они будут приближаться, перестрелять их всех, как поросят. А в данном случае они сидят рядом. Нападение может быть таким внезапным, что не помогут и браунинги. Не переметнуться ли ему во время свалки на ту сторону? Но разве матросы поверят в его искренность? Другое дело, если он первый бросится на старшего штурмана и вырвет у него револьвер. Это тем более легко сделать, что Сайменс сидит с ним рядом. Да, но в это время третий штурман может влепить в него пулю! Вопрос не поддавался разрешению. И боцман, поддерживая одной рукой руль, а другой сжимая в кармане морской нож, безнадежно пожимал крутыми плечами.

Произошла смена в работе. Домбер медленно пробрался к корме и, согнув голову, грузно уселся на первую банку. Прежде чем взяться за вложенное в уключину весло, он безуспешно поплевал пересохшим ртом на руки. Вид у него был угрожающий. Он смотрел глазами разъяренного буйвола. Рядом с ним сел Кинче. Этот весь съежился и бросал взгляд на револьвер третьего штурмана исподтишка, воровски.

У Сайменса только в первый момент чуть-чуть дрогнули ресницы. Потом он весь внутренне напрягся. Тусклые глаза сделались глубже и осветились огнем. Все внимание он сосредоточил на первом гребце, следя за каждым его движением и держа наготове браунинг.

На той и другой стороне люди настороженно ждали, боясь прозевать те секунды, в течение которых будет решаться судьба каждого человека. Все почуяли

призрак смерти. Она присутствовала здесь на шлюпке, никому не зримая. Чья будет первая очередь? Знали лишь одно: чьи-то жизни скоро угаснут, как лампады от порыва ветра.

Боцман, впиваясь зоркими глазами вперед, вскрикнул:

— Какой-то предмет на воде!

Матросы, следившие все время за кормою, сразу все оглянулись.

На курсе шлюпки действительно обозначалось что-то круглое.

— Посмотрите, боцман, в бинокль,— приказал старший штурман, все еще не сводя глаз с Домбера.

Спустя полминуты боцман сообщил:

— Как будто человек плавает. А дальше — еще. Много их.

Больше никто из матросов не обращал внимания на корму шлюпки. Взоры всех были устремлены вперед. Теперь старший штурман, никого не опасаясь, сам мог взять бинокль. Он смотрел долго и внимательно, пока на лице его не появилась гримаса отвращения.

Впереди все яснее вырисовывался человек. Грудь его была над водою,— очевидно, он за что-то держался. Голова запрокинулась назад. Все были крайне удивлены, когда увидели, что неизвестный пловец смеется, оскаливая белые зубы.

— Должно быть, веселый парень,— сказал машинист Пеко, чтобы нарушить тягостное молчание.

— Обрадовался, бедняга, что нас увидел,— добавил какой-то матрос.

У Лутатини, как и у других, возникали вопросы: откуда взялся этот человек? Как может он смеяться, находясь в одиночестве среди обширных вод океана? А может быть, он сошел с ума?

По мере того как приближались к пловцу, на шлюпке росло удивление, переходя в непонятный страх. Человек держался на поверхности воды благодаря пробковому нагруднику. Руки у него были закинуты за шею. Он не кричал, не шевелил головою. Он только смеялся беззвучным смехом.

— Это мертвец...— мрачно прохрипел кто-то.

Гребцы перестали работать веслами. Шлюпка по инерции медленно подвигалась вперед. Все стали на

ней и, охваченные жутким изумлением, молча уставились на мертвеца. Он тоже, запрокинув назад голову, смотрел на них темными впадинами вытекших глаз. Раскрытый рот сверкал ослепительной белизной зубов. Казалось, что он сейчас же заговорит и расскажет страшную тайну о себе.

Старший штурман распорядился:

— Надо обыскать его карманы. Может быть, найдутся в них какие-нибудь документы.

Но в это время какая-то тень мелькнула около мертвеца. Он вдруг зашевелился, словно услышал распоряжение штурмана, и быстро начал погружаться в глубину океана. Казалось, он хотел скорее скрыться от людей. Это произвело на всех потрясающее впечатление.

— Он живой!..— простирая перед собой руки вскрикнул испуганно Лутатини.

— Акула...— догадался старый Гимбо.

Шлюпка тронулась дальше. Спустя некоторое время она остановилась среди партии трупов, плавающих недалеко друг от друга. Их было около четырех десятков. Одни держались на спасательных кругах, другие были обвязаны пробочными нагрудниками. Все они подверглись разложению, распространяя вокруг себя отвратительное зловоние. У одного лопнула на голове кожа и расползлась, обнажив белый череп. Кто-то, в фуражке с золотым вензелем, упрямо склонил голову, точно хотел разрешить трудную задачу жизни. Некоторые застыли с разинутыми ртами, с таким видом, как будто неслышно продолжали взывать о помощи. Чернокожий негр, словно в отчаянии, вцепился руками в свои кудрявые волосы. Какой-то моряк, находясь внутри спасательного круга, положил голову на его край и как будто заснул. Другие в последней агонии стиснули челюсти, задохнулись с искаженными лицами, точно озлобленные против всего мира. От приблизившейся к ним шлюпки пошла легкая волна. Мертвецы чуть-чуть заколебались, осторожно повертываясь в ту или другую сторону, залитые косыми лучами. Казалось, что они проснулись и вот-вот своими отчаянными воплями, смешанными с безумным хохотом, взорвут тишину океана. На шлюпке все застыли в немом оцепенении. Никто не спрашивал, откуда появились здесь эти люди. На спасательных кругах мож-

но было прочитать надпись: на белой половине название судна — «Надежда», на красной половине порт его приписки — «Бордо». Для каждого было ясно, что за несколько дней здесь произошла одна из тех ужасных катастроф, какие за время войны происходили на разных морях почти каждый день. Очевидно, подводная лодка потопила французский пароход без предупреждения. Экипажу его некогда было спускать шлюпки. Люди бросались за борт, ища себе спасения в водах.

Гребцы, словно подгоняемые страхом, навалились на весла изо всех сил.

Лутатини смотрел за корму, раскрыв рот, не мигая, безжизненно посеревший, сам похожий на восставшего из гроба. Мертвецы, покачиваясь, отодвигались в дрожащую синь марева. Что это — дьявольское наваждение? Может быть, он бредит? Нет, нет, это страшная действительность, порожденная войной, это только одно из явлений того взаимного истребления, каким уже в продолжение трех лет занимается обезумевшее человечество. Лутатини сначала озяб, а потом все тело его охватило таким нестерпимым жаром, точно он находился не в шлюпке, а в котле с кипящей смолой. Кровь в жилах густела; глаза настолько высохли, что больно стало моргать. В потрясенном мозгу проносились обрывки мыслей. Он тупо взглянул на обоих штурманов, сидевших на корме. Для чего они держат наготове револьверы? Ах, да, ведь должен еще наступить последний акт в этой разыгрывающейся трагедии, и черный занавес небытия навсегда опустится над жизнями. Да и не все ли равно ему сейчас, когда душа его и без того скручивалась, как древесный лист перед огнем? Началась судорожная икота. Неужели конец?

Постой! Почему вокруг него поднялась суматоха? Все загалдели, вытянули шеи, впились взорами по направлению носа шлюпки. Он тоже повернул голову и замер: там, на горизонте, вырастал дым. Вот уже показались мачты. Какое-то судно шло прямо навстречу шлюпке. Неужели это не сон?

Сеньор Сайменс, засунув свой браунинг в карман, приказал третьему штурману:

— Уберите свою игрушку.

Расстояние между шлюпкой и неизвестным судном все уменьшалось.

Старший штурман, смотревший все время в бинокль, сообщил:

— Французский истребитель.

Этого было достаточно, чтобы угасающие люди снова обрели жизнь. Двухтрубный истребитель разворачивал поверхность океана и, отбрасывая в стороны вздувающиеся водяные валы выше своих бортов, несся прямо на них, густо оперенный облаками черного дыма. Каково же было удивление, когда увидели на его борту своих людей, ушедших вперед на спасательной шлюпке № 2! Они стояли на палубе и размахивали кепками. Значит, план Сайменса удался. Все взглянули на старшего штурмана с неподдельной любовью, как на своего спасителя. Вырвались восторженные восклицания:

— Ловко же придумал наш старший штурман!

— Миляга парень!

— Я давно о нем так думал!

Истребитель, застопорив ход, начал спускать свои шлюпки. На шлюпке № 1 захрипели:

— Воды! Воды!..

В тот момент, когда помощь была уже близка, Лутатини почувствовал, что голова его будто налилась хмелем и что перед ним в оранжево-пламенном вихре завертелись все предметы: солнце, океан, истребитель, люди. Подкосились колени. Он мягко опустился на дно шлюпки. Сразу стало темно, как будто его накрыли непроницаемым плащом.

XIX

Руководимый лоцманом, большой голландский грузовик, бурля мутные воды роттердамской гавани и предупреждая ревущими гудками встречные суда, медленно подвигался вперед — к причальной стенке, где возвышались огромнейшие здания складов. На его борту находились и моряки с погибшего «Ориона». Три дня прошло с тех пор, как подобрал их французский истребитель. Он оказал им первую помощь и передал их на встречное судно, а сам, имея назначение военно-оперативного характера, унесся в океанскую даль. Орио-

новцы очень были довольны, что они попали под нейтральный флаг Нидерландов и что пароход возвращался в свой порт. За три дня они успели отдохнуть и поправиться. Правда, лица их все еще были худы, но кожа на теле приобрела прежнюю эластичность. Ласкаемые морским ветром, они теперь стояли все на палубе, бросая по сторонам изумленные взгляды, словно не веря в свое спасение. Позади остались лютые пытки, ужас и смерть, а здесь кругом кипела волнующая жизнь. По реке Маас, загороженной от набегов океанских волн каменными молами и наносными островами, с уходящими в стороны бассейнами и многочисленными каналами,— в этом обширном водоеме скопились тысячи разных кораблей. Тут были пассажирские пароходы, грузовые транспорты, буксирные катера, рыболовные тральщики, парусно-моторные шхуны, баржи. К этому примешивались плавучие краны, доки, элеваторы. И все это при надобности передвигалось с одного места на другое. Между корпусами океанских великанов, как букашки, проворно шныряли моторные лодки. Гавань, работая, скрежетала железом, перекликалась человеческими голосами, разнотонно горланила паровыми гудками. Здесь пахло Африкой, Индостаном, Цейлоном, Азорскими островами.

Лутатини также стоял на палубе. Синее рабочее платье на нем было грязно, в пятнах масляной краски, сабо на ногах искривились, давно не чесанные волосы на голове торчали спутанными прядями. Он не совсем еще поправился, но это не мешало ему всем своим существом ощущать радость жизни. Черные глаза его необыкновенно засияли, заметив среди других судов аргентинский пароход. К этому пароходу причалил плавучий элеватор и, запустив в объемистые трюмы четыре рукава, словно исполинские хоботы, высасывал из него с гулом и с каким-то самодовольным сопением хлебные зерна. Сейчас же запечатлелась в мозгу другая картина: здоровенный голландец, вооружившись длинным крюком, проталкивает свою баржу между судами; жена в это время отдает косой парус, а дочь, десятилетняя девочка с распущенными локонами, стоит на руле. От старого Гимбо Лутатини узнал, что такие баржи можно встретить только в Голландии. Они обходятся без буксиров,

передвигаясь по рекам и каналам при помощи парусов или мотора. На каждой устроена целая квартирка в три-четыре комнаты, поражающая своей чистотой, с коврами на полу, с гардинами и цветами на окнах. Какая-нибудь одна семья управляет такой баржей. Некоторые люди родятся здесь, вырастают и проводят всю жизнь.

— Вот бы куда мне попасть на старости лет! — мечтательно заключил свои пояснения Гимбо.

Лутатини волновала близость берега. Мимо многочисленных мачт и дымовых труб он, улыбаясь, бросал свой взор вдаль — туда, где из-за черепичных крыш показывались зеленеющие кроны деревьев. Пусть это была чужая земля! Он смотрел на нее с радостью, как второй раз родившийся для жизни.

Среди орионовцев, стоявших на палубе, не было только одного — старшего повара Прелата. Он лежал в это время в матросском кубрике и нудно стонал, жалуясь на какую-то внутреннюю боль. У него был вид умирающего человека. Впрочем, он мог бы сразу выздороветь, если бы только знал, что товарищи не помнут ему бока за недостаточное количество воды на шлюпке.

Голландский пароход стал к стенке лагом и закрепился толстыми пеньковыми шпрингами. С борта на стенку были сброшены сходни. На судно вошли портовые чиновники. После некоторых формальностей сходни заколебались под ногами орионовцев. Радостно волнующая дрожь пробежала по нервам. Казалось, что вступили в обетованную землю.

Повара отправили на извозчике в больницу, а остальные орионовцы во главе со старшим штурманом отправились к аргентинскому консулу.

Лутатини, шагая вместе с товарищами, с любопытством рассматривал новый для него город Европы. Роттердам, облитый солнцем, сверкал каналами, изразцовыми фасадами построек, зеркальными витринами магазинов. Ближе к центру движение увеличилось: велосипеды, автомобили, трамваи, автобусы и пестрые потоки людей. По-видимому, Голландия торговала бойко, вытягивая золото из воюющих стран. Дорогой матросы наказывали Лутатини:

— Вы смотрите, друг, не подведите нас у консула.

Он ответил:

— Будьте спокойны. Сейчас между мною и вами никакой разницы нет. Я поступлю так же, как и вы.

— Вот за это одобряем вас.

На одной из улиц они свернули к двухэтажному дому, окрашенному в темно-красный цвет с белыми каемками. С фронтона смотрели на них фантастические рожицы. Над дверями красовался аргентинский национальный герб. Моряки смело вошли на крыльцо с широкими ступенями из мрамора, с зелеными перилами.

Приемная была просторная, с мягкой, обшитой кожей мебелью, с темно-коричневыми портьерами на дверях, с цветными коврами на полу. За письменными столами сидели чиновники, занятые своими бумагами. Каждый сохранял на своем лице выражение деловой строгости. Один из них, средних лет, в сером костюме, с прямым пробором на голове, спросил:

— Вам что угодно?

Сайменс заявил:

— Мы все с аргентинского парохода «Орион», потопленного в Атлантическом океане немецкой субмариной. Капитан взят в плен. Я был у него первым помощником. Мы хотели бы видеть консула.

Прилизанный чиновник скрылся за портьерами, но через две-три минуты вернулся обратно. Вслед за ним, держа сигару в правой руке, появился в приемной комнате старичок, тощий, сухопарый, в черном фраке. Это был сам консул. Остановившись, он сначала откинул назад голову, серую, как сигарный пепел, и посмотрел на штурмана и на остальных орионовцев сквозь очки, прилипшие к острому кончику носа. Потом голова его внезапно наклонилась вперед, словно ее дернули невидимым шнуром, и он еще раз, уже сверх очков, бросил взгляд на моряков. Вместо того чтобы расспросить подробнее о катастрофе, он, осведомленный прилизанным чиновником, первый заговорил, вскинув левую руку выше головы, заговорил быстро визгливо-скрипучим голосом:

— Это уже не первый случай, что немцы топят пароходы, плавающие под нейтральным флагом нашей страны.

Он повернулся к прилизанному чиновнику:

— Займитесь этим делом, сеньор Фарино. Нужно составить протокол. Я немедленно заявлю протест против такого способа ведения войны. Кроме того, необходимо

через телеграфное агентство дать сведения в печать о таком возмутительном случае.

Старший штурман спокойно возразил:

— Дело ваше, господин консул, но я думаю, что на этот раз ваш протест едва ли достигнет желаемой цели.

— Как? Почему? — взвизгнул консул и так махнул правой рукой, что с сигары свалился на ковер пепел.

Саймекс в коротких словах сообщил ему о роли радиотелеграфиста Викмонда и о тех тайных судовых документах, которые немцы взяли с «Ориона» с собою.

— Все равно я должен заявить протест. А вы подробнее сообщите о гибели парохода сеньору Фарино. Он знает, как нужно составить протокол. У вас какие-нибудь документы остались?

Саймекс достал из бокового кармана своего кителя бумаги, выданные французским истребителем и голландским пароходом. Первый удостоверял, как подобрал орионовцев, умиравших от недостатка воды на спасательных шлюпках, а второй — о доставке их в Роттердам. Присоединив к бумагам свои личные документы, он все это подал консулу и заявил:

— Судовая касса также забрана немцами. Весь наш экипаж остался без средств. А у некоторых нет и личных удостоверений. Я полагаю, что вы не откажете нам в просьбе удовлетворить претензии персонала и команды.

Матросы насторожились — дело дошло до самого главного.

— Да, конечно, это наша обязанность,— сказал консул и, мельком взглянув в документы, передал их прилизанному чиновнику.— Вы, сеньор Фарино, проверьте все бумаги и удовлетворите претензии моряков. Расходы должны быть заверены старшим штурманом и отнесены в счет той пароходной компании, которой принадлежал потопленный «Орион». Я тороплюсь. До свидания!

Консул скрылся за портьерами.

Началась обычная канитель. Долго составляли протокол о гибели «Ориона». Но матросов волновало другое: как будет вести себя старший штурман, когда они заявят о своих убытках? Не будет ли он доказывать, что у них не было никаких вещей? И какой вообще он даст о них отзыв? Все с нетерпением ждали этого момента. И вдруг Саймекс, словно угадав их мысли, сам

заговорил об этом, заговорил спокойным и уверенным тоном, не допускающим никаких возражений:

— Прежде всего я должен заявить вам, сеньор Фарино, что команда на «Орионе» была самая образцовая. Все обязанности выполнялись добросовестно. Между администрацией и командой не было ни одного конфликта, никаких трений. Весь экипаж наш как бы считался одной дружной семьей, несмотря на разницу положения начальства и подчиненных.

Матросы, слушая это, не верили своим ушам. Они стояли кучкой позади механиков и штурманов, затаив дыхание, грязные и рваные. То, что говорил о них первый штурман, которого они хотели убить, казалось так же невероятным, как если бы им сказали, что акула стала на защиту их интересов. А тот продолжал:

— Во время гибели корабля я не заметил никакого намека на панику. А затем, когда пересели на спасательные шлюпки, им пришлось много выстрадать от недостатка воды. Ведь недаром погибли у нас младший поваренок и один кочегар, а старшего повара сегодня отправили в больницу. Эти люди явились к вам почти с того света. И все-таки, при таких невероятных условиях, они безропотно работали на веслах. Я за много лет своего плавания впервые встречаюсь с такой великолепной командой. К сказанному должен еще прибавить, что у нас не было ни одного пьяницы. С таким моим отзывом, я полагаю, согласятся и мои младшие коллеги.

Саймене, повернувшись, строго посмотрел на второго и третьего штурманов.

— Совершенно верно, другого мнения и не может быть о команде,— с готовностью ответили оба штурмана.

— А вы что скажете, чиф? — спросил Сайменс старшего механика.

— Я вполне согласен с вашей оценкой команды,— подтвердил Сотильо.

Фарино лениво слушал, а сидевший с ним рядом стенографист быстро записывал показания.

Сайменс снова начал:

— Тем более досадно, что у таких добросовестных матросов пропало так много вещей. Все их сбережения лежат на дне океана вместе с пароходом. Осталось только то, что было надето на них,— грязное тряпье.

— А как обстоит дело с жалованьем? — осведомился сеньор Фарино.

— За исключением аванса, выданного им на берегу, они в пути ничего не получали.

Саймекс умолчал о тех деньгах, которые получила с него команда, когда стояли в бухте острова Ожидание. Матросы, недоумевая, тайком толкали друг друга. Откуда у него появилась такая жалость к ним? Нет ли тут какого-нибудь подвоха? Не могло этого быть — старший штурман был слишком серьезен и даже бледен. А Лутатини смотрел на бывшего своего врага, тараща глаза, как на непостижимое чудо. Этот человек совершенно сбил его с толку.

Приступили к описи убытков, понесенных командой при аварии судна. Матросы оживились. Заработала фантазия. Чего только у них не было! Чемоданы, одежда, белье, обручальные кольца, ножи, бритвенные принадлежности, часы, альбомы, самопишущие перья, фотографические аппараты, портсигары, золотые запонки и даже библии в переплетах. Если принять еще во внимание недополученное жалованье, то на долю каждого приходится сумма, считая на голландские деньги, около пятисот гульденов.

Когда очередь дошла до Лутатини, он мог только сказать, что у него погибли два чемодана. Потом у него перестал ворочаться язык.

За него выступил старый Гимбо и начал врать:

— Он у нас совсем больной. Сегодня только первый день, как он заговорил. Мы его даже хотели отправить в больницу. У него было вещей не меньше, чем у других.

А Саймекс добавил:

— Кроме всего, он сдал мне на хранение пять фунтов стерлингов. Это у нас самое влиятельное лицо. Он бывший проповедник. Может быть, этим и объясняется то, что вместо пьянства, как бывает на других судах, наши матросы занимались чтением библии.

Лутатини покраснел до корней волос. Ему хотелось крикнуть, что все это ложь. Он посмотрел на своих товарищей, как бы прося у них на это разрешения, но, встретив суровые взгляды, только беспомощно опустил голову. Как он может подвести тех, с которыми он вместе испытывал танталовы муки? Быть может, на их до-

лю впервые в жизни выпало такое счастье, купленное почти ценою жизни. Он молчал и только беззвучно шевелил тонкими губами, растерянный, напоминающий собою лунатика.

Меньше всех пропало вещей у самого Сайменса. Получилось впечатление, что он нарочно уменьшил свои убытки. А матросы как раз думали: если защищает их интересы, то уж насчет себя постарается. Но и тут их предположение не оправдалось. Он еще больше стал для них загадочным, как нераскрытая книга.

Часам к трем все расчеты были закончены.

Орионовцы, получив деньги, гурьбой вывалили на улицу. Несмотря на усталость, все шли весело и бодро, за исключением Лутатини, все еще находившегося под впечатлением переживаний в приемной консула. Так они прошли квартала два. Сайменс начал прощаться, пожимая всем руки. Его примеру последовали и другие из администрации. Дойдя до Лутатини, старший штурман похлопал его по плечу и сказал:

— Не унывайте, сеньор Лутатини. Раньше вы были мокрым петухом, а теперь стали человеком. У вас на небе одни порядки, а у нас на земле — другие.

У Домбера он спросил:

— Ну, как, дружище, чувствуете себя?

— Ничего! — ответил Домбер смущенно.

— Пошли бы со мною еще раз в плавание?

— Отчего же не пойти? — пробормотал Домбер, прикрыв густыми ресницами воловьи глаза.

Матросы все разом загалдели:

— Мы с вами готовы в огонь и в воду!

Сайменс ответил на это:

— Спасибо, ребята! Я рад за вас, что хорошо все кончилось.

Администрация направилась в гостиницу, а матросы — в бординг-хаус.

XX

Остаток дня прошел в хлопотах.

Обеспечив себя ночлегом в бординг-хаусе, матросы там же пообедали, причем, к удивлению хозяина, не выпили ни одной капли спиртного, словно решили оправ-

дать похвальный отзыв, какой дал о них старший штурман. За пищу и койки уплатили на всякий случай за две недели вперед. Потом отправились всей артелью по магазинам. Через каких-нибудь полтора-два часа у всех были в руках новенькие чемоданы, костюмы, головные уборы, ботинки и вообще все то, что полагается человеку, чтобы прилично одеться. Вымывшись в бане, прежнее свое грязное тряпье выбросили и нарядились во все новое. Оставалось только завернуть в парикмахерскую.

Лутатини ни в чем не отставал от своих товарищей. Когда цирюльник закончил над ним операции и снял с него салфетки, он крайне удивился, глядя в зеркало на свое отражение. Совсем еще недавно грязный, измызганный и жалкий, в своих деревянных сабо, он сразу превратился в изящного джентльмена в сером костюме, в белом воротничке, с темно-коричневым галстуком, сверкающим золотой булавкой. Загорелое и гладко выбритое лицо стало более мужественным, чем было раньше, до плавания, а подстриженные черные густые волосы с косым пробором, зачесанные немного назад, открывали его высокий и умный лоб. На тонких губах невольно заиграла восторженная улыбка. На момент, только на один момент, он почувствовал свое превосходство над остальными матросами.

Возвращаясь с матросами в бординг-хаус, Лутатини радостно ощущал твердость земли, загроможденной этажами каменных домов. Ноги его, обутые в блестящие ботинки, уверенно шагали по широким плитам тротуара. Корпус его выпрямился. Никогда раньше жизнь так не улыбалась ему. Он готов был обнимать и целовать встречающихся голландцев — такими милыми казались они. А их певучая горловая речь вливалась в уши, как ласкающая мелодия.

— Теперь, друзья, должны мы немножко отдохнуть, как полагается порядочным людям,— предложил Гимбо, когда вернулись в бординг-хаус.— А потом можно и по городу погулять.

Все согласились с таким предложением.

Комната, в которой находился Лутатини, была заставлена четырьмя койками. Вся меблировка состояла из одного стола и четырех табуреток. Вместе с ним поселились Кинче, Гимбо и Домбер. Остальные матросы раз-

местились в соседних комнатах, расположенных одна за другой вдоль узкого коридора. Все помещения, несмотря на чистоту, напоминали бы камеры тюрьмы, если бы на окнах были решетки. Но усталый Лутатини, не раздеваясь, с удовольствием повалился на одну из коек и проспал на ней часа полтора, как убитый, без всяких сновидений, пока его не разбудили товарищи. Он порывисто вскочил, оглядываясь. Казалось, что его сейчас позовут на вахту. Но палуба не уходила вверх и вниз, и стены не дрожали, как, бывало, борта на корабле. Он счастливо улыбнулся. Первою мыслью было сейчас же побежать на телеграф и уведомить своих родителей о своем чудесном спасении, но матросы отговорили:

— Какая разница, сию ли минуту дать телеграмму или немного позже? Не стоит разбивать компанию.

Недалеко от порта в Роттердаме есть одна улица, прославленная кабаками. По вечерам она заполняется моряками всех частей света. Пришла сюда и команда с погибшего «Ориона».

— Ребята, не смочить ли нам горло пивком? — спросил Гимбо.

Другие сейчас же подхватили:

— Хорошая мысль!

— Только не больше, как по одному стакану.

Кочегар Домбер, который выносил Лутатини из преисподней, как маленького ребенка, сказал, добродушно ухмыляясь:

— Я полагаю, что и наш друг сеньор Лутатини не откажется с нами выпить.

Лутатини не любил спиртных напитков, но сейчас ему хотелось поддержать перед другими свой престиж матроса. Он ответил улыбаясь:

— Да, да, я с удовольствием выпью.

Завернули в ближайший кабак. Когда пиво было подано, каждый взял в руку кружку и, выражая приветствие товарищам, предварительно стукнул ею о стол. Пили медленно, со вкусом.

У буфета на высоких круглых табуретках сидели две накрашенные женщины, болтая ногами. Матросы-малайцы угощали их вином, а они, разговаривая, смеялись ржавыми голосами. Буфет с зеркальной стенкой был украшен живыми цветами, заставлен бутылками

разных вин. На прилавке блестели изогнутые никелированные краны, из которых нацеживали пиво.

Один из орионовцев сказал:

— Здесь что-то скучно. Пойдемте лучше туда, где музыка.

Нужно было пройти только полквартала, чтобы попасть в более многолюдный и шумный кабак. Здесь играли музыканты. На фоне звуков, исторгаемых пианино и контрабасом, заливалась скрипка. В табачном дыму разноязычно гудел говор мужчин и женщин, иногда раздавались выкрики, сопровождаемые пьяными жестами. Смешивались национальности: американцы, французы, немцы, китайцы, негры, русские. Все щеголяли костюмами цвета индиго, любимым цветом моряков, пестрыми галстуками, блестящими ботинками, разнообразными кепками. Меньше было матросов в рабочем платье — тех, которые уже пропились до последней монеты. Заходили и военные люди, интернированные Голландией. Они уже побывали на фронтах, участвовали в сражениях, а теперь, в чужой стране, примиренные кабаком, усаживались за одним столом — итальянцы с австрийцами, англичане с немцами, иногда даже пили из одной бутылки, дружески беседуя.

Орионовцы и здесь пили пиво.

Один из них заявил:

— Побывать в Голландии и не попробовать национального ее напитка — преступление.

И, не дожидаясь согласия других, свистнул официантке, женщине в белом фартуке:

— Всем — по рюмке женеверу!

Винные пары возбуждали мозг. Становилось веселее. Все окрашивалось в приятный цвет.

— Оказывается, что мы еще должны пожить на свете! — крикнул машинист Пеко.

— Может быть, увидим, чем закончится война...— подхватил рыжеголовый Кинче.

Домбер оживился:

— Восставшая Россия показала хороший пример.

— Верно,— поддакнули матросы.— Теперь очередь за другими воюющими странами. Эх, жарко будет всем воротилам, которые затеяли эту войну! Рано или поздно, а призовет их народ к ответу.

Домбер, сверкая глазами, продолжал:

— При первом же случае еду в Россию. Посмотрю, что там делается. Только сначала нужно дома побывать. Давно не видался с детьми.

— Самое лучшее, что ты придумал, друг...— одобрили товарищи и заказали по рюмке виски.

Потом пили за погибших ребят — Луиджи и Карнера.

За буфетом, озирая публику привычным взглядом, стоял сам хозяин, краснолицый голландец. Бокалы в его руках быстро, как у фокусника, наполнялись спиртными напитками. Он то и дело выдвигал ящик, ссыпая туда гульдены, американские доллары, немецкие марки, итальянские лиры, испанские пезеты, французские франки.

Когда ориононовцы вышли из этого кабака, Домбер, решивший отправиться в бординг-хаус, незаметно исчез. Остальные заходили из одного бара в другой, точно с молебном.

Лутатини, захмелев, начал пошатываться. Но мозг его продолжал воспринимать окружающую жизнь остро. Он видел моряков, явившихся сюда с разных широт южного и северного полушарий. Вечное море сделало их всех одинаковыми, хотя и не изменило основных черт лица и цвета кожи. Все они направлялись к кабакам, сверкающим огнями, опустошая свои карманы и отравляясь алкоголем. Лутатини подумал: «С чего начинают свои рейсы, тем и кончают». Улица шумела музыкой, женским смехом, пьяными голосами. А из гавани, из мира стапелей, доков и якорных стоянок судов, раздирая огнистую ночь, доносились в город пароходные гудки. В этом реве пара, заключенного в железо, как будто было напоминание морякам, что они лишь временно находятся на берегу и что скоро им снова предстоит качаться на волнах, уноситься в исступленность бурь, пробиваться через блокады субмарин. Придется ли еще раз вернуться на землю? Моряки торопились одурманить голову хмелем, насытиться хотя бы обманным счастьем. Разрастался буйный задор. Им заражался и Лутатини. Обращаясь к своим товарищам, он горячо заговорил:

— Я познал каторжный труд галерников, человеческое бесправие! Я пережил ад наяву! Мне хочется пойти

с вами дальше, окунуться в самую глубь человеческого омута. И только после этого я скажу людям слово, но не такое, какое говорил раньше. А пока — еще по рюмке виски.

— О, вы наш вечный друг! — ответили матросы и полезли к нему целоваться.

Лутатини обнимал их всех. Они были для него родными братьями, самыми близкими людьми. Ведь это они выручали его на корабле из бедственного положения, когда ему грозила смерть.

Орионовцы добрались до самого богатого кабака с большим танцевальным залом. Стены в нем были зеркальные, разрисованный красками потолок поддерживался квадратными колоннами. С потолка свешивались круглые плетеные корзинки, раскрашенные в синий цвет и обрамленные живыми красными цветами. Горели большие электрические люстры. Зал, сверкая огнями, создавал феерию. По сторонам, вдоль стен, в несколько рядов стояли столики, за которыми сидели мужчины и женщины, уничтожая вина, фрукты, закуски, сладости. А середина зала, на одну ступень ниже, с паркетным полом была отведена для танцев. Неслись звуки струнного оркестра. Между колоннами под звуки музыки танцевали танго. Зеркальные стены, повторяя эротические движения, увеличивали размеры зала и число людей.

Женщины, как и мужчины, представляли собою смесь национальностей: крупные и большеногие голландки, поджарые и плоские, как доска, англичанки, солидные и пышнотелые немки, изящные и порхающие, как мотыльки, француженки, знойно смуглолицые итальянки и почти совсем уже черные, но больше других сохранившие крепость своего тела арабки. За время войны они слетались сюда, как птицы на маячный огонь. Много ли в Европе еще осталось таких нейтральных уголков, над которыми бы не реяли стальные самолеты, сбрасывающие бомбы? А главное, здесь теперь больше было золота, чем в странах, разоренных войною. И эти самки в разноцветных шелках, в шляпках и без шляпок, обнаженные как раз настолько, чтобы сильнее взбудоражить чувства моряков, не знали и не хотели знать, что такое национальные враги. Пусть там, на полях сражений, льются реки человеческой крови. Для них это

было безразлично. Охваченные страстью наживы, немки льнули к американцам, француженки — к немцам, итальянки — к туркам.

Моряки, раскаленные желанием женской ласки, пьянели страстью, не думая уже о страшных последствиях. Возбуждение росло. Обманная красота казалась реальной. Женщины становились все увлекательнее и прекраснее.

Лутатини оглядывал зал, на момент представил себе, что должен чувствовать здесь, в этом ослепительном зале, среди женщин, блещущих голыми плечами и спинами, какой-нибудь кочегар, не видавший целый месяц берега, целый месяц проработавший в глубине кочегарки, около невыносимо жарких топок и котлов. Такого кочегара никакие моральные швартовы не могут удержать от соблазна.

Орионовцы держались вместе, заняв несколько столиков. К ним подсели девицы. Матросы угощали их вином, обменивались шутками, обнимали. Сначала близость женщин смущала Лутатини, но в то же время и распаляла его. Он становился смелее и чувствовал, что скатывается в пропасть. Ему давно улыбалась смуглая и черноглазая девица, полногрудая, в платье цвета спелых апельсинов. Что-то родное показалось в ней. Он решительно подошел к ней и, поклонившись, заговорил на итальянском языке:

— Простите, синьорина, можно вас пригласить к нам за стол?

— Пожалуйста, синьор,— ответила она тоже по-итальянски.

Оба обрадовались родному языку.

Когда уселись за стол, матросы закричали:

— Правильно, Лутатини! Без женщины на кой черт сдалась нам земля!

Лутатини, угощая подругу вином, смеялся, а она, играя глазами, говорила ему:

— Я всегда предпочитаю своих земляков. Я на вас сразу обратила внимание.

— Отлично. Как вас зовут?

— Синта.

— Это имя одной моей родственницы. Чудесно.

Дрожащая рука его потянулась к ее талии.

Стонала музыка, волнуя кровь. В ярко освещенном зале, среди зеркальных стен, медленно передвигались пары, прильнувшие друг к другу. В бесстыдном сладострастии изгибались тела. Моряки, явившись сюда с разных концов света, принесли с собою мечту тропических ночей, жар обжигающего солнца, удаль морских ветров. Неукротимая жажда любви прорывалась в их говоре, в смехе, в выкриках, горела в зрачках ослепленных глаз. Они безумствовали, чтобы потом снова переживать горестные и тревожные дни, пропадать в безбрежье океанов и спорить с яростью бурь.

XXI

Комната, куда попал Лутатини, была небольшая, в одно окно, с коричневым крашеным полом. Передний угол занимал комод, на котором были расставлены фотографии, тройное зеркало, вазы с живыми розами, флаконы с духами, пудреница. В другом углу стоял стол, застланный палевой бархатной скатертью, а над ним висела икона с изображением мадонны, кормящей отягощенной грудью кудрявого здорового ребенка. Со стен, оклеенных светлыми обоями, бросалось в глаза несколько эротических картин. Широкая кровать, блестя никелированными частями, помещалась в глубокой нише каменной стены. При надобности ее можно задвинуть деревянной лакированной переборкой. Но этого не делают, чтобы сильнее возбудить желание у посетителя скорее забраться вместе с временной подругой под пушистое одеяло с голубыми разводами, на пружинистый матрац, накрытый снежно-белыми простынями, утопить пьяную голову в пуховых подушках.

Лутатини, усевшись за стол, заказал вина, закуски, фрукты, сладости. Женщина выбежала из комнаты, но скоро вернулась обратно. Он поцеловал ей руку и заговорил возбужденно:

— О синьора Синта! Недавно я был другим человеком. Кто мог предвидеть, что я заделаюсь моряком и пройду через испытания самых лютых страданий!

— Вы разве недавно стали моряком? — спросила она, сверкнув веселой белизной ровных зубов.

— Да, синьора Синта.

— Кем же вы были раньше?

— Я был светом для находящихся во тьме, путеводителем слепых, наставником невежд.

— Я вас не понимаю.

— И не надо понимать. Впрочем, я могу сказать вам проще: я был фокусником.

— Ах, вот как! Это интересно. Я очень люблю фокусников.

Синта ласково потрепала его за подбородок. Лутатини, никогда еще не нарушавший обета целомудрия, от прикосновения женских рук вздрогнул, но сейчас же сконфузился и покраснел. Ей понравилось это. Он казался не совсем обычным человеком, вызывая в ней удивление. Он обходился с нею вежливо, с некоторой робостью, как первые мужчины в период ее молодости и наивных грез. Что-то, давно уснувшее, радостно зашевелилось в сердце.

— Много вас обитает здесь? — спросил Лутатини.

— Нет, всего только три девицы. И все иностранки: я, потом француженка и немка. Содержит нас голландка, вдова. Мы ее все ненавидим. Скряга и злая, каких мало можно встретить...

В комнату, предварительно постучав в дверь, вошла высокая женщина. Белый халат на ней придавал ей вид врача. Она держала в руках поднос с винами и закусками.

— Хозяйка наша...— шепнула Синта и бросилась помогать ей.

Хозяйка, освободившись от подноса, остановилась у стола. Она была худа и громадна, как будто состояла из лошадиных костей. С бесстрастного угловатого лица сверкал единственный правый глаз, а левый, провалившись, плотно закрылся веками.

— Пятнадцать гульденов пожалуйте,— проговорила она мужским голосом.

Лутатини отсчитал нужную сумму и, передавая деньги, заметил, что у хозяйки на груди, сверх халата, висит большой крест из черного шлифованного мрамора. К кресту прикреплен бронзовый рельеф, изображающий распятого Христа с терновым венком на голове, с драгоценными рубинами вместо крови на руках и ногах. Трудно было придумать более подлое надругательство над христианством, чем этот крест на груди жен-

щины, торгующей живым товаром. Подавляя в себе ярость, он спросил:

— Где это вы достали такой замечательный крест?

Хозяйка, считая гостя денежным и щедрым, улыбнулась золотыми зубами.

— Этот крест достался мне от покойной матери. А она купила его в Италии.

Лутатини хотел встать и по прежней привычке обрушить на голову этой притонодержательницы грозные и пламенные слова о «судном дне», раскрыть перед нею широкие врата ада, ведущие в страшную геенну огненную, но вместо этого он только ехидно улыбнулся. Что осталось у него самого от той веры, какую он носил в себе более двадцати лет? Пустой сосуд с мутью горького разочарования! С нескрываемой иронией в голосе он спросил:

— Ну, как, помогает распятый Христос наживать барыши от вашего предприятия?

Женщина не сразу поняла издевательский смысл вопроса. Угловатое лицо, сначала недоуменное, быстро побледнело, а единственный глаз, широко раскрывшись, в испуге уставился на гостя. В одной руке она крепко зажала гульдены, а другой ухватилась за нижний конец креста, словно хотела защитить святыню от лихого человека.

Лутатини болезненно захохотал...

— Пьяная свинья!

Он не разобрал этих слов. Он только видел, как от стола к двери, твердо шагая, удалялась громоздкая фигура хозяйки. Голова ее была гордо запрокинута назад,— убеждена была в своей непоколебимой правоте.

— Синьор Лутатини, что с вами? — дергая его за плечо, спросила Синта.

Лутатини, оборвав смех, посмотрел на растерянное лицо итальянки.

— Теперь хозяйка возненавидит меня за такого гостя.

— Да простит меня синьора Синта за мою дерзость, но я не мог удержаться. О боже! Почему я раньше не замечал, до какой степени извратились человеческие понятия о религии? Из римских катакомб Христа перенесли...

Он не окончил фразы, чтобы не обидеть своей подруги.

— Давайте лучше выпьем.

Пили вино и закусывали сыром, фруктами, шоколадом.

Лутатини начал рассказывать о своем плавании и постепенно увлекся. Все события последнего времени предстали перед ним с такой ясностью, как будто он снова участвовал в них. Впрочем, он рассказывал не столько о голых фактах, сколько о собственных переживаниях, о потрясении своей измученной души, о своих сокровенных мыслях. Это было похоже на исповедь, словно перед ним сидела не проститутка, а первосвященник, призвавший его к покаянию.

— Да, синьора Синта, я и раньше имел некоторое представление о грубости жизни, о всяких несправедливостях. Но это было понятие только теоретическое. А теперь я на самом себе испытал эту ужасающую действительность. Перед сознанием развернулась вся бессмыслица человеческих отношений. Что такое наша планета? Разве это не сплошной разбойничий вертеп? Бьют, режут, насилуют, грабят друг друга. И тут же торгуют, торгуют всем, чем только можно поживиться,— честью, любовью, святыней. И находятся люди, которые благословляют такой порядок! Можно ли после этого верить в божественное назначение человека? А главное — и сам я, единица, затерявшаяся среди полутора миллиардов людей, мало чем отличаюсь от них. За это плавание я сделал важное открытие в самом себе: в глубине моей души таятся все зачатки преступника. Если я не сделался убийцей, то это вышло только случайно: помешали другие...

Лутатини был взволнован, дышал шумно и учащенно. Зрачки его темных глаз расширились, налились скорбью и ужасом. Он судорожно схватил руку итальянки.

— Вам дурно? — испуганно спросила Синта.

— Ничего, это пройдет,— ответил Лутатини, прикрывая ресницами глаза, и устало склонился над столом.

— Не нужно больше расстраивать себя воспоминаниями. Вам это вредно. Лучше скажите — вы на время или на ночь останетесь?

— До утра. Куда же мне теперь идти?

— Вот и хорошо. Я очень рада.

Она скрылась за ширмой, но через несколько минут вернулась в одном сером пеньюаре.

— Милый моряк мой! — ласково прозвучало в ушах Лутатини.

Он поднял голову, отяжелевшую от вина и мрачных образов, и увидел смуглую итальянку, полнотелую и соблазнительную, словно сошедшую с фламандской картины. Пеньюар распахнулся, две черные косы спускались на радостно обнаженную грудь. Синта призывно улыбалась, словно подстрекая его пойти на приступ. Что-то новое и неизведанное вспыхнуло в нем, взбудоражило кровь и сладостной дрожью пробежало по нервам. В одно мгновение он понял, что никакими религиозными нравоучениями, никаким страхом нельзя было укротить бунт молодого тела. Невыразимая жажда скорее схватить и смять эту доступную женщину заполонила его всего...

Заснул на рассвете тяжелым и мутным сном.

Были путаные и несуразные видения. Запомнилось только, как сокрушенно плакала мать и как отец, в чем-то его упрекая, наконец рассердился и хотел схватить сына за волосы. Лутатини рванулся и ударился обо что-то жесткое...

Не было ни Франциска Ассизского, ни шкафов с толстыми и мудрыми книгами, ни массивного письменного стола, за которым он когда-то сочинял горячие проповеди. Лутатини сидел на полу. В окно заглядывал солнечный луч. Знакомая мебель, брошенный на стул его собственный серый костюм, недопитые вина и недоеденные закуски на столе понемногу приводили его в сознание.

Он встал, уселся на край кровати, чувствуя себя обессиленным. Позвоночник и затылок будто стянули проволокой. Тошнило до такой степени, что он сам себе становился противным. Осторожно, как тайный преступник, нарушивший все законы святости, он оглянулся на женщину. Она спала. Две смоляные косы, как два перевитых ручья, капризно сбегали по белой подушке. Он смотрел на нее и не верил, что эта красивая женщина принимала всех мужчин без разбора. И сейчас же острая, как бритва, мысль прорезала его сознание:

«А если и со мною случится то же самое, что с тем китайцем?»

Если бы ему объявили, что он обречен на самую жестокую казнь, это не было бы страшнее, чем воспоминание об изуродованном и заживо сгнившем человеке.

Руки Лутатини запрыгали на коленях, и кожа на его теле стала шершавой от ужаса. Он торопливо начал одеваться, словно в этом было его спасение. А потом разбудил Синту.

Она открыла глаза и улыбнулась кроткой, умиротворяющей улыбкой.

— Вы что так рано собрались?

Лутатини, продолжая дрожать, смущенно спросил:

— Скажите, Синта, откровенно... Вы... я... Может быть...

Он не мог произнести страшного слова, задыхаясь от волнения, уставился на нее немигающими глазами.

Ей нетрудно было догадаться, в чем дело, ибо многие из мужчин спрашивали ее о том же с дрожью в голосе. Это всегда раздражало ее. Но на этот раз она ответила просто, без всякой обиды:

— Дорогой мой, как вы побледнели! Вы напрасно беспокоитесь. Я только вчера была у доктора. Все благополучно...

Казалось, будто могильная плита раскрылась над ним. Он вздохнул полной грудью и залпом выпил стакан вина. Это еще больше ободрило его. Выкинув на стол деньги — больше, чем она спросила,— Лутатини распрощался с итальянкой и вышел на улицу.

Город пробуждался. Увеличивалась сутолока деловой жизни. Солнце, поднимаясь над крышами домов, щедро расточало свои весенние творческие силы.

Лутатини быстро шел к почтамту, обдумывая, какую послать телеграмму родителям. Он сообщит им — пусть они не сокрушаются о нем, здоровье его отличное, а вернется он домой через месяц или через год, чтобы начать другую жизнь, не похожую на ту, какую он вел раньше. В это ясное утро, несмотря на свое временное падение, ему действительно казалось, что он переродился, приняв крещение в соленой купели. В сознании, как в лесу после пожара, сквозь обуглившийся хлам и пепел прошлого пробивались новые, зеленеющие побеги.

ПРИМЕЧАНИЯ

Во второй том собрания сочинений А. С. Новикова-Прибоя входят морские повести, написанные в 1919—1925 годах, и роман «Соленая купель».

«Море зовет» — повесть. Написана в 1919 году в Сибири, в Барнауле, где писатель вынужден был прожить два года. В марте 1918 года А. С. Новиков-Прибой выехал из Москвы как руководитель поезда, направленного Наркомпродом для обмена мануфактуры на зерно. Первая поездка закончилась успешно, но когда в июне того же года писатель вторично приехал в Барнаул, его застало контрреволюционное восстание, а затем начались тяжелые времена хозяйничанья колчаковцев. Из Сибири Новиков смог вернуться в Москву лишь весной 1920 года.

Работа над повестью «Море зовет» шла в труднейших условиях, когда «за городом» — так назвал Новиков-Прибой один из своих барнаульских рассказов — шли расстрелы «красных», когда писателю мог угрожать арест.

Повесть «Море зовет» впервые опубликована книгоиздательством «Сибирский рассвет» (город Барнаул) в 1919 году, вошла в сборник морских рассказов и повестей, выпущенный книгоиздательством «Утес» в 1922 году (город Чита). Позднее перепечатывалась во всех переизданиях этого сборника.

Отдельные главы повести в переработанном виде публиковались как самостоятельные произведения: пятая и седьмая главы, рассказывающие о смерти Джима Гаррисона,— под названием «Закат моряка», восьмая и девятая главы о единоборстве моряков со штормом — под названием «Во власти моря».

В настоящем издании повесть «Море зовет» печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Подводники» — повесть. Написана в Москве в 1922—1923 годах.

В 1921 году писатель длительное время жил в Кронштадте, знакомясь со службой и бытом экипажей флотилии подводных ло-

док. В результате и была написана повесть «Подводники». В архиве А. С. Новикова-Прибоя хранится записная книжка с материалами к ней. Ни для одного своего произведения, исключая, конечно, «Цусиму», писатель не собрал столько «заготовок», как для этой повести. Обилие материала объясняется, во-первых, исключительной ответственностью, которую ощущал автор, работая над морской повестью для нового, советского читателя, и затем новизной материала для литературы: повесть Новикова-Прибоя была первым произведением о людях подводного флота.

Записи к «Подводникам» можно разделить на записи технического порядка, записи бытового характера и, наконец, записи отдельных «морских» слов и выражений.

Записи технические, главным образом описательного порядка, дают представление о механизмах подводной лодки, о ее вооружении, плавучести и т. п. Интересно отметить — это характерно вообще для метода работы Новикова-Прибоя,— большая часть технических записей почерпнута не из справочников, а из живого разговора, объяснения писателю функций того или иного механизма командным составом подводной лодки. Отсюда колоритность и наглядность технических записей: «Внутри лодки бьются 500 лошадиных сил. Я мысленно выпускаю их на поверхность моря»; «когда лодка погружается на 250 футов, заклепки начинают слезиться» и т. д.

Записи бытового характера касаются различных сторон службы и быта подводников. Новиков-Прибой внес в свою записную книжку даже меню блюд, которые готовились в день лодочного праздника, и суеверные приметы подводников дореволюционного флота: «прилетела цапля и села на радиотелеграфную станцию, потом перелетела на пароход и там садилась то на одну мачту, то на другую. Это не к добру».

Автор «Подводников» записывал любимые словечки и выражения матросов: «глаза, что твой перископ»; «растрепанные волны», «зализанное море», «про лодку говорили — заряженная баржа».

Интересна творческая история повести. В архиве писателя хранится рукопись объемом в тридцать страниц, под названием «В царстве Нептуна», с подзаголовком «Рассказ из жизни подводников». Рукопись датирована 12 февраля 1922 года. Этот рассказ является первым вариантом повести.

Наряду с изображением личной истории героя рассказ передает события, составляющие окончание повести: подводники из лодки, потерявшей плавучесть, спасаются через носовые минные аппараты при помощи сжатого воздуха.

Рассказ «В царстве Нептуна» не удовлетворил автора, и он приступил к работе над повестью, которая сначала также была названа «В царстве Нептуна». В архиве сохранились два варианта начальной главы повести, первый из них значительно отличается от опубликованного впоследствии текста.

В письме к Н. А. Рубакину от 30 января 1924 года автор рассказал об условиях, в которых создавалось произведение: «Я имел одну только комнату. В ней нас жило пять человек. Жена работала в учреждении, а я бегал на рынок, стряпал с проворством лучшей кухарки и писал своих «Подводников». Случалось,

что увлечешься какой-нибудь мыслью, забудешь о кухне, а там, смотришь, уже каша горит. Спасешь кашу и сядешь за стол — суп начинает бунтовать, плескаясь через край кастрюли. Пока все уладишь в кухне, в голове станет пусто. Опять настраивай себя на писательский лад. Потом кто-нибудь придет — остановишься на полуфразе, поговоришь, и снова водишь пером».

«Подводники» впервые были опубликованы в 1923 году в сборнике «Вехи Октября» (Москва). Первое отдельное издание повести вышло в книгоиздательстве артели писателей «Круг» в 1923 году.

В изданиях детской и юношеской литературы повесть «Подводники» печаталась под названием «Пленники бездны» и «На подводной лодке».

Повесть печатается по тексту: сб. «Морские рассказы», М.-Л., Военмориздат, 1942.

«Женщина в море» — повесть. Написана в 1923—1924 годах. Первое, отдельное издание вышло в 1928 году в «Роман-газете» (издательство «Московский рабочий»).

В 1923 году, совершая поездку в Германию и Англию на пароходе «Коммунист», писатель начал работу над первым вариантом рассказа, которому дал такое же название, какое впоследствии присвоил повести,— «Женщина в море». Всего были написаны три главы и начало четвертой. Затем в работе наступил перерыв на несколько месяцев, так как писатель работал над рассказом «Коммунист» в походе».

Фабула написанных глав рассказа «Женщина в море» не отличается от первых глав повести, но характеристика героев менее развернута. Вот для примера описание Василисы из рассказа. Оно дано очень скупо: «Среди тридцати двух человек, составлявших экипаж парохода «Свободный» (в повести — «Октябрь».— *В. К.*) две были женщины. Одна из них, горничная Василиса, затасканная сорокалетняя особа, не возбуждала к себе интереса». В повести же первому появлению Василисы отведен особый и довольно значительный абзац: «Из маленькой своей каюты вышла прислуга Василиса. Это была полная женщина, лет сорока, выросшая в портовых трущобах. Она направилась к носовой половине судна, по-матросски переваливаясь, мокрая от пота, тяжелая и сырая, как творог. С безбрового лица ее с отвисшим подбородком тускло посматривали серые, всезнающие глаза...» И далее автор приводит разговор Василисы со вторым штурманом, из которого явствует, что Василиса является «своим человеком» среди матросов. Точно так же во второй главе рассказа автор опять очень сжато сообщает, что «Таня за это время успела присмотреться к судовым порядкам и освоиться в новой обстановке». В повести же дано подробное описание рабочего утра Тани.

К повести «Женщина в море» автор вернулся по окончании работы над рассказом «Коммунист» в походе». В архиве писателя рукопись повести представлена лишь последними главами. Особенное значение автор придавал шестнадцатой главе, изображающей пожар на море и спасение советскими моряками тонущих английских моряков. В архиве имеются две редакции этой главы, напи-

санные от руки чернилами, и третья — беловая, переписанная на пишущей машинке. Но при публикации «Женщины в море» он внес и в этот беловой вариант стилистические изменения.

Шестнадцатая глава повести печаталась А. С. Новиковым-Прибоем в переработанном виде как самостоятельный рассказ под названием «Пожар на море».

В 1925 году А. С. Новиков-Прибой совместно с кинорежиссером М. Донским написал по повести «Женщина в море» сценарий кинокартины под одноименным названием. Рукопись сценария состоит из двадцати семи страниц, делится на пять частей, кадры сценария довольно точно следуют за событиями повести. В архиве сохранилось также краткое либретто сценария.

Повесть «Женщина в море» печатается по тексту: сб. «Море зовет», М., «Советский писатель», 1939.

«Е р а л а ш н ы й р е й с» — повесть. Написана в Москве в 1925 году. Впервые опубликована в сборнике «Половодье» (Москва, 1926).

Повесть «Ералашный рейс» выросла из рассказа «Капризы моря» (первоначальное название — «Приключения машиниста»), над которым писатель начал работать в январе 1925 года. Рассказ был написан от первого лица — машиниста. Так же, как и машинист Самохин в повести «Ералашный рейс», это волевой, инициативный человек, но о его прошлом сказано мало. Например, совсем не упоминалось о том, что машинист был командиром матросского отряда в годы гражданской войны. Образы капитана, «хилого мужчины с угрястым лицом», и его жены — бойкой и привлекательной любительницы приключений, в рассказе были намечены в том же плане, в каком они впоследствии предстали более развернуто в повести «Ералашный рейс». События рассказа происходили лишь на пароходе «Дельфин», а о судьбе экипажа баржи не упоминалось, шкипера среди действующих лиц рассказа не было.

Оставив незавершенным первый вариант рассказа «Капризы моря», А. С. Новиков-Прибой приступил к работе над вторым вариантом. Образ машиниста, носящего фамилию Кудрявцев, представлен здесь более выпукло, чем в первом варианте. Введен его рассказ кочегару Втулкину о плавании за Полярным кругом, о борьбе с северными штормами, но об участии в гражданской войне еще не упомянуто. Фигуры капитана и его жены те же, что и в первом варианте рассказа. Любопытно, что фамилию Огрызкин во втором варианте носил не капитан, а один из матросов. О приключениях экипажа баржи во втором варианте, так же как и в первом, не повествовалось.

Из рукописи повести «Ералашный рейс» в архиве сохранились лишь отдельные главы. Некоторым из них автор дал названия: главе XIII — «Последние дни на барже»; главе XVI — «Капитан докладывает». Вероятно, предполагалось дать названия и другим главам, но затем автор изменил свое решение.

Много раздумывал А. С. Новиков-Прибой над названием повести. Первоначально он связывал его с образом машиниста — «Приключения машиниста», «Отважный машинист». Затем, отталкиваясь от образа незадачливого капитана, писатель хотел назвать

повесть «Дохлый капитан». Но когда были написаны главы о спасении экипажа баржи и образ шкипера встал рядом с фигурой машиниста, возникали новые названия — «За жизнь», «На грани». Наконец все они были отвергнуты, и на рукописи было означено последнее — «Ералашный рейс». Повесть печатается по тексту: сб. «Море зовет», М., «Советский писатель», 1939.

«Соленая купель» — роман. Написан в 1926—1928 годах. Впервые опубликован в альманахе «Земля и фабрика» № 4 (Москва). В 1929 году издательство «Московский рабочий» выпустило массовое издание «Соленой купели» в «Роман-газете».

Материал для романа «Соленая купель» автору дали скитания в 1907—1913 годах за границей, жизнь в качестве политического эмигранта в Англии, Франции, Испании, Италии, Северной Африке. Плавание матросом на коммерческих судах помогло ему хорошо узнать труд и быт моряков в европейских странах, познакомиться с хитрой механикой злейшей эксплуатации их пароходными фирмами.

Роман «Соленая купель» вырос из рассказа «Матрос в неволе», в котором А. С. Новиков-Прибой хотел дать краткую историю проповедника, случайно ставшего простым матросом. Убедившись, что объем рассказа сковывает его творческий замысел, писатель приступил к созданию повести под названием «В неволе». Впоследствии название «В неволе» было заменено на «Соленая купель», а подзаголовок «повесть» был исправлен на «роман». Одна из глав романа о работе Лутатини в кочегарке под названием «В преисподней» была опубликована в журнале «Октябрь» № 1 за 1928 год как самостоятельный рассказ.

В архиве А. С. Новикова-Прибоя хранится глава, названная «Заключение». В ней он хотел показать разрыв Лутатини с той средой, в которой он вырос, но так как этот разрыв ясен читателю романа и без дополнительных объяснений, Новиков-Прибой не включил эту главу в текст, предназначенный для печати. Роман «Соленая купель» печатается по тексту: сб. «Море зовет», М., «Советский писатель», 1939.

В. Красильников

СОДЕРЖАНИЕ

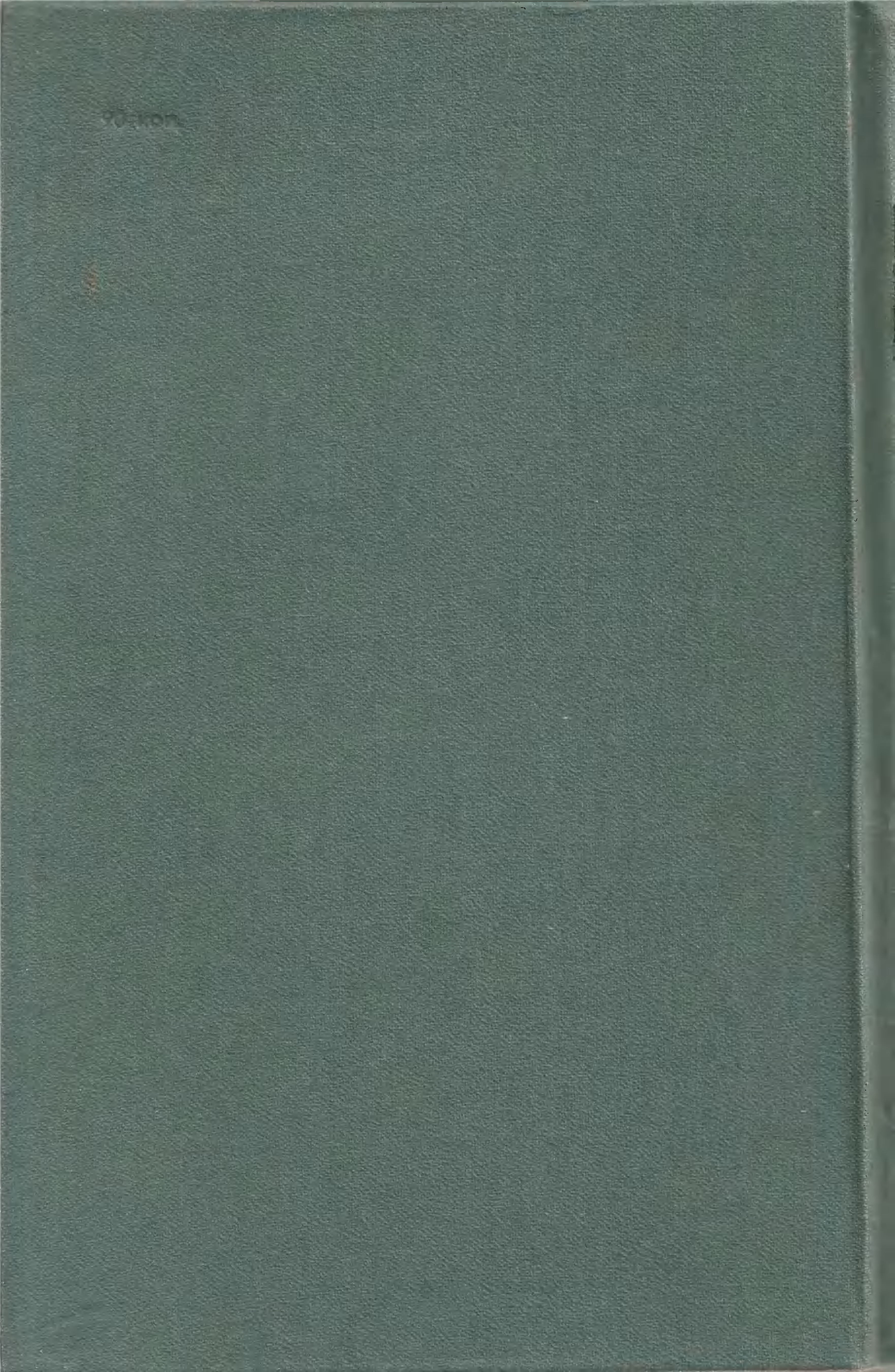
ПОВЕСТИ

70664

А. С. Новиков-Прибой.
Собрание сочинений в 5 томах.
Том II.
Редактор А. Терновский.
Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.
Оформление художника
Р. Алеева.
Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 5/I 1963 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 156. Зак. 2954. Форм. бум. 84×108 1/32.
Бум. л. 7,88. Печ. л. 25,83+4 вкл. (0,41 печ. л.).
Уч.-изд. л. 27,43. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.


70 коп.